

К 67-4
1739 I

67-8.547

Biblioteka

РУССКАЯ БИБЛИОТЕКА

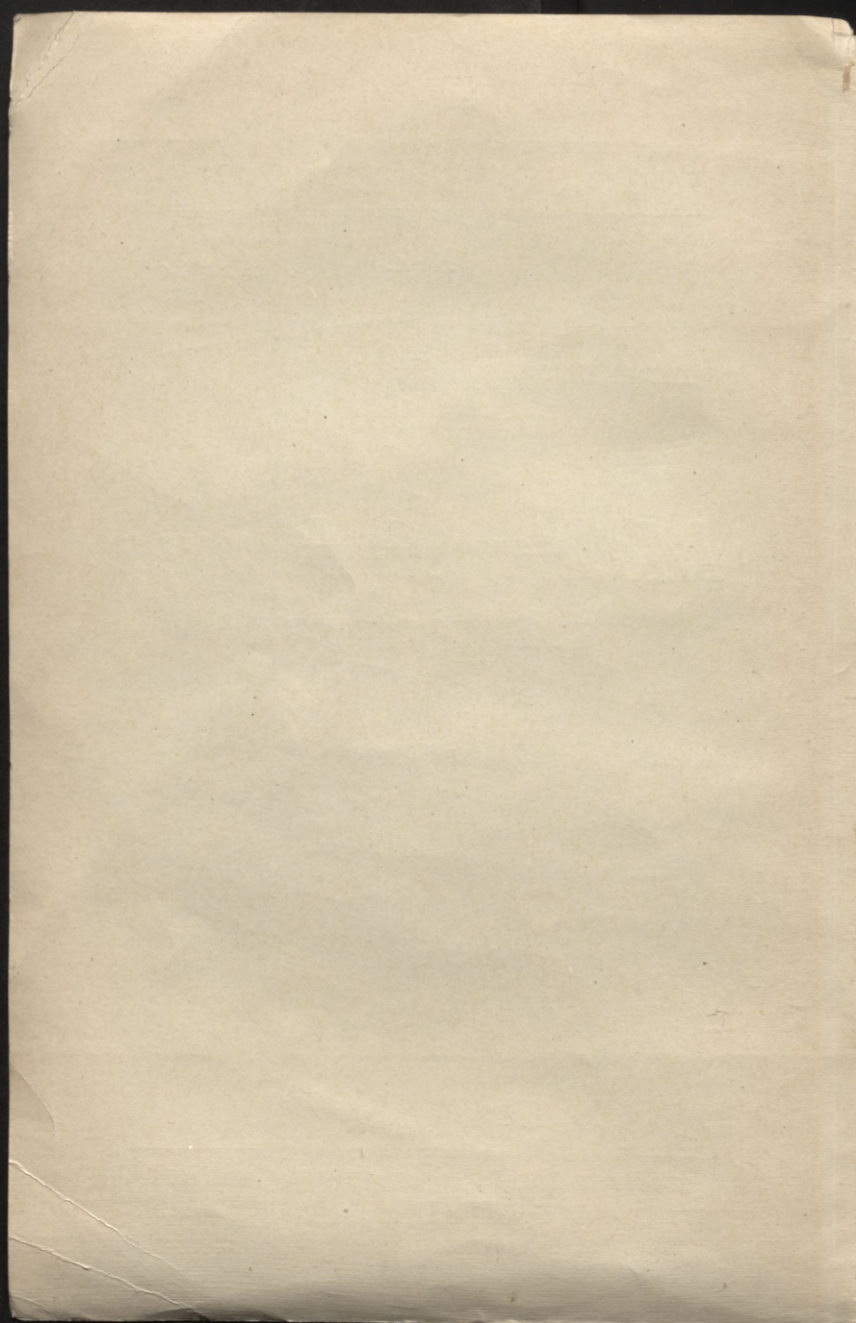
№ 2.

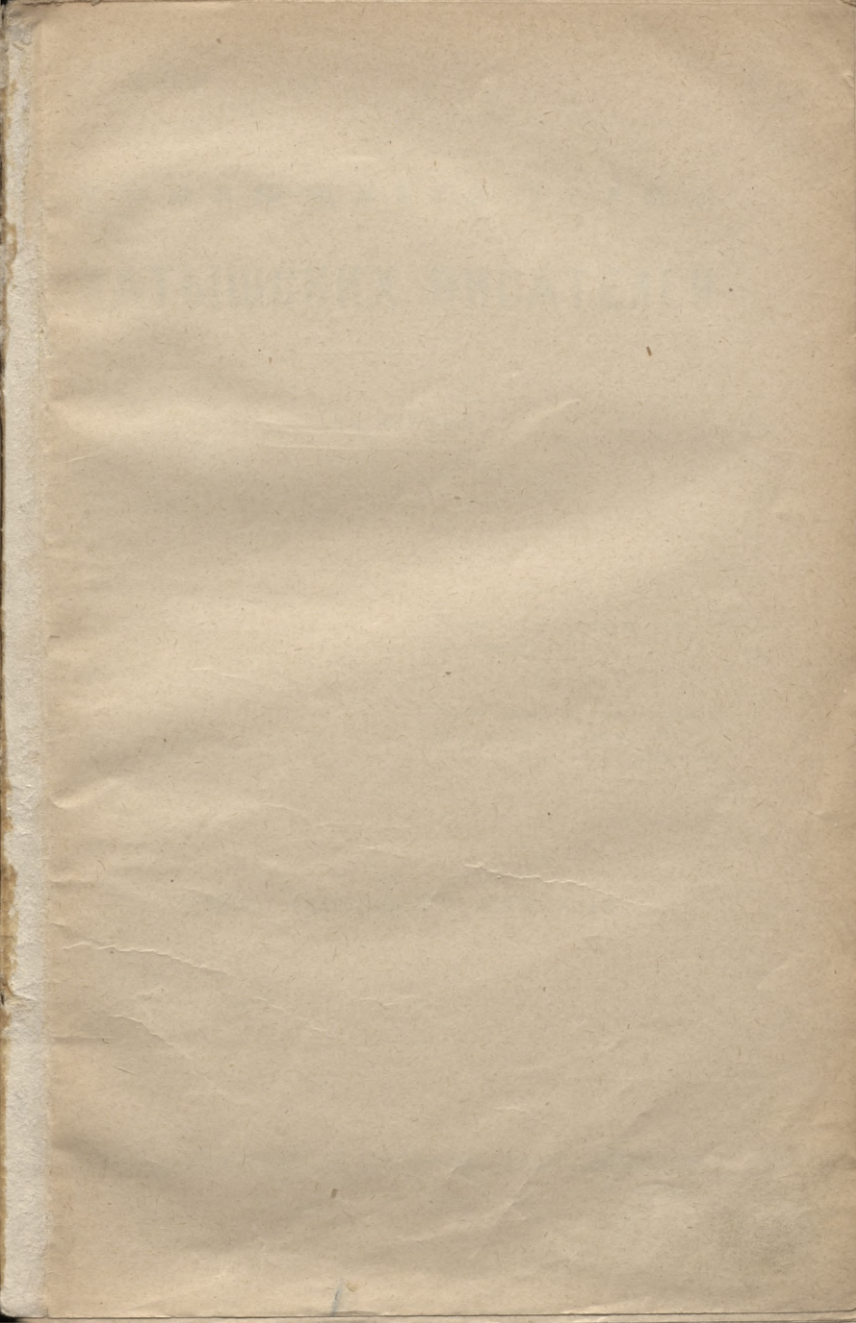
2000.

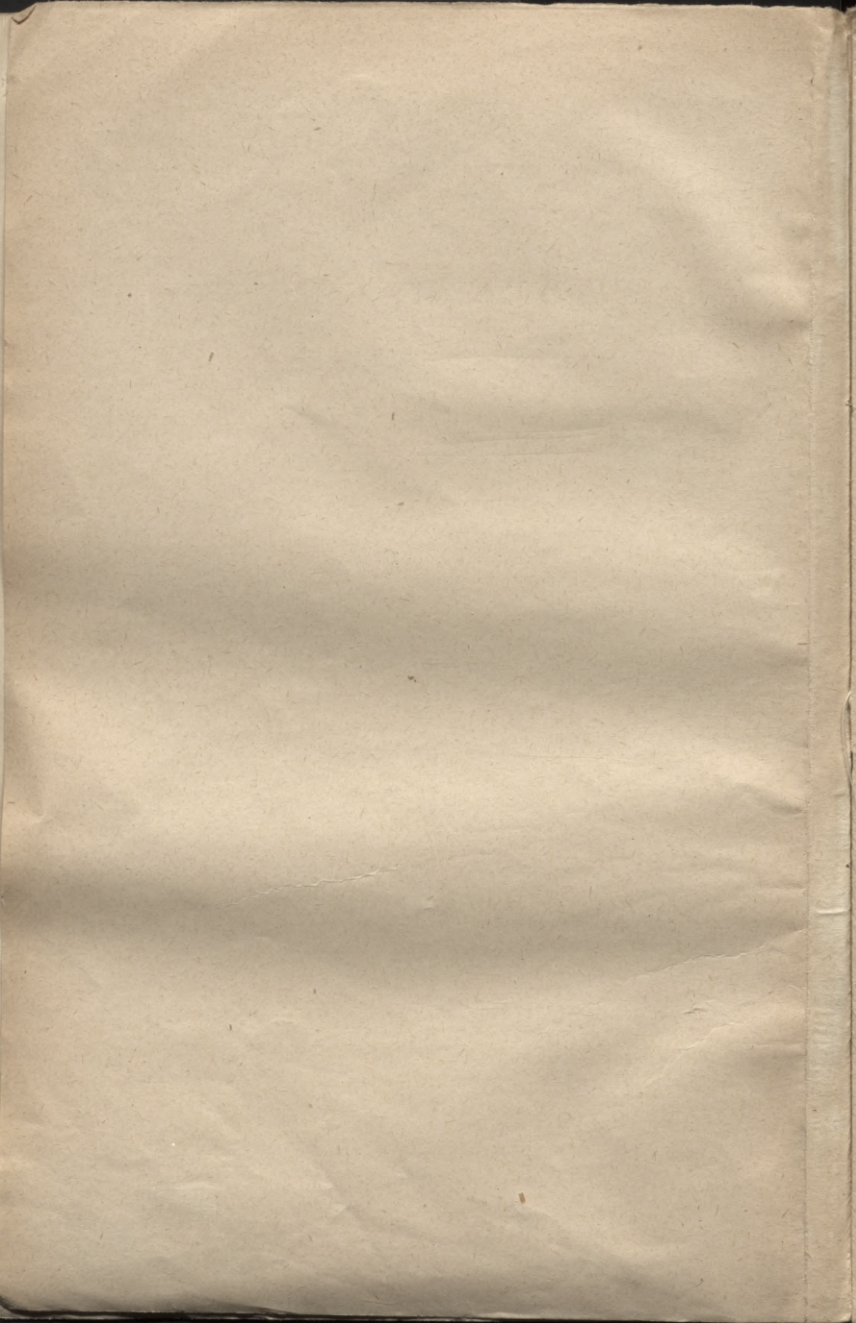
Молитва Кенца
и другие рассказы

1 9 4 0

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДРУГ» В ДАУГАВПИЛСЕ







К 67-4
Т 739

Ку
810

**ВЫДАЮЩИЕСЯ ТРУДЫ
ЛАТЫШСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ**

ТОМ ПЕРВЫЙ

*„Tautas labāko rakstnieku darbi —
tautas augstskola“*
Augusts Saulietis

*„Труды лучших народных писате-
лей — высшая школа народа“*
Август Саулиетис

ПЕРЕВЕЛ и СОСТАВИЛ А. МАКАРОВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ДРУГ“ В ДАУГАВПИЛСЕ.

0311019384

L. V. B.
№ 359174

~~f. 1680 K~~

Y

17



Латышская литература.

Латышская литература зародилась в начале XVI века. Древнейшие тексты «Отче наш» относятся к первой половине XVI столетия. Первая книга, католический катехизис, появилась в Вильне 1685 г. Вначале латышская литература носит религиозный характер. Поэтому первый период латышской литературы обыкновенно называют периодом духовной литературы. Он продолжается от первой половины XVI века до середины XVIII столетия. В течение этого периода появились следующие произведения: катехизисы, духовные песни, книга проповедей и перевод библии. Произведений светского характера в этот период вышло очень мало.

С середины XVIII столетия начинается период светской литературы. Заинителем этого периода является Стендер Старший (1714 — 1796). Он перевел с немецкого языка оду Бронеса «Тихая погода после грозы» («Рамс лайке пец перкона язгайса»). В этом стихотворении он мастерски изобразил тишину, наступившую после грозы. Стендер Старший писал песни и басни. Его песни по большей части переведены с немецкого языка, но есть и оригинальные. В песнях изображена общественная и духовная жизнь латышей. Он называет немецких помещиков отцами счастья, а латышских крестьян — отцами хлеба. Стендер Старший совсем не касается вопроса о крепостном праве, он заботится только о поднятии духовного уровня латышей. Его песни написаны в сентиментальном духе. Басни Стендера представляют переводы с немецкого языка. В них он говорит об образовании, послушании, согласии и пр. Приемники Стендера Старшего: Стендер Младший, Эльверфельд и др. писали в его духе.

Упомянутые писатели были немецкого происхождения. Они писали с целью просвещения латышей. В конце этого периода появляются первые писатели из среды самих латышей. Это были незрячий Индрикис, А. Ливенталь, А. Лейтан, А. Дюнеберг и др.

Окончательно в руки латышей литература переходит в середине XIX века, когда начинается ренессанс латышской литературы. Этот ренессанс проявляется в том, что латышская литература берет за образец латышскую народную поэзию, которая в предшествующую

эпоху была в загоне. Народная песня оказывает сильное влияние на содержание и форму произведений этого периода. Латышская литература начинает воспевать время до появления немцев в нашем краю. Это время теперь представляется латышам временем свободы, равенства и счастья. Произведения разсматриваемого периода носят явно романтический характер. Романтизм этот обыкновенно называют народничеством. Его представители Ю. Алунан, Аусеклис и Пумпур.

Ю. Алунан (1832—1864) замечателен главным образом как переводчик. Он переводил стихотворения немецких, русских и латинских авторов. Его перу принадлежит перевод стихотворения Гете «Лесной царь», Челаковского «Не ленясь», Гейне «Лаура», Уландта «Кладбище» и др. Он переводил преимущественно произведения классиков и романтиков.

Аусеклис (1850 — 1879) воспекает вольную жизнь латышей в далеком прошлом в стихотворении «Замок Света» («Гайсмас пилс», «Певец Беверины» («Беверинас дзедонис», и др. В древние времена у латышей, по его мнению, была своя изящная поэзия, высокая мораль, глубокая религия. Осуществление величия прошлого он ожидал в будущем.

Пумпур (1841 — 1902) воспекает прошлое латышского народа в стихотворении «Иманта» («Иманта»), «Могила Гина» («Хина капс»), «Народу» и др. Борьба латышей с немцами за свою независимость воспета в эпосе «Победитель медведя» («Лачплесис»). Лачплесис борется с немцами за свободу своего народа. Борясь со своим противником, Черным рыцарем, он падает вместе с ним в Двину. Но борьба продолжается в глубине пучины. Свою надежду на окончательную победу Пумпур выражает в конце эпоса в вере лодочников, по убеждению которых Лачплесис своего противника победит в пучине.

Одновременно с романтизмом в латышской литературе процветает реализм, который изображает современную действительность. Его представителями являются Ю. Нейкен, бр. Рейнис и Матис Каудзиши и Я. Апситис.

Ю. Нейкен (1826—1868) первый в своих рассказах изображает подлинную жизнь латышского крестьянства. Он главным образом касается земельного вопроса, но его интересуют также вопросы брака и воспитания. Нейкен является идейным реалистом. Лучшие его произведения «Сирота» («Баренис»), «Мачеха» («Пама-те») и др. В рассказе «Калинь и Пуринь» (Калниньш и Пуриньш)

он показывает, что латышский крестьянин только на своей собственной земле является духовно и материально мощным человеком.

Братья Рейнис (1839 — 1920) и Матис (1848 — 1926) Каудзиши главным образом касаются земельного вопроса. Они показывают власть земли над латышским крестьянином. В романе «Времена землемеров» («Мерниеку лайки») они изображают стремление крестьянина к своему участку земли. Но братья Каудзиши дают также глубокий анализ человеческой души.

Яков Аписитис (1858 — 1929) в своих рассказах изображает главным образом жизнь латышского пахаря. Он выводит типы чистых сердцем людей и блудных сынов. Он предостерегает латышей от искушений города, которые угрожают материальному и духовному благосостоянию крестьян.

В 80 годах XIX столетия в латышской литературе писатели переходили от экономических и общественных вопросов к психологическим вопросам. Главный интерес они сосредотачивают на душевной жизни человека. Серьезное внимание они уделяют анализу душевных переживаний героев. Изображенная природа отражает душевные переживания героев. Так возникает в латышской литературе сентиментальный романтизм, представителями которого являются Эсберг, Лаутенбах и др.

В 1893 году в латышской литературе начинается новое течение. Представители этого течения обращают особенное внимание на социальный вопрос и женскую эмансипацию. Новое течение просуществовало до 1897 г. В этом году русское правительство арестовало главных представителей нового течения и закрыло его орган («Денас Лапа»). Наступила временная реакция. Но прогрессивное движение вновь расцвело в жизни и выразилось ярко в революции 1905 г. Но после революции 1905 года наступает мрачная контрреволюция, которая продолжается в 1906 и 1907 годах. В 1914 г. разыгралась Европейская война, которая вызвала среди латышей сильное национальное движение. Это национальное движение привело к основанию независимой республики 18 ноября 1918 г.

В течение этого периода в латышской литературе продолжают существовать рядом романтизм и реализм. Романтизм получает название неоромантизма; он распадается на несколько течений: социальный, индивидуальный, национальный и философский романтизм.

Представителями социального романтизма являются Аспазия и Райнис. Аспазия (родивш. в 1868 г.) воспекает идеалы нового течения в сборнике стихотворений «Красные цветы» («Сарканас пу-

кес». Наступившую реакцию она изображает в сборнике стихотворений «Сумерки души» («Двеселес кресла»). Настроения 1905 г. отражаются в драме «Серебряное покрывало» («Сидраба штидраутс»). В упомянутых произведениях она является выразительницей дум и настроений своего времени. В позднейших произведениях Аспазия воспевает свою внутреннюю жизнь. Таковы «Солнечный уголок» («Саулайнс стуритис») и др.

К тому же социальному романтизму принадлежит творчество Райниса (1865 — 1929). Настроение латышской интеллигенции перед революцией 1905 г. Райнис изображает в сборнике стихотворений «Далекие отзвуки в голубом вечере». («Талас носканияс зила вакара») Здесь выражается недовольство гнетом русского правительства и немецких баронов. Революция 1905 г. воспета в сборниках стихотворений «Новая сила» («Яунайс сиекс»), «Посев бури» («ветрас сея»). Наступившая контрреволюция отразилась в сборниках стихотворений «Тихая книга» («Клуса грамата», «Листья носимые ветром» («Вейя нестас лапас»), «Те кто не забывают» («Тые, кас неаймирст»). К философским вопросам Райнис переходит в сборнике стихов «Конец и начало» («Галс ун сакуме»), лучшим из его сборников. Здесь он затрагивает вопросы этики, эстетики, индивидуализма, социализма и др. В последних своих сборниках Райнис воспевает любовь и красоту женщины. Из драматических произведений Райниса наиболее замечательны «Огонь и ночь» («Угунс ун нактс»), «Золотой конь» («Зелта зиргс»), «Индулис и Ария» («Индулис ун ария») «Юсиф и его братья» («Язепс ун вина брали»).

Философский романтизм трактует вопросы религии, добра, красоты, любви и др. Представителями его являются Ян Порук (1871 — 1911) и Фриц Барда (1880—1919). Порук воспитался на учении Платона и музыке Р. Вагнера. Его творчество имеет религиозный характер. В его произведениях отражаются порывы к трансцендентному миру. Он рисует разлад между идеалом и жизнью. Лучшие его произведения «Ловец жемчугов» («Перлю звейникс»), «Чистые сердцем» («Сирдс штитысте ляудис»), «Белая одежда» («Балтас драпас»), «Слезы» («асарас»), «Старый музыкант» («Вецайс музикантс») и др.

Барда является выдающимся лириком. Он пишет в духе Порука. Он воспевает природу, религию, любовь, детство, тоску и т. д.

Индивидуальные романтики в первых своих произведениях воспевают думы и чаяния индивида. В позднейших своих сочинениях они переходят к национальным темам. Этот переход становится очевидным во время Европейской войны. Представителями индивиду-

ального романтизма являются Карл Скалбе, Ян Акуратер и Анна Бригадер.

Карл Скалбе является лучшим автором сказок в латышской литературе. В них он затрагивает преимущественно этические и эстетические вопросы. Таковы сказки «Мельница котика» («Какиша дзир навиняс»), «Три драгоценности королевского сына» («Кениню дела трис даргуми»), «Дочь палача» («Бендес мейтния»), «Лесной голубь» («Межа болодис») и др. Скалбе является также мастером стиха. Увлечшись сначала социальными вопросами, он в позднейших своих произведениях обращается к национальным темам. Лучшими сборниками его стихотворений являются «Когда яблоки цветут» («кад абелес зиед»), «Сердце и солнце» («Сирдс ун сауле»), «Двинские волны» («Даугавас вильни»), «Дыхание травы» («Залес дваша»).

Ян Акуратер является самым выдающимся представителем индивидуального романтизма в латышской литературе. Его индивидуализм носит несколько анархический характер. В позднейших своих произведениях он является воодушевленным борцом за национальные идеалы. Лучшие его произведения «Горящий остров» («Дегоша сала»), «Петр Данга» («Петерис Данга»), «Радость дня» («Днену приекс») и т. д.

Анна Бригадер (1861 — 1934) в своих произведениях является невицей личности и народа. Стремления новой женщины она рисует в драме «Илга» («Илга»), сказке «Маре» («Маре») и др. Борьбу латышей за национальную независимость она воспевает в романе «В пылающем кругу» («Кведоша лока») и др. произведениях.

Национальные романтики интересуются по преимуществу национальными вопросами. Его представителями являются Андрей Ниедра и Антис Кениньш.

Андрей Ниедра изображает порывы крестьянского сына к лучшей жизни в сказке «Крестьянский сын». Борьбу латышской интеллигенции с немцами боронами рисует роман «В дыму нови» («Лидума думос»).

Ярым националистом является и Антис Кениньш в сборнике стихотворений «В краю Потримпа» («Потримпа земе»).

Таким образом в конце XIX и начале XX века в латышской литературе новоромантизм расцвел пышным цветом. Но рядом с романтизмом в этот период развивается и реализм. Наиболее видные представители реализма в это время Р. Блауман, В. Плудон, Я. Яунсудрабинь, Я. Яншевский, Э. Вирза.

Р. Блауман (1863 — 1908) изображает жизнь латышских крестьян с эстетической стороны. В его повестях и рассказах главные темы любовь, смерть, воспитание, религия и др. Таковы повести «Раудуните» («Раудуните»), «Ромео и Юлия» («Ромео ун Юлиа»), «В тени смерти» («Навес ена»), «Гроза» («Перкона негайс»), «Его пути» («Виня цели») и т. д. Блауман говорит о разладе между старшим и молодым поколением в драмах «Блудный сын» («Пазудушайс делс»), «Индраны» («Индраны») и т. д.

В. Плудон (1874) является величайшим мастером баллады и поэмы в латышской литературе. В них он касается общественных и психологических проблем. Лучшими его поэмами и балладами являются «Сын вдовы» («Атрайтнес делс»), «В солнечную даль» («Уз саулайно тали», «Два мира» («Дивас пасаулес», «Юмис — мститель» («Юмис-атрибейс») и пр. Плудон замечателен также в лирике. Его лирика поражает глубиной содержания и красотой формы. Лучшие сборники стихов 111 лирических песен (111 лирису дэсму), «Земля и звезды» («Земе ун звайтзнес») и т. д.

Ян Янсудрабинь в своих повестях и рассказах изображает преимущественно природу и любовь. Чудно он описывает природу в рассказе «Воды» («Удени»). Как рыболов он исколесил всю Латвию вдоль и поперек. Много внимания в своих произведениях он уделяет любви. Первую любовь молодой девушки он воспел в своем рассказе «Пустоцвет» (Вея зиеди). Трагедия любви, которая мало по малу сламывает силы человека, он изображает в трилогии «Айя», «Отголосок», «Зима» («Айя», «Атбалс», «Зиема»).

Я. Яншевский (1865 — 1933) в своих больших романах является певцом латышского крестьянства. Он изображает крестьянскую жизнь с светлой стороны. В большом романе «Родина» («Дзимтене») он воспевает любовь к родине, трудолюбие и жизнерадостность. В историческом романе «Люди среди леса» («Межвидус ляудис») он изображает стремление латышского крестьянства к свободе в конце XIV и начале XV века.

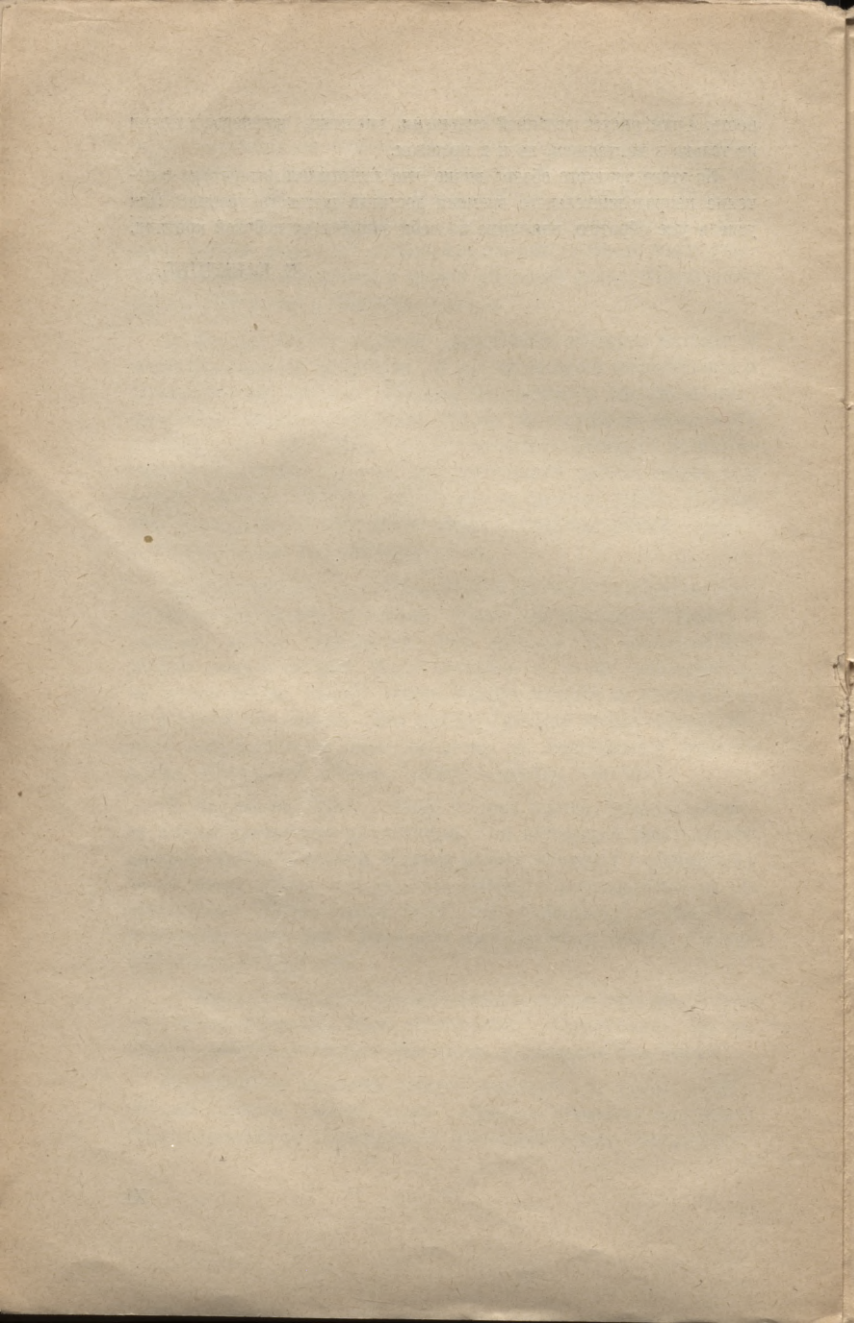
Э. Вирза (1883) является выдающимся певцом деревенской жизни и радостей бытия в поэме «Страумены» («Страумены»). Его лирика отличается богатством содержания и совершенством формы.

Из новейших писателей следует упомянуть А. Грина (1895), который в романе «Мятеж душ» («Двеселю путенис») изображает борьбу латышей за национальную и государственную самостоятель-

ность. Грин рисует латышей сильными, смелыми, жизнерадостными не только в настоящем, но и в прошлом.

Из этого краткого обзора видно, что латышская литература в течение непродолжительного времени достигла высокого уровня. Она успела уже обратить внимание на себя западноевропейской критики.

К. КАРКЛИНЬ.



Времена землемеров

ЧАСТЬ I.

Глава V (отрывок)

Тяжело больная Илзэ, лежа в постели разговаривает с сыном Каспаром.

— Ай, ай, сынок, не знаешь ты с каким тяжелым сердцем слушала я, когда люди говорили, что ты не веруешь в Бога. Это мучило меня день и ночь. Судя по делам твоим, я не могу считать тебя за безбожника, но признаю, однако, что ты не таков, как прочие люди: в церковь ты ходишь редко, а на церковные сходки почти совсем не ходишь; ни ты с кем говоришь, ни ты с кем дружишь, всегда ты тих и задумчив, так что и угадать нельзя, что у тебя на уме, одни ли лишь добрые мысли?

Сказав это, Илзэ, тяжело дыша, опустила голову на подушку. Каспар сидел тихий, спокойный и холодный как мрамор даже румянца не появилось на прекрасном, бледном лице его, ни одна черта лица не изменилась, а в глазах не было заметно никакого сердечного волнения. Помолчав некоторое время, он начал говорить, но так спокойно, как будто речь шла о самом обыкновенном деле.

— Другим я совсем не ответил бы на этот вопрос, да и тебе тоже нет, если бы ты спросила в другое время и при других условиях; но так как ты чувствуешь, что незнание это может быть для тебя греховным бременем на пути к вечности, то я с удовольствием облегчу сердце твое.

— Обрати внимание на весну и посмотри на каждое деревце и на каждый цветочек, когда цветут они: на яблоню, сливу, сиреневый куст в саду и на васильки в поле; а затем и на те растения, которые не гордятся роскошными цветами, как напр.: на различные ягодные кусты, на все хлебные злаки, на тмин, капусту, брюкву и др. цветы которые так незаметны, или же в то время, когда они уже отцвели. Обрати внимание, как мало людей замечает их — чуть ли не презирает и, кажется, что цветущие братья и сестры их гордятся собой

перед ними и считают их даже не заслуживающими наименования растений. Посмотри затем на все растения эти осенью, и ты увидишь, что те, которые были предметом удивления и прославления весной, принесли теперь самые пустяшные, а то и никакие негодные плоды; розовые и сиреневые кусты после цветения почти не обращают на себя никакого внимания, ибо на них нельзя найти ничего кроме листьев, да каких то негодных наростов, в то время как ягодные кусты гнутся под тяжестью сочных и прекрасных ягод; а негодные плодики васильков вместе с другими сорными травами, выросшими под незаменимыми серыми цветами, ржи, крестьянин тщательно отделяет от зерен, основы пищи нашей, которые дают хлеб; все корнеплоды, которые не порадовали глаз цветами своими, теперь освежают и укрепляют нас, тмин дает ароматные семена, прекрасные же луговые цветы, от которых остались одни лишь стебли, годны только на сено. Но есть и такие деревья и растения, плоды которых прекраснее, нежели цветы их, как например, садовая яблоня, слива, горох и др., и, наконец больше всего таких, которые не отличаются ни красивыми цветами, ни хорошими плодами, как например, большая часть лесных деревьев, которые не замечательны ни в одном, ни в другом отношении. Итак все деревья и растения можно было бы поделить на четыре группы: к первой можно отнести растения, которые красиво цветут, но не приносят плодов; ко второй — которые красиво цветут и приносят прекрасные плоды; к третьей — у которых совершенно незаметные цветы, но зато плоды их имеют огромное значение для человека, и к четвертой — которые не отличаются ни цветами, ни плодом — Точно также это и у нас, людей, если уподобить веру цветам, а христианские дела плодам. Первые, кто цветет, но не приносит плодов, это те, которые хвастаются и гордятся верой своей и хотят одним этим лишь подчеркнуть все человеческие обязанности по отношению к ближним, а также вознаградить или бесследно уничтожить преступления самолюбия, ища у других неверия и тем самым выставя себя перед людьми верующими, ибо только тогда они и могут казаться стоящими выше других, когда этих других они толкают в грязь. Это самые опасные и злые люди, ибо от видимой змеи можно предохранить себя, от невидимой же нет. Христос называл таких людей волками в овечьей шкуре и побеленными гробницами. Ни одного дела нельзя ни начать, ни кончить с ними без того, чтобы не был обманут тот, кто доверяется им: такой продаст паршивую лошадь по самой дорогой цене, если только покупатель сам не найдет порока в ней; такой обмерит и обвесит наполовину, если только сам продавец

или покупатель не будут внимательны. Такие заставляют заплатить за каждое свое заступничество, и раздают нищим милостыню за самые высокие проценты, ибо за милостыню эту они и с Господа Бога — если бы могли — взяли бы вексель, который помог бы им попасть в рай. Но хитрая природа их не ограничивается в проявлениях своих одними лишь людьми, а простирается много дальше: они называют себя мерзавцами и грешниками, что есть сущая правда, но в глубине сердца не считают себя таковыми: плачут и проливают горькие слезы, хвастаясь, что они текут из удрученного сердца, хотя сердце их полно самооправдания, а слезы текут лишь из глаз и проливаются ими в огромном количестве только лишь потому, что они ничего не стоят. В случае крупных преступлений, которых нельзя истолковать перед людьми как непроступления, они говорят, что каждый человек может пасть, что ошибки характерны для человеческой природы и нет греха, который не мог бы быть прощен, ибо даже и убийца получил прощение, когда сознался в преступлении своем, поэтому в грехах следует только каяться. Они грешат, так сказать, на чужой счет, ибо кредитора — совести им нечего бояться, они незнакомы с ним. Таким людям я и обязан разговорами о моем неверии, которые так напугали тебя.

Вторые, что цветут и приносят богатые плоды, это те, о вере которых свидетельствуют дела и нравы их. Прелестны цветы у таких деревьев и вера у таких людей, хотя и мала, как у тех, так и других. Такие люди не полезут никогда к другому в сердце искать неверия, чтобы затем с радостью разгласить об этом, как делают это первые, — для них достаточно и того, чтобы бодрствовать над собственным сердцем. Однако каждую слабость, которую они замечают у ближнего своего, они стараются излечить любовью и сочувствием. Тебя, мать, я мог бы причислить к этим людям и сравнить с яблоней, у которой осенью ветви так же полны плодов, как весной цветов.

Услышав это, Илза испугалась и, всплеснув руками, воскликнула: — Ай, ай, сынок, не были бы только яблоки эти червивыми! —

Каспар немного помолчал и затем с тем же спокойствием продолжал дальше.

— Третьи, цветы которые ничем не отличаются, или даже совсем не заметны, это те, которые не хвастают верой своей, но делают добрые дела; это те презираемые самаритяне, которые часто помогают несчастным, мимо которых гордо проходят первые. Они не боятся наказания, но боятся неправды и безчеловечности, не смотрят кто перед ними — крещеный или язычник, они обращают внимание лишь

на то, кто из них несчастнее и кто более нуждается в помощи, совершенно не стараясь о том, чтобы дела их стали известны. Никогда не хвалится, но только трудится и если дела их и не велики, все-же они не осуждают других, ибо они знают, как трудно исполнить заповедь Христа, по которой нужно любить даже и врагов своих, поэтому-то осуждать других умеют лишь первые, которые мудро избрали себе ту благую часть, где не нужно ничего делать, такие то всегда и презирают трудящихся. — К этим третьим, цветы которых так незаметны, а плоды так хороши, стараюсь принадлежать и я, — не как благодетель и человек любящий ближних своих, но из боязни, чтобы цветы мои не были крупнее незначительных плодиков моих, наоборот — если возможно — мельче. — Наконец четвертые, которые не цветут и не приносят плодов, это те, у которых нет ни веры, ни дел и для которых ничто не свято и не греховно. Это самые пустые люди, но не самые опасные, и в смысле вреда приносимого ими не могут и сравниться с первыми. Такие обычно не ищут зла ни в себе, ни в других, в то время как первые собственное зло называют добром, стараясь у других найти только одно зло. Наконец, эти последние еще хороши и тем, что они не скрытны, почему и легче предохранить себя от зла ихъ.

Каспар опять немного помолчал и затем продолжал. — Я думаю, что благодаря данному тебе пояснению, остальные вопросы, — почему я редко хожу в церковь и на сходы, почему я такой тихий, — ответят сами за себя.

Когда Илзэ через некоторое время молчания убедилась, что Каспар свою речь окончил, она начала ласковым и тихим голосом: — Те пути о которых ты, сынок, говорил, мне незнакомы, поэтому я и не могу сказать, ведут ли они к истине, ибо я знаю только тот крестный путь, который отмечен кровью Христа; путь этот от презрения и слабостей человеческих ведет через помилование к почестям и оканчивается в вечности. Однако, сынок, ошибочным я не могу назвать путь твой, хотя и сама я не была бы способна да и не хотела бы идти по нему и хотя бы мне было милее и смелее видеть тебя идущим тем же путем — путем Голгофы.

Молитва Кенца.

Часть I.

Глава XI (отрывок)

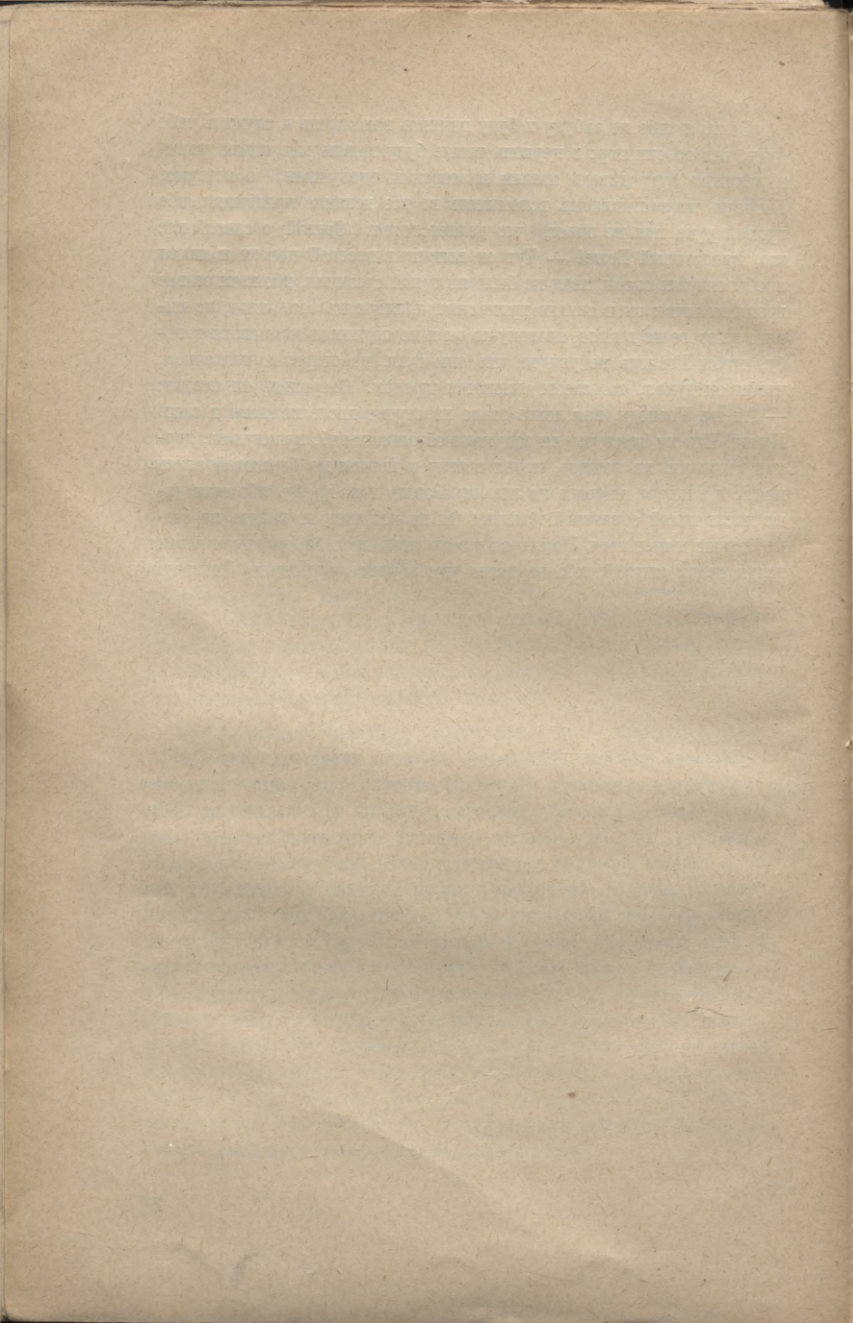
...В эту минуту Кенцу пришло на ум, что можно было бы облегчить душу свою молитвенным обращением ко Господу, и он начал готовиться к этому, очень непривычному делу, ибо необходимость заставляет учиться каждому делу. Он положил кнут, отпустил вожжи, позволив лошади идти вольным шагом по Славетской березовой аллее, положил перед собой шляпу, пригладил волосы, вынул изо рта табачную жвачку, бросил ее на землю и начал молиться: — Господи Боже, Спасителю мой! Ты видишь путь мой и знаешь, что не из-за почестей и лакомств я еду, но ищущу и прошу только о том, чтобы ты послал уважаемому землемеру—батюшке такое расположение духа, чтобы он оставил на долю мою лужок в глубокой долинке, да поля на гороховой горке, да молодые рощицы вдоль Слатских и Шмаканских границ. Хотя другой хозяин — имя коего, Господи, ты веши—говорит и доказывает уважаемому землемеру-батюшке, что рощицы эти должно бы остаться на его участке, ибо, как сказать, они находятся тотчас же за его домом; но ты же можешь заставить уважаемого землемера-батюшку дать мне их, как лишний кусочек, а другому хозяину или моему половинщику, имя которого, как тебе известно, Павул, можешь дать какой-либо кусочек в другом месте. Но еще лучше было бы, если бы Ты, Господи, направил все помышления Павула на то, чтобы стремиться к приобретению сокровищ на пользу душе, ибо тогда он был бы много разумнее, нежели стремясь к приобретению различных пустяков, ездя и всячески подговаривая уважаемого землемера-батюшку. Пусть он лучше думает о последнем часе, ибо он ведь не из молодых. Ты видишь, как я прошу тебя, так сказать, ради него, ибо мне жалко и страшно, что черный, который бродит кругом, как лев рыкающий, не направил бы помышлений его на мирские вени и не вовлек бы

его, так сказать, с неподготовленным сердцем в вечность. Ибо ты знаешь, что Павул голым появился в этом мире, таким же его, как угря и проводят в могилу! Зачем же ему так бороться с миром? Разве теперь уже не мог бы он покоиться под тенью на опушке леса в таком белом и легком песочке? Пусть так сказать, он умирает в любой момент — свезем на кладбище как жениха. Но жить он может, если только желает — и без этих кусков земли, ибо разве ему не остается достаточно земли и без того?

И я также, Господи, смогу, так сказать, каждое утро и каждый вечер молиться тебе за него. Хорошо бы также было, если бы ты спутал у Павула счет дней, так, чтобы он не знал, что ему нужно ехать сюда сегодня, а если бы и припомнил, то припомнил бы попозднее, к вечеру. Но если его, так сказать, нельзя будет удержать и он поедет с самого утра, то напугай ты его мыслью, что он не смеет со своими подарками явиться к уважаемому землемеру-батюшке: но если он, мерзавец, все-таки понес бы свои Иудины дары и засунул бы их ему в глотку как Даниил змию, то сделай уважаемого землемера-батюшку таким справедливым, каким был он со слатовским старичком, которого посадил в тюрьму, а дом его решил отдать второму половинщику. Это заслужили все чангальцы и, так сказать, в особенности еще соседи мои, которые, как слышно, тоже думают уважаемого землемера-батюшку обмануть взятками.

Тут он немного отдохнул, обдумался и затем продолжал далее: — Но и еще одно бремя лежит на сердце моем: дай мне возможность встретить уважаемого землемера-батюшку в хорошем состоянии духа, чтобы не отказался он принять смиренные дары мои — поросеночка этого, мешочек пшеничной муки и ведрышко масла, но принял бы их так же милосердно, как в прошлый раз те гроши, которые я дал ему, так сказать, с опаскою, но ты, Господи, все творишь во благо. Но если воля твоя будет такова, чтобы уважаемый землемер-батюшка посадил меня в тюрьму, то сделай, Господи, так, чтобы ключ от дверей тюрьмы пропал, а тюремщики, ища его, начали бы драться, а я бы под шумок убежал. Тут ну и вся жертва моя, которую способен принести тебе мое слабое сердце, ибо все мы грешники, так сказать, во веки веков. Не презирай смиренные молитвочки мои, но сделай больше того, нежели то, о чем прошу я! Послушай, о, послушай меня, Господи, и будь хоть этим еще разок милосерд ко мне. Ты знаешь, что без нужды я не молюсь тебе, не желая разгневать тебя, ибо кто же меньше меня надоедает тебе молитвами своими?

Этого я тебе не забуду и буду помнить всю жизнь и служить тебе буду, как до сих пор: в церковь также буду ходить как можно чаще, и денежки буду давать милым пасторским вдовушкам, о которых, Господи, ты заставляешь вспоминать во все великие праздники, ибо правая рука моя не знает, что делает левая. Сделай, о сделай все это, милостивый Боже! — Тут он вытащил носовой платок и начал якобы отирать слезы, хотя не было ни одной слезинки, ибо хотя за все время молитвы он и сильно гримасничал, стараясь заплакать, но ничего из этого не вышло, поэтому-то он и не поднимал глаз своих к небу, чтобы Господь не увидел, что они сухи, но отирался платочком, чтобы он думал, что слезы сыплются градом. Отершись, он сказал: — Ах ты, Господи, как легко стало на сердце после молитвы и слез! Ну ну! Что ты здесь что ли задумала остановиться?, крикнул он, дернув вожжами, на лошадь, надел шляпу и погнал по березовой аллее прямо в Слатово, надеясь на помощь Божию и на удачу, ибо если даже после такой сердечной молитвы Он не поможет, то впредь не стоит больше и молиться. Но это он думал лишь просебя, не высказывая вслух своих мыслей, ибо не хотел уже заранее опротивить Господу.



Кенц и Павул в тюрьме.

Кенц, только что заметив Павула, отступил вглубь камеры, где и присел на лавке. В глубине сердца он радовался тому, что Павул попал в петлю, так что на время забыл даже и собственную судьбу и начал радостно шептать: — Пусть только люди кричат, пусть кричат о Боге, но так справедливо, как Он, так сказать, никто не поступит, что и видно на примере Павула. Видишь, как Он видит мошенника и пути его! Всех таких надо бы ловить и сажать в тюрьму, чтобы они не смели искушать уважаемого батюшку-землемера. — Как я перед тем просил так и случилось. Видишь, как Он внимает молению верующего человека!

Павул совершенно даже и не знал, что в жилище этом есть уже обитатель, поэтому и держался так, как если бы был один. Он двинулся вглубь камеры, бормоча что-то под нос. Перейдя с более светлого места на более темное, он ничего не мог разглядеть, а потому и пробирался ощупью, пока рука его не коснулась тонкого носа Кенца. Вскрикнув, он отшатнулся. Кенц, который, хотя и радовался несчастью Павула, опомнявшись наконец и вспомнил, что и сам он находится в той же западне и попал туда раньше, нежели Павул, а потому и стеснялся оставить свое укромное место; не нравилось ему находиться вместе с Павулом в одной тюрьме; но не потому однако, что Павул, как он указывал на это Господу, был великим грешником, но потому, что Павул мог разболтать об этом и тем самым повредить его честному имени. Поэтому Кенц не ответил на крик Павула, но лишь слегка кашлянул. Но Павула это не успокоило и он воскликнул: — Если ты добрый человек, тогда говори, иначе пусть чорт тебя возьмет! — и снова начал ощупывать руками перед собой, стараясь схватить Кенца за грудь. Кенц вероятно понял, что укрыться будет невозможно, поэтому ответил: — Это я, батенька; разве ты меня не узнаешь?

— Ах, чтоб тебя, Кенц! — пробормотал Павул, отворачиваясь и плюнул; затем он отступил назад, прижался к стене и начал сопеть, ибо и ему не нравилось, что Кенц знает, что с ним случилось.

Доброе времечко прошло, пока в тюрьме не было слышно ничего, кроме сопения Павула. Кенц хорошо знал Павула, а поэтому знал

и то, что пока тот спит, разговаривать с ним невозможно, ибо ответа от него дожидаться было нельзя, а если к нему обращались с настоятельной просьбой о том, чтобы он говорил, то Павул просто уходил. Но на этот раз Павул был с Кенцем в таком месте, откуда уйти было невозможно, поэтому Кенц решил воспользоваться случаем, чтобы обратиться к Павулу, в точности так, как он слышал о работе миссионеров по обращению язычников. Подумав некоторое время, он начал говорить: — Да, да, батенька, истинно то, о чем говорят отцы, что никто еще не родился ученым, ни, как сказать, умер умным, а есть то человеку будет хотеться так и так, как бы умнее он не был. Истинно, что жизнь человеческая так же шестра, как живот дятла. — Скажи, брат Павул, видел ли ты, чтобы какой-нибудь старый человек умирал таким же, как он родился? Можешь, так сказать, взять цель лишь за зубы да за волосы; у одного голова, как говорит пророк, гола как дно горшка, а у другого рот полон зубов. Разве все дети бывают одинаковы, когда рождаются? У одного может пропасть весь котел с мылом, но разве другой побежит из-за этого, так сказать, в лес? Вспомни сам, брат, как не везло тебе с женьитьбой, когда ты целую осень проездил кругом да около, но разве по этой причине ты махнул рукой на это дело и разве по этой причине ты теперь, слава Богу, бездетен? У меня подохла собака в такое время, когда шкура никуда не годится, но разве потому лишь я теперь без собаки? Разве ты думаешь, что тебе не было бы лучше, если бы тебе три дня пришлось жить во чреве китове, как Ионе, нежели теперь в пустой тюрьме? Разве, так сказать, милый половинщик, ты хотел, чтобы крест тебя нес? Это паренек не удастся! Вспомни лишь те времена, когда картофель начал гнить, разве тогда не были хлебные годы? И разве тогда, когда сено подмыли воды, не лезли раки на берег? Цыган, надул меня так сказать, в одно лето два раза на мене молодой кобылы да гнедого, но разве с того времени цыган здесь показывался? И тебя, Павул, не забыл Господь вернуть с пути греховного, ибо собственными силами ты, так сказать, здесь бы не очутился.

Теперь Кенц прислушался, не прекратилось ли сопение Павула, потому что из этого можно было заключить, что слова его проникли в сердце его половинщика; но Павул сопел как вейлка, поэтому Кенц понял, что последнему надо поддать иного жара, что и сделал.

Павул! Павул! что ты сумасшедший или недоумок? Разве ты не знаешь, что безтолковым только и проповедуется благая весть? Или ты думаешь упереться, так сказать, в косяки дверей ада, так же, как

в косяки дверей Слатовской тюрьмы и держаться за них, так сказать, пока кальсоны треснут? У чертей когти-то не таковы, как у слатовских служащих, если уж ты им попадешься в лапы, то, так сказать, новый полушубок твой сразу будет в дырах! Павул! — глухой половинщик! разве, так сказать, одне печенки лишь в груди твоей, что ты так ужасно соннишь? Что ты думаешь делать на небесах без души? Там, где все будут петь, там ты, батенька, с одним сопением далеко не уедешь! Павул, любовь сердца моего! неужели, так сказать, глаза твои из бедряной кости и сердце твое из необожженного известняка, что совершенно не отзываешься?

Тут Кенц вновь прислушался и заметил, что сопение действительно прекратилось, поэтому он начал размягчать сердце Павула жалобным голосом, временами поплакивая, будто после бури и снежной метели наступила оттепель. — Брат, брат, батенька! сердечно любимый мной, батенька! снесут нас, так сказать, на небо ангелы, серафимы с херувимами, как тюки выбеленного полотна! Туда мы улетим как белые пташечки, когда мы так закалены в печи греховной. Там мы будем ходить, так сказать, с пальмовыми свечами в руках и со ржаными венками на головах, как невесты на небесной свадьбе. Там не будет ни похмели, ни разлуки, ни драки, ни другой какой заразы. Там мы будем радоваться такой радостью, которой нет конца ни на одном конце, ни на другом. Так сказать, я освобожусь от второй жены своей и встречу с первой, проливая слезы славы и истины. Да и к тебе, Павул не явится больше никакой судебный пристав, так сказать, чтобы сделать опись имущества, когда не сможешь уплатить подушной подати. Дома там будут из золотых кирпичей с потолками жемчужного дерева. Дети радостно будут бежать навстречу, ликуя, что не надо рано вставать и выгонять скот на пастбище и морозить ножки. Там не будет ни дыма, ни зимней вьюги, но лишь, так сказать, белые оджды и кожаный пояс на чреслах твоих. К этой радости готовимся мы с Павулом в этот момент. Господи, Ты, который выпиваешь радугой, так сказать, колодцы и наполняешь источники до краев, разве ты можешь доказать, что Павул иногда, так сказать, по воскресеньям проводил время со мною и за то не брать его на небо? Один без него я на небеса не пойду, этого ты и не воображай себе! Разве ты слышал когда-нибудь, чтобы Павул отказал кому-нибудь в помощи? Да и кто кроме него переносил для других так много мешков на мельнице? Разве мы говорили друг про друга, что мы, так сказать, крадем дрова, и разве Павул когда-нибудь не сознался, будучи пойман на месте преступления? Скажи, Господи, ка-

кую вину предъявляешь ты такому женскому сердцу, каково оно теперь у Павула, что ты не желаешь взять его на небеса? Разве ты думаешь, что, так сказать, Павул так неверующ, как кажется? Хотя Павул и сопел, но разве Саул не сопел? Если бы я не верил, что Ты примешь Павула на небеса, разве я молился бы за него? У кого, так сказать, слезы так крупны как у Павула, когда он только хочет плакать? Вот что еще, Господи, — Павул не переносит жары в бане, и, не успеют поддать пара, как он уже слезает с лавы, что же он будет делать в аду? Возьми же, Господи, Ты Павула, как невесту на свадьбу небесную, чтобы он не болтался более на кустарнике мирских бед и горя, как баран Авраама на рогах своих; но если, Господи, ты и теперь еще пропустишь удобный момент и не призовешь к себе Павула, то не вини меня впредь.

Под конец Кенц говорил все жалобнее, протяжнее и излагал все почти нараспев, и когда окончил речь или молитву свою, то тотчас же начал петь: — Это действительно то последнее время и т. д. — Первую строфу он пропел еще один, но ко второй строфе присоединил уже свой голос и Павул, который все креп и наконец стал даже даже громче голоса Кенца. Когда песня была пропета, Кенц прочел еще все слова благословения и отпуска, какие были ему известны, окончив словами седьмой заповеди. После этого он отер глаза платком, пригласил Павула сесть с ним рядом, отер и ему глаза, спрашивая ласковым голосом: — Что же поймал ты своего теленка, который вчера сбежал у тебя? Я тоже хотел было бежать помогать, но тогда только его и заметил, когда он был уже за воротами. — Авось, придет домой и сам, — ответил Павул; — а ты не слышал, журавли уже прилетели? — надо бы начинать святить рождь.

— Журавлей-то я еще не слышал, но и время сева тоже еще не настало, — ответил Кенц: — потому что у жучьих деток, как я вчера видел, только еще средние ножки.

— Ну тогда придется обождать, пока приснится какой-нибудь сон, — сказал Павул.

Брусничный венок.

Все полюбили ее, и я также. Она только что расцвела во всей своей девичьей красе. Блестящие каштанового цвета косы, было первое, что нравилось парням. А затем также и лицо, глаза, груди, руки... Вся ее наружность была привлекательна. И она полюбила самого хилого, самого бедного—меня. Это было непонятно и невероятно для меня. Я дрожал от счастья, исчах, побледнел, я мог жить впроголодь, и все это из-за любви к ней, но я терялся тотчас же, как только замечал устремленный на меня взгляд ее, который ясно говорил: «Целуй меня, я хочу тебя!» Я избегал ее, насколько только мог. Но вдали от нее меня охватывала невыразимая тоска по ней, хотелось видеть и слышать ее. Снова искал я ее близости, и снова бежал...

В таких мучениях я провел много дней, совершенно обезсилел и отец с матерью начали беспокоиться обо мне.

Говорить-то мне они ничего не говорили, да и я молчал. И сладко-печальны были те вечера, когда мы тихо сидели все вместе, прислушиваясь к монотонному пению сверчка.

Сотни раз принимал я решение: пойти и все ей рассказать. Но я боялся, что слова мои развеют всю прелесть очаровательных мечтаний, слова мои, которые ведь ничего не могли выразить из всего того, что я чувствовал.

Давно я уже слышал, да и много читал про любовь. Давно знал, что на пути любви становятся самые разнообразные препятствия, что она захватывает человека целиком, мучит его и наконец окончивается, исчезает, и остаются лишь упреки, разочарование, остается одна лишь пустота... Я чувствовал, что все переменялось во мне. Что мне раньше нравилось, то теперь стало безразличным, даже противным. Я искал чего-то нового, совершенно другие вещи начали увлекать меня.

Раньше я любил цветы. Роза-ли, резеда-ли, другой-ли какой-нибудь цветок, если он только обладает приятным запахом, то уже мог надеяться на мою дружбу. Но теперь я начал эти цветы ненавидеть, эти непостоянные, слабые цветы, которые сегодня цветут, а завтра увядают, которые сегодня украшаются как королевы, а завтра смятые валяются под забором.

Я начал искать нечто, совершенно иное. Больше всего мне нравилась брусника, мелкое, маленькое, хорошо всем известное лесное растение — с темно-зелеными блестящими листиками и светло-красными ягодами. Часами я мог просиживать на пне, любуясь и лаская эти кустики, показывавшие мне сероватые нижние поверхности листочков своих, эти листочки были тверды и гладки, но они выдерживали морозы, дожди и бури, они зеленели и зеленели.

Мало, мало в мире таких растений. Вот почему я ценил бруснику, вот почему я о ней всегда и думал.

Ах, как был великолепен наш лес! Там сосны шумели могучие песни свои, там песни пели про истину, которая изгнана из человеческих жилищ и обитает лишь в лесу среди зверей да птиц. Там парочками летали мотыльки, там блестела паутина, как запутавшиеся в ветвях, и порванные шелковые русалочьи волосы, там рябой дятел смело стучал в сосновую грудь, ожидая, чтобы открылась она и он мог бы положить туда яйца и высидеть их. Там было все, о чем с таким удовольствием поем мы, когда забываем свою хилую и подлую жизнь.

Мой дедовский лес! Может быть и преувеличено мое желание покоиться раз не на кладбище среди мертвых, а здесь в глуши лесной, под живыми деревьями, которые я так любил и щадил, никогда не употребляя в дело маленького топорика, который подарил мне дед мой. Как счастлив мог быть покой там, где я испытал все муки первой любви! И шишечки падали бы на мою могилу, а там и хвоя и веточки, пока могильный холм не сравнялся бы с землею, пока не осталось бы ни малейшего знака указывающего на то, что там зарыт человек, и моя милая брусника одна росла бы и зеленела над прахом моим. Отчизна моя! Земля отцов моих! ах, как я хотел бы упасть на колени на тебя, врыться в тебя глубоко, глубоко руками своими, вырвать кусок из тебя и прижать к груди своей, так безумно я люблю тебя! Долго, долго я этого не хотел никому говорить, ибо чувство любви обычно не разглашают, но, видишь ли, я на чужбине, на чужой земле чувствую, что она не для меня, не для покоя моего, после долгих, никому неизвестных мучений, что потому я не могу лечь в землю и отдохнуть, что я оставил тебя, моя милая, милая отчизна! И вот брожу я, присаживаюсь, размышляю и снова брожу... И постоянно вечность предо мною, постоянно вечность за мною и надо мною, но время и место не удерживают меня, потому, что я покинул тебя, безценный отчий дом, тебя, папочка и милая мамочка!

Время сурово ко мне, оно угрожает мне, потому что вас я, милые, оставил.

Но я знаю, вы на меня не сердитесь, вы меня любите, и простите мне, хотя вы и знаете, почему я вас покинул и ушел? Вы не знаете, почему я вас покинул и ушел? Вы не знаете, что ее богатый отец купил ваш дом, чтобы выжить нас. Вы были стары, я болен и вы отдали свои арендные годы за те сотни, которые обеспечили вам по крайней мере хижинку до конца дней ваших. Но те сотни... ах, они то уж не виноваты, виновен я один, а может быть и никто...

Так тому уже нужно было быть.

Она была дочерью арендатора фольварка. Я тогда только что окончил гимназию, и отец уже гордился мною, как вдруг я заболел. В деревне все такие болезни, когда молодой человек становится хилым и бледным, обычно называют «чахоткой». И все говорили, что у меня «чахотка», хотя теперь с того времени прошло уже лет двадцать, и о чехотке не может быть даже и речи. Это была иная болезнь, более ужасная, более безжалостная, нежели чахотка — любовь.

Арендатор жил с нами соседству. И мне, как будущему студенту, было легко сойтись с его семьей, и это было тем легче, что в каникулярное время я подготавливал его сына к поступлению в городское училище. Каждый день я шел туда с трепещущим сердцем, не уроки были тому виною нет, сестра моего ученика была той, кем увлекался я. Я всегда имел обыкновение ходить туда часов в девять утра. Тогда она уже сидела на веранде и вязала или же стояла где-нибудь в саду у цветов. Она наклоняла легко голову, отвечая на мое приветствие, приветливо взглядывала на меня и затем спешила к металлическому гонгу, звуками которого звала домой Олгерта, у которого не было большого врага на свете, нежели математика и латинская грамматика.

Бывали однако дни, когда Олгерта нельзя было дозваться на уроки. Злая судьба уводила его или на мельницу или же еще дальше — на луга, что для учителя было настоящим удовольствием, он мог вдоволь наговориться с барышней.

Но разговоры эти как то не вязались. Почти после каждого предложения наступала временная тишина, затем произносилась какая нибудь хорошо продуманная фраза, затем покраснение чуть ли не до ушей и снова тишина. Тогда она обычно боязливо оглядывалась по сторонам, как бы ища помощи. И все же иногда разговор наш оживлялся и становился даже интересным. Это происходило тогда,

когда мы друг друга, не хотя, немного обижали. Тогда она говорила что-нибудь совершенно невинное, но однако очень близкое к истине. Больше всего ее обидело мое утверждение, что молодая, невинная девушка совершенно не может судить о жизни, что только личные переживания человека учат правильно судить о ней.

«Наша мудрость не велика», ответила она, «умом и мудростью своей мы не постигаем всех широт и глубин, но что мы постигаем, то, ту самую малость, и удерживаем, остаемся верными ей, охотно переносим страдания и жертвуем собою ради нее. Это похоже на хвастовство, на самохвальство, но вы же сами вынудили меня высказать это».

«Но что же могла бы представлять собой эта малость?» наивно спросил я.

Румянец эта девичья краса то вспыхивал, то потухал. «Это, я думаю, может знать и понять только женщина», проговорила она наконец, вы строгие, безжалостные мужчины, вы слишком далеко стоите от этой малости, чтобы ее заметить и увидеть. У нас свои пути, про которые вы всегда смеетесь. И если бы вы, мужчины, не обижали нас, не огорчали смертельно, то и мы никогда бы вас ни в чем не упрекали и не осуждали. Шиллер также говорит: («Нихт стренге легте Готт инс вейхе Герц дес Вайбес!»)

«Но вы, барышня, совершенно не знаете всех женщин, есть между ними и такие, о каких говорите вы, но есть и иные. Почему вы хотите провести такую строгую границу между мужчиной и женщиной. Нам нужно было бы больше подружиться, поближе сойтись, пока еще не поздно. Борьба за существование, труды и заботы как дома, так и вне его разлучили мужчину и женщину. Общими силами мы должны бороться со властью этих обстоятельств, мы должны заполнить эту огромную трещину, которая нас разделяет, мы должны возстановить дружбу, которая может быть когда-либо царила между обоими полами. Тогда в жизни было бы меньше разногласий и несчастий.»

«Дружба? Я по крайней мере не могла бы быть подругой ни одного мужчины. Все они странные, да и чувствуют иначе. Вся их жизнь странная. Я вижу, что из дружбы там ничего не может выйти. И почему вы стараетесь доставить жизни так много постоянного счастья? Она стала бы действительно скучной, а вместе с ней и счастье. Его же нельзя упорядочить, установить, оно не повинуется человеческим приказам. Вы желаете механического счастья, которое было бы подобно заведенным часам, кои постоянно тикают и в известный момент заставляют куковать свою кукушку. Я хотела бы

счастья сразу же огромного и сильного, а затем мне все равно, могло бы придти и несчастье, лишь бы один единственный раз испытать настоящее счастье. Но на эту тему мне не нравится говорить. Высказанные мысли уже не так милы, выраженные чувства уже не так святы, как раньше.»

Я был согласен с ней. Зачем разбирать женщину, которая еще так невинна? Зачем мучить ее критикой жизни и пугать преждевременно. С переиспытавшей женщиной легко рассуждать, с ней можно и много о чем поговорить, если только она пускается в разговоры, но невинная девушка недоступна для разговоров, когда она еще на многое надеется, пока она еще не любила.

Мы снова умолкли.

«Может быть вам, м-лле Ливия, мои разговоры невыносимы? Может быть я сам...»

«Вы? нет, вы никогда...»

Она повернула голову в сторону окон веранды, так сказать, укрылась, очевидно мой вопрос взволновал ее. Да и как я мог так спросить? Она встала и стояла предо мной во всей своей красе. Ее фигура была безупречна, можно сказать, прекрасна, совершенна, а толстые косы свисали ниже пояса. Как охотно я обнял бы ее, держал бы ее руку в своей и даже может быть поцеловал бы ее. Сколько было бы в этом греха, не знаю. Все же обычно так делают, кто любит, и любовь требует этого. Она требует, чтобы один приближался к другому, пока почувствует на щеке горячее дыхание его, пока прижавшись друг к другу почувствуют, что они совершенно принадлежат один другому. Но я не смел и думать об этом, я ее слишком любил, чтобы коснуться, обидеть. Все это должно было произойти нечаянно...

«Скоро-ли вы уедете?» тихо спросила Ливия, «в какой университет поступите?»

Я назвал Москву. Сказал, что хочу стать филологом.

«Так вы хотите объединить смешавшиеся языки человечества? Но удастся ли вам это?»

Нет, я хочу работать... хочу позднее зарабатывать, но делать это, как образованный человек, ибо, видите-ли так, как теперь, на полдороге, я—ни то, ни се. Может быть некоторое время я буду домашним учителем. Отцу-то ведь живется нелегко...»

«Я очень хорошо знаю вашего отца. Я говорила с ним. Он очень беспокоится о вашем здоровье.»

«Я же совершенно не болен. В молодости есть один период, когда приходится немного прихварывать. Но это пройдет, скоро пройдет. Отец слишком уж заботится обо мне...»

«Там подъехал новый лесничий. Он наверное не знает, что отец уехал в город...»

Ливия забеспокоилась. Лесничий, молодой, стройный мужчина, шел мимо цветущих клумб; на голове его была зеленая шляпа с пером. Ливия пошла ему навстречу до ступенек лестницы.

«Моего отца, к сожалению, нет дома...»

«Но вы же, барышня, позвольте мне немного передохнуть, если только я вам не мешаю? Ах, там еще один господин, вероятно ваш двоюродный брат, не так ли, барышня!»

«Нет, этот господин наш сосед. Он был так любезен, что взялся готовить моего брата к экзаменам. Но этот маленький проказник как в воду канул...»

Мы познакомились. Лесничий был приятный мужчина, добродушный и веселый, но его чрезмерная любезность к Ливии мне не нравилась, и я с первой же минуты стал невыразимо ревнив. Ливия же была с ним очень любезна, много любезнее, нежели со мной. Через непродолжительное время я хотел было попрощаться. Ливия как будто бы смешалась.

«Я думала, что вы подождете, пока вернется Олгерт. Но это было бы слишком, требовать от вас, чтобы вы ожидали мальчугана.»

«И я был бы рад поближе с вами познакомиться. Хотя я и не мог бы обижаться на одиночество, особенно здесь, где так много работы, но все же лишнее приятное знакомство имеет значение. Я вспоминаю, что господин Вольф рассказывал мне про вас...» Он с добродушной хитрецей взглянул на меня и на Ливию, и затем попросил у нее разрешение закурить папиросу.

Очевидно этот господин совершенно не боялся моей конкуренции, он смотрел на меня, как на мальчика. Я неловко, молча простился. Когда я был уже на лестнице, Ливия еще сказала:

«Но вы же завтра во всяком случае нас посетите. Завтра и отец будет дома, да и мама сегодня придет уже с крестной. Извините пожалуйста беззаботность Олгерта, и будьте любезны завтра зайти.»

Я ушел в ужасном беспокойстве. И отца с матерью нашел не менее взволнованными.

Арендатор предложил им тысячу шестьсот рублей за те восемь лет, которые по контракту они должны были бы еще прожить в этом

доме. И отец с матерью были готовы принять это предложение.

«Что же арендатор думает делать?» спросил я.

«Он хочет расширить свое хозяйство!»

Это все, что отец мог мне сказать.

Итак нужно уйти, и уже осенью, уйти и забыть все мечты.

На другой день в обычное время я явился в фольварк. Там были гости, и весь дом был торжественно разукрашен.

Сама хозяйка была любезна, хозяин же немного дулся на меня. Олгерг едва поздоровавшись, поспешил в сад. Там стояла Ливия с лесничим.

«Неужели же они помолвлены?» подумал я, и ноги мои начали подкашиваться.

Старые дамы покинули веранду. Арендатор предложил мне спросу и затем деловым тоном начал: тб жб жб

«Я прошу вас постараться понять меня надлежащим образом. Я признаю ваше доброе желание и старания, которые вы приложили, помогая моему сыну, однако не могу утверждать, что бы вам удалось стать для моего сына авторитетом. Олгерг не для вас и вы не для него. Я прошу вас сказать мне, сколько я вам должен!»

«Ничего», коротко и почти сердито ответил я, «я по совести работал с вашим сыном. Если же он вовремя не является на уроки, то в этом я не виноват».

«Так!» произнес арендатор, «вы, как видно, хотите читать мне мораль. Нет, уважаемый, этого я вам не позволю». Понимаете?

«К сожалению, я принужден это понять!» Я встал и поклонился.

«Сколько вам следует за уроки?» спросил арендатор, очевидно, радуясь, что я готов уйти.

«Сумма вам хорошо известна. Я прошу внести ее в волостную кассу для бедных. Ибо за свою работу, в которой вы хотите мне отказать, я не желаю от вас брать никакой платы!»

«Ах, я понимаю, вы спекулировали на иную плату. Нет, молодой человек, там вы ошиблись в расчете. Не зазнавайтесь, вот, получите свое жалование, оно вам пригодится, ибо ваш старый отец не какой-нибудь богатей!»

Он положил пятьдесят рублей на стол, но я не взял их.

Держа фуражку в руках, я стоял у лестницы.

«Кого вы еще ожидаете?» спросил арендатор.

«Вы же позволите мне проститься с дамами и с Олгергом. Так уйти — это было бы неприлично...»

Сердце мое сжалось. Там шла Ливия. Она опередила лесничего, взбежала по ступенькам и схватила мою руку... «Вы не знаете, что у меня сегодня праздник, день моего рождения. Поэтому-то я так и нарядилась, совсем как городская дама. Сегодня я заправляю всем домом, поэтому, честь имею пригласить вас на чашку шоколада!»

«Благодарю вас, м-лле, но к сожалению...» я умолю, и Ливия побледнела.

Она смотрела на отца, на деньги, которые лежали на столе, видела, что я взволнован, с фуражкой в руках, и кажется для нее все стало ясно.

«Папа, милый папа!» обратилась она к нему, «что это значит?»

«У нас с этим господином вышло разногласие. И он хотел еще только проститься!»

«Папа, я же господина Вискну уже вчера пригласила...»

Арендатор строго взглянул на Ливию, взял лесничего за плечо и почтительно втолкнул его в дом.

«Молодой человек еще незнаком с жизнью, поэтому то и так неосторожен...» выходя, добавил он.

«Мадемуазель», я говорил и дрожал, прошу, извиниться за меня перед дамами. Я принужден уйти...»

Она так мило посмотрела на меня, что я почувствовал все неприятности как бы затушеванными.

«Будьте счастливы, м-лле, передайте привет Олгерту...» Я пожал ее руку, и она как бессильная осталась в моей. Ливию звали. Я не хотел сделать ее положение еще более неприятным и поспешил уйти. Полураспустившийся бутон розы, бывший в ее руке, остался в моей. Я чувствовал, что он был горяч, что он горел в моей руке. Отец Ливии был прав. Как смел я надеяться на ее любовь, когда я был еще ничто, без положения, без места, юноша, почти еще мальчик. Я же своей неспособностью жить, своей бедностью только испорчу ее, эту милую, прекрасную девушку, которую все так уважали и любили. Мне уже давно следовало осознать это и постараться, чтобы она была счастлива, а не сводить ее с пути. Куда бы она пошла со мной, и что бы она у меня делала? Ей нужно было бы погибнуть вместе со мной. И по дороге домой я вспомнил трагические строфы Мендельсона:

Да, да и затем:

«Ес фил айн Рейф ин дер Фрюйлингснахт» и в конце концов лина шумит над могилой несчастной. Да, действительно, так было лучше, оставить ее радоваться и не втягивать в жизнь полную горя!

Это были тяжелые дни и ночи, которые мне пришлось пережить. Я не мог удержаться от слез, забыл даже на пару дней лес и бруснику.

«Что с тобой случилось, сынок?» спросила мать.

Я не промолвил ни слова.

И отец в свою очередь также меня спрашивал. Но ни слова нельзя было из меня вытянуть. Я решил поехать к одному из своих товарищей, попробовать окунуться в водоворот жизни и забыть все, что было. Я уже было готов отправиться в путь-дорогу, когда мать сказала, что какая-то женщина хочет со мной говорить.

«Чего же эта добрая женщина от меня хочет?» Мать ничего не могла сказать. Она, дескать, сидит на дворе, таинственная какая-то, улыбается, но ничего не говорит. Как, кажется, она вероятно из фольварка, сестра садовницы, но ручаться за это мать не могла.

«Ну пусть заходит», сказал я матери, «а вы нас не тревожьте, если она хочет поговорить лично со мной». Мать тотчас же постаралась угодить мне. И старушка вошла с веселой миной на лице, огляделась вокруг, как бы боясь, не видит-ли и не слышит-ли кто-нибудь.

«Здесь никого нет, кроме нас двоих! Ну, мамаша что же ты хотела рассказать мне?»

«Тут молодой человек, для вас одна грамотка. Это ваша... наша уважаемая барышня ее вам посылает...» И дрожащей рукой, с величайшей самоуверенностью она подала мне пакетик, завернутый в бумагу и перевязанный крест на крест шелковой ленточкой.

«Дай Бог вам счастья», счастливо шептала она, ах ты, Господи, уж такая добрая наша барышня, а как она о всех нас заботится. Мы все за нее Бога молим». «Хорошо, хорошо, мамаша, благодарю вас. Не говорите никому о том, что принесли мне грамотку. Еще раз спасибо вам, а теперь пойдите к моей матери и подождите, может быть я дам вам что-нибудь с собою!»

Старушка улыбнулась и вышла. Я же поспешно развязал ленточку. Это была моя собственная книга, роман Пантениуса «Ди фон Келлес». И между страницами, там где была песенка:

«Вер эйнен либен Булен хат, Дер маг мит им ух штербен!»

было вложено розовое письмо. Ливия писала мне письмо! Что же она хотела сказать мне. Некоторое время я боялся вскрыть конверт. Я его легонечко обнимал, держал, осматривал и снова клал на грудь, ибо я лежал в кровати. В кровати ведь переносятся все тяжелые болезни. Наконец я вскрыл розовый конверт. Затем как сквозь туман я прочел:

«Для меня Вы уже давно не являетесь «уважаемым господином», Вы для меня больше. Поэтому простите, что я пишу Вам эти строки без обычного обращения. Я хотела бы Вам что-то сказать, есть и слова для этого, но они излишни. Если возможно, то приходите в субботу вечером в лес, где речка отделяет землю моего отца от Вашей. Там, где огромная сосна, против большого камня в речном омуте, там я хотела бы с Вами встретиться.

Прошу ответить.

Это прочитывалось медленно, прочитывалось сотни раз. Ответ же был написан быстро и коротко:

«Я приду».

Старушка получила гостинец и заклеенный конверт. Она задумчиво покачала головой, как бы желая сказать: «Да, да, молодые-то думали так, но Бог знает, что скажут старые!» Я понял мысли старушки, но они не заботили меня. Она ушла, а я начал размышлять, что мне говорить с Ливией, и как с ней держать себя. Еще два дня, и затем я смогу хоть один раз вполне откровенно поговорить с ней, сказать ей, как сильно я люблю ее, но как хорошо было бы, если бы я мог Ливию забыть. Какой я жених, у меня ведь ничего не было. Да, там в конце концов ничего серьезного не могло выйти!

Но один лишь раз ее обнять, поцеловать, да, этого я хотел. Больше я ничего не желал. Эти два дня прошли как в лихорадке. Каждый час отделявший меня от Ливии был для меня проклятием. Ночью, только что заснув, я вновь просыпался и в страхе вскакивал с кровати, боясь, уж не проспал ли я и не опоздал-ли.

«Что сегодня за день?» спросил я отца.

«Пятница!» ответил он.

«Ты наверное это знаешь?»

«У крещенных пятница, это я знаю, а у жидов суббота!» пошутил отец. В пятницу вечером у меня так было на душе, как будто бы завтра вечером мне нужно было уже лежать в могиле. Голову ломило. Аппетита не было никакого. Я лежал в кровати одевшись, как бы готовый на все. Мать села на край моей кровати. Она взяла мои руки, осмотрела их и погладила.

«Совсем исхудали,» сказала она, «ты уж, сынок, до зимы не дотянешь.»

«Мамочка, боли бы было так!»

«Мамочка, не плачь! разве не лучше покониться под землей, нежели жить на ней бедняками? Чего папа, чего ты, мамочка, чего оба

вы достигли на этом свете! И чего я достигну? Разве все эти тяжелые дни, которые вы перенесли, мне нужно будет унаследовать?»

«Не говори так!» заплакала она.

«Нет сынок! ты не знаешь, как счастливо мы с отцом жили. Когда мы полюбили друг друга и сошлись вместе, тогда ничто не казалось нам трудным. Эти старые постройки мы ведь только вдвоем с ним возвели. Было трудно, но не слишком трудно. Мы все перенесли. Вместе мы радовались, вместе и горевали. Ну, а когда уже подошла старость, нет более ни доброй радости, ни горя. Все стало каким-то однообразным. Это — старость. Но в молодости мы были счастливы. Десять верст нас разделяли друг от друга, когда мы познакомились. Но каждый вечер, как бы тяжела не была работа, отец бывал у меня. За воротами, на опушке леса встречались мы, лил-ли дождь, сверкали-ли звезды. Всегда мы бывали счастливы. И когда нас повенчали, отец не прекращал гладить щеки мои, любить меня, и я его также! Свадьба то была без высоких гостей, без угощений, но была. И пиво было, ибо отец, как плотник, совершенно без гроша не сидел. И на гумне была приготовлена наша брачная постель. То была ясная, но свежая осенняя ночь. Впервые мы были так близко друг к другу, так что мне даже страшно стало, но отец так тепло меня обнял. «Я тебя согрею», сказал он, «если тебе холодно». Но мы не были созданы для чрезмерных любовных увлечений, мы были созданы для сурового труда, и на утро мы первыми поднялись, и гости, которые остались у нас ночевать, помогли нам вымолотить рожь. А когда ты родился, не было ни одного доктора. Последние снега стаяли, когда ты появился на свет Божий. Отца вызвали в имение на работу. Я осталась одна. Два раза в день заходила проведать меня соседка. Заходила одна, другая женщина. Я поднялась. А ты плакал здоровехонек. А сколько ночей мне пришлось не спать, а на утро на работу. Однако ни отец, ни я, никогда мы не упрекали друг друга. По-прежнему мы любили друг друга, пока сердце наше не угасло из-за старости и безделья. Но спроси, может-ли нас что-либо разлучить. Есть-ли такое богатство, такая сила на свете, которая могла бы развести нас, одного в одну сторону, а другого в другую? Это можно сделать лишь насильно. Но и тогда мысленно мы будем вместе. Но у тебя, сынок, не хватает сил бороться, не хватает сил любить, поэтому-то ты и чувствуешь себя одиноким и скучаешь. Я знаю и понимаю, что с тобой происходит. Тебе правится какая-нибудь девушка и у тебя не хватает духа завладеть ею. Тут нечего стыдиться. Это уже такой закон Господень, отыскать себе подругу, хотя ты еще

и молод. Но если ты нашел настоящую, то не упускай. Крепко возьми вожжи в руки, да и сам будь крепок. Это только я и могу тебе сказать. Но уже другие времена, другие люди, другая жизнь. Вы иначе любите, иначе и разговариваете. Но потому-то вам и не хватает счастья. Твердая воля и здоровое сердце, вот—основы счастья.»

«Да, мамочка, ваша кровь текла по правильному жизненному пути. Вы прожили жизнь, а наша кровь течет гонимая отчаянием и непостоянством. Мы сами должны справиться с собой, без образца, без повторений. Ваша любовь многое могла победить, наша же любовь становится бессильной потому что много больше хочет поднять и нести. Не легко сыну мужика стать баринном. И такому сыну мужика полюбить простую работницу трудно, даже невозможно, если бы даже он этого и хотел. Книги искушают человека более, нежели сам сатана. Книги перемешали сердца наши, мысли наши и чувства. От книг мы ждем своего счастья, но и своей гибели. По знакам книг ищем мы и любовь свою. Прочитав какую-нибудь книгу, мы находим, что так прекрасно, как там написано, прекраснее, нежели вообще в видимой жизни, и мы желаем устроиться по книге этой. Мы не в силах уничтожить того, что вошло в нас из науки и искусства. Это преображает нас, восхищает, сулит нам, обманывает нас, и мы не можем забыть прелестной песни, прекрасной картины, великой истины, всего того, что проповедают нам науки и искусство. Нам нужно прополсти под темной подворотней, чтобы войти в иную, новую жизнь. Этим объясняются наши, непонятые вами, родителями, страдания, наша непостоянная, неопределенная жизнь, наша неясная, несчастная любовь. Но, мамочка, однажды все выяснится, все станет понятным и ясным, вокруг чего люди ходят теперь, как во тьме»...

Затем оба мы замолчали. Я ясно видел, что мать не поняла меня, но она почувствовала, что у меня есть своя причина быть таким, каким я был.

Взором полным заботы посмотрела она на меня, погладила мои руки, вздохнула и вышла.

Я снова вытащил из кармана розовое письмо, снова читал его и перечитывал. Затем я его спрятал. Усталость охватила меня. Я заснул.

В субботу вечер был еще далеко, когда я был уже в лесу. Я осмотрел, сосну, большой камень и подумал, что из этой сосны выйдет достаточно досок для двух гробов, а из камня — достаточно материала для двух могильных камней, из брусники же много траурных венков.

С нечего делать я вырезал два креста на большой, седой сосне, глубоко, так что показалась белая кора. Затем я сел у сосны и начал смотреть на другую сторону, через реку, где находились владения арендатора. Она была так мила, что выбрала место свидания на земле моего отца. Хотела-ли она этим сказать, что я почитаю ее? Как она могла знать, что именно это место мне больше всего нравилось, где было так много брусники и каких-то белых лесных цветов, названия которых я не знаю.

Солнце зашло, и сердце мое начало биться сильнее. Сможет ли она прийти? Не наблюдаю ли за ней, не задерживаю ли? Не обдумала-ли она хорошенько всего и не передумала-ли? Прошел долгий час и лесная поросль уже погрузилась в сумерки, когда она мелькнула между деревьями. Она не спешила, но все же шла быстро. Приличие этого требовало. В черном платье я видел ее впервые, но такой прелесной еще никогда. Может быть мне это только так казалось. Что либо более белое и прекрасное, чем ее лицо и руки я не помню, чтобы я где либо и когда либо видел. Но вот она направилась прямо на меня. Я хотел поспешить к ней навстречу, но, заметив мое движение, она совсем побледнела.

Я снял фуражку, она выскользнула из рук на землю. Я оставил ее там и поспешил поцеловать ее руку. Она мне это разрешила. Она выглядела невыразимо нежной и любезной.

«Ну вот и я!» тихо проговорила она и смело посмотрела мне в глаза, «и вы меня ожидали!»

«И вы еще спрашиваете? я же не могу жить без вас. Я не могу и не могу забыть вас!»

«А вы хотели бы этого? вы хотели бы забыть меня, забыть совсем?»

«Совсем и вполне, вполне, ибо вы мучите меня образом своим.»

«Это ваше добровольное самомучительство. Видите, я люблю вас, я вам это говорю откровенно, и только затем я и пришла сюда.»

Я схватил руки ее, они были влажны! Нет, это ведь не сон. Это была Ливия, и я смел ее любить. Затем она обняла шею мою обоими руками и прижалась щекой к груди моей.

«Ты не являешься для меня каким-то высоким идеалом, ты не прекрасный и высокого происхождения герой, которого бы я боготворила, но я все же люблю тебя ради правды твоей», тихо и со слезами говорила она, «я долго боролась с собой, я в тиши высмеивала себя, я говорила себе: он не таков, чтобы сделать тебя радостной и счастливой, но все было напрасно. Я полюбила тебя я пришла к

тебе, делай меня счастливой или несчастной, только не гони меня прочь, ибо большей жертвы, нежели приношу я, ни одна девушка принести не может!»

«Ты говоришь, милая, только за правду мою ты полюбила меня! Тогда все пропало! Я и правда! там огромная разница, неизмеримое пространство! Я ищу правду, и все называют это сумасбродством и ради ее ты смеешь меня любить! Слишком, слишком ты мила мне, чтобы я мог тебя испортить...»

«Не говори так! радуйся, видишь, природа так прекрасна. Каждый червячок ползет к своему другу, а ты хочешь бежать от него. Нет, оставайся! Я знаю, как тебе трудно, но выдержи, будет лучше. Мой отец оскорбил тебя, он сделал это из-за отцовской любви ко мне. Лесничий ищет руки моей. Он достойный и симпатичный человек. Но почему я должна выйти именно за такого? Чтобы он содержал меня, чтобы возил меня кругом и показывал, как жену свою? Вся эта жизнь откормленных свиней не нравится мне. Если бы я не любила матери и отца, я уже давно была бы замужем. Свобода в труде, мыслях и чувствах, вот мой идеал!»

Я притянул ее к себе, поцеловал и сказал: «Ну, ты моя!»

«Да, твоя, если ты этого хочешь!» тихо промолвила она. Мы сели под сосной. Вечерняя зорька догарала еще в рассеянных по небосклону над лесом облаках. Внизу уже царили сумерки.

«Тебя в конце концов принудят выйти за лесничего!» после долгого молчания проговорил я.

«Не говори про это, прошу тебя, не говори! Свое обещание я сдержу». Она тесно прижалась ко мне, голову к голове, так долго сидели мы и молчали.

«Как прекрасно радовалась Ливия, «весь мир торжественно обнимает нас, как будто бы в церкви. А там, наверху, видишь, там уже мерцает звездочка. Это наша. Вокруг нее блестит маленький венчик, сияние славы. Я люблю смотреть на звезды, так мило, так сладко они мерцают.»

Я ласкал ее.

Ты знаешь «Царицу Савскую» оперу Голдмарка? просил я у ней.

«Нет, разве она так прелестна?»

«Очень. Но она и трагична. Царица Савская полюбила одного из рабов Соломона, Асада; встречалась с ним по ночам, днем же, в присутствии царя, ей стыдно было сознаться, что она любит раба и однажды, когда он попробовал приблизиться к ней, как любовник,

она крикнула: «Я не знаю тебя!» Асад удаленный царем, уходит в пустыню и умирает там под пальмой. Эта опера всегда потрясает меня до глубины души.

«Ты думаешь, что я та царица, а ты тот раб. Ночью я встречаюсь с тобой, а днем отрекаюсь от тебя! Разве не так, ведь ты это думаешь?»

«Да, я так думаю!»

«Не бойся я не оставлю тебя. Ты видишь, иначе я не была бы здесь!»

«И все же я предвижу что-то плохое. Но все равно. Для меня достаточно и того, что ты теперь, в этот момент принадлежишь мне. Моя счастливая ночь! Все страдания она вознаграждает, все горькие воспоминания заставляет забыть!»

Долго был поцелуй наш. Мы не говорили, мы чувствовали. А время было уже далеко за полночь, когда мы пошли домой. Я проводил Ливию до самых ворот усадьбы.

«Как бы только кто-нибудь не заметил», беспокоился я.

«Ничего, мне лишь бы только попасть в сад, тогда все будет хорошо. Я всегда имею обыкновение долго оставаться в саду. Сестра жены садовника выпустит меня. Я сказала ей, чтобы она меня ожидала. Это та самая, которая отнесла тебе письмо. Ну, спокойной ночи, милый!»

Я отошел немного и ждал на дороге, выпустит ли Ливию кто-либо в ворота. Она перебросила через забор камушек. Вскоре после этого ворота открылись и Ливия исчезла за ними. Это был последний раз, когда я ее видел.

Возвратившись домой безумно счастливым, я и предположить не мог, что произошло за это время в усадьбе. Когда Ливия отказала лесничему, арендатор строго спросил ее о причинах отказа от такой хорошей партии.

«Я люблю другого и выйду только за него!» твердо ответила она.

«И кого же?»

Правдивость Ливии открыла отцу ее мое имя. И он чуть не сошел с ума от гнева.

Все это позднее рассказала мне сестра садовницы, которая была прислугой у арендатора. Но прежде чем я спохватился и подумал, что там можно было бы сделать, было уже поздно.

Арендатор решил предпринять путешествие за границу и взял Ливию с собой. Она всячески пробовала уйти хотя бы на короткое

время, чтобы встретиться со мной, но ей это не удалось. Когда арендатор вернулся, все были опечалены тем, что Ливия была оставлена за границей. Письма, которые родители писали Ливии, на станцию отвозил сам арендатор. Таким важным считал он сокрытие местонахождения своей дочери. Я узнал лишь одно, что она находится в Генфе, в каком-то пансионе, под строгим надзором.

На что я надеялся, то и исполнилось. Ливия писала мне. Но несколько простых писем арендатор уже успел перехватить в волостном доме. Наконец Ливия догадалась и написала письмо какой-то подруге с тем, чтобы та частным образом доставило это письмо мне. Подруга так и сделала. Письмо было из какого-то пансиона в Генфе.

«Милый!

Прости, что я уехала не простившись. Меня принудили силой. Я не могу тебя забыть, не забывай меня и ты. Любовь, милый, это-ведь высшее в мире. И пусть все они делают, что им нравится, я буду повиноваться только ей. Пиши мне, расскажи, что пережил ты за это время. Поступил-ли ты в университет, или же так стесковался по мне, что потерял всякую надежду. Не отчаивайся, будь мужчиной. Я вернусь, как только это окажется возможным и если меня силой не прикуют к какому-либо хорошему мужу.

Я не плачу постоянно, иногда я и посмеюсь. Знаешь что, пришли мне листочек брусники из леса твоего отца, может быть один из тех, которые растут около той сены, около которой мы тогда сидели и мечтали о будущем. Вначале я думала, что сойду с ума. Но это понемногу прошло. Человек в конце концов ко всему привыкает. Я только боюсь, что не хорошая я, уж слишком легко я все перепошу?

Милый! Перед отъездом из дома я слышала, что мой отец откупил арендные права на дом ваш. Тогда значит вам придется скоро перебираться. Перед тем, как перебираться оттуда, напиши мне, где ты думаешь остаться и что думаешь делать. Напиши обо всем подробно, ибо я сгораю от нетерпения, узнать, что с тобой, что ты думаешь и не сердись-ли на меня. Да, мы, женщины, все же хуже, нежели я раньше пред-

пологала. Мне нужно было бы выцарапать глаза тем, кто усаживал меня на повозку рядом с отцом, чтобы увезти от тебя. Мне нужно было бы выпрыгнуть из вагона, чтобы поспешить к тебе, но, видишь, я приехала с отцом в Генф, где должна учиться французскому языку и хорошим манерам. Прости, что я оказалась не такой героиней, какой считала себя раньше. Я простая, обыкновенная девушка, которая недостойна тебя. Но любить тебя я продолжаю попрежнему, по вечерам я молюсь за тебя, за Ольгерта и за себя. Отца и мать исключила из молитв своих. Они отнеслись ко мне хуже, чем к преступнице. Ольгерт же наоборот очень плакал, когда я уезжала. Он так крепко обнял меня, что его пришлось оторвать от меня силой. Поэтому-то я и молюсь за него. Уже поздняя ночь. Пишу это письмо украдкой, не знаю только, как мне удастся бросить его в почтовый ящик, ибо все письма, дурные и хорошие проходят через строгую цензуру начальницы. Денег у меня нет ни пфенинга, все деньги депонированы у начальницы. Нет и марок. Но несмотря на все это, я однако надеюсь эти строки переслать тебе. Я перепишу их в нескольких экземплярах и пошлю тебе одно за другим, пока наконец одно из моих писем ты получишь. Будь счастлив, милый, целую тебя сотни раз. Будь здоров!

Твоя Ливия.»

Нехотя падали слезы мои на письмо Ливии. Я ей ответил, писал несколько раз, но ответа больше не получил. Вскоре родители мои переменили свое местожительство, я покинул их, уехав в Россию домашним учителем.

Время залечивает все раны, если не иначе, то смертью. Я остался жив, но как пуста моя жизнь!

Через двадцать лет я был снова однажды на своей родине. Арендатора там едва лишь помнят. Уже десять лет тому назад он уехал со своей семьей на чужбину. Меня никто более не помнил и не узнал. По делам службы мне нужно было проезжать мимо. Была уже ночь, когда почтальон, посвистывая, въехал в тот лес, который я однажды проходил, провожая в первый и в последний раз Ливию домой.

«Тихо», крикнул я вознице, «здесь ты не смеешь свистать, это — лес моего отца».

Он умолк, меня же охватило чувство ужасной боли. Все внутренности горели, сердце било как молотом, в голове же появилось прежнее давление, как двадцать лет тому назад.

«Придержи!» крикнул я, когда мы подъехали к мосту, под которым в детстве я играл голышами.

«Одолжи мне твой фонарик», попросил я у возницы. Он зажег фонарь и подал мне. С бьющимся сердцем вошел я в лес, держась вдоль берега речки. Вдруг сердце мое как бы прекратило биться. Там еще росла огромная, старая сосна. Я подошел к ней и осмотрел место, где я тогда, в молодости вырезал два креста. Они были едва заметны. Слезы полились из глаз моих ручьем. Я упал у сосны колени, как дурак, как ребенок я говорил: «Где ты теперь моя милая?» И мне показалось, что милая фигура ее онустилась рядом со мной на колени... Лошади ржали на дороге, и я быстро поднялся, нарвал брусники и завязал ее в носовой платок. Затем, бросив еще раз взгляд на милое место, я быстро направился к повозке.

«Трогай!» крикнул я, «поезжай так скоро, как можешь!»

Не знаю сам почему я это сказал. Лишь только я сел, как лошади понеслись во весь опор. Но мне казалось, что кто то-то как будто меня звал. В руках у меня был дорогой узелок с брусникой из леса моего отца... Из этой брусники, приехав домой, я сплел прелестный венок и повесил его на стене, над изголовьем моей кровати. Он ждет невесту, которая однажды возвратится. Может быть она придет еще, старая и морщинистая, но я все же мило обниму ее.

«Вот видишь, Ливия,» скажу я, «это венок из брусники, которая росла у большой сосны в лесу моего отца, где мы помолвились и поклялись в вечной любви друг к другу. Надень его на голову, любимая!»... Запыленный и высохший висит он там. Я же стал больным, хилым и состарился раньше времени. Невыносимы бессонные ночи мои. Проснувшись вдруг, я смотрю на брусничный венок на стене. В ночной тьме он, кажется, охвачен пламенем и пылает.

Далеко, далеко шумит родной лес. Я прислушиваюсь, как шумит он: я так живо помню шум его. И, кажется, из шума этого слышен голос.

Да, да, я скоро приду!

В тени смерти.

Юго-западный ветер продолжал дуть с прежней силой, и громадная глыба льда уплывала все дальше и дальше в море. На льдине находились четырнадцать рыбаков и пара лошадей. Рыбаки занимались устройством прорубей для ловли рыбы сетью, и не заметили, как лед, отколовшись, стал удаляться от берега, и только когда спасение было уже невозможно, они обратили внимание на случившееся с ними несчастье.

Одна из лошадей вдруг побежала к берегу. Карлуша, юноша лет шестнадцати, погнался за нею на другой лошади и настиг ее как раз там, откуда было видно, что льдина удаляется от берега. Мальчик моментально вернулся назад к товарищам и объявил им о происшедшем, но когда они подбежали к краю льдины, то увидели, что не было уже никакой надежды доплыть до берега. Юрий Скаре, которого дома ждали жена и трое детей, не будучи в состоянии побороть отчаяние, на глазах товарищей прыгнул в воду, но, не доплыв до берега, пошел ко дну. С того момента прошло уже несколько часов, а льдина плыла все дальше и дальше, и движение ее было так же незаметно, как вначале.

Бледность, вызванная первыми минутами испуга, исчезла, но все рыбаки были угнетены лица их вытянулись, брови болезненно сморщились, а в глазах всех дрожал и бегал огонек, говоривший о скрытом отчаянии.

Все они знали, что с каждой минутой все более и более отдаляются не только от берега, но и от жизни. Рыбаки разбились на группы и тихо разговаривали. Вокруг Карлуши стояли более молодые и неженатые: Гулбис, Биркенбаум и Янис Далда, все на вид такие здоровые и высокие. Мальчик еще раз рассказал им, как он ехал и бежал, и как далеко уже, на глазмер, была льдина, когда он заметил несчастье.

— Разве ты тогда не мог бы еще доплыть до берега? — спросил его Биркенбаум.

— Думаю, что мог бы, — ответил мальчик. — Положим, что вода-то холодная, но думаю, что мог бы.

— Жаль, если бы ты знал, что напрасно... что мы все равно... тогда уж было бы лучше, если бы ты попробовал...

— А может быть вышло бы, как со Скаре, — сказал Янис Дауда.

— Да, может быть... Но я-то думаю, что вышло бы хорошо, — вздохнул мальчик. — Если бы скинуть полшубок, да собраться с духом...

И глаза Кардуши наполнились слезами.

— Ну, ну, не говори пока еще ничего, авось, все будет хорошо, — успокаивал его Биркенбаум. — Ветер переменится, люди выйдут нас искать. Не говори ничего. Мальчик быстро провел ладонью по выпалым щекам и ответил: — Я и не говорю ничего.

В стороне от этой группы стоял высокий, сухой старик с темной, окладистой, рыжей бородой и цыганским носом. Он неподвижно смотрел на стоявшего перед ним сторбленного мужчину со сложенными за спиной руками, который на вид был не многим моложе старика. Это были Цыбук и сын его Лудис.

Женатые молодые мужчины случайно образовали отдельную группу: там были высокий красавец Гринтал, сутулый Скалан с толстыми и красными щеками, бледный, ласковый Скрастинь и плечистый Силис.

Старый Далда разговаривал с пожилым холостиком Стуре, а Залга и Гурным стояли каждый особо.

В группе женатых выделялся Гринман как своим голосом, так и смелым поведением. Он говорил почти один, сам задавал вопросы, сам же на них отвечал, и взоры всех были обращены на него.

— Ну много-много, если мы проплаваем так дня два-три, — сказал он таким убедительным тоном, как если бы находился на судне и был его капитаном, — дня два-три. А если даже на день больше... нам хватит той рыбы, которая у Залги на возу, а если не хватит, то возьмем лошадь.

— Да, — подтвердил Скрастинь, выжимая улыбку на своем бледном, ласковом лице. — Возьмем лошадь, у лошади говорят, сладкое мясо.

Красивые губы сутолого Скалана стянулись в презрительную гримасу, на лице же Силиса появилось отвращение.

— Ну, да мы ведь еще не едим, — посмеивался над ним Гринтал.

— А когда будем есть, то он первый же попросит себе самый большой кусок, — сказал Скрастинь. — Или ты, Силис, может быть согласишься уступить мне свою долю?...

— Чего там уступать, или не уступать — нехотя ответил Силис.
— Коли надо будет есть — так будем есть. Подобного случая давно не бывало. Три года тому назад из Яшбурка, или откуда-то там ушло рыбаков в море, — так они через три дня попали снова на берег.

— Да — подтвердил Гринтал. — А я в прошлом году такое же известие читал в газетах с о. Эзеля. И потом здесь же, вдоль берега Курземе, случались подобные вещи, только в нашей окрестности об этом не приходилось слышать.

— А мой отец рассказывал про такой случай, — сказал старый Далда, обращаясь к группе. — Не помню уж более, было-ли тогда девять, десять или одиннадцать человек, но только все они пропали.

— Пропали? — повторил Скрастинь. — Пропали?

— Да, пропали, — тихо повторил старик, и взгляд его полнотухших, покрасневших глаз ушел на сына Яна. Все притихли, и никто не смотрел в глаза другому, ибо в несчастии люди так же стыдятся, как и при большом позоре.

— Ну, — сказал Гринтал немного спустя, — неужто и с нами так случится? Я этому не верю. Мне кажется, что все это... все это... как бы это сказать... будет только несколько опасной прогулкой по морю. В первую минуту и я испытал жуткое чувство... шутка ли... но теперь... подумайте только... ведь нас четырнадцать человек, из коих восемь как на подбор. Неужто мы пропадем? Этого быть не может. Сильный, глубокий голос Гринтала звучал так убедительно, что лица их немного прояснились. Хотя словам его никто не верил, и все прекрасно понимали, что ни молодость, ни сила не в состоянии противостоять судьбе, но все-таки всем было приятно слышать этот мужественный голос, который так решительно говорил о том, на что сердце каждого трепетно надеялось.

— Этого быть не может, — повторил Гринтал еще раз. — У меня дома жена каждый раз видит что-нибудь во сне, если предстоит какое-нибудь несчастье... Нет без шуток... А сегодня утром она мне ничего не говорила. Посмотрите только на Биркенбаума: да ради одного такого, как он, — Бог пожалел бы нас, да и остальные чего-нибудь стоят!

Биркенбаум сложил губы в ласковую улыбку, поглядывая то на одного, то на другого. Глаза его были удивительно ясны и ласковы, как у ребенка, а посредине красных щек виднелись беловатые пятнышки, как будто бы кто-нибудь насыпал там весеннюю пыль, бе-

лых цветов. Все почувствовали, что Гринтал высмеивает парня, — только сам он слова рыбака принимал за чистую правду. Он относил их к своей наружности, прочие же — к его поведению, о котором каждый был самого плохого мнения. Биркенбаум не был уроженцем Курземе, он попал сюда из средней Видземе. Раньше он гнал плоты по Огре в Даугаву, а по Даугаве в Ригу. Из Риги он попал в Елгаву, Кулдигу, Лиенаю, и наконец нанялся работником у Залги, который теперь желтый и удрученный стоял в стороне.

Биркенбаум был известен среди рыбаков как замечательный силач и головорез. Свои силы он расходовал столь же расточительно, как избалованный сын американского миллионера отцовские деньги. Но не легко их было растратить. Свежим и бодрым взглядом смотрел он на своих товарищей по участи.

— Ну, можно наверняка сказать, что его оплакивало бы гораздо больше глаз, чем любого из нас, — сказал Скрастинь с жалкой улыбкой.

— Не так ли, Биркенбаум? У меня есть жена, парень да девочка они обо мне поплачут. Но сколько будет таких, которые станут плакать о тебе?

Биркенбаум пожал плечами.

— Соберем теперь рыбу, — сказал Гринтал, ибо часть рыбы из воза Залги рассыпалась по льду. — Нельзя знать заранее, когда и какой кусок льдины отколется, а теперь дорога каждая рыбешка!

Группа разбрелась, но затем рыбаки собрались опять около воза Залги, желая сложить туда собранную рыбу. Но Залга сидел на своем возу и никого к нему не подпускал.

— Оставьте ее себе, — сказал он. Что пропало, то пропало.

— Что это значит? Что ты хочешь этим сказать? — спросил Гринтал.

— Это значит, что воз мой, и другим нет до него никакого дела ответил Залга, осмотрительно поплотней засовывая рагожу по краям саней.

— Вот сумасшедший! — вскрикнул Биркенбаум. — Он, вероятно, думает один съесть весь воз!

— Это мое дело, — сердито возразил Залга, и черты желтого лица его одервенели, а глаза стали похожи на глаза жадной обезьяны.

Биркенбаум освирепел.

— Право, он думает, что рыба все еще принадлежит лишь ему одному! — воскликнул он. — Долой с воза, старик! Он бросил со-

бранную им рыбу и хотел силой стащить Залгу с воза. Но тот ухватился за рокожу, как паук за паутину.

— Оставь его, Биркенбаум, — успокаивал его Гринтал. — Устроим все по-хорошему. В крайнем случае — откупим у него рыбу. Биркенбаум отпустил Залгу, который опять взобрался на воз. И всем рыбакам вдруг показалось, что Биркенбаум вовсе уж не такой плохой человек, и многие это даже открыто высказали.

Лишь Гурлум стоял поодаль и не говорил ничего. Это был жестокий человек и он знал, что добра ему никто не желает. Единственная его забота теперь состояла в том, чтобы не дать возможности посмеяться над собой. Он был очень вешлыв и излишне горд. Он старался скрыть свое отчаяние под маской равнодушной мрачности и желал только одного: исчезнуть незаметно, когда не будет больше надежды на спасение.

Около полудня ветер и волны усилились и льдина начала странно потрескивать. Лица рыбаков, которые уже начали было светлеть, вновь омрачились.

Вдруг странный треск пробежал по всей льдине. Карлуша, стоявший рядом с Биркенбаумом, схватил его за руку.

— Страшно? — сказал Биркенбаум и пробовал улыбнуться. Голубые глаза мальчика, полные болезненного отчаяния, со страхом смотрели на рыбака.

— Лед, должно быть... должно быть... сказал он, но не окончил.

— Да, да, он ломается. Если бы мы все время могли кататься на такой громадине, то это было бы еще полгоря.

— Я останусь с тобой!

— Держись лучше своих хозяев Далды и Яна.

— Нет, здесь мне лучше...

— Ну как хочешь.

Мальчик крепко стиснул руку Биркенбаума и, стоя вместе, они стали обводить льдину глазами, ища, не откололся ли где-нибудь кусок.

Когда зловещий треск повторился, Биркенбаум бессознательно обнял рукой шею Карлуши. Он испытывал чувство ласкового благожелательства к этому мальчику, который избрал его ближайшим товарищем своим по несчастью.

— Дрожит сердце? — полушутя спросил Биркенбаум.

— Нет. Только мне как-то... я не знаю... Сердце сжимается... не хочу бояться... что будет, то будет... но не выходит! Две морицины,

которые появились на худеньком личике мальчика, старя его, сделались еще глубже.

Помолчав некоторое время, он спросил.

— А ты как?

— Что?

— Ты как себя чувствуешь?

— Я-то? Тоже не особенно хорошо. Силой тут ничего не сделаешь, — как будто бы извиняясь, добавил парень.

— Ну и что же ты думаешь, чем все это кончится?

— Что я могу знать? Ты слышал, что сказал Гринтал.

Три, четыре дня.

— Но разве ты веришь этому?

— Но ведь на спасение надежды все-таки еще есть. Можем встретить какое нибудь судно.

— А если не встретим?

— Тогда... ну, ты ведь сам знаешь, что тогда произойдет.

Мальчик замолчал. Были только две возможности: спасение или гибель. Но сердце его жаждало какой-то еще третьей, чего-то неожиданного, неведомого, какого-то чуда, — для молодой жизни смерть представляется чем-то невероятным.

Ледяной паром неся все дальше, море шумело, обламывая его по краям. Кусок за куском откалывался от льдины, все они плыли рядом терлись о края ее. Вдруг среди стоявших двумя кучками рыбаков показалась узкая зеленовато-серая полоса. Она ширилась и разрасталась, отделяя обоих Цубуков, Стуриса и Скалана от остальных товарищей. С обеих сторон раздались крики, размахивания руками — как встревоженные муравьи бегали люди вдоль краев разединившихся кусков льдины. Старый Цубук вероятно хотел броситься в воду, ибо сын боролся с ним, стараясь его удержать. Расстояние между обеими льдинами быстро увеличивалось, и бесполезно было думать о том, чтобы переплыть от одного куска к другому.

— Ну, теперь пропали — сказал Гринтал. — Ни куска хлеба. Жалко Скалана... К середине! Больше к середине! И будем держаться все вместе!

Груша несчастных подвинулась немного вперед. Остановившись, они долго беспокойными глазами следили за быстрым бегом облаков в небе, за непрерывным шумом волн, прислушиваясь к их тяжелому плеску. Понемногу в этом однообразии их тревога улеглась и они стали опять перекидываться словами.

— Вот Скалана, — сказал Ян своему отцу, старому Далде, — действительно жалко. Пять месяцев только как женился.

Старик вздохнул.

— Старого Цубука... его нечего жалеть. Ему пора. Также и Лудиса. Из него все равно ничего бы не вышло... Но Стурис такой бережливый, честный человек... всю жизнь..., а теперь... теперь...

Старый Далда ничего не говорил. Что говорить о гибели других, когда самого ожидает то же самое?! Он смотрел на сына, и губы его вздрагивали.

— Мать обещала сегодня вечером угостить нас тушеной канустой, — сказал он. — Но теперь она уже, наверное, знает... Ян кивнул головой. Отец прищурил глаза и один прикрыл указательным пальцем, но все же две слезинки упали на его седую бороду.

— Да, теперь она знает, — повторил он. — что она скажет, если мы оба... мы оба... Хоть бы ты остался дома. Я ничего не говорю про себя... Но ты... ты ведь ей был... Его распухшие глаза вновь прищурились, а ноздри задрожали.

Ян стиснул зубы. Ничто так не возвышает нас и вместе с тем не трогает так сильно, как чужая скорбь о нашей участи.

— Ну, не печалься еще пока, — сказал он принужденно. Авось мы еще счастливо доберемся до берега.

— Да, да, как и те девять или десять... в прошлый раз. Теперь и нас тоже десять осталось.

Вечером Гринтал созвал товарищей и спросил их, не хотят ли они есть. Он говорил таким же бодрым голосом, как всегда и усталые сердца рыбаков приободрились от его слов, испытывая к нему невольную благодарность. Скрастинь от имени всех ответил, что есть-то хочется, но только нечего, так как рыба сырая, а лошади еще живы.

— Попробуем начать с рыбы, — сказал Гринтал. — Котла у нас нет. Не сварить ли ее в моей кожаной шапке.

— В фартухе было бы лучше, — сказал Силис.

— А разве твой не в дегте? — спросил Гринтал. — Ну вот видишь — придется остановиться на шапке. Рубите одни сани на дрова, да накрошите льду.

Пока исполнялись эти приказания, Гринтал подошел к Салге, сидевшему со сложенными между колен руками, на краю саней.

— Открой воз! — сказал рыбак.

Но Салга не повиновался. Он распростер в обе стороны руки, как бы желая охранить свой воз.

— Открой рыбу! — повторил Гринтал и сурово сдвинул брови. Салга обеими руками стал ощупывать воз, морщинистая, желтая кожа на его подбородке подергивалась, причем подбородок заострился. Он что-то бормотал сквозь зубы, и наконец слова: «надо условиться насчет платы» долетели до ушей Гринтана.

Пламенем вспыхнуло красно-коричневое лицо силача-рыбака.

— Что ты, с ума сошел? — крикнул он. — Морской воды захотелось?! Долой с воза!

Залга встал и медленно отошел к своей лошади.

Гринтан раскрыл воз, отсчитал каждому по две одинаковых рыбы и стал их чистить.

Когда огонь с большим трудом был разведен, шашку Гринтала наполнили льдом и, подвесив на бичевках, осторожно держали над огнем, пока лед растаял: тогда в воду положили рыбу и «котел» опустили ниже.

Когда первую порцию наполовину сварили, поставили вторую, затем третью, пока вся рыба не была наполовину стужена. Совсем сварить ее было нельзя, так как приходилось экономить дрова.

Затем рыбу разделили.

— Конечно, и на этом спасибо! — сказал Скрастинь. — Но пальцы облизывать после этой еды, наверное, никто не станет. Рыбаки пытались есть, но вкус рыбы был страшно отвратителен. Она отдавала потом и горькой морской водой, и к тому же была еще наполовину сырая. Только один Виркенбаум съел свою порцию.

— Желудок у меня всегда был хороший, — уверял он. — Я могу камни глотать.

— Пока не наглотался воды — не научишься плавать; пока не испытаешь голода, не научишься есть, — сказал Гринтал и засунул рыбу в карман. На землю ничего бросать не будем.

— У меня есть еще немного хлеба с сегодняшнего утра, — повернувшись к сыну, шепнул Далда. — Отойдем немного в сторону, я дам тебе его.

— А ты сам?

— Я... Я могу еще обойтись.

— Кушай сам, отец.

— Нет, нет, я знаю, тебе хочется... молодому скорее... и он оттащил Яна в сторону и всунул ему в руку кусок черного хлеба.

Но Ян не брал.

— Кушай сам, — сказал он, присоединяясь к товарищам. С наступлением сумерек Гринтан велел повернуть пустые сани так, чтобы

ветер дул на них сбоку, и тогда все рыбаки уселись на них спиной к спине. Так собирались они провести ночь.

Стемнело. На небе не было ни звездочки. Дул острый ветер, а вокруг шумело и ревело море.

Никто не сомкнул глаз. Все всматривались в густую тьму, которая свинцом давила их плечи.

— О, как мне хочется есть! — шептал Карлуша Биркенбауму.

А рыба такая противная!

— Что же делать? — ответил парень.

После долгого молчания он снова услышал вздохи мальчика.

— Что тебе? — спросил он равнодушно.

— Есть хочется прошептал мальчик.

Биркенбаум посидел минуту потом, нетерпеливо ударив рукой по колену, встал, отвел мальчика в сторону, вытащил что-то из-за пазухи и сунул Карлуше.

— Пей приказал он, и мальчик открыл бутылку и пил.

— Только никому не говори, — предупредил, Биркенбаум, беря у него бутылку. — А теперь попробуй закусить! Вернувшись к саням, Карлуша, хотя и с отвращением, но все-таки съел рыбу.

После этого опять никто долгое время не шевелился; ночь и тьма обняла всех, море шумело, лед трещал, и ветер гнал на льдину соленый запах морской воды.

— Биркенбаум, ты спишь?

— Нет.

— Я немногу прилягу на твои колени.

— Ложись.

Карлуша положил свои руки на колени Биркенбаума и лег на них. Рыбак заметил, что руки мальчика были холодны, как лед. Он снял перчатки и стал греть в своих теплых руках оочевенные пальцы мальчика. Медленно те отогрелись, и затем теплота начала передаваться от рук мальчика парню и от рук парня мальчику.

Карлуша заснул.

Его спокойное, ровное дыхание, заметное лишь по равномерному движению груди, и теплота рук напомнили Биркенбауму другие ночи, которые хотя и не имели ничего общего со сном усталого мальчика.

Итак, все теперь погибло. Никогда уж больше не будет он лежать на своей постели с открытыми глазами и бьющимся сердцем, ожидая, пока все заснут, чтобы тогда неслышными шагами добраться по холодному полу до другого угла... Никогда уже он более не от-

кроет дверей амбара, никогда уже не будет лежать в свежем сене и играть загорелыми на солнце пальчиками... Как это могло случиться? Как он попал сюда? Он ведь там, далеко, в горах Эргли жил пастухом, провел много лет, кутил, пьянствовал, веселился, а теперь он сидит на рыбацких саях, вокруг него шумит море, а он несется навстречу смерти. Этого не может быть! Такие вещи случаются только в сноведениях и сказках! О, если бы можно было проснуться! Но что за самообман! Он ведь прекрасно знает, что не спит. Этот лед, этот соленый морской ветер и шум волн, все это — горькая правда. Он действительно испытывает голод и должен погибнуть из-за этого, или же погрузиться в морскую бездну со всеми остальными. Холодная дрожь пробежала по спине парня и во рту у него пересохло. Нет, этого не может быть! Такие ужасы случались в чужих странах, там далеко, о них читали и рассказывали как о чем то обыкновенном и нужном, но самому такой случай пережить невозможно! Биркенбаум всегда был уверен, что пройдет свой жизненный путь невредимым. Когда кому-нибудь случалось поранить руку, сломать ногу, попасть в машину или утонуть, то он выслушивал это с уверенностью, что сам никогда ничего подобного не испытает. И вот он сидел на ломающейся льдине, а кругом него мрак и смерть... О, этот Далга! Если бы он не приставал к нему, не нанял бы его, он уехал бы может быть братно на родину, спал бы в теплой комнате, а хозяин, выйдя из своей комнаты, с маленькой лампочкой в руках, теперь будил бы его, чтобы послать задать корму лошадям.

Рыбак вздрогнул и случайно, так сильно сжал руку Карлуши, что тот беспокойно зашевелился во сне. Биркенбаум опомнился, отпустил пальцы мальчика и положил, как бы успокаивая, свою вторую руку на плечо мальчика. Волнение понемногу улеглось. Ведь надежда еще не утеряна, продовольствия было еще достаточно, а дальше Бог знает, что еще могло случиться! Однако ночь казалась бесконечно длинной, его отчаяние снова усилилось, и каждая жизнь взывала о спасении, пока, наконец, на востоке не стала разгораться зорья. И тогда лишь, опустив голову, рыбак тревожно уснул. Дрожь он проснулся. Другие уже поднялись, стояли и смотрели на море. Было неприятно холодно, Карлуша тоже дрожал, но продолжал спать. Биркенбаум не хотел будить мальчика и остался сидеть, пока тот сам не проснулся. Тогда и они молча встали и вместе с другими начали оглядывать горизонт.

Все та же вчерашняя безнадежная картина: серые волны с белыми гребнями пены и серые тучи наверху. Ледяной паром уменьшал-

ся и округлялся. У краев его, с подветренной стороны, качались и терлись зеленоватые ледяные глыбы.

За ночь лица рыбаков постарели, и по глазам людей было видно, что ночью их посетили призраки, которые требуют себе в жертву кровь сердца.

Когда Скрастинь поговорил с Яном, с которым он был в полудружеских отношениях, с любовью и состраданием погладил Карлушу, он подошел к Гринталу, на которого, как он, так и все остальные, смотрели, как на главу своей несчастной группы.

— Что же будет с завтраком? — спросил он.

— Поедим опять рыбы, — ответил Гринтал — Кто хочет, пусть берет сырым, а для других можно немного потушить, пока у нас есть еще дрова.

Опять развели огонь и, как вчера, немного обварили рыбу. И с таким же отвращением ели. Затем Биркенбаум отвел мальчика в сторону, и оба выпили.

— Ты мне как брат родной, — сказал мальчик.

— Ну, ну, ладно! Ты хороший парень. Я из тебя сделаю человека

— Знаешь, если попадем на берег, будем жить друзьями.

— Хорошо, пусть будет так.

Когда они подошли к другим, Гринтал приказал Биркенбауму покрепче привязать к оглобле шест, чтобы поднять флаг. Нет ли у кого красного платка? Такого не оказалось, но красные рубахи были у троих: Гринтала, Яна и Скрастыня.

— Ну, как, Скрастинь, с твоей рубахой? — спросил Гринтал. Дашь ее на флаг?

— Если давать, так давать, — жалобно ответил Скрастинь. — Но без нее будет холодно. Я морозливый. Я знаю, что у меня сейчас, и в рубахе, губы посинели. Но коли давать, так давать.

Глаза всех устремились на губы говорившего, которые были действительно синими. Гринтал не мог скрыть легкой улыбки.

— Ну попробуем обойтись без тебя, — сказал он. — Пусть решит жребий кому дать рубаху: мне или Яну. Я на это согласен.

— И я согласен, — сказал Ян.

Гринтал вынул карманную книжку, вырвал лист, разорвал его на две части, поставил на одной из них крест и, свернув, подал их Яну.

— Крест обозначает рубаху, — сказал он.

Ян взял одну трубочку — она была с крестом.

— Заслоните ветер! — сказал он, наскоро сорвал шубу, пиджак

и жилет. На миг мелькнули его мускулистые руки, грудь, а затем он снова стоял в шубе, как и все остальные.

— Это был как прыжок в холодную воду, — сказал он. Рубашку прикрепили к шесту и подняли вверх. Рыбаки намеревались прорубить во льду отверстие и вставить шест туда, да кроме того, прикрепить его еще к саням, чтобы не надо было держать. Но, Гринтал, желая какнибудь занять отчаявшихся людей предложил, чтобы все по очереди по двое держали шест и одновременно наблюдали не приближается ли откуда-нибудь помощь.

Когда дошла очередь до Биркенбаума, он хотел один держать шест, но Карлуша не позволил и вместе с ним держал неистово развеваемый ветром сигнал несчастья.

— Пить хочется, — жаловался мальчик.

— А ты думаешь, мне не хочется? — ответил Биркенбаум. Соси лед!

— Долго ли будешь сосать, когда рот и так точно ошпарен. Долго ли мы так выдержим?

— Бог знает. Этого вероятно никто из нас не испытал.

— Ах, если бы был хоть глоток воды, чтобы напиться.

— Не хнычь, — сказал Биркенбаум.

— Да, ты то большой, а вот если бы ты был такой, как я, то не говорил бы так.

Рыбак вспомнил прошлую ночь и стал опять ласковее.

— Ну да, трудно-то трудно, но ничего не поделаешь! — сказал он.

— Мне и раньше всегда нужно было остерегаться простуды, — жаловался Карлуша. — А теперь приходится глотать лед. У меня тут на левой стороне под ребром болит, а временами и покалывает.

— Я насчет этого счастлив. Мне ледяная вода нипочем. Но позднее и Скрастинь, подобно мальчику, начал жаловаться, и рыбаки заволновались при мысли о новой опасности, о возможности которой некоторым из них даже и на ум не приходило.

Гринтал пять старался успокоить товарищей.

— У нас ведь еще есть пара лошадей! — сказал он. Если комунибудь понадобится, то теплого сока в них достаточно.

— Кровь пить! — воскликнул Силис.

— Она соленовато-сладковатая, — спокойно пояснил Биркенбаум. — Я знаю: я кровь пил.

На лицах рыбаков отразились одновременно жадность и отвраще-

ние: жадность попробовать теплой влаги и врожденное отвращение к крови.

— Мы еще не настолько голодны, сказал Гринтал, осматривая своих товарищей. — Пустим кровь тогда, когда этот сок покажется нам приятным.

Когда очередь снова дошла до Биркенбаума и Карлуши и они уже довольно продолжительное время держали шест, мальчик сказал:

— Биркенбаум, а ты наверное много уже испытал на своем веку?

— Ты потому так думаешь, что я про кровь сказал? Ты тоже мог бы это испытать. Я был тогда твоих лет. Резали теленка, и я тогда...

— Так. А сколько тебе лет было, когда ты начал?

— Водку пить?

— Нет... ну да все равно! Скажи, о чем бы ты больше всего жалел, если бы нам не удалось попасть на берег?

— Как? Мне было бы жаль всей жизни.

— Ее-то конечно всякому жалко. Ну, а так в особенности жалко. Может быть матери, брата, невесты?

— У меня нет ничего особенного. Вот когда я подумаю, что мог бы еще долго жить, как до сих пор, мне становится жалко не то жизни, не то себя, и разобрать не могу.

— Мне тоже жалко самого себя... А в особенности из-за одной вещи. Я до сих пор всегда думал, как это бывает... когда двое... Эх, Биркенбаум, если бы я был на твоём месте! Он глядел на рыбака, и в глазах у него горело пламя неудовлетворенной страсти.

— Это пустяки! — коротко оборвал его Биркенбаум, странно задетый в самых стыдливых своих чувствах. — Это всеравно: тебе жалко того, мне другого. Эх-ма!

Их очередь миновала и шест перешел к другим.

К вечеру каждый опять получил свою долю рыбы, а затем снова опустилась на них долгая, темная ночь с мечтами о теплой комнате и светлой лампе, горящей на столе, с мечтами о бледных женщинах, что, стиснув руки, смотрят с заплаканными глазами в морскую даль.

Даже Карлуша на коленях Биркенбаума спал мало и безпокойно.

Утром на третий день дров больше не было. Но никто и не думал варить рыбу. Все жадно следили за дележом, наблюдая, не досталось бы кому-нибудь больше.

До сих пор Салга все сидел на своем возу с рыбой, теперь же Гринтал распорядился, чтобы никто в неурочное время не подходил к возу, как только в обеденное время и тот, кто делит рыбу.

— Разве у тебя в бутылке ничего больше нет? — спросил Карлуша, отозвав Биркенбаума в сторону.

— Нет!

— Но было ведь довольно много.

— Это я вчера вечером выпил.

— А мне не дал.

— Разве я обязан? Обещал тебе что ли?

— Обещал!.. Но ты же видишь, что мне труднее, чем тебе.

— Но ведь бутылка-то моя. И мне не легко. Скажи спасибо, что вообще получил. Другой на моем месте...

— Ах, так ты вот какой!

— Какой?

— Иди... было еще так много... там было бы достаточно для обоих на завтра и послезавтра! — недовольно заметил мальчик. — А теперь ты один все проглотил!

— Смотри-ка — сердито воскликнул Биркенбаум. — Он еще упрекает меня?! Мальчишка! Смотри, как бы не получил по морде!

— Как бы ты сам не получил! — еле сдерживая слезы крикнул Карлуша и сердито поглядел на Биркенбаума. — Пьяница!

Биркенбаум, подойдя к мальчику, пристально посмотрел на него и ударил по губам.

— Теперь ты будешь молчать! — сказал он.

Лицо мальчика искривилось от злости. Он схватил руку парня, попытался ее укусить, но Биркенбаум выдернул руку и, в свою очередь, как железными клещами сжал кисти рук мальчика. Прикусив своими желтыми зубами бледную нижнюю губу, Карлуша попытался ударить Биркенбаума ногами, но тот, прижав его к себе, помешал ему это сделать. Вдруг рыбак заметил, что мальчик слабеет. Он слегка отпустил его, и Карлуша упал бы, если бы Биркенбаум вновь не схватил его за руку. Минуту голова мальчика, как неживая лежала на груди рыбака.

— Карлуша, Карлуша, что с тобой? — воскликнул Биркенбаум.

Пить, — шептал мальчик. — Дайте пить.

Биркенбаум отвел его к саням и затем, подойдя к Гринталу, спросил:

— Не пора ли пустить кровь одной из лошадей, ибо мальчик совсем ослаб.

— Об этом надо посоветоваться со всеми остальными, — ответил Гринтал. — Из-за мальчишки лошадь еще нельзя убивать.

Он созвал рыбаков, и те решили еще подождать. Гринтал выразил свое сожаление, разводя руками в сторону Биркенбаума, и группа опять разошлась.

Биркенбаум с которым до сих пор все время был Карлуша, остался теперь один.

Он подошел к Гринталу, сказал ему пару слов, но тот ничего не ответил и только посмотрел на него. Затем Биркенбаум подошел к Скрастиню, тот посмотрел на него своими выпальными глазами и проговорил:

— Ну, Биркенбаум?! — покачал головой и отвернулся. Он подошел к Далдам. Те говорили о матери, о ее одиночестве, о спасении. Он постоял минуту около них, но они не обратили на него внимания, и он пошел дальше. Гулбис и Силис смотрели, как Залга распарывает рогожу и кормит свою лошадь. К этой группе Биркенбауму подойти не хотелось. — Глаза Залги были ему противны. Он повернулся было к Гринталу, который в эту минуту стоял один и держал шест. Но, не останавливаясь, парень прошел мимо него. Этот гордый и сильный рыбак обладал чем-то таким чего не хватало Биркенбауму, но что как бы невидимой рукой придавливало его и подстрекало на тайный протест. Он снова подошел к саям, на которых, скорчившись, сидел Карлуша, глядя вдаль широкими, неподвижно устремленными в одну точку глазами и видимо не замечал рыбака. Наконец Биркенбаум подошел к нему. Но и на это мальчик как будто не обратил внимания. Просидев так довольно долгое время, парень снова поднялся. Как раз настала его очередь держать шест. Раздосадованный простоял он свое время, Никто не подошел к нему, никто не обратил на него внимания. Передав затем шест Скрастиню и Гулбису, он донес почти до самого края льдины. Если бы даже и откололся бы какой кусок и вместе с ним, так что же из этого?! Умирать этой смертью придется так и так, ранее или позднее, а тонуть нужно будет, когда льдина раздробится на куски. Вот насколько она стала уже меньше! И как беспрерывно бьются отколовшиеся куски друг о друга и о ледяной рыбачий плот! А как неистово перекидываются через них волны, стараясь белой пеной своей забрызгать ноги рыбаков..

Биркенбаум обошел почти вокруг всей льдины и снова вернулся к саям. Мальчик все еще лежал на том же месте. Губы его посинели, а из-под съехавшей на затылок шапки был виден бледно-желтый лоб.

Биркенбаум снова подсел к нему.

— Карлуша!

— Мальчик как будто не слышал его.

— Пить нечего, — продолжал рыбак. — Есть только лед. Если хочешь я дам растаять куску в руке, и вода немного согреется. Но если уже не можешь более.. послушай... если не под силу терпеть тебе... я пущу себе кровь из руки.

Карлуша вздрогнул, встрепенулся и устремил жадный взгляд на руки Биркенбаума.

Секунду спустя, рыбак приложил уже свою левую руку к губам мальчика.

Тот схватил руку Биркенбаума, хотел было оттолкнуть ее но затем успокоился и начал сосать...

Потом рыбак снял с шеи платок, разорвал его и обмотал тряпкой левую руку ниже большого пальца. Когда вечером Гринтал поделил рыбу, появилась небольшая туча и пошел мелкий снег. Затем ветер утих и погода прояснилась. Ласково сияли на небе звезды и стал заметен бледноватый млечный путь. Но никто из несчастных рыбаков не поднял глаза к небу. В тупом равнодушии провели они эту ночь.

Новое утро пробудило во всех новые надежды. Погода была ясная и тихая. Быть может при такой погоде какое-нибудь судно скорее заметит их сигнал бедствия. Но день прошел, а надежды не оправдались.

Вечером Гринтал объявил, что рыбы осталось лишь на два дня, и поэтому не раздать ли сегодня только по одной рыбе, чтобы ее хватило подольше? Но большинство было за прежнее количество, и все получили обычную порцию.

Вечером все сели на сани, молчаливые, ослабевшие, со впалыми глазами и щеками. Волны шумели все ближе и колебания льдины стали заметнее.

Карлуша прижался к Биркенбауму.

— Теперь все пропало, Биркенбаум? Да?

— Должно быть, — ответил рыбак.

— Ты вытерпишь дольше моего.

— Должно быть.

— Тогда ты опусти меня в воду. Ах, если бы все это не тянулось так медленно... Ах, милый Биркенбаум, ах, Биркенбаум!

Мальчик обнял локоть рабочего и, прижав голову к его плечу, всхлипывал.

Биркенбаум молчал.

На пятый день утром Гринтал заметил далеко на севере дымок. С напряженным вниманием вematривались несчастные в указанном направлении. Дымовая полоса удлинялась, и вскоре не было уже сомнения в том, что она тянется от проходящего мимо парохода.

— Поднимите флаг повыше, размахивайте им!, кричали все, перебывая друг друга и толпясь у шеста.

Дымовое облачко увеличивалось, и бледные лица рыбаков ожились, глаза заблестели. Даже у Гурлума развязался язык от радости.

Старый Далда отойдя в сторону плакал и молился. Довольно долгое время дымовая полоса оставалась тех же размеров. Рыбаки смотрели на нее, не осмеливаясь моргнуть глазом.

Но потом взгляды их стали делаться все неподвижнее, страшнее. Дымовое облачко уменьшалось. Пароход не приближался к ним, не заметил их, или не пожелал заметить. Он прошел мимо!

Как будто бы ночная тень окутала лица людей. Флаг лежал на земле и Залга топтал красную рубаху ногами и грыз зубами свой полушубок. Бедный Скрастинь, упав на сани, бормотал что-то непонятное и смеялся. Карлуша крепко обнял Биркенбаума, а Гринтал стоял и все еще смотрел в ту сторону, где исчезла полоса дыма.

Вдруг Ян крикнул:

— Лодка! Лодка!

Все повернулись к Яну, он указывал рукою на юг. Там плыла небольшая лодка, и была уже так близко, что можно было различить, сколько в ней было людей. А было их семь человек. Двое гребли, один был у руля, а четверо сидело без дела.

Старый Далда сложил руки и поднял их к небу.

— Биркенбаум! Биркенбаум! — всхлипывал мальчик.

Когда лодка, подошла так близко, что можно было разглядеть лица, то рыбаки увидели, что в той сидело трое чужих, а остальные были свои: Стуре, Скалан и оба Цубуки, все четверо напоминали больше покойников, чем живых людей. Рыбаки поспешили навстречу лодке. После некоторых усилий один из гребцов вступил на льдину.

Он начал что-то говорить, но никто его не понял: он говорил не по-латышски. Наконец Гринтал при помощи знаков уяснил, что лодка не может взять более семи человек.

Только семь! А их было десять! Кто же спасается? Кто остается? — Минуту все стояли как бы в оштолбенении, затем Залга направился к лодке.

— Надо садиться. Кто останется, тот останется! Но Гринтал схватил его за руку и оттащил назад.

— Стой. Нам опять нужно кинуть жребий! Все согласны?

— Попробуем сначала все усесться, — сказал Скрастинь. Если окажется, что нельзя, то, тогда кинем жребий.

Но чужой на это не соглашался. Он знаком объяснил, что так может произойти драка, и лодка может опрокинуться.

— Ну так кинем жребий, — сказал Гринтал. — Становитесь по летам, по старшинству. Далда, Залга, Гурнум, Скрастинь, Биркенбаум, Гулбис или Ян? Ты, Ян? Так! Значит, Карлуша и я будем последними.

Он вырвал опять два листа из своей карманной книжки, разорвал их на одинаковые кусочки и три листка обозначил крестиком.

— Кто их вытащит, тот и останется! — он свернул листки, положил их в шапку, и подошел к Далде. Старик развернул листик. Он оказался белым. Дрожащей рукой схватил Залга свой жребий. Взял один, другой и раскрыл, наконец, третий. Чистый! У Гурнума было также счастье. Скрастинь торжественно перекрестясь, вынул свой жребий. Пустой! Гринтал подошел к Силису. Теперь ведь должен быть крест! Руки Силиса дрожали так сильно, что он едва мог развернуть бумажку. Спасен... Смелой рукой взял Ян бумажку и вытащил первый крест. В шапке остались два крест и один белый листик. Сжав губы Гринтал поднес шапку Биркенбауму. Тот с затаенным дыханием посмотрел на свернутые бумажки и, схватив одну, быстро развернул ее. Оказалось, что он вынул последний пустой билетик.

Гринтал опрокинул шапку и высыпал два оставшихся билета на лед.

— Нам, Карлуша, тащить нечего! — сказал он. — Ступайте!

Залга и Гурнум быстро сел в лодку. За ними последовали Гулбис и Силис. Скрастинь подошел к Гринталу и пожал ему руку.

— Отвези привет моей жене, — сказал Гринтал.

Попрощался с ним и Биркенбаум, а также и с Яном. Затем он повернулся в сторону Карлуши.

Тот стоял без движения и смотрел на лодку.

Лицо Биркенбаума болезненно сжалось. Он схватил руку мальчика и пожал его похудалые, холодные пальцы. Но мальчик не ответил на его пожатие и, когда рыбак отпустил его руку, она упала как неживая. Отойдя пару шагов, Биркенбаум вдруг остановился, посмотрел на мальчика странным взглядом и медленно, как будто не-

хотя и борясь с самим собой, полез в лодку. Далда с Яном отошли в сторону, старик, очевидно, не мог расстаться с сыном.

— Пора — торопил Гринтал.

— Я останусь! — сказал Далда.

— Я не пойду! Ни за что! — сказал Ян.

— Ты пойдешь! Иди! Ты скорее за мной приедешь, чем я за тобой. Я буду тебя ждать! Иди!

— Отец!

— Иди, иди! Поклон матери от старика. И приезжай за мной! Иди, садись в лодку!

— Ни за что! Я не могу! Я не пойду!

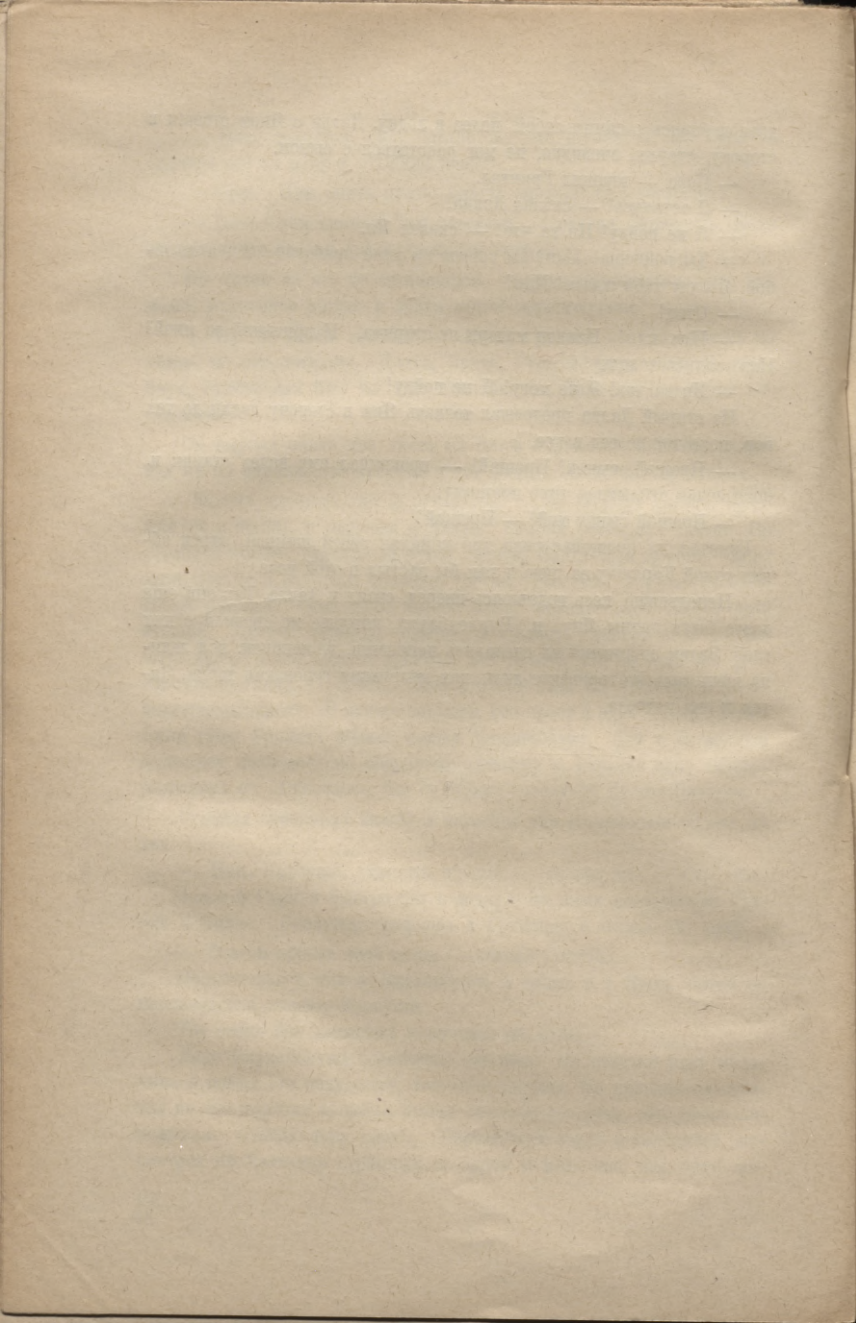
Но старый Далда продолжал толкать Яна в сторону лодки до тех пор, пока тот не сел в нее.

— Прощай, сынок! Прощай! — прокричал ему вслед старик и, пока лодка отплывала тихо повторял:

— Прощай сынок мой! — Прощай!

Гринтал на прощанье раза три помахал своей шапкой, затем обнял рукой Карлушу за шею и как бы застыл в этой позе.

Неподвижно, весь подавшись вперед, стоял и Далда. Так они еще долго были видны Яну и Биркенбауму, которые не сводили с них глаз. Затем очертания их сделались неясными, и, наконец, вся льдина виднелась на горизонте лишь как маленькая сероватая точка. Затем и она исчезла.



Гром.

Карл Велде проснулся с тяжелым чувством. Уже во сне ему казалось, что как будто бы что-то темное и тяжелое налегло на грудь, давит и душит. Как кашмар. Так тяжело и так тоскливо. Долгое время и сам не знаешь, почему так тяжело и откуда все это. Но затем вдруг все соображаешь и понимаешь — получаешь по голове как бы звенящий удар от невидимой руки.

Велде открыл глаза. В комнате был еще утренний полумрак. Но через окно мимо белых занавесей проникал в комнату, хотя еще и не смело, красноватый отблеск как бы от далекого зарева.

А, утро, скоро наверное и солнце взойдет, подумал Велде. Он оглядел комнату. Это было небольшое выбеленное помещение. В одном углу стоял желтый платяной шкаф со странной резьбой. Нельзя было понять, что именно хотел изобразить столяр: листья ли какой-то странной формы, человеческие ли фигуры, или птиц. Казалось, что есть и то, и другое, но в конце концов не выходило ничего. Вероятно и самому мастеру не было ясно, что именно должно было там выйти. — У окна стоял стол и около него несколько плетеных стульев. На противоположной стене висела двухстволка с коричневым прикладом. На темных стволах дул и около курков ясно были заметны белые серебряные инструкции. Недалеко от двухстволки висели старые настенные часы. Но они не шли. Старые потемневшие стрелки показывали семнадцать минут четвертого. И это они показывали всегда. Каждое утро, вставая, Велде бросал взгляд на часы, хотя и знал, что потемневшие стрелки будут стоять на своих местах, показывая семнадцать минут четвертого... То же самое время показывали они и тогда, когда он впервые вошел в эту комнату. Противно было здесь что-либо изменить. — Такая странная тишина — дышит дыханием смерти, которое можно только чувствовать, но не слышать. И сам ты здесь, как в холоде и тиши могилы, слышишь, как в тебе роятся тяжелые, безжалостные мысли, работая, как твердой глухо звенящей лопатой в скалистой почве, в поисках сердца и души твоей. И знаешь, что душа твоя тихо трепещет, предчувствуя печальное и неизбежное. Так трепещет в клетке птичка, когда вдруг замечает в нечаянно оставленных открытых дверцах кошачью голову

с зеленоватым блеском сверкающими глазами. Несчастливая жертва трепещет и ищет глазами, нельзя ли как-нибудь спастись. Но — спасения нет. Она как бы застывает и жаждет одного лишь: чтобы все скорее кончилось...

Ведде смотрел на ружье и неизвестно почему мысленно несколько раз повторил: Отцово ружье, отцово ружье... И после этого ему вдруг показалось, что он видит своего отца: высокого, немного сутуловатого, с коротко подстриженной седой бородой, и как тот, покашливая подходит к стене, снимает ружье, перекидывает через плечо и идет в лес... Да, таким он видел отца года четыре тому назад, перед своей разлукой с ними, разлукой навсегда...

С закрытыми глазами он видел перед собой картины прошлого так ясно, как будто бы события эти произошли только вчера. — А вот, и самое последнее миг разлуки. Он в сопровождении отца, выходит во двор, где уже ожидает работник с запряженной лошастью. Тот повезет его в уездный город, куда должны явиться все новобранцы. Отец не плачет, но кажется, что сегодня он как-то еще больше согнулся, и чаще покашливает. Он приготовился сделать обход своего лесного участка и хочет, провозжая сына, пройтись с ним немного по дороге. Когда он, Карл, уже в повозке, выбегает из комнаты его сестра, девочка лет пятнадцати. Она подбегает к возку, становится на подножку и еще раз нежными ручками обнимает брата за шею и прижимается личиком к его щеке. Она рыдает и вся фигурка ее трепещет в его руках.

— «Не плачь, сестричка, не плачь! Я же вернусь опять, — успокаивает он ее.

— Да, братик... шепчут у его щеки губы девочки.

— Но мне ужасно жаль, братик...

— Ну, Марточка, успокойся! Авось, все будет хорошо. Вязки только для меня перчатки да чулки. Я тоже привезу тебе что-нибудь. Ну-да, сестричка! Ну, улыбнись же!.. — Он и сам пробует смеяться, улыбается сквозь слезы и девочка. Еще раз гладит он ее золотистую головку, с которой светлый платочек слез на плечи, и еще раз целует ее губки. Затем повозка трогается. Выхав за ворота, Карл видит еще, стоя на дворе в одной кофточке и с непокрытой головой машет ему своим светлым головным платочком...

Затем там, на опушке леса у Орехового обрыва, нужно было расставаться с отцом.

— Ну, сынок... храни и помоги тебе Господь... Голос старика дрожал, но он держался.

— Когда вернешься — меня... может быть уже не будет... Но я тебе оставляю все... Заботься о сестре... Не будь жестокосерден к ней. Но я доверяю тебе...

— Папа — милый!.. Зачем ты так говоришь?! — воскликнул Карл глухим голосом. — Я вернусь — и будем жить все вместе! —

— Кто знает, сынок... Все под Богом ходим. — Ян — тот уже покинул нас... А ты оставайся на моем месте. И это ты носи, — сказал он и ударил рукой по ружейному прикладу. Но — ты и сам все хорошо поймешь.. Отец отвернулся в сторону и начал смотреть на темный, заволокшийся туманом, глухо шумевший еловый лес. Грудь Карла разрывалась от сдерживаемых рыданий. Как говорил теперь отец! Как таинственно — как бы предчувствуя какое-то ужасное несчастье и понимая, что избежать его будет невозможно! Ни когда он так не держал себя. Наоборот, он бывало только смеялся и довольно равнодушно говорил о солдатчине Карла — как о каком то обыденном деле. И теперь при разлуке сделался вдруг таким мрачным!...

— Так-то, сынок! Старый Велде круто повернулся к повозке. — Я тоже надеюсь, что все будет хорошо. Мы с Мартой будем ждать твоего возвращения. Но тебе надо ехать. Прощай, сынок — прощай!...

Карл наклонился к отцу. Они обнялись и простились. Как один, так и другой хотели удержаться, чтобы не разрыдаться. Но все же Карл расслышал в груди отца какой-то глухой хрип.. — Возок катился, направляясь к концу Орехового обрыва, мимо которого извивалась размокшая проселочная дорога. Отец улыбался ему; но улыбка эта была какая-то странная... как бледный луч солнца, пробивающийся сквозь осенние облака... Когда Карл вторично обернулся, отец шел по тропинке по направлению к лесу; еще более согнувшийся и, как Карлу показалось, вытиравший слезы.

Когда он в прошлую зиму возвратился домой — ни отца, ни Марты уже не было...

Велде пошевелился в кровати и тихо застонал. Он вновь открыл глаза. Все было то же самое: так же немо стоял в углу желтый шкаф со странной резьбой; так же старые часы показывали семнадцать минут четвертого, так же висело на стене отцовское ружье, только инструкции на стволе и около курков еще более блестели. В комнате стало светлее. Свет проникавший сквозь белые занавеси из

окна стал красивее. На дворе щебетали ласточки и промывала одна корова, — вероятно выгонят скот на пастбище. За стеной в соседней комнате, кто-то ходил и вероятно босыми ногами, потому что слышался странный беззвучный гул шагов.

Велде откинул одеяло, встал и начал одеваться. Он подошел к дверям, за которыми слышалось царапанье и открыл их. Вошла большая рыжая схотничья собака. Это был старый слуга отца. Задумчиво-печальными глазами смотрела собака на Карла. Он наклонился и погладил собаку.

II.

Велде вышел на двор. Еще чувствовалась почная свежесть, но как долго это будет! Поднимется солнце немного выше — и она исчезнет, уступая место душной жаре. Стояла необыкновенная сухая и жаркая весна. Глинистые холмы все еще были голы, красны и все в трещинах. Крестьяне горевали и с болью в сердце ожидали дождя. Солнце поднималось из-за верхушек елей, и блеск его был странный, темнокрасный и какой-то матовый. Казалось, что его загоразивала редкая, кроваво-красная, изорванная ткань. Ветра не было, и на неподвижных листьях деревьев редко, где блестела капелька росы. Отчаянно кричала в лесу иволга.

— Ждет дождя и иволга, — сказала пожилая женщина, неся по двору ворох травы к хлеву. — И она хочет пить, бедняжка...

Сложив траву она возвратилась обратно.

— Мала трава-то в этом году... не растет. Ах, Боже мой, какая трава была у нас в прошлом году: косить не успевали! Тогда еще вместе с Марточкой косили ее и носили. Она иногда помогала мне. — Крестная я вместо тебя накошу! — скажет бывало, и убежит так быстро, как курошаточка. Но вот... Лицо крестной матери стало серьезным, глаза влажными, а губы задрожали. Она пошла на кухню. Велде слышал, как, идя, она плакала.

Вокруг глаз Велде собрались скорбные морщинки. Тяжело было слушать ему слова крестной, когда она вспоминала ушедших, а делала она это часто. Будто острые когти вшивались ему в сердце. Он просил уже ее не вспоминать о них так часто, но она никак не могла понять почему это так нужно и тогда можно было слышать: — Ну теперь уж щеки ее побледнели, да и косточки скоро рассыплются...

Тяжело! Это было растравливание раны, которая никогда не могла зажить. Крестная была доброй и верной женщиной. Она

смотрела на Карла, как на сироту, как на человека, который, испытал огромную несправедливость, и дрожала за него. Но она любила и усопших, особенно Марту, и постоянно думала о них.

Велде круто повернулся и пошел за дом, где работник, Андриев, копал канаву. Часть пара была уже вспахана, с остальным же ничего нельзя было сделать по причине засухи; нужно было ждать дождя.

— Как думаешь, хозяин, канаву-то надо было бы прокапать вон, до той розы. Отец еще в прошлом году мне так говорил: там сырм летом рожь выгивает.

— Конечно, Андриев, было бы не плохо, если бы канаву прокопать до той розы. Хорошо было бы если бы ты с этим справился.

— О — да, хозяин за пару дней я справлюсь! Авось управимся со всеми работами!...

— Хорошо, Андриев, работай; ты сам лучше знаешь...

— Да—а знаешь, что мне отец сказал? И это было не задолго до смерти. Он позвал меня к себе, велел сесть около кровати и тогда начал, так с перерывами — ему уже трудно было говорить: —ты, Андриев, так долго жил у меня, что сам знаешь, что и как здесь нужно делать. Так вот, когда Карл возвратится, помоги ты ему. Он еще молод и непривычен. Ну, конечно, я уже, говорю, помогу, насколько сам смогу и сумею.— Вскоре после этого человек-то и умер. Нашли мы однажды утром: умирал... Говорить не мог больше...

Андриев умолк. С потемневшим лицом молчал и Карл. — Так-то были, эти добрые люди, как крестная, так и Андриев: они все еще продолжали жить в прошлом, вместе с усопшими... За каждым делом, при каждом разговоре они находили случай вспомнить о них. Так и казалось, что отец и Марта ушли куда-то, в какую-нибудь дальнюю весь, и что каждую минуту могут возвратиться домой. И темной ночью, которая становилась все темнее и темнее в сердце Карла из разговоров крестной и Андриева минутами мелькали как бы светлые проблески молнии и затем, потухая, делали сердечную тьму еще более мрачной. Но про ночь его, про удушливую, мрачную грозу, которая была скрыта в ней и ожидала лишь своего времени, те ничего не знали. Он хранил это в себе и носил с собою...

— Ну так работай, Андриев. Мне опять нужно в лес... — сказал Карл и пошел обратно домой.

— А парень то горюет! Да и как не горевать? Пришел — а дом-то пустой... как сирота! И все только из-за «этого». Не было бы этого, был бы жив и отец, и Марта... Андриев вздохнул и вновь

принялся за работу. Когда пот крупными каплями начинал течь по лицу, он вытирал его рукой, поглаживая рыжую, лохматую бороду, плевал на ладонь и продолжал копать, откидывая далеко на пар дерн и красно-бурую глину.

III.

Велде вошел в комнату и сел за стол. Рыжая собака, которая лежала в углу, подошла и легла у ног Карла, толкнув его мордой в голенище.

— А, это-ты? Старый друг отца... Велде нагнулася и погладила собаку. Она подняла голову, посмотрела на хозяина, как бы собираясь рассказать что-то грустное, и положила голову на его ноги. Облокотившись головой на руки, Велде погрузился в размышления. Снова те же самые таинственно-страшные, неотступные и темные мысли. Что делать! Куда бежать от них? Где исход?.. Исхода не было. И «это» было тяжелой загадкой, о чем он думал, и долго уже думал...

Так сидел он довольно долго и когда вдруг, как бы в испуге и, дрожа, как бы от холода, поднял голову, солнечные лучи, как сверкающие струны, проскальзывали сквозь белую занавесь в комнату. Велде потер лоб рукой и взор его упал на белые занавесы. И это было рукоделием Марты. Сколько времени просидела она над ними, работая и думая, может быть, и о нем! Сама же, собственными руками, она их здесь повесила...

Велде встал. Да, он ведь надумал идти в лес. Он снял ружье, перекинул через плечо и вышел. Собака последовала за ним. Как бы прося и лащаясь, она смотрела на Велде и махала хвостом.

— Ах, вот что — ты тоже хочешь со мной? Но не знаю, друг, как быть: нельзя...

Собака продолжала умоляюще смотреть на своего хозяина.

— Жаль мне тебя, вижу, что хочешь поразмять свои старые ноги и поваляться по траве.

В ответ собака снова завильяла хвостом, не спуская с него глаз.

— Ну, да я понимаю: а ты будешь себя хорошо вести, не будешь делать, чего не следует? Да? Ну, хорошо! Давно уже не ходили мы с тобой вместе. Пойдем, старый Каро! — Каро радостно сделал круг по двору, весело заскулил и даже раза два громко пролаял.

— Ну, так-то уж нет! Без шума! А в лесу так и совсем тихо. Нас могут подать под суд, Каро — ты понимаешь? Собака застыдилась и, как будто прося прощения, подошла к хозяину.

— Ну, хорошо, хорошо... улыбаясь, сказал Велде и погладил собаку по спине. — Идем...

— Ты что уже в лес, Карл? А я думала, что перед завтраком ты не пойдешь. Подожди немного. Покушаешь, тогда и пойдешь. Не ходи натошак.

— Не хочется, — было коротким ответом.

Ах, ты Господи, что это за нехотение! Время завтракать! Бог знает, когда ты вернешься — может быть только к обеду...

— Я не буду кушать — не хочется, крестная.

— Ну смотри, какой ты, Карл! Я не могу больше смотреть! Аппетита у тебя нет. Как больной! Уж не болит ли у тебя чтонибудь?

— Ну, что за пустяки, крестная, — что со мной может быть? — ответил Велде. Он подтянул ремень, на котором висело ружье, и пошел. Радостно прыгая, Каро бежал впереди.

— Хоть бы стакан молока выпил! Не ходи же не евши. Ты совсем обезсилишь. Ах, ты Господи, Боже мой!... — сказала ему вдогонку крестная, и в голосе ее были и гнев, и слезы. Да, она и в действительности выглядела совсем несчастной.

Велде стало жаль заботливой крестной. Он вернулся и, усмехаясь, сказал:

— Ну, принеси уж стакан молока, если тебе так хочется; но кроме ничего.

Крестная тотчас же повеселела. Она поспешила в кладовую. — Стакан молока — эх ма... хоть бы о себе подумал, — слышал ее ворчанье Велде.

Он сел на скамью перед домом. Каро, который успел уже выбежать за ворота, тоже вскоре вернулся обратно, и, остановившись невдалеке, как бы с удивлением смотрел на хозяина. Велде подождал его к себе.

— Мешают нам, Каро; но подожди: пойдем

Крестная вскоре вернулась. В одной руке она несла белую кружку, в другой большой кусок хлеба намазанный маслом.

— Ах, так это такой стакан? — сказал, улыбаясь, Велде. — Ну и посудина! И какой кусище хлеба! Там и на обед хватит.

— Уж не говорил бы лучше! Подумаешь, что за еда для взрослого человека! Я уже смотрю, смотрю — и сердце болит, смотря на

тебя. Пойдет с утра да и ходит до обеда без куска хлеба! Отец — он также по утрам мало кушал, а особенно в последнее время, когда постоянно чувствовал себя больным. Но совершенно голодным он не ходил. Птичья порция, как он сам говаривал, ему, дескать, нужна, чтобы птица его не перекричала... Мы с Мартой всегда уже бывали по утрам настороже: чтобы кружка молока и кусок хлеба были готовы, когда отец собирается в лес... Так и ты мог бы. А то иногда утром и оглянуться не успеешь, а его уж нет. А мне так и кажется, что с каждым днем ты становишься все худее. Из солдат вернулся, был куда полнее; а теперь — жаль посмотреть... — И с материнской любовью погладила она своей мажолистой рукой щеку Карла, от виска до подбородка, который покрывала маленькая борода. У Велде потеплело на сердце. Он схватил руку крестной и поцеловал ее.

Как будто бы удивление, а затем что-то теплое и лучистое промелькнуло на лице крестной.

— Ешь, ешь с аппетитом, — сказала она. — Мне надо спешить на кухню, не переварился бы картофель... И она скрылась к кухне.

Откусив пару раз сам от скибки хлеба, Велде начал отламывать по куску и давать собаке, которая ела с большим аппетитом. Самому ему есть не хотелось. Думал, что сможет кушать, казалось, что хочется тоже, но оказалось, что ничего подобного: куска проглотить невозможно... Молоко — это он вынул и поставил затем белую кружку на скамью.

Когда крестная, приготовив завтрак, снова вышла на двор, Велде и Каро уже ушли в лес, который черной стеной стоял вдали за домом.

IV.

Солнце стояло уже высоко, когда Велде обошел уже большую часть своего лесного участка и подошел к глубокому оврагу, склоны которого обросли местами, ильмами, кленами и орешником, которого было особенно много. Поэтому-то овраг этот с незапамятных времен и назывался Ореховым. С обеих сторон оврага стеной стояли ели, на ветвях которых бахромой висел мох и паутина.

По ночам, когда бледно-голубые лучи ночного светила лили свой свет на густой кустарник покрывающий склоны оврага, свет как о стену ударялся о стволы темных великанов — елей, освещая их лишь с одной стороны, в то время как глубже, тотчас же за первым рядом деревьев, царил таинственная полутьма. Зеленовато-седая мши-

стая бахрома выглядела, как покрывало лесной феи, занутовавшееся между ветвями и повисшее на них, когда она убегала от какого-нибудь преследователя в лесную глушь. Лучи месяца мелькали лишь местами и тотчас же исчезали в густой тьме, окутывающей ветви елей. Недалеко от склона оврага есть лесная тропа, над которой переплетаются омшивелые еловые ветви. Черные узловатые корни густой сетью устилают эту тропу. Редко кто проезжает по ней. Вдоль лесной опушки пролегла мощенная дорога, ведущая в церковь и в имение. Идти же пешком по этой тенистой лесной тропинке особенно в жаркие летние дни было одним удовольствием. Свежо и тихо. Редко, когда какая-либо синичка защебечет на ветке, и испуганная белка, резко пощелкивая, вскочит на дерево. Где-то вдаль монотонно кукует кукушка. Затем снова свежесть, тишина и покой с резким запахом леса, мха и земли... Но совершенно другая картина наблюдалась здесь во время бури. С одной стороны, там над верхушками елей поднимались и кипели грозные тучи. На одной стороне оврага ели стоят еще не шевелясь, как бы с затаенным дыханием к чему-то прислушиваясь; но на другой стороне они уже шумят, поют какую-то мрачную, таинственную песнь и раскачиваются. Но тотчас же над оврагом пронесется что-то легкое, таинственное, невидимое, и ели на противоположном склоне оврага оживают. Вначале тихо, затем все сильнее и сильнее, начинают шуметь они ту же мрачную, таинственную и мощную песнь, которую шумят сестры их на противоположном склоне. Все сливается в один шум, рев и гул. Блеснет белая, извилистая огненная линия; наступит жуткая тишина; но не на долго, шум начинается снова, под глухой грохот громовых раскатов. Стройные могучие ели гнутся, как кнутовища. Где-то в лесу раздастся короткий, резкий треск, как стон, но шум тотчас же заглушает его. По мелким деревьям и кустам растущим по склонам оврага минутами пробегает как бы дрожь; они вздрогнут, зашевелиятся и со страхом наблюдают за борьбой наверху, где ели общими силами борются со врагом своим — бурей.

Кажется, что временами и мощные ели поддаются отчаянию. Может быть их ужасает вид того, что происходит на другой стороне оврага. Там стояла стройная и могучая ель, но от нее остался лишь белый расщепленный ствол. Сама же она с поломанными ветвями лежит на дне оврага. А из белого ствола падают на землю крупные, прозрачные капли, как тихие слезы лесного великана. — Но буря бесновалась уже достаточно. Как бы успокоившись, она становится все тише и тише и отходит за лес — в неизвестные дали. Лес зати-

хают: вскоре перестают качаться ветви деревьев, на которых как бы для отдыха остались прозрачные капли. Неизвестно откуда появившись, на одной верхушке ели начинает петь болотный скворец; кукушка, весело крича, перелетает с дерева на дерево; дятел начинает поспешно стучать, большими кругами плавают ястреб. Минутами по лесу пробегает как бы вздох. Ели на обеих сторонах оврага тихо перешептываются друг с другом, спрашивая одна у другой о чем-то, затем слова наступают тишина... Бой окончен. Но раны болят...

Лесная тропинка, извиляющаяся между деревьями по склону оврага была теперь пустынна и тиха. Да и кто ходил бы по ней — самое рабочее время. По воскресеньям здесь обыкновенно ходят богомольцы-пешеходы. Тогда там-сям на солнечных местах между деревьями мелькают светлые женские одежды, а в серьезной лесной тишине минутами раздавался и веселый смех...

Разгоряченный дальней дорогой, Велде присел в тени деревьев у оврага, чтобы немного отдохнуть. Оставшуюся часть своего участка он решил обойти вечером. Он снял шляпу. Приятная свежесть охватила голову, слипшиеся от пота волосы, ласкала шею и проникала за ворот рубашки, спускаясь по вспотевшей спине вниз. Каро лег рядом со своим хозяином и положил голову на мокрые передние лапы.

Велде смотрел на верхушки деревьев охваченные солнечным жаром, внимательно всматривался в чащу леса, как бы ища чего-то, или кого-то ожидаая. Но около Орехового оврага стояла никем ненапрушаемая тишина. Только невдалеке от него резко кричала какая-то птица, раз сто повторив крик свой, который казался вопросом: — ну что ты будешь делать? Скажи, что ты будешь делать? Ну так скажи же, что ты сделаешь?..

Велде задумался. Но это были те же мрачные, болезненные мысли, которые против собственной воли овладевали им. В них не было просвета, только тьма — и все покрыто серой, холодной, туманной пеленой... Отец его целых тридцать лет прожил здесь лесничим, обходя эти же самые места. Отцу жилось хорошо, ибо собственник Гайленского имения, кому принадлежал этот лес, старый, седой барон относился к нему дружественно. Он мог дать образование и детям своим. Старший сын получил в губернском городе место чиновника и жил припеваючи. Сам он, Карл, окончив школу, остался жить у отца вместе с Мартой, которая была еще малым ребенком, когда умерла мать. Когда старый барон также умер и заместителем его стал сын, который всю молодость свою прожил за границей, Вел-

де не жилось уже так хорошо, как до сих пор. Молодой барон был резок и нетерпелив и служащие менялись чуть ли не ежедневно. Из-за пустяков, очем при старом бароне можно было лишь посмеяться, многие лесничие принуждены были потерять место и вместо них были наняты другие, которым не жилось лучше, чем их предшественникам. Отец Велде не потерял места — может быть только потому, что он был верным слугой старого барона и товарищем по охоте, которую старый барон страстно любил до самых последних дней. Молодой барон знал это и относился к старому лесничему лучше, чем к другим. Но что будет теперь: сможет ли он, Карл, удержаться на отцовском месте? За это нельзя было ручаться. Пока что, «на пробу» барон оставил его лесничим, но может легко случиться, что следующим летом ему придется оставить родимые места и отправиться на чужбину. Случались уже вещи, которые могли вызвать недовольство барона он был упрямым, потому что не умел и не хотел так унижаться, как барону это нравилось бы; во-вторых — в его лесном участке было срублено и увезено несколько деревьев. Все старания найти воров были безрезультатны. Барон был недоволен и не было тайной, что если лесничий не мог найти виновного, то барон считал его соучастником воровства. Он прислушивался к тому, что говорил старший лесничий, который любил, чтобы ему оказывали почет, и что тот говорил, с тем барон и соглашался. Если это касалось когонибудь из его сотоварищей или «подчиненных», как он сам думал, с кем он был не в ладах и хотел «выжить». И этот человек не был другом Карла, нет, Карл ненавидел его до глубины души, ненавидел так, как никого во всем мире. И разве в таком случае сам он мог ожидать от него чтонибудь хорошего. Что ему не жить здесь, в этом Велде был вполне уверен. Но это его не особенно удручало. Хотя место, где он родился и вырос, где провел детские и юношеские годы, было ему мило, хотя и сама жизнь лесничего — обходить с отцовским ружьем за плечами все те места, по которым ходил отец — казалось ему приятной — однако все это можно было бы перенести и с печальным, но все же спокойным сердцем уйти, если бы не было чего-то другого. А этим другим было то ужасное, что тотчас же по возвращении его из солдатчины начало мучить и грызть и чем дальше, тем больше. Почему должна была умереть Марта, которая, только что распустилась, как цветочек черемухи? Почему нет отца и он почивает в могиле на кладбище? Если бы на эти вопросы совершенно нельзя было бы ответить с этим пришлось бы примириться: «Господня воля». Но если, исходя из них, как по нити можно было добраться до человека,

виновника всех несчастий, то — в груди палило и жгло, как растопленным свинцом! Разве можно было все забыть, на все махнуть рукой, прикрыв глаза и только продолжать жить? Ай нет! нет!!! Уже возвратившись с берегов Дона, он принес с собой хотя еще и ясно неосознанные, но тающиеся в глубине сердца планы мести. И они возстали и рвутся наружу как ужасная, неудержимая сила. Как долго сможет он еще сдерживать их в измученной груди? Неужели же можно все прикрыть и жить дальше? Кто может ответить ему на эти вопросы? Не было никого, у кого он мог бы требовать ответа, а сам он нигде не мог найти его... Велде тяжело вздохнул и потер лоб рукой. Каро поднял голову, посмотрел на своего господина, но видя, что тот не думает еще подниматься и уходит, положил ее обратно и начал снова дремать. Птица, которая недавно еще кричала тут же поблизости успела уже отдалиться, но и теперь еще ясно можно было слышать ее упрямый вопрос: что ты будешь делать?... ну скажи, что ты будешь делать?... скажи же, что ты сделаешь?... Да: — что ты сделаешь?... повторял про себя и Велде.

Велде вынул из кармана несколько писем. Из них он выбрал одно, конверт которого был совершенно порван и еле держался. И исписанная бумага в местах перегибов была порвана. Карл развернул письмо и начал смотреть на него. Он читал его несчетное количество раз и помнил каждый изгиб буквы. Но ему нужно было читать его снова и снова. Это было письмо отца, последнее письмо, которое он получил прошлой осенью. Тогда он был далеко, в одном городке Донской области. Последнее письмо отца... От него дышало полным печалю, отчаянным прости, там было объяснение тому сердечному горю, которое принесло ему смерть — на месяц, год, может быть и на несколько лет раньше, чем это можно было ожидать. Глаза Карла были устремлены на строчки написанные угловатым почерком, минутами в каком то оцепенении он смотрел на одно место — на одну букву выведенную дрожащей рукой.

— Мой, милый сын, — гласило письмо, когда ты будешь читать это письмо, меня уже не будет. Но ты, сынок, не пугайся этих слов, ибо все должны раз умереть и предстать пред Вечным Судьей. Я вероятно, умру скоро ибо чувствую как исеякают мои силы. И так, мы не увидимся более на этом свете. Хорошо было бы, сынок, повидаться с тобой, но ничего не сделаешь... — Затем, вначале, видимо робея, дрожащей рукой писал он о гибели Марты. Глубокое отчаяние, смертельная тоска, гнев и ужасное недовольство самим собою чувствовались в словах старика, когда он говорил о своей и Марты

разбитой жизни. — Марта была обманута под маской любви, и отец в неукротимом гневе проклял ее, и разбил ее чуткую душу. Она не могла перенести этого и нашла себе покой в темном омуте пруда. Хотя ее и вытащили еще живой, но однако она таяла и таяла, пока угасла.

— Да, сын мой, с тяжелым сердцем должен я признаться, что часть тяжелой вины лежит и на моих старых плечах. Я ее — да, я проклял дитя свое и в холодную, бурную осеннюю ночь выгнал из дома. Мое преступление давит меня, как невыносимое, тяжелое бремя. Но поверь, сынок, я сделал это в минуту неукротимой ярости и жалости, когда думал о нашей поруганной чести и запятнанной чести твоей несчастной сестры, когда я был близок к безумию. Я не знал более, что делал. Теперь я знаю — и душа моя мучительно стонет. Ты же знаешь мой вспыльчивый, ужасный характер, который доставил мне столько мучений, а также и эти последние и самые тяжелые. Немного было нужно, чтобы я пошел на смертный суд с тем, кто больше всего виноват в нашем несчастье, но болезнь стубила меня. Теперь остается лишь покаяться в грехах своих и — идти в могилу к своей несчастной дочери. Когда возвратишься, узнаешь все подробнее — тяжело писать мне. — Затем он просил еще сына не отчаиваться и простить своего несчастного отца. Он надеется, что Марта перед престолом Господним сжалятся над его бедной душой.

— Ну, сынок, надо расстаться. Будь здоров — прощай! Я расстаюсь с этой горькой жизнью, прося в глубине души прощения у Марты и у тебя — да, и у тебя. Я же понимаю, сынок, какое тяжелое бремя я налагаю на тебя... Знаю как будет мучиться твое сердце. Прости меня! — и да хранит тебя Господь! Твой отец Янис Валде.

Да, таково было это письмо, которое прочитав, он чуть не потерял тогда рассудка. Получив на несколько часов отшук, он вышел за город, олуждал, как растерянный, по степи, устал лицом на пожелтевшую траву, кричал от смертельной сердечной боли, плакал и мучился ужасно. — На взгорье, на самом берегу Дона, без зелени, без одного деревца, было маленькое кладбище окруженное валом из беловатых крошащихся камней. На запущенных, провалившихся могилах стояли маленькие полусгнившие кресты. На это кладбище, где покоились совершенно чужие люди, он зашел, сам не зная почему, и пережил там самые тяжелые часы своей жизни. Он жаждал, чтобы у него выросли крылья, на которых он мог бы улететь на роди-

ну к смиренному одру отца и — растоптать ногами того, того!... Но до родины были сотни километров, а он был на службе... О, это были тяжелые дни и ужасные ночи! Как за черной тучей бледнело и угасало солнце... угасало и угасло...

Недели через две пришло снова письмо. Оно было от брата. Тот извещал, что отец умер и похоронен рядом с Мартой. Имущество отца остается нетронутым, и им будет заведывать крестная до возвращения Карла. Был он и у барона. Тот согласен на то, чтобы Карл занял место и должность отца. — До конца военной службы оставалось около месяца. Это время прошло, как в тяжелом, кошмарном сне. Наконец он был свободен и мог ехать на родину. Он спешил сюда полон мечтаний, как бы не понимая того, что его ничто другое здесь не ожидает, кроме немых могил. Возвратился домой: все было так же, как он оставил, уходя; не видно было лишь отца и Марты. Кажется, что отец и сестра куда-то на минуту вышли и возвратятся сейчас, сейчас... Это наводнение было так сильно, что он иногда придя в себя от задумчивости, бросал взгляд на дверь и ждал, неужели же она тотчас же не откроется и не войдет отец или сестра...

Когда он возвратился домой и в сумерках вошел в тихую, пустую комнату, сердце его сжалось от невыразимой боли. Вошла крестная, вошел Андриев, и ни один, ни другой не могли удержать слез. И тогда они плакали все трое — все трое беззвучно плакали в вечерних сумерках, как малые дети, которые тяжело наказаны...

А жизнь текла своим чередом. От Андриева и крестной он узнал все, чего не объяснил в письме отец.

Марта любила Тейфера уже давно, и тот тоже, как им казалось. Тейфер часто бывал здесь в гостях, и ожидали уже только свадьбу. Но затем одно время Тейфер более не показывался и Марта была ужасно несчастна. На все ее просьбы и письма было лишь вывертывание, затем насмешки и наконец полное молчание. А затем о несчастье Марты узнал отец, и в тяжелую минуту, охваченный неукротимой яростью он решил ее проучить и проклял свое дитя вместе с ее соблазнителем... Марта не перенесла этого, и тогда произошло еще более ужасное несчастье, которого отец не смог пережить...

Тогда, как молния во тьме, мелькнула мысль, что Тейфера следует привлечь к ответственности за смерть сестры и страдания отца. Своего отца он наказать не мог, хотя и признавал его вину, но с тем большей горячностью мысли его обращались к Тейферу. Он прожил здесь уже более полгода и тяжелые, горькие чувства как камень давили его грудь. И кто же был этот человек, по вине которого была

разбита жизнь его близких? Это был один из его товарищей, довольно образованный лесничий, назначенный бароном надзирать за другими лесничими, таким образом в своем роде его начальник. Он несколько раз за это время встречался с ним, конечно, по делам службы при чем Тейфер относился к нему с любезным безразличием, как будто бы ничего и не случилось. В груди Карла горела неукротимая боль и темная ненависть поднимала голову, но он не мог понять, как сделать Тейфера ответственным, как заставить его заплатить за происшедшее...

Но этого нельзя было оставить без последствия! Такая жизнь полна стыда! Это не может так остаться! Не может! казалось кричал какой то голос в груди Карла, не давая ему покоя ни днем, ни ночью, и становясь все сильнее и настойчивее. — Ты трус, если ты ничего не сделаешь... так не может это остаться!

Письмо выскользнуло из рук Карла и упало на желто-зеленый мох. Он встрепенулся и снова потер рукой лоб. — Что мог он сделать Тейферу? Отдать под суд? Идти и говорить с ним? Выругать, побить? — Смешно!... Велде съезжился от дальнейших своих мыслей. Каждый раз он доходил до них, но мысли эти были ужасны. Еще раз провел он рукой по лбу, взял письмо, сложил и присоединил к другим. На одно из последних писем остановил он взгляд свой. Это было письмо Марты.

— Мой милый брат! Если бы ты знал, как я счастлива, петь хочется, да я и пою. Вскоре и ты будешь здесь, и это радует меня еще более. Теперь я часто тоскую по тебе, и отец также всегда говорит о тебе. Но ты придешь и тогда мы так споем, что эхо отдастся под темными елями Орехового оврага! Твою фотографию я повесила на стене рядом со своей кроватью и каждый вечер, идя спать, думаю о своем милом, милом брате, и каждое утро, когда встаю, смотрю на тебя...

— Ах, сестрица, сестрица! — вздохнул Велде, засовывая письма в карман.

— Ах, мой Каро, мой старый друг, — сказал он, погладив голову собаки. Что с нами будет?.. Затем он отклонился и, опершись на руку, закрыл глаза. Как хорошо было бы заснуть и ни о чем не думать...

И действительно дремота одолевала его, и как сквозь сон слышал он, что странная птица, которая на короткое время было умолкла, или улетела куда-то дальше, снова говорила где-то тут же вблизи: скажи, что ты будешь делать? ну скажи же, что ты сделаешь?...

Вдруг Велде встрепенулся. Не ехал ли кто-то по лесной дороге? Казалось, что слышался стук колес. И Каро поднял голову и начал смотреть в сторону дороги. Да, действительно там кто-то ехал: поскрипывала временами повозка по ухабистой, покрытой корнями дороге. Велде поднялся и перекинул ружье через плечо.

Кто же это мог в такое время ехать по лесной дороге? — Велде сделал несколько шагов в сторону дороги и остановился на на таком месте, откуда можно было дальше видеть. Да, там уже показалась повозка и ехавший на ней. Он сидел на легких линейных дрожжах и внимательно смотрел по сторонам. Лицо Велде потемнело: как бы черная тень пала на него, а губы плотно сжались. Ехавший был Тейфер.

Это был молодой человек, стройный, сильный, с симпатичным, даже красивым лицом, с закрученными вверх, холеными усами.

В первый момент Велде хотел уйти, чтобы не встречаться и не говорить с этим человеком; он было уже повернулся, чтобы идти, но подняв вновь глаза на ненавистного ему человека, из упрямства остался стоять на месте. И Тейфер заметил его и смотрел, вытянув шею. Доска линейки гнулась под его тяжестью и серая в яблоках лошадь, круто согнув шею, как будто чем то рассерженная шагала по неровной дороге.

Каро сделал несколько прыжков в сторону ехавшего, но на свист Велде вернулся обратно. Став рядом со своим хозяином, он поднял глаза вверх, как бы спрашивая: разве действительно нельзя идти? — это же знакомый... Но Велде стоял неподвижно; он стал бледнее и прерывисто дышал. Он сам чувствовал, что волнуется, сердился за это на себя и старался овладеть собой, чтобы его волнение не было замечено. Пальцы его судорожно сжали холодные стволы ружья.

Доехав до Велде, Тейфер придержал лошадь. Один момент он сидел молча, как будто чего-то ожидая, затем небрежно и безразлично произнес:

— Добрый день.

— Добрый день, — ответил Велде, стоя на месте. Он заметил, что и Тейфер не так уж спокоен и безразличен, как хочет казаться.

Тейфер пошевелился на своем обитом серым сукном сиденье и затем осведомился таким тоном, по которому трудно было судить, хочет ли он быть любезным или нелюбезным.

— Как дела?

— Ничего.

— Ну и дорога здесь. Думал, что будет хорошая, но трясет ужасно. Только прямее она. Подороги всего... Велде ничего на это не ответил.

— Но пешком здесь ходить хорошо: тень, как в саду... Стараюсь, наверное быть любезным, он засмеялся. Тейфер вынул черный кожаный портсигар с металлической ободкой, зажал вожжи между коленями и приготовился закурить. Он предложил папиросу и Велде, но тот холодно отказался.

— Хм, — пробурчал Тейфер, зажег спичку, и синеватый дым легкими струйками и кольцами начал подниматься вверх.

Минута тяжелого молчания. Затем Тейфер с подчеркнутой любезностью начал разговор снова.

— Подойдите же ближе! Почему вы меня избегаете? Дело товарищеское нужно жить в согласии... Мне хотелось бы поговорить с вами о том, о сем... Но мы редко встречаемся.

— Ну?...

— Вы же можете здесь присесть, — сказал Тейфер и немного отодвинулся.

— Не нужно. — Что вы хотите сказать?

— Скажите, Велде, почему вы ко мне — так?...

Разве я враг вам? Раньше же мы хорошо жили...

будем жить так и впредь! Скажите почему мы не могли бы ужиться: дело товарищеское... Тейфер пошевелился и начал говорить быстрее.

— Видите-ли... Знаете-ли, что я надумал? Ваша рига уже старая и может скоро обвалиться. Так и так придется строить новую... Да это ведь прямо стыдно, что у нас, у самих лесничих, нет хороших построек! — Он засмеялся и затянулся дымом папиросы.

— Знаете, что... я сегодня же предложу барону, чтобы он уже на следующую зиму отпустил вам леса на новую ригу! Следующей зимой порубка падает на ваш участок. Везти-то будет совсем близко: почти что дома! А то если достанешь в другом участке — вези тогда! И если теперь порубка пройдет мимо, то тогда ждать придется долго. Ну, что вы об этом думаете?..

Но Велде тотчас не ответил. Наморщив лоб, смотрел он мимо Тейфера в лесную чащу. Нескрываемая досада была у него во взоре, когда он наконец посмотрел на Тейфера и как бы нехотя проговорил:

— Как барон пожелает. Откуда прикажет, оттуда и повезу...

— Ха, ха, ха! Видите, что вы за человек! Откуда прикажет! Разве для вас это безразлично: ехать пять верст, или одну? Не, мне

кажется, что вы на меня сердит! Годы военной службы вас очень изменили.

— Да, эти годы меня сильно изменили, — сурово повторил Велде.

— Вероятно вам... наговорили про меня какой-нибудь ерунды?

— Ерунды?!..

— Конечно! Что же иное? Я же знаю и понимаю, что не радостно вам было возвратиться. Но разве моя в том вина?! Почему они сами так горячились? Не знали сами, что делали!..

— Что вы говорите..? — Велде быстро пошевелился и глаза его угрожающе засверкали. — Вы еще осмеливаетесь так говорить? — Вы...!?

— Ну, ну, Велде, не кричи! — Я не приехал сюда ругаться, у меня дела в именини... Мы можем поговорить и в другой раз... да к тому же и поразумнее...

— Да, поговорить! Известно, поговорить! И мы поговорим — будьте покойны! Мы поговорим! Без этого не обойдется!.. Понимаете!!!

Рука Велде, которой он сжимал ствол ружья, дрожала как в лихорадке.

Тейфер не ожидал такого результата. Он, насколько можно было понять, чувствовал себя неловко и сердился. По крайней мере глаза за его сердито сверкнули, когда он, выпрямившись, строго и повелительно произнес:

— Не кричи на меня, пожалуйста! — Можно было понять, что он хочет дать Велде почувствовать, что тот стоит перед своим начальником. — Можешь и говорить, если только я захочу тебя слушать.

— Захочешь слушать?! — Я заставлю тебя слушать — понимаешь? Ты — мерзавец!..

— Ну, ну! Об этом мы тоже поговорим позднее! Ну, а теперь к делу! На твоём участке опять один новый пень. Снова воровство! — Тейфер теперь вполне перешел на «ты» — в роли строгого начальника. — Что это за лесничий, который не знает, что происходит на его участке! а? Или может быть ты сам позволяешь спокойно воровать?..

— Где пень? — как бы не понимая, спросил Велде.

— Где пень — переспросил Тейфер и резко рассмеялся. — Вот тебе и лесничий! Смотри, в том углу леса, на самом краю дороги! Бросается в глаза каждому прохожему, а лесничий этого не видит!

— Пень?..

— Ну — пень! пень! пень! — сурово повторил Тейфер. — Лесничий Бог знает о чем думает, готов другого чуть не за горло взять, а за это время у него крадут деревья. Не знаю, чист-ли он и сам в этом деле? Надо будет на это обратить внимание барона. Увидим, что он скажет.

— Делай! Это твоя должность, пронира! Расскажи! Очерни! Спешни!.. — Велде не мог более выдержать. Отвращение, невыразимое отвращение было у него к этому человеку, и ему хотелось наговорить всяких гадостей, лишь бы только он уехал и не стоял у него перед глазами...

— Придется попросить барина, чтобы он выдал таким лесничим награду, да поскорее. Хороши лесничие!..

— Прочь, пронира, лезь, жадайся!.. поезжай! — крикнул Велде. Он чувствовал, как голова у него начинает кружиться.

— И затем я хотел бы знать, почему в лес водят собаку? Разве это неизвестно, что барон строго запретил в это время пускать собак в лес? — Казалось Тейфер радовался волнению своего противника и хотел Велде еще больше помучить.

— Мой пес не безчестный!

— Честный пес? а?

— Да, честный — честнее тебя! Много честнее тебя, мерзавца!..

Тейфер ударил лошадь кнутом. От неожиданного удара лошадь так испугалась, что взяла с места в карьер, хотя Тейфер и натянул возжи. Вскоре он исчез, издали был еще слышен стук колес, который становился все тише и тише.

Велде пошел обратно к Ореховому оврагу. Все члены его как бы онемели; в голове шумело. Когда Тейфер отъезжал, рука его схватила ствол ружья. Как искры мысли блеснули перед его глазами. Он посмотрел на дорогу, но Тейфера уже не было... На этот раз он уехал... но...! На склоне оврага он остановился и посмотрел на противоположную сторону. Там вокруг ели кружилась какая-то ворона, она неприятно кричала и била крыльями о ветви. Временами она опускалась на какую-нибудь ветку и сердито добила ее клювом. Там; вероятно, кто-то приближается к детям. — В овраге же, почти на самом дне странная птица продолжала кричать свое: что ты будешь делать? скажи, что ты будешь делать? скажи же, что ты сделаешь... Велде прислонился к серому стволу ели и скрестил руки на дуле ружья. Каро растянулся рядом и задумчиво смотрел на овраг.

— Как сквозь сон слышал Велде крики птицы и тихо повторял про себя нетерпеливый вопрос: скажи, что ты будешь делать?..

Небо заволжлось как бы синевато-серым покрывалом, но солнце жгло немилосердно. Прохлада в лесу исчезла; и ее сменили сильный запах нагретой хвои и смолы. Вокруг рва стояла тяжелая тишина.

Каро ткнулся мордой в колена Велде и пробудил его от размышлений. Он поднял голову и глаза его выглядели так, как будто ему только что была сделана тяжелая и болезненная операция.

— Да, Каро, надо идти, — сказал он и вышел на дорогу. Он посмотрел на то место, где дорога поворачивала в лесную глушь, но, конечно, ничего там не увидел. Кар побежал было вперед, но затем остановился и посмотрел на Велде, стараясь узнать, в какую сторону он пойдет. Велде хотел было повесить ружье через плечо, но бросил взгляд на курки. В обоих стволах патроны, да.

— Так-то, Каро, надо было испробовать, не идти ли нам напрямик — выходит, что так.

Собака оживилась, как бы понимая своего хозяина. Велде смотрел вдоль края дороги. Довольно далеко от него, перегибаясь через дорогу виднелась сухая сосновая ветка с пучком хвои на конце. Он поднял ружье и прицелился. Показалось маленькое синевато-серое облачко дыма, распространяя запах пороха. В тот же самый момент пучок хвои отделился от ветки и, рассыпаясь, упал на дорогу. Большими прыжками Каро направился туда, обнюхал оставшуюся хвою и в недоумении посмотрел на своего хозяина. Поблизости хлопая крыльями поднялась с дерева какая-то птица, а на другой стороне оврага вновь хрепко закричала ворона.

— Нет там ничего, Каро. Иди сюда. Но может быть когда-либо что-нибудь и будет. Да, Каро — это может случиться, что когда-нибудь будет...

Он направился домой. По дороге он вспомнил про пень, о котором говорил ему Тейфер, и ему захотелось отыскать его. Действительно в углу леса, недалеко от самой дороги был новый пень. Была срублена ель. Этот уголок он много раз осматривал, но поверхностно, не думая, чтобы здесь, на таком видном месте вор осмелился рубить дерево. Воровали обычно в глуши — там за оврагом. — Таковы были его соседи! Головорезы! Да и кто другой мог бы это сделать? Издалека сюда не явятся. Но разве он плохо относился к ним? Случалось ловить на каком-нибудь пустяке, напр., с травой, или же бывало скот забредал в лес — он ведь не тащил в суд, придерживался духа, а не буквы; ограничивался предупреждением... А они — како-

вы! Подумал он и о том, что следовало бы найти вора; далеко дерево увезено не было. Но затем, как человек, которому все надоело, махнул только рукой... Ну, конечно, пожалуется, тотчас же пожалуется. Начнется расследование с бранью и угрозами. Пусть! Он еще раз махнул рукой и направился домой.

Скоро ему стало жарко: пот начал течь по лицу. Но он не обратил на это внимания; он хотел утишить свое внутреннее беспокойство. Если бы можно было это сделать — если бы было можно!..

Когда он вернулся домой, все уже пообедали и ушли отдыхать. Андриев, подстелив старый пиджак, растянулся на нем в тени под липой и крепко спал. Пастух с пастушкой сидели на травке перед амбаром и о чем то разговаривали вполголоса; рядом с ними лежала лохматая, черная собака с белой грудью и, прикрыв морду, передними лапами, крепко спала. В воздухе там и сям, блестя на солнце, жужжали мухи и комары. Усталый Каро, тяжело дыша, растянулся у забора.

Карл вошел в комнату. Вытерши полотенцем разгоряченное, потное лицо, он сел за стол, на котором стояла миска и лежала тонкая деревянная ложка. Он попробовал есть белую гороховую кашу, одно из любимых его кушаний. Только теперь, как казалось она была безвкусна. Съев несколько ложек, он отодвинул от себя миску.

Затем Велде лег в постель, желая уснуть. И казалось, что сон одолеет его, потому что во всем теле чувствовалась страшная усталость.

Мысли потеряли свою ясность, как бы затуманились, но однако не переставали буравить голову. Стало душно жарко. Он сел в постели, опустил ноги на пол и оперся головой на руки. Боже, как тяжело! И чем все это кончится?..

Через минуту он вышел на двор. Андриев все еще спал на прежнем месте, только теперь он прикрыл лицо шапкой, чтобы солнечные лучи, пробиравшиеся между ветвями дерева, не падали ему в глаза, пастух и пастушка, сидевшие перед амбаром, перебрались теперь на луг за садом, откуда слышался тонкий голосок Маружки: — Петя, подожди меня тоже, — пойдем вместе! Ишь ты, убежал таки дин.— еще пташек распугаешь... осторожно!..

Медленно Карл направился к амбару. Приятная свежесть охватила его, когда он вошел туда. Около одной стены стояла кровать, которая была аккуратно прибрана и как бы ожидала кого-то. Это была кровать сестры. Сюда он заходил иногда отдохнуть, когда в комна-

те бывало жарко. И каждый раз, когда лежал на этой кровати, прикрывшись сестренным одеялом, и положив голову на ее подушку, ему казалось, что сестра тотчас же подойдет к кровати и проведет своей легкой и женской рукой по его волосам и лбу...

Как больной упал он в постель. Напротив, на стене висел костюм отца; далее в самом углу стоял коричневый сундук — приданное Марты. В нем было белье, верхняя одежда и куски полотна. И все это дышало каким то печальным приветом и жалобным упрёком...

— Не может так оно остаться! — гудело у него в голове.

Если бы они умерли от какойнибудь смертельной заразы — холеры, чумы — вдруг, неожиданно, и, возвратившись домой, он не нашел бы их, он бы успокоился. Что делать? Такова воля Божая! Он ухаживал бы за их могилками и хранил бы в сердце милое и печальное воспоминание о них! — Ну, а теперь? Как умерли они? С горьким чувством отчаяния и жалости, разбитые и потрясенные до глубины души!... Боже, Боже!.. И ты будешь спокойно жить, забудешь все: что уже было, было, было... Более того: будешь встречаться с тем, который, смеясь, толкнул их на несчастье, и в конце концов еще подашь ему руку... И он вздрогнул, как от прикосновения к гадине, ибо вспомнил, что он действительно подавал руку Тейферу. Это было тогда, когда он, только что возвратившись домой, получил от барона разрешение остаться на отцовском месте. Тогда Тейфер сказал: — Я надеюсь, что мы будем добрыми друзьями, — и подал ему руку. И он подал ему свою, как бы стесняясь, но все же подал. Но тогда еще он не отдавал себе вполне и во всем отчета. — Нет, это не может так остаться!.. Он чувствовал, что ему самому нужно будет ужасно презирать себя, если ничего не произойдет. В таком состоянии жить было невозможно. И пусть пронесется какая угодно буря с громом и молниями, лишь бы потом свободнее дышалось груди. Как может он ходить по тропам протоптанным отцовскими ногами, как может дышать тем воздухом, который еще полон дыхания сестры, если не сделал ничего, чтобы доказать другим, как самому себе, своему сознанию — что он не желает примириться с происшедшим?! Но он ничего не сделал; он только ожидал, что что-то произойдет. Но ничего не случилось. И разве так это будет и впредь? — пока Тейфер прогонит его отсюда, где жили его близкие, где вырос он сам. Неужели ничего не случится?

Ведь заснул, но сон его был тяжел и полон бреда. Он видел своего отца печального, горького и с ружьем отправляющегося

в лес; на дворе или в саду был слышен голос Марты — веселый, звонкий, певучий... Затем он вновь очутился на чужбине, на берегу Дона. С тяжелым чувством в груди блуждал он по широкой, необозримой степи. Сухая, старая трава шелестела под ногами. А там маленькое кладбище на самом берегу Дона. Вокруг него вал из белых, крошащихся камней. Маленькие, покривившиеся кресты сбиты гвоздями. Нет ни одного деревца, ни одного памятника; волнуется лишь выгоревшая степная трава. Горько, печально, бесконечно тоскливо...

На дворе был слышен шум. Крестная выпускала скот, приговаривая: — Ши, ши, идите, идите. Петя, а Таксу хлеба-то взял? Так, так, ну, хорошо!...

Велде проснулся. Итак, скот выгоняли уже на пастбище: должно было быть около четырех. Ну, пора вставать, — ему нужно было еще идти в лес.

VII

Когда Карл вышел из амбара, на дворе была снова тишина. Крестная, наверное, была в кухне, ибо через открытые настежь двери выходил синевато-серый дым, и, поднимаясь вверх, цеплялся за край крыши и ближайшие ветви липы. За домом, по дороге ведшей на пастбище лаяла собака.

Велде не чувствовал никакой бодрости, сон не освежил его; голова была тяжелой попрежнему. Он пошел домой и приготовился снова идти в лес. Крестная принесла подник. На этот раз она постаралась: нажарила мяса и лепешек. Радостно пригласила она Карла к столу. Пусть же он хоть раз начнет кушать как следует, ибо иначе люди начнут думать, что она морит его голодом...

— Ну, иди, закуси. Ты ведь почти совсем не обедал... Затем она снова отправилась на кухню.

Велде лишь печально улыбнулся, но за стол однако сел. Но и на этот раз с едой не спорилось. Чтобы не обеспокоить крестной еще более, и позвал Каро и угостил его подником. Теперь можно было видеть, что порция основательно уменьшилась.

Когда он пошел, Каро готовился последовать его примеру. — Нет, дружок, оставайся лучше дома. Нельзя идти, — сказал засмеявшись Велде.

Собака просяще смотрела ему в глаза и виляла хвостом.

— Нет, нельзя, нельзя: ругаются... Тебя могут убить! Ступай

спать. — Он показал на место у своей постели. Собака повиновалась, и хотя медленно, но пошла и легла на указанном месте.

Ведде бросил взгляд на ружье: один ствол был пуст. Он вынул из ящика стола новый патрон и осмотрел его: он был заряжен пулей. В первый момент он хотел было бросить его обратно в ящик и взять другой с дробью. Н затем он вдруг как бы застыл при одной мысли мелькнувшей в его голове. Затем он быстро вложил патрон в ствол и вышел из комнаты.

Остановившись перед домом он осмотрелся: погода очень переменялась. Солнце затуманилось и потеряло свой блеск. Но несмотря на это, было еще жарче чем перед обедом — удушливо жарко. По всему было видно, что собиралась гроза. Деревья стояли смертельно усталые и ожидали, с жадностью ожидали хоть каплю влаги. Трудно было переносить такое удушье — дождь был необходим.

Тогда снова все оживет и начнет новую жизнь...

Карл взял ружье и зашагал по двору по направлению к воротам.

— Послушай, Карл, — услышал он вдруг за собой голос крестной. Он повернулся.

— Что?

— Ну, чего ты пойдешь теперь в лес? Гроза будет. Мне кажется, что вдали уже гремит. Оставайся лучше дома.

— Хоть бы и гроза, что с того? Дождь нужен.

— Что ты будешь делать в лесу? — Не ходи ты... Мне как то страшно... тяжело на сердце... Лучше останься дома.

— Крестная, что ты? Чего же мне бояться?! Если начнет идти дождь — я пойду домой — там уж не останусь.

— Я не знаю... Но лучше бы тебе не ходить! Уж не такая это большая необходимость?

— Что за ерунда пришла тебе в голову! Стыдно ведь, крестная... Разве гром такая неслыханная вещь?

Он повернулся и вышел за ворота. Крестная же долго еще смотрела ему вслед, и затем, тяжело вздохнув, пошла обратно в кухню.

Чтобы облегчить свое удрученное сердце, она начала петь какое то церковное песнопение. Но голос был такой странный и неясный, что даже ей самой он показался чужим — и она умолкла. Тяжело и страшно было ей одной в доме. Ведде поспешно направился в лес. Темнело. Над лесом, в серой дымке тумана, можно было видеть тяжелые черные тучи, как крижистые отроги огромных гор. Слышались глухие раскаты. Это был гром, который гремел вдали. Гроза приближалась с глухим гулом...

Велде обошел оставшийся лесной участок и через час снова был у Орехового оврага, недалеко от того места, где сегодня утром встретился с Тейфером. Почему он пришел именно на это место? Что хотел он найти здесь или чего дожидаться?... — Он осмотрел курки, причем пальцы его слегка дрожали, а дыхание было отрывисто...

Мысли во власти которых он находился, были ужасны. Долго гнездились они у него в голове, скрываясь в самых потаенных уголках мозга, и вот вдруг властно заявили о себе, как темными волнами залили его всего. И эти волны бросали его как щепку, которая была бессильна противиться им... Было ужасно — это он сам сознал, но не в его власти было выбраться из этого ужасного потока. И когда он собрав все свои силы и твердость характера, старался освободиться от этих дум, отказаться навсегда, то все для него стало таким пустым, бедным и противным, что он не понимал, как возможно жить. Тогда нужно было уходить неизвестно куда — бежать отсюда, от всего пережитого, бежать от самого себя... А разве это возможно?! Но жить по старому также было невозможно, в этой атмосфере можно было задохнуться... «Это» нужно было сделать, нужно!.. Что будет потом — всеравно, безразлично!.. Только мысли эти не будут уже более мучить его как кошмар, не будут лежать на груди, как тяжелый, лохматый и кровожадный зверь, виваясь когтями в самое сердце и разрывая его. Все остальное исчезло в нем без следа — остались единственно лишь эти мысли.

— Да! да! да! шептал он про себя побелевшими губами, как будто кому-то отвечая. И снова он осмотрел курки. Ружья он не вешал более за плечи, но держал его, как на охоте, наперевес. Сойдя с дороги, он углубился в лес и сел на мох под развесистой елью. Пот катился у него по лицу, глаза в смущении смотрели на устало обвисшие древесные ветви. При малейшем шуме он вскакивал на ноги, и вытянув шею, задержав дыхание, чутко прислушивался. Не поедет ли Тейфер по этой же самой дороге обратно? Может быть он уже проехал здесь обратно в полдень? При этой мысли как будто тяжелое бремя свалилось у него с груди, и он с облегчением вздохнул. Тогда не нужно будет «этого» делать тотчас же, но позднее, когда-нибудь... Но уйти он однако не мог: он не хотел показаться трусом, который боится, вечно боится или же все откладывает на более поздний срок. И он ждал...

А за это время грозовая туча закрыла за собой весь горизонт. По лесу пробежал как бы беспокойный вздох, как предчувствие чего-то страшного. Вадрогнули листья кустарников, и тихо зашелестели

ели. Это дуновение тотчас же прекратилось, но за ним последовало другое, более сильное, как новый вестник, поспешно извещающий о том, что враг уже близко. Вдруг лес, на противоположной стороне оврага, загудел. Вскоре порыв ветра достиг елей и на этой стороне оврага, и лес зашумел. Грозовые раскаты, которые до сих пор слышались лишь вдали, раздавались уже тут же, за оврагом. Временами сверкала молния и ломаная линия ее исчезала за верхушками елей. Дождь начал лить большими, крупными каплями...

Велде ждал и прислушивался. Каждая жилка дрожала в нем от волнения, наблюдая титаническую борьбу, которая происходила вокруг него. Ах, этот гром — как он очистил воздух, который так полон паров!.. Но что он ставит по себе и какое-нибудь разбитое дерево — об этом он теперь не мог думать.

Разве там не слышался стук колес? Он нагнулся вперед. Мокрый клок волос унал из-под фуражки ему на лоб. Он был бледен, как полотно, и руки его твердо держали отцовское ружье.

Да, действительно, там на дороге был шум, но это не был шум ветра. Там кто-то ехал и должен был быть уже близко — тут же, за поворотом.

— Нет, не исподтишка, не исподтишка! — шептал Велде. Поспешно он вышел на дорогу. По дороге еловая ветка сдвинула ему фуражку на затылок. Глаза его были широко раскрыты и странны...

Шагах в двадцати от него на дороге показалась линейка, на которой сидел закутанный в резиновые пальто человек. Линейка медленно приближалась. Казалось, что Тейфер еще не заметил Велде, ибо совершенно не поднимал головы.

Итак... «это» должно случиться...

И вот настал момент... этот момент!..

Велде, бледный и в каком-то оцепенении, стоял на краю дороги. Линейка приближалась...

— Умри! крикнул Велде и поднял ружье.

Голос его был глух и странен.

Тейфер вздрогнул, рванул вожжи и поднял голову. Недоумение и затем безумный страх показался у него на лице. Он пошевелился, открыл рот, вероятно хотел что-то сказать: но в тот же момент резко прозвучал выстрел и тотчас же заглох в вое бури. Лошадь рванула в сторону; ехавший выпустил из рук вожжи и медленно упал на мокрую, неровную дорогу. Из головы его струилась кровь; он не шевелил ни одним членом. Велде широко открытыми, остановившимися

ся глазами минуту смотрел на Тейфера, затем, прижав ружье к груди, перешел дорогу и исчез между деревьями.

Лес на миг как бы замер. Но затем вдруг блеснула молния и раздался такой удар грома, что земля задрожала в своих основах...

УШ.

После страшной грозы волны чистого, свежего, ароматного лесного воздуха наполнили Ореховый овраг. Лес был полон жизни. Беловатые цветочки по склонам оврага ожили, и подняли свои головки, мох зазеленел, а птицы пели звонче и радостнее...

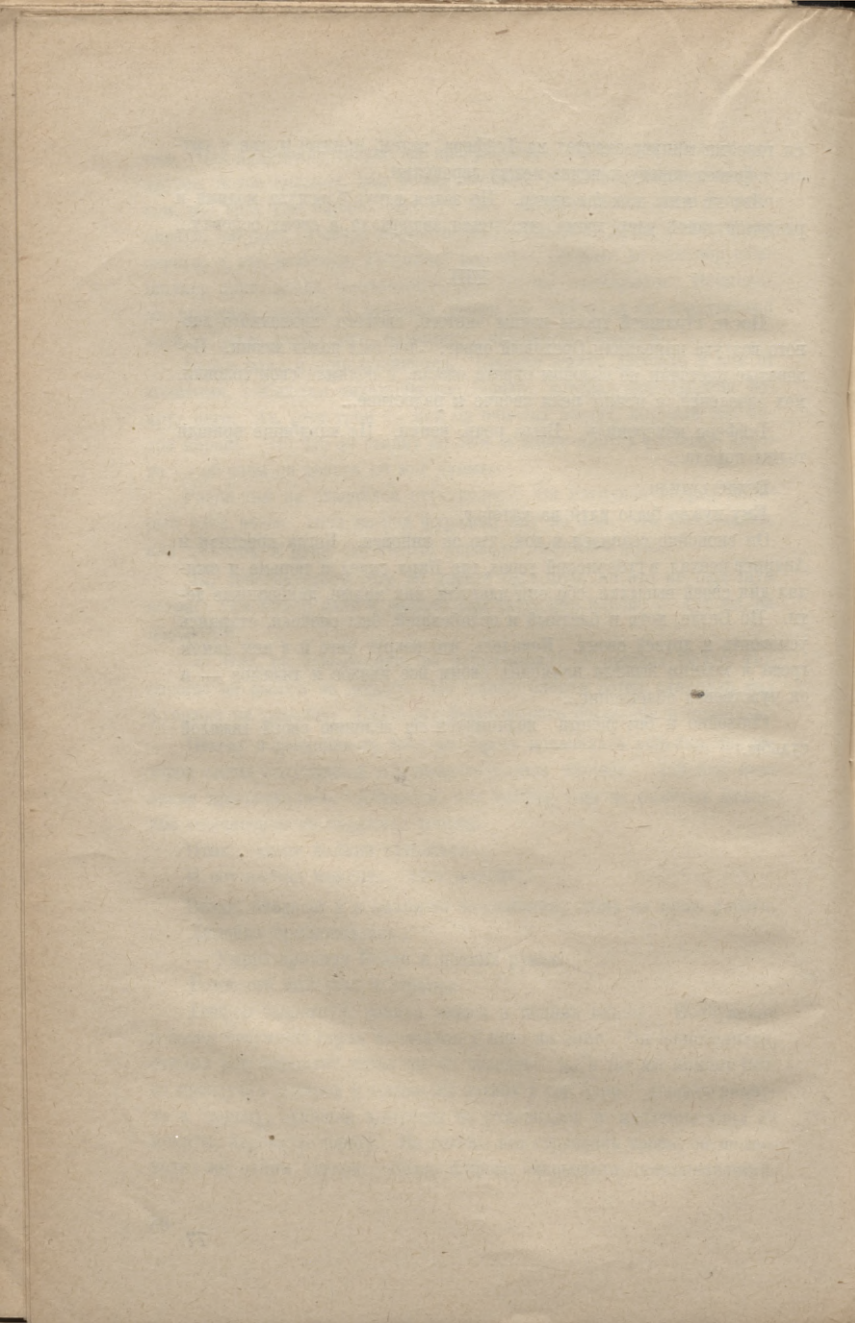
Тейфера похоронили. Были речи, венки. На кладбище пришли толпы народа...

Велде судили.

Ему нужно было идти на каторгу.

Он спокойно сознался в том, что он виновен. Когда крестная и Андриев поехали в губернский город, где Карл сидел в тюрьме и ожидал дня своей высылки, оба они плакали, как малые, наказанные дети. Но Велде, хотя и бледный и ослабевший, был спокоен, стараясь успокоить и друзей своих. Казалось, что вокруг него и в нем самом гроза и молния выжгла пламенем своим все низкое и тяжелое — и он чувствовал облегчение...

Спокойно и без ропота подчинился он велению своей тяжелой судьбы.



Как я ездил на смотрины к Северянке.

Какой-то моряк рассказал мне следующую сказку.

У меня было юное сердце, совершенно юное, крепкое и здоровое, словно сосуд только что вынутый из горня, глазурь которого везде еще цела... Где дотронешься там звенит.

Оно было горячо. Невидимое пламя накаляло его, и оно разносило по моим жилам горячую кровь. Как вешние потоки увлекают с собой прибрежные деревья и оставляют их там, где сами мелеют, так и бурная кровь моя влекла меня в неведомые дали.

И я покинул низкую, серую отцовскую хижину на тихой опушке леса и направился по вспаханному братом холму в неведомую даль, не обращая внимания, куда несут меня ноги мои, спотыкаясь о комья земли и дерн. Я был словно камень в горном потоке.

Надо мной раскинулся синий небесный океан. Позади меня остался его темно-зеленый еловый берег. Одна за другой от берега отплывали светлые, облачные лодочки, с распитыми кем-то золотыми нитями парусами и, волнуемые утренним ветерком, они уносились вдаль над головой моей. В лодочках сидели зори, сверкая бисерными краями, великаны, в блестящих медных латах с пламенными мечами. Зори воспевали грезы; великаны рассказывали о подвигах и рассказы их были подобны роце, поднимавшейся из туманных облаков в заре утренней.

Надо мной плыла огромная ладья с огненными полосами вдоль бортов. В ней стоял великан в сером плаще, с головой окаймленной темным венком волос. Глаза его пылали и смотрели на север.

Перед ним в небесной лазури плыла царевна-зорька. Он подехал к ней. Ее маленькая лодочка, словно белый цветок водяной лилии, прильнула к огромной ладье его, и я слышал, как великан рассказывал ей о Северянке, которая живет за океаном, в алмазном замке, и плетет дивные лучистые венки. К ней на смотрины ездят пыльные юноши, и лучшему из них она преподносит лучистый венок, сажая юношу с собой на украшенное бриллиантами ложе.

Лодки плыли и исчезли в туманной дали.

Спотыкаясь о комья земли, я устремился за ними. Рассказ великана наполнил душу мою томлением, как дубовый боченок наполняется молодым, бродящим вином. Покидая отцовский дом, я сам не знал еще, куда пойду я. Теперь мне стало ясно, что я направлюсь к океану, на смотрины к Северянке.

По бурям пашням, лугам и болотам, через овраги, по межам, среди зеленеющих нив шел я все вперед и вперед.

За деревьями, играя золотом лучей, садилось солнце. Сумерки, словно темно-серые воды, заливали окрестность.

Люди, оставив орудия труда своего, пугливо прятались в хижинах, скрытых между деревьями. Со скрипом закрывались двери, в окнах вспыхивали белые огоньки.

Путники сворачивали с большой дороги в темные ракитовые и кленовые аллеи, стучались в закрытые двери и с опущенными головами ждали, пока их выпустят.

Я не постучался ни в одну дверь. Я не боялся мрака. Из моего сердца, как из ключа, била река красного света...

Я шел день и ночь. Однажды утром взобрался на берег поросший редкими соснами и не увидел за ним ничего, кроме небес.

Разве здесь был уже конец света? Нет, здесь было только начало его: вдали море сливалось с небом... У берега стояла лодочка, а невдалеке — корабль с белым парусом, похожим на огромное, поднятое крыло.

Ликуя бросился в лодку и вскоре очутился на корабле. Но едва встал я у руля, как над головой моей пропеслось что-то похожее на прохладную, серую тень, за спиной я услышал шум, как бы шелест широких крыльев, — паруса надулись, и корабль понесся к северу.

Много дней и ночей провел я в пути. Чем дальше в море, тем выше поднимались волны и тем быстрее несся мой корабль.

Море становилось все более одиноким. Редко когда проносилась мимо корабля стая чаек, с свистом касаясь парусов острыми концами крыльев своих; редко когда показывался и исчезал вдали белый парус.

Наконец и это все исчезло, и предо мной широко раскинулось вечное одиночество.

Вокруг меня, как стая голодных волков, выли волны, и мой корабль безжалостно бил грудью своей их широкие, седые, косматые спины. Некоторые из них, разъяренные, вставали на дыбы и с воем открывали пенящуюся пасть свою, собираясь схватить корабль мой и смолоть челюстями своими, но моя «Юная Мощь» одним ударом

дробила зеленые челюсти волн и гордо неслась вперед по седым гривам поверженных...

Тогда на горизонте показались белые, странно движущиеся облака, это были, ледяные горы.

Там начиналось царство Северянки. То были белые богатыри ее, вышедшие на морской простор для битвы. Я видел как они угрожающе кидались друг на друга, сверкая ледяными мечами, как с грохотом устремились они один на другого и, сплотившись в одну гигантскую глыбу, со страшным шумом тысячь кусков рассыпались по океану. Мимо меня проносились широкие льдины, и терлись зелеными телами своими о борты корабля.

Я находился у ворот Северного царства. По обеим сторонам, угрожающе протянув копы, стояли ледяные великаны; между ними извивалась широкая щель, — в нем бились высокие волны раздробленных ледяных тел.

А поперек этой щели темным островом лежал Морской владыка. Его широкая морда была погружена в воду, воспаленные глаза с полужакрытыми в дремоте веками сверкали как отблески горна сквозь дверную щель. Из ноздрей его вылетали снопы искр окруженных дымом.

Лавируя между плавающими льдинами, корабль мой плыл навстречу чудовищу.

Вот один из белых богатырей зашевелился и медленно двинулся мне навстречу. Смело выпятив дубовую грудь свою, корабль кинулся на него и врезался острым лбом в его тело. Мгновение — и богатырь закачался: со страшным грохотом рухнули его кости, а голова тяжело упала на палубу и разлетелась в куски, обрызгав ее белой кипенью мозга.

Корабль застынал, покачнулся и заскользил обратно. Приближалась ночь, надвигался мрак, но на небе мерцали звезды.

Корабль медленно плыл стороной, а я думал: — зачем мне ехать мимо самых жабр чудовища? Можно ведь обогнуть его и подъехать к замку с другой стороны?

И глядяваясь в пространство бушующих волн, я повернул корабль именно в ту сторону, куда он направлял бег свой...

Океан мало-по-малу стих. Корабль качался на мелких тихих волнах.

Над океаном дымился прозрачный туман, и, кутаясь в него, перед кораблем трепетали белоснежные птицы, тихо воркуя, то вы-

ставляя широкие спины свои, то утоная в волнах тумана, как будто желая зарыться в теплую постель мягких вод.

Чем дальше я плыл, тем гуще становился туман, поднимаясь все выше и выше. Он ласкал мои руки, грудь, щеки, теплый, матовый, будто вспотевшее стекло. Мои обветренные щеки, потрескавшиеся, окровавленные руки приятно ощущали его прикосновение. Как теплая ванна обнял он члены мои: мои напряженные мускулы размягли, все члены налились будто свинцом, в голове путались мысли... Я оперся на руль и не то во сне, не то наяву видел, как исчезал туман в синеющей дали... над головой моей опустилось что-то белое и, лениво покачиваясь, закрыло все небо. В нем потонули звезды... восток и запад слились воедино. Я даже не знал куда плывет корабль мой — к югу-ли, к северу-ли, движется-ли он, или стоит на месте. Все твердое и осязаемое исчезло, я потерял сознание, что нахожусь на корабле... мне лишь казалось, что я тону, тону, как в теплом море...

Я не знаю, как долго ехал я, пока пришел в себя. Был ли то день, был ли то вечер, или утро — не знаю: лик мира был окутан той же светлой мглой. Прекрасные очи небес были туго завязаны.

И как бы через запотевшее окно я увидел вдали нечто похожее на темную лесную просеку, покрытую разбросанными пнями. Усталый ветерок слабо шелестел в обвисших парусах. Корабль грузно плыл по еле движущейся поверхности моря. И чем ближе подылаивал я к странной просеке, тем сильнее меня охватывала жуть: ландшафт начал проясняться, и то что я видел теперь напоминало собой плавающее кладбище с торчащими сломанными крестами, на которых болталось что-то вроде серых лохмотьев — быть может ленты венков...

По мере приближения темные холмы росли, и я увидел, что это были остовы погибших кораблей. Некоторые из них совершенно уже развалились, на других же еще держались надломленные мачты; тяжело свисавшие на бок. На одной, другой из них еще висели стгнившие паруса, как пепел на потухших углях.

Весь океан был загроможден гниющими остовами кораблей.

Такая мель!...

Ветер чуть шевелил паруса и ход корабля все замедлялся. Я видел, что не смогу объехать вокруг этого кладбища. Корабль с треском ударился о камни. Широкое кольцо волн, покачиваясь и уменьшаясь, уплывало все дальше, пока совсем не изгладилось с поверхности моря.

В отчаянии смотрел я вдаль сквозь лес поломанных мачт и вскоре заметил впереди серую полосу суши. Корабль погиб, но я еще мог спастись. Дрожащими руками отвязал я лодку и спустил ее за борт в море. Лодка сорвалась, забрызгав меня теплой, гниющей водой и, покачиваясь, остановилась... По канату я спустился в лодку. Мне было стыдно, как будто кто-то, смеясь, держал мои руки и плюнул в лицо.

Работая веслами я боялся оглянуться назад: на корабле кто-то лежал и, растянувшись, хохотал, — тот самый, кто держал меня за руки и плюнул в лицо. Это он растянулся на корабле и хохотал...

Окутанная туманом полоса земли все росла и становилась яснее видима. И я увидел перед собой ряд однообразных домов, похожих на ящики: все они были одинаковой вышины и одинаковой величины. Двери в каждом доме были по самой середине и также по самой середине была на крыше каждого дома красная труба. Смотри издали нельзя было даже и подумать, что это дома: издали все сливалось в одну темно-серую стену. Не было ни башни, ни крыши, которая подымалась бы над общим уровнем...

Приближаясь к берегу, я заметил что-то странное... Вначале я сам не знал, что это такое, понял я это только тогда, когда недалеко от берега лодка моя легла на песок и я, оставив ее, побрел босиком по мелкой теплой луже, которой окончивался этот могучий океан: до сих пор горизонт оставался от меня все на одной и том же расстоянии. Как бы я не стремился к нему, он оставался недоступен, и в этом была его прелесть.

Теперь же я заметил, что с каждым шагом я приближаюсь к нему, а, выйдя на песок, увидел, что за домами он опускается на землю как сероватая стена и что дым из труб оставляет на нем темные полосы...

Чужды были мне аккуратные четырехугольные домики, чуждо низкое, закоптелое небо... Ноги отказались служить мне, и я опустился на серый песок.

Сидел и думал — сам не знаю, что... Резкий визг, полный ужаса и отчаяния, врезался в мою измученную, оробевшую душу. Перед ближайшим домом я увидел стол. На столе, вытянув ноги, лежало какое-то животное. Навалившись на него и, подняв голову, кто-то прислушивался к его визгу. В волнении он даже не заметил как с ног его свалились туфли: подняв голову, он лишь прислушивался к визгу свиньи. Другой в белом фартухе, с засученными рукавами,

держал что-то в шее животного. У ног его, сгорбившись, сидел маленький мальчик и держал миску, в которую стекала черная струя крови.

Визг становился слабее и в нем слышались бессильные слезы. Животное лежало спокойно, только визг его все более и более ослабевал, а из шеи в миску текла черная струя крови...

Затем ноги свиньи скорчились и снова вытянулись на столе; кровавая дуга изогнулась, и черная струя упала на ручонку мальчика.

Визг становился все слабее и, наконец, прекратился.

Тогда человек слез со свиньи и начал ногами отыскивать туфли; мальчик побежал к дому, радостно разглядывая поднятую ручонку. Мужчины с трубками в зубах принялись патрошить свинью и на круглых лицах их сияла животная радость.

Недалеко от них пара собак, лежа на куче мусора, грызла кости, а ворона теребила что-то.

Я закрыл глаза.

Вдруг я услышал голоса и, подняв голову, увидел, что вокруг меня собираются откормленные люди в теплых пальто. Они начали сочувственно спрашивать меня, и я, словно восне, рассказал им о своих приключениях, сам не зная, что я говорю. Они выслушали мой рассказ, как что-то им хорошо известное, подтверждающее их мнение, как будто все это иначе не могло и быть и радовались конечному результату моего путешествия. В моем несчастии они искали подтверждения своей жизни, нашли его и радовались... Они, как и я, шли тем же путем и так же попали на этот Берег Мира и Довольства, где царят полное счастье и покой... — Идеализм юности!.. Пылкая кровь... Безумные мечты... — говорили они, перебивая друг друга, а я, опечаленный, сидел на камне.

— Добродушный! Добродушный! — шептали сзади меня, кто-то доброжелательно похлопал меня по плечу, и я увидел пожилое, круглое личико, круглый животик, и на плече моем — круглую, мягкую руку.

— Не тужи! — говорил круглый человек: — житья тебе будет здесь хорошо. — Посмотри, какие все здесь толстенькие (он весело подмигнул и показал на окружающих).

— Я всем им помогал. Я люблю молодых людей, и радуюсь, когда им везет. Не тужи! Если тебе не хватит на обзаведение, я дам тебе окорок, а капусты ты можешь брать из моей бочки, сколько захочешь. Моя дочь Букашечка сварит тебе...

Ты явился как раз в день нашего праздника: сегодня у нас большая тризна свиней. Иди к нам и будь гостем! Они подняли меня с камня и толкали перед собой по направлению к домам...

Перед домами стояли длинные столы. Через открытые двери валил пар. Из кухни на двор, со двора на кухню то и дело ходили краснощекие полногрудые девушки, ставя на стол дымящиеся миски с кашустой.

— Стол накрыт, — сказал Добродушный, с довольным видом потирая руки. — Садитесь!

Все сели. Я тоже.

О, как низко было их небо! На нем для просушки висела телячья кожа и надутый свиной пузырь; против каждого едака в небо была воткнута его ложка, а над моей головой висел безмен...

Люди встали, достали с неба ложки и начали кушать. Я также потянулся, достал ложку, зачерпнул щей, но они показались мне противными и я потихоньку спрятал ложку.

Но Добродушный заметил это. — Ага! — сказал он, — ты не привык к нашему любимому блюду! Букашечка, подай гостю меду!

Из-за стола встала кругленькая девушка, черноглазая, черноволосая и поставила передо мной большой горшок с медом и большую, белую кружку с молоком

— Попей молока, тогда можно будет больше и покушать, — ласково посоветовала она мне; в уголках рта ее были хлебные крошки, а в ямочке подбородка сверкала капелька меда. — Я всегда запиваю кашусту молоком, тогда не давит под ложечкой, — закончила она, мягко проведя рукой под грудью..

Когда чмоканье и прихлебывание начали стихать и некоторые уже подняли головы от своих мисок и потянулись на своих стульях, глядя на жирные кусочки мяса, стали обдумывать, — продолжать ли еще есть, или нет, — на другом конце стола поднялся какой-то мужчина и положил живот на стол.

Затем он поднял бороду и ударил обгрызанной свиной косточкой о миску. Все насторожились.

— Почетные земляки и землячки, — начал Рунгис. Для Края Мира и Довольства снова настал тот желанный день, когда он может праздновать большую тризну свиней. Большая свинья заколота, из каждой миски приятно улыбается нам ее жирное тело. На всех губах блестит жир, на всех лицах сияет счастье и блаженство. Подумаем же теперь, кому обязаны мы блаженством этим. Уже древние

греки заметили, что теплый туман, окружающий нашу землю, оказывает благотворное влияние на откармливание свиней. В наше время каждый ребенок знает, что туман этот является источником нашего благоденствия. Но чему мы обязаны этим туманом. Мы обязаны этим нашему низкому небу: это оно мешает движению воздуха и не дает рассеяться туману. Но не только этим мы обязаны ему: мы должны быть благодарны ему и за покой наш. Нам не нужно смотреть в даль; наше небо близко, прямо так сказать, на носу нашем и в любом месте его можно достать рукой (тут оратор коснулся рукой неба). Оно так практично, так удобно, что ни один смертный не может желать лучшего. Все так легко положить на него и снять с него. Нужно ли повесить телячью шкуру, или положить ложку — протяни только руку. Если чтонибудь нужно, протяни только руку и возьми. Оно предохраняет души наши от напрасных забот и тела наши от напрасных движений. Вот благодаря этому то мы сыты и счастливы. Так будем же любить и уважать небо наше! В честь этого я предлагаю присутствующим встать и единодушно спеть: — Радостно дома...

Все встали и запели:

— Радостно дома,

Спокойно живу я...

Во время пения они старались перекричать друг друга, желая, вероятно, превзойти один другого проявлением патриотических чувств своих...

Я стоял и глядел на деревья, которые росли у домов. Все они были без верхушек; ветви тянулись горизонтально, словно щупальца полипов, мягкие и маслянистые, как стебельки репейника, с широкими шерстистыми листьями и в коре их кишели белые паразиты.

— Почему ваши деревья так низки, почему у них нет верхушек? — вырвалось у меня.

Куда же им расти, — равнодушно пробурчал кто-то. Да здесь ведь не было солнца...

Не слышно было шелеста летящих крыльев. А ветра давно здесь не бывало (даже самые старые люди не помнили его), и листья уныло висели на ветвях, как обвислые уши... Люди встали из-за столов, разошлись и разлеглись на коврах, разостланных на траве перед домами.

Двое разговаривали.

Первый сказал! — Как хорошо говорил сегодня наш пророк! Точно так, как в прошлом и позапрошлом году

— Да, и как понятно! — ответил другой. Мне знакомо каждое слово его речи.

— Спокойствие-то какое! — зевнул первый. — Глаза сами так и слипаются.

— Да, — ответил другой, уже сквозь сон.

(Так коротки бывали временами их разговоры: один что-нибудь говорил, другие соглашались и затем все засыпали).

Во всей окружающей местности не было слышно пения ни одной птицы. Все птицы расхаживали между столами, подбирая остатки пищи. Все они ожирели и повидимому разучились летать. Ни одна из них не раскрывала крыльев. Некоторые из них спали, спрятав голову под крыло.

Здесь же не было солнца...

Одна большая, жирная птица прыгнула на колени к Добродушному и стала собирать там крошки.

— Соловей, — сказал он, подмигнув мне. — Посмотри, что за перо! Королева! — хвалил он, глядя по спине спокойную птицу.

— А мясо-то! — Добродушный щелкнул языком и провел рукой по губам. — К Мартынову дню зарежем, тогда увидишь, каковы будут щи!

— Разве ни одна птица у вас не поет? — спросил я.

— Нет, и слава Богу! За это мы спокойны. Ни одна, ни-ни... Да, что из этого пения, упаси Господи! Однажды одна забрела сюда откуда-то, и так запела, что и заснуть-то нельзя было. Повесил... Такая дрянь испортит тебе самый сладкий послеобеденный сон. С тех пор ни одна и пикнуть не подумала — спи, где угодно...

Я начал жить на Берегу Мира и Довольства, или в Стране Жирных свиней, как звали край этот иначе.

У меня было теплое пальтецо, как и у всех, теплая постелька, белая комнатка, как и у всех.

Миловидная Букашечка варила мне вкусные щи, а Добродушный добродушно хлопал меня по плечу.

Все у меня было, как и у других. Одному лишь люди удивлялись, почему я не откармливаюсь.

Добродушный говаривал: — Почему ты такой худой? За это время тебе уже надо было пожирнеть. Все здесь скоро полнеют, только ты остаешься все таким же угловатым. Посмотри, как покрутели другие!..

Но я оставался все таки же угловатым и необтесанным. Каждый заботился о своем маленьком счастье, как мадрац в углу, спал

и откармливался; но меня угнетала невыносимая тоска. С тех пор, как утонули солнце и звезды, я потерял охоту к жизни и смерти.

Три раза в день выходил я из дома, брал с неба ложку и кружку, ел, шел, а затем клал их снова на небо. На небо... Затем я уходил в свою комнату и лежал там. Мне не хотелось ничего не слышать, ни видеть. Душа моя убегала от этой жизни, она закатывалась глазами веками, стонала, как раненая, но так тихо, что никто не слышал этого. Меня считали спокойным и счастливым человеком, ибо никто не знал, почему я живу с закрытыми глазами...

Там, за туманом остались те утра, когда за окном моим светила утренняя звезда и мимо бежали розовые облака. Как хотелось тогда жить мне! Теперь же по утрам мне не хотелось открыть глаз: я знал, что за окном стена тумана, которую они здесь называют днем.

К вечеру стена становилась серой и — это была ночь. За туманом осталась та царственная страна, которая ночью окутывалась звездным бархатом...

Иногда меня навещали сумасбродные мысли:

— Это же не туман, а паутина. Я ясно вижу шевелящиеся нити, весь край этот заткал ужасный паук. Он высасывает у всех кровь, оставляя лишь жир. Кто дольше остается в его паутине, тот становится безчувственным куском жира. И это не покой, который они восхваляют, это — ядовитые пары, которыми паук одуряет их, чтобы иметь возможность высосать их мозг...

Он связал меня в комнате этой, прикрепил меня к этому пальто, он подползает ко мне, когда я засыпаю, и пьет мою кровь. Ночью сквозь сон мне иногда кажется, что в соседней комнате каплет вода: это кровь моя падает в глотку паука. Когда я пошевелюсь и хочу проснуться, паук убегает и прячется в паутине...

Я лежал беспомощный и связанный и мне стыдно было самого себя. Мне хотелось забыть себя, я глядел в глубь прошлого и видел вспаханный холм. Солнце переходило гору и мальчик босиком и без шапки спешил за ним по комьям земли и дерна, сам не зная куда несут его ноги его. Я вспомнил мощный запах земли: в земле таятся жизнь и сила...

И в отчаянии я говорил во тьму, сам не зная кому:

— Похороните меня и посейте надо мной траву! Я хочу возродиться под дерном!

Ко мне явилась Букашечка. Войдя, она всякий раз ставила на стол горшок с медом и кружку с молоком.

— Вставай же! я принесла тебе меду... молока тоже. Попей, тогда можно будет больше съесть, — сказала она, и все ее простодушное личико сияло добродушием и сердечностью и, как всегда, капелька меда сверкала в ямочке ее подбородка.

Я смотрел на нее и мне было жаль ее. Она была так мила и хороша, и все-же так далека от меня, от всего, что носил я в груди моей.

— Почему они зовут тебя Букашечкой? — печально спросил я. Ты же человек. Как человека можно звать Букашечкой?!

— А разве мое имя тебе не нравится? — спросила она с широко открытыми от удивления глазами. — Моему папочке оно очень нравится. Он говорит, что я такая гладенькая, кругленькая, словно Букашечка (при этом она повернулась на каблучке кругом). Со временем вся земля станет гладкой и все люди будут кататься по ней словно шарики. Тебя папа всегда бранит и говорит, что из тебя ничего хорошего не выйдет, если ты не поправишься... хи-хи-хи... Ты ведь плоский, как доска... А когда я хлопочу по хозяйству — тогда он говорит: что я ползаю, как Букашечка. Так вот и прозвали они меня Букашечкой.

Затем она тише прибавила: — хотя все и говорят, что только толстые люди красивы и что настанут такие времена, когда можно будет ходить лежа: не надо будет ни вставать, ни шагать — каждый покатится туда, куда захочет, — но однако ты мне нравишься больше всех...

— Как идет мне этот платок? — быстро прервала она разговор и стала посредине комнаты, откинув со лба черные волосы и завязывая под подбородком узлы белой косынки.

— Ничего себе.

— Пойдем танцевать! — она протянула мне руки и, не дожидаясь меня, стала кружиться по комнате, напевая ла-ла, ра-ла, ра-ла-ла!

— Ну чего же ты не идешь, — остановившись и надувшись, воскликнула она.

— Я не умею.

— Не умеешь? Чего же тут не уметь! Я научу. Это же очень легко, смотри, вот так: ла-ла, ра-ла, ра-ла-ла... — начала она вновь кружиться. — Чего же тут не уметь?

— Ну, так будем играть! Лови меня! — И она остановилась, глядя на меня через плечо, готовая бежать, шалить, хохотать.

— Я разучился играть и смеяться. Меня мучит невыразимая тоска. Если бы ты знала... — Я хотел было рассказать ей; но тоска и отчаяние были так чужды ей, что она не могла поверить этому и перебила меня:

— Тоска! Какая может быть у тебя тоска! Ты просто заносчив и горд. Ты — человек — у меня некрасивое имя. Как же потанцевать с такой, у кого такое некрасивое имя?

Она надулась, собрала посуду и ушла...

Однажды она зашла ко мне в красной шелковой блузке с глубоким вырезом. В небольшом углублении между грудями приютилась огненно-красная роза, соблазнительно глядя на меня, она как бы говорила: — как хорошо мне здесь, но это не про тебя!..

Да и в раскрасневшемся личике Букашечки было что-то таинственное, соблазнительное, как сладкая тайна, которую она хотела мне открыть.

Она взяла меня за руку и страстно прошептала:

— Иди, я тебе что-то покажу!..

Меня манила ее пылающая красота, я оставил свою руку в ее горячей ручке и пошел за нею.

Она ввела меня в какой-то дом. Мы миновали несколько хорошо обставленных комнат и остановились перед какими-то дверьми. Тут она выпустила мою руку, прислушалась и, затаив дыхание, тихо открыла дверь.

— Рай! — шепнула она, показывая головой на открытую дверь. Но я смотрел и ничего не понимал.

Небольшая комната, единственное окно которой было завешено, тонуло в розовом полумраке. Посреди комнаты возвышались две уютные орехового дерева кровати с высокими точенными ножками. На кроватях, обнявшись, лежали мужчина и женщина, закутанные в белые шелковые кружева, — две головы прикались друг к другу: одна большая, темная, другая белая и розовая, как цветок яблони. Над кроватью покачивался красный фонарик и розовые световые волны ползли по кружевам и лились на сомкнутые в поцелуе губы, как густой, красный клей!..

— Это же спальня! — сказал я.

— Спальня? — повторила она, удивляясь данному ее святилищу названию: — ну так в раю же спят!..

— Разве не красиво, а? Но мой папа может устроить все еще красивее, — шепнула она и, вспыхнув, опустила глаза, и груди ее

дрожали, словно две голубки, когда мимо них проносится ястреб, а роза, ласкаясь между ними, соблазнительно глядя на меня, дрожала и смеялась...

На зарумянившемся личике девушки было признание и вопрос, но я повернулся, как бы не понимая ни того, ни другого.

Мое отчаяние росло, как кошмар и душило меня. Я ненавидел себя и однажды, скрежеща зубами, я одел манжеты, пальто, вышел на улицу и, плача, начал кататься в грязи...

Увидев это, прачки положили вальки свои на небо. Они всплеснули руками и закричали: — Смотрите, смотрите, как он беснуется! Смотрите, как он запачкал свое пальцецо! А какие у него манжеты! Ах, ты нечисть, нечисть! Боже мой, Боже мой!

Около прачек собралась толпа народа. Они бранили и проклинали меня, а когда я шел домой, то меня провожал град камней.

Но я шел неспеша и камни падали впереди и по сторонам, попадали мне в спину, плечи и ноги, и каждый удар обезсиливал меня и уменьшал мою боль.

Кошмар охватил меня с такой силой, что только камнями можно был прогнать его, и я с радостью шел под градом камней, как под отрываемыми осенней бурей яблоками.

Усталый и освобожденный вернулся я домой и почти без сознания упал на кровать.

Через несколько минут ко мне вошел Добродушный. Его тонкие брови были сдвинуты: его добродушная губа отвисала и дрожала.

— Такова-то твоя благодарность, молодой человек? Так-то ты отплачиваешь за все добро мое? Разве для того я выхлопал для тебя место в нашем краю, чтобы ты компрометировал меня в глазах моих сограждан?... Если тебе была безразлична моя честь, то хоть бы по крайней мере подумал о себе! Что будет с тобой, ели ты будешь так себя вести? Станут-ли терпеть тебя здесь наши честные граждане? Тебя выгонят отсюда и ты потонешь в море! Каждый гражданин свято чтит честь своего пальто, а ты пачкаешь его в грязи. На что похоже теперь твое пальто? Куда ты сможешь теперь в нем показаться?.. — и он начал проповедовать, дергая за грязные полы пальто и не видя в грязи этой слез моих. Он говорил до тех пор, пока у него пересохло во рту, и начали болеть челюсти, затем ушел. На его простодушном лице сияло сознание исполненного долга. Я же лег и заснул измученный и грязный.

И счастье сжалилось надо мной, послав мне сон.

Я не могу рассказать о нем так красиво, как я его видел. Я стоял на льду. Была как бы ранняя весна. В воздухе чувствовалось что-то чистое и нежное, как будто бы только что прошел теплый дождик, на льду была вода. По небу тянулись золотисто-розовые полосы, а на краю горизонта виднелись розоватые облачные горы. С неба упало золото и блестело на воде. Я черпал его горстью, глядел на него, и слезы туманили мой взор. Я чувствовал, как ко мне приближается что-то великое и святое... Я поднял голову: передо мной была Северянка!..

Я сразу узнал ее: в глазах ее горело сияние, которым можно было зажечь небо. От ее взгляда розовели облака и вода блестела словно золото.

На ней был зеленый ледяной шелк, а на ногах — украшенные ледяной чешуей туфельки с серебрянными подковками. Ее гибкие члены были вылиты словно из стали и она твердо ступала по льду в своих подкованных туфельках. Ее голос был подобен факелу, а рука ее легла на руку мою, как омытый волнами камушек. Она тепло сжала руку мою и сказала: — Я знаю, как ты мечтал обо мне, и я пришла тебя спасти.

Она положила свою ручку на мое сердце, наклонила голову, послушала и сказала: — Оно удручено: туман сдавил его. Но дыхание мое творит чудеса: под ним оно снова воспрянет. И она начала дышать мне на грудь легко и тепло. В груди что-то таяло и поднималось вверх, и я чувствовал, как по лицу моему потекли слезы.

— Выплачь из него всю грязь, чтобы оно снова стало чистым и юным...

— Так... крепись, теперь я дам ему огня!

И дыхание ее жаркими потоками хлынуло на грудь мою. Моя грудь поднималась, и я почувствовал, как вновь запылало в ней мое сердце.

— Ну, теперь ты снова силен, — сказала она и радостно посмотрела мне в лицо. И я исчез в розовом сиянии ее зора.

— Теперь иди, я познакомлю тебя с небом! — сказала она, и ручка ее снова легла в мою руку, как волнами омытый камешек.

Она пошла, и я шел за нею, как по золотому потоку.

* * *

Она повела меня на небо. Мы поднимались на розовые облачные горы, качались на маленьких облачках, и все рдело и сияло под ее взором.

По дороге мы встретили Утреннюю Звезду. Она любезно приветствовала нас.

— Куда ты идешь? — спросила ее Северянка.

— Пойду светить за той горой и большим болотом. Там заблудились двое детей, которые искали неба. Их засосет трясина, если я не покажу им дороги.

Белым огоньком мелькнула она мимо нас и, мерцая, исчезла вдаль.

— Звезды — подруги мои, — сказала Северянка. Гуляя по небу мы часто встречаемся...

Она шла впереди словно солнце, и я плыл в свете ее. Мы подошли к огромной туче, около вершины которой, шурша, кружились снежинки, словно пчелиный рой вокруг липы. Вся гора дрожала от глухого гула. Мы поднялись на верх. Маленькие снежинки рдели в сиянии Северянки, касаясь лиц наших, словно лепестки цветов яблонь. Сильный ветер кружил их вокруг нас, как будто бы мы были тем деревом, на которое они собирались сесть. За сетью снежинок я заметил три огромные, покрытые снегом улья. Подойдя ближе, я заметил, что они шевелились. Подойдя еще ближе, я увидел, что они не только шевелились, но что у них были толстые руки в перчатках, которые вертели глубоко воткнутые в небо рукоятки ручных мельниц. Я посмотрел вверх и увидел, что у ульев огромные головы, с покрытыми ледяными сосульками бородами, красными щеками и маленькими искрящимися глазами.

— Это снегомолы, — сказала Северянка. — Погляди вниз... Я взглянул и увидел большое поле покрытое грязью. Старик — нищий с грязной сумой, сторбившись брел по грязи и умоляюще смотрел вверх.

— Земля грязна... — тихо сказала Северянка, и голос ее был заглушен шумом мельниц.

Снежинки, вылетая из мельниц, разлетались во все стороны, образуя огромные тучи, распростерлись над полем и, тотчас пошел снег. Нежно покачиваясь, они покрыли грязь, покрыли лохмотья нищего, и ласкали его серое, заплаканное лицо, как белые вербные барашки...

— Заставь и меня вертеть мельницу, — с жаром воскликнул я. Не она посмотрела на мой маленький рост и, улыбаясь, ответила: — Нет, для тебя у меня найдется другая работа!

Пойдем дальше!

— Ее ручка опять легла в мою руку, как омытый волнами камушек... Вдруг одна вершина горы зарделась и на ней показались синекрасные пламенеющие всадники, на красных конях, и, как пожар, со свистом пронеслось мимо. Волосы их были словно волны пламени, а мечи их, скрещиваясь, металы синие искры.

— Это рыцари северного сияния, — сказала Северяка. — Они провозвещают войну в долинах, и будят в людях жажду побед и подвигов.

С земли поднималось резкое шипение. — Там точат сабли, — сказала она. — Посмотри вниз.

— Я взглянул и увидел село, над которым пламенея пронеслись рыцари северного сияния. Над крышами темных избушек колыхалась как бы красноватая пелена, черные окна как бы пылали. Перед избушками стояли женщины и дети. Они со страхом показывали на северное сияние, и на лицах их был бледный ужас. Но мужчины и юноши стояли около точила, и сталь их оружия пела жестокую песнь борьбы. Некоторые ходили около избушек, как будто ища оружия. Одна из дверей открылась и оттуда вышел широкоплечий мужчина с косой в руке.

Невозмутимо растолкал он локтями кричавшую толпу женщин и детей и, остановившись, начал отвязывать косу... рукоятку он отдал какой-то женщине, а сам с косой подошел к точилу...

Другой же, отняв от точила топор, проводил пальцем по острию его, пробуя его остроту. По острию топора еще стекала вода и в красноватом свете северного сияния казалась кровью.

Всадники рассеялись и исчезли во тьме.

— Куда они исчезли, — спросил я.

— Мрак пожрал их, — ответила Северянка. — Но, взгляни, там собирается уже новый отряд, — сказала она, указывая на зардевшуюся вершину горы.

— Сделай и меня таким рыцарем! — с жаром воскликнул я. — Я тоже хочу пылать, сверкая мечом.

— Нет, — сказала она, нежно пожимая мою руку. — Я не хочу, чтобы мрак проглотил тебя. Для тебя у меня найдется другая работа. Пойдем дальше!

Мы пошли.

За горой виднелась широкая река. Над вершиной горы, словно вечерняя туча, возвышался черный, горбатый кузнец и, наклонившись, ковал расколотый кусок железа. Из-под молота сыпались

большие, круглые искры, и как раскаленные угли, падали в воду. Раскрасневшееся лицо кузнеца бросало на реку красноватый отблеск.

— Смотри, вот кузнец отвернулся, и остывшее желѣзо исчезло в горне. Солнце погрузилось в Даугаву. Поднимемся выше!

И мы поднялись в ясное, голубое пространство, где было так тихо, как в святилище. Там росли молодые сосны с чарующе мерцающей хвоей. Под деревьями гуляли высокие, стройные мужчины с высокими сияющими лбами. Они ломали ветви и плели из них венки. Ломая и приглаживая острую хвою, они ранили тонкие пальцы свои, и из них сочилась кровь и капли ее, как пылающие искры, горели на венках.

— Это кровь сердец их, — тихо сказала Северянка. — Эти венки красивее у тех, кто самоотверженнее ломает и приглаживает острые ветви.

Вдаль горизонта тянулась гирлянда венков, силетенных тысячами, как лучистая радуга. Каждый присоединял к ней свой венок и гирлянда становилась все шире и все лучистее.

— Взгляни вниз, — сказала Северянка.

— Я взглянул: по горному хребту висала дорога. От гирлянды на нее падал белый свет. Из темных долин карабкались вверх промокшие люди и, очищая платье от ила, становились на дорогу.

И голос Северянки прогремел в небесах:

— Когда-нибудь этот радужный свод преисполнится света, более величественного и яркого чем свет солнца. Тогда осветятся все долины, и все начнут подниматься на горы и будут ходить по светлым путям.

— Смотри, как от каждого венка становится все светлее и светлее. Иди, ломай ветви и плети венков!..

И снова ко мне приблизилось что-то великое и светлое, снова на глазах моих блеснули слезы. Она поцеловала меня и я проснулся.

Поцелуй ее залил меня волной блаженства. Я вышел из дома и закричал:

— Просыпайтесь, просыпайтесь! — Пусть все гремит и дрожит: за стенами тумана солнце и прохладное утро!... Край, спавший мертвым сном, зашевелился. Залапали собаки, в домах зазвучали глухие, сонные голоса, стучали двери, и кто-то сдавленным голосом трещал веревку, толстые фигуры выпозли из мрака и накиннулись на меня со всех сторон. Они связали мне руки и ноги и сквозь тьму потащили меня куда-то по грязи и по камням. Но вот они остановились; визгнул ключ, с грохотом распахнулись как-то двери, меня толкнули...

я покатились по каким-то скользким камням... двери захлопнулись и я, поднявшись нащупал руками мокрые стены...

— Но разве я был в тюрьме? Нет, я был свободен! сердце мое вновь было полно веры и мощи. Они излучались сквозь сырые стены, сквозь туманные своды, стремясь в безграничную даль.

И, упав на солому, я заплакал от радости, я плакал как узник, выпущенный на свободу. Я был выпущен из тюрьмы, где стенами были следные дни и серые ночи.

Я стал думать, и во влажной бездне мрака, мерцаая, одна за другой падали мне на колени, лучистые сосновые ветви. Я плел из них венок, и вскоре вся тюрьма наполнилась сияющими волнами света...

Не знаю, как долго так просидел я. Не стало более ни утра, ни ночи. Моя тюрьма была постоянно светла, как солнечный день, и, плетя венок, я не замечал, как летело время.

Венок был готов.

Я хотел немного отдохнуть и положил его в свою тень.

Из углов надвинулись сумерки и я заснул...

* * *

Визгнул ключ, и я проснулся. Двери с грохотом распахнулись и в них показалась красная, тупая морда сторожа.

Он подошел, толкнул меня ногой и сказал:

— Вставай, великий суд страны зовет тебя! — Этот человек показался мне таким жалким, что я решил испытать на нем силу моего венка.

Я пошел за ним, держа венок в тени своей...

Когда же он, открыв двери, обернулся я кинул ему венок на голову.

Ужасно удивленный и рассерженный, он начал плевать и отмахиваться, и венок, как яркое солнечное кольцо, опустился ему на ноги. Взбешенный сторож топтал его ногами, рубил мечом, но его нельзя было ни растоптать, ни разрубить.

Тихо сияя, лежал он на траве, словно яркое солнечное кольцо.

Не зная что делать, сторож совсем растерялся.

Глаза его выкатились, челюсти дрожали.

Впервые в жизни он встретил нечто такое, чего нельзя было ни задуть, ни разрубить, ни растоптать.

Недалеко от тюрьмы, подперев голову руками, лежал ребенок в белой рубашке и, болтая ножками, смотрел на траву. Венок сиял

сквозь траву и в ней зажглись миллионы белых огненных шариков — капелек росы.

Ребенок вскочил и, с удивлением смотря на капельки, подошел к венку.

Широко раскрыв глазки, он смотрел, смотрел — и затем дотронулся до венка пальцем. Пальчик засиял, словно зажженная свеча. Ребенок, ликуя, убежал и исчез в толпе молодых людей, словно снежный ком в елях.

Сторож, очнувшись от изумления, стал толкать меня вперед, а венок остался на траве, как сияющее солнечное кольцо...

Меня ввели в комнату, переполненную горбатыми калеками с распухшими подмышками. Присмотревшись к ним поближе, я увидел, что это были совсем не калеки: они лишь сторбились, и у каждого было что-то под мышкой, это, вероятно, были подсудимые. Все тихо ждали начала суда.

Увидев, что я стою, они зашептались, и я услышал отрывистые фразы: — он не умеет быть почтительным... — нет у него покорности... — и один из них, посмотрев на меня, покачал головой и громко произнес: этот пропал! — Вошел служитель суда с длинным шестом в руках и начал ровнять согнутые спины. Он хотел наклонить и меня, но это ему не удалось, я один остался стоять, выпрямившись. Суд, вероятно, скоро должен был начаться.

Тогда кто-то коснулся моего плеча. Я оглянулся:

Добродушный!

На лице его не было ни малейшего упрека. Он, как видно, все простил мне, и хотел меня спасти. Под-мышкой у него был «соловей», которого он собирался тогда зарезать к Мартынову дню. Он вертел головой и моргал.

Я невольно улыбнулся.

— Согнись! Согнись! — шептал Добродушный. — Не бойся ничего! (хотя на лице моем он не мог заметить и тени страха). — Я попробую замолвить за тебя словечко. Букашечка велела кланяться тебе и сказать, чтобы ты не боялся... И очень тебя...

Он прервал свою речь и согнулся: суд шел. С поднятой бородой Рунгис сел на судейское место и положил живот на стол.

Добродушный протискался сквозь толпу и подошел к судье. Соловей шелкнул, слуга унес что-то под-мышкой, и у судебного стола тихо что-то забормотали два голоса... Затем позвали и меня.

Рунгис взял какой-то лист и, глядя на него, заговорил:

— Ты, молодой человек, обвиняешься в том, что в двадцать четвертую ночь сонного месяца, когда все предавались блаженному покою, ты дерзко оставил свою постель, выскочил на улицу и начал так кричать, что был потревожен целый край. Шум был так велик, что многие граждане несколько ночей после этого не могли спокойно заснуть. Ты нарушил священнейший закон этой страны: сон и таким образом совершил величайшее преступление, на какое способен человек: нарушение спокойствия. Обвиняемый, что можешь сказать на это?

— Я радуюсь, что ваши граждане имели возможность хоть раз в жизни проветрить свои отлежалые бока.

— Слова твои слишком дерзки, молодой человек, чтобы их принимать всерьез: я вижу, что в тебе еще много мальчишеского задора и преступление свое ты совершил в юношеском пылу. Еще не поздно раскаяться! Твой стан так же подходящий для мирного накопления жира как и у других граждан. Один очень уважаемый гражданин хочет взять тебя на поруки. Обещайся перед всем народом, стоя на коленях, раскаяться в своем преступлении, честно и порядочно проводить ночи в постели, и ты будешь помилован. Иначе ты будешь изгнан в море и потонешь там, — торжественно закончил он.

— Вам не нужно более выгонять меня, я уже вышел из этого теплого узкого хлева, который вы выстроили для себя и своих свиней. Я не остался бы здесь, если бы даже меня привязали!

— Одурелый, ты издеваешься над своей родиной! — предупредил судья.

— Здесь не моя родина! Это узкая, отгороженная полоса слишком мала для моей любви. Моя родина — вся земля!

— Кто презирает наш благословенный край, того он изгоняет. Завтра рано утром ты вернешься назад, в море, — грозно объявил судья.

— Только не назад! Я пойду вперед, прямо сквозь ваше небо.

— Иди, иди и разбей об него свою голову, — дразнил судья.

Многочисленная толпа народа вышла посмотреть, как я разобью свою голову об их небо. Собаки жадно ждали моей крови.

Букашечка вышла из своего дома и как бледная тень, следовала за мной. Плечи ее вздрагивали от рыданий...

Я шел мимо тюрьмы и видел свой венок в руках какого-то молодого человека. Вокруг него толпилась молодежь, и лица их сияли в блеске венка.

— Идите со мной, я выведу вас из-под этих душливых сводов!
— воскликнул я. Юноши подняли венок и, ликуя, последовали за мной.

Но отцы их дергали их за одежды назад, с палками и розгами в руках заступали им дорогу, а матери, рыдая, бросались им на шею...

Они остались бороться, а я смело ринулся вперед с такой верой, что стена тумана послушно распустилась предо мной, в лицо мне пахнул свежий ветер, и яркий свет ослепил мне глаза.

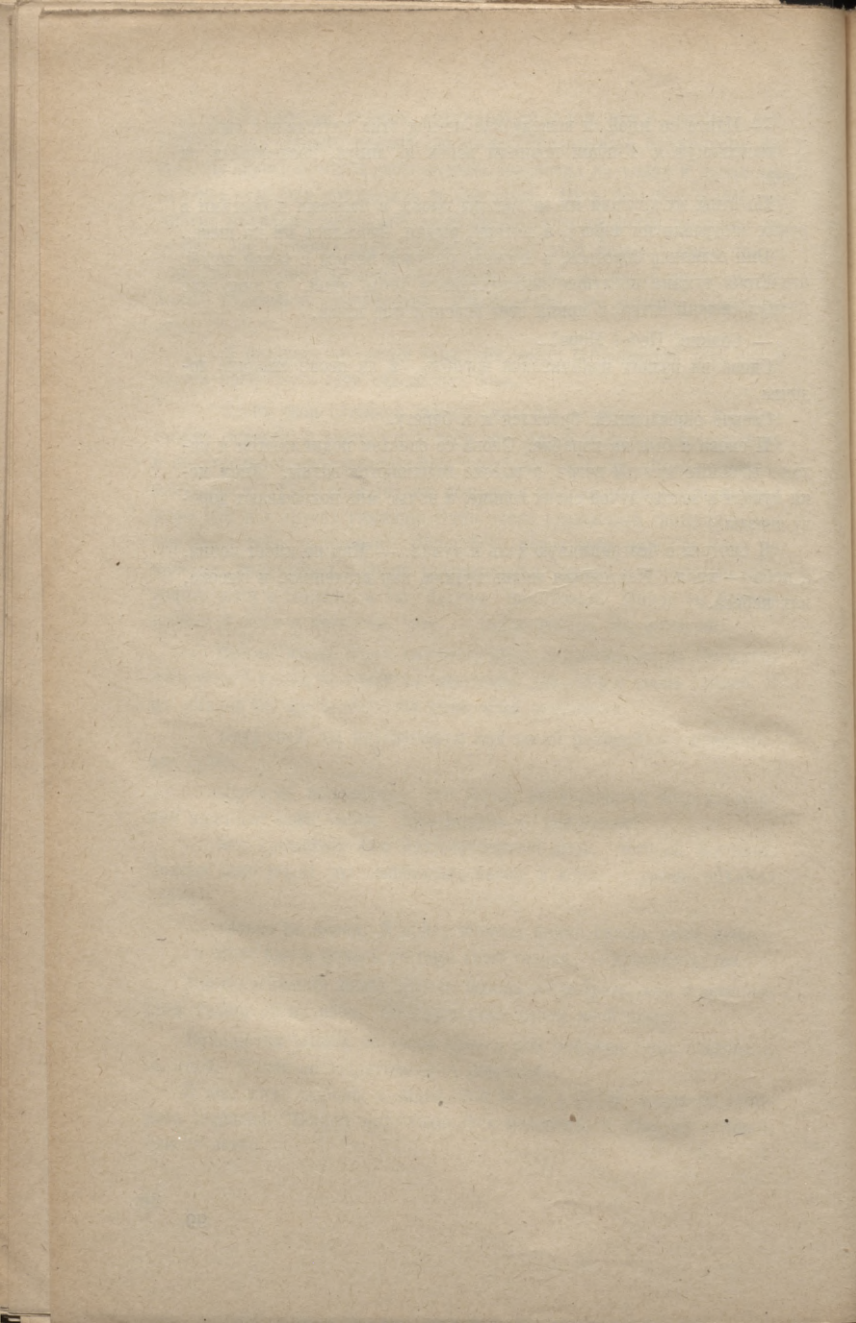
— Солнце! Небо! Море!...

Снова на волнах покачивался корабль, а на песке ожидала лодочка.

Словно окрыленный, бросился я к берегу.

И снова я был на корабле. Снова со свистом поднимаются и падают влажные крылья ветра, и высоко вздымаются волны. Днем меня купает в золоте лучей своих солнце, а ночью мне показывают дорогу звезды.

Я смотрел в безграничную даль и думал: — Мир не имеет конца, а небо — края. Настоящая жизнь велика, как вселенная, и высока, как небеса.



Иванов день.

Чудно было Рождество, радостна Пасха, особенно если приезжал старый Айзбетнис с кошелкой яиц, также и Троица, но все эти праздники напоминали о какой-то чуждой, незнакомой стране, где-то на краю света, где родился и страдал Иисус Христос, у которого на иконах повсюду вокруг головы нарисован лучистый венчик. В рассказах матери все это казалось таким удивительным, таким святым, что на первый день праздника дом наш всегда напоминал скорее церковь. Пока в церкви шло богослужение, дома должна была царить абсолютная тишина, все это в конце концов хорошо, но когда подходит Иванов день, то дома появляются венки и березки, дуг, нива и лес, а над всем звенят радостные песни.

Иванов день царит над всем, над всеми праздниками. Лиго! Это слово обладает таким волшебным очарованием, что ты и сам того не замечаешь, как замениваешься в толпу молодежи, как головка клевера на красном клеверном поле. И к чести Сканулей надо сказать, что Иванов день праздновался там со всей строгостью дедовских обычаев, хотя Петров в деревне было несравненно больше, но затенить Иванов они все-же не могли.

А каково время-то перед Ивановым днем, когда все луга и долины в одних цветах, когда над всей землей простирается как бы само благословенное неба, когда солнечный свет проникает в подземный мир, вызывая мать гемуров плясать и распевать лиго-песни. Лиго!

Когда леса и равнины полны мерцающими песнями пастухов, когда всюду разносится отголосок лиго-песен.

Ожидание Иванова дня и хождение за Ивановой травкой теплыми летними вечерами принадлежит к числу лучших детских воспоминаний пишущего эти строки. Воспоминания эти полны ночной свежести и невыразимого счастья, которого не надо искать где-то далеко, но которое тут же около цветка, срываемого тобой на венок под Иванов день.

Где-то в серебристой дали, за озером уже звучали лиго-песни ушедших с лошадьми в ночное и песни эти углубляют летнюю ночь до божественной легенды, которая приближает нас к солнечному совершенству жизни.

Перед Ивановым днем мать моет комнаты, что происходит раз в год, чтобы всюду было чисто и светло. А работа эта не пустяковая, переставить все кровати, вымыть пол, столы, стулья, вынести на двор все цветочные горшки, одним словом, не оставить нигде зимней дремы. В этой работе проходил обычно целый день и это считали не легче стирки белья, если не труднее. Как весной разливалась речушка, так и в комнатах теперь был радостный разлив вод, уносивших и смывавших всю пыль и грязь. После этого в большой комнате расстилали солому, беря прямо от снопа, чтобы не затоптать пола. Вечером или на следующее утро кровати помещались на старые места, на пол стлали самодельные дерюги, готовясь к приему гостей. Нигде не должно было быть ни одной пылинки, ни одной паутины, во всех уголках должна была царить чистота.

Мне поручалось обрезать зорю (дубчатая трава), которая росла вокруг дома, у самого фундамента и из которой мы иногда с Эглит Алвиной делали насосы, чтобы пустить струйку воды в честь послеобеденного солнца. Срезая зорю и бросая ее за кусты крыжевника, чтобы повяла, меня охватывает какое-то опьянение от острого запаха, но что надо делать, надо — такая же важная работа под Иванов день, как матери вязка сыров, а отцу пивоварение.

Уже известно, где варят пиво. Бывает, что и у нас соседи берут то-се необходимое для этой процедуры и тогда бывает, что и нам приносят ведро, другое молодого пива на пробу.

Наступил наконец канун Иванова дня. Мать пекла лепешки или белый хлеб, девушки в полдень свили в чулане последние венки из принесенных Ивановых трав, перепробовали по-тихоньку все лигопесни, чтобы вечером встретить ими парней, а если бы, на случай, кто-нибудь из них ответил, то, чтобы не остаться вдолгу, но удержать первенство.

К вечеру начинали отовсюду сносить венки в комнату, куда и меня приглашали на помощь. У каждой постели вешали по венку, а в большой комнате по полу рассыпали зорю. Брат уходил в лес рубить березок, иногда и я сопровождал его, но чаще всего он это делал один, ибо на нашем участке молодых березок не было; мне нужно было все березки внести в комнату и поставить по две около каждой кровати: у изголовья и у подножия. Чтобы подутемная большая комната также вся была в зелени, брат брал маленькую ручную пилу и влезал на клен, спиливал несколько веток. У дверей также не должно было быть недостатка в зелени, там вешали гирлянды и при-

бывали, чтобы не обвалилась к каждому косяку по березке. После этого брат уезжал в корчму, чтобы привести корзину, другую пива, ибо в Ивановскую ночь без пива обойтись было нельзя.

За ужином мать оделяла каждого куском Ивановского сыра, которого сразу никто не съедал, а приберегал к другому разу, потому что гостей-певцов всюду угостят. Однажды мать сварила под Иванов день уху из вяленой рыбы. После такой ухи можно было всю ночь пить пиво из-за одной жажды.

Выходя после ужина на двор, со стороны Рудаушей или Муйжской горы можно было слышать отголоски лиго-песен. Солнышко село и, казалось, тотчас же как бы открылись все таинственные источники земли, которые текли, журча, со всех сторон. Парни и девушки шли в амбар за праздничной одеждой. Из одного, другого сундука для приданного вынимался вышитый бисером и блестками венчик и большой шерстяной платок, которые так красили девушек, и соблазняли парней, как чарующая прелесть. Приходили девушки стовариваться с какого конца начинать, с нашего-ли или с горного. Парни задавали лошадям корма, потому что в Ивановскую ночь обычно не ходим в ночное.

Не дождавшись в обычное время «горных», Илга предложила обратиться всем около риги и затянуть какую-нибудь песню, которая заставила бы опоздавших поторопиться и присоединиться скорее к группе «долинных». Так и сделали. Через минуту молодежь жужжала, как пчелы в улье, потому что песни изгоняют неловкость и малодушие. Удивительно, как Иванова ночь всех преображает — старые становятся молодыми, а у молодых вырастают крылья. В Айзезере блеснул Иванов огонь и осветил синюю полосу леса и темную поверхность озера. Казалось, что небо и земля сегодня вечером слились в одно пламя.

Ах, Янит, Божий сын
Велика же твоя шляпа
Ведь широкий Божий мир
Весь укроется под нею. Лиго!

Хозяин и хозяйка украшались венками и встречались лиго-песнями. Они угощали молодежь и бидон переходил из рук в руки. Все чувствовали себя однако счастливыми, Иванова трава в комнатах вяла, дурманя и сблизая людей. Пиво разогревало голову, развязывая языки и понуждая к пению. Иванова ночь возрождала и оживляла в деревне древнюю общность, это бывало раз в году, когда все Скалуни

роднились ибо обычно «горные» и «долинные» держались особнячком. Вспоминали старые времена, когда вся деревня пасла лошадей вместе, когда выехавшие в ночное у костра на Буркалнине рассказывали друг другу сказки или мерялись силами на недоудбах.

С восходом солнца усталые искали уголка, где бы прилечь, а более молодые продолжали петь лиго-песни, заходя к садовнику, а иногда даже в Лейяскрог (корчма). Да и на самый Иванов день было не до спанья, ибо все начиналось сначала, когда хозяева в свою очередь посещали друг друга. В церковь не шел никто. На Иванов день церковь всегда бывала пуста и кроме пастора, кучера да старосты там трудно бывало кого-нибудь, встретить.

Кузнец пошучивал над пастором на своем веевейском наречии:

— И что он едет в церковь, лучше завернул бы к нам попеть лиго-песни.

Поют лиго-песни и пасторы, — добавил Малый Катунис, сдвигая шляпу на затылок. — Я-то видел, как тут же на свадьбе дочери нашего благочинного святые отцы так наклюкались, что не умели дома и дверей найти. Но ведь ради формы делать то всетаки это надо, слушает-ли кто, или нет.

Когда после Иванова дня я выносил из комнаты увидевшие березки, мать сказала:

— Ну за таким Ивановым днем, сынок, и на шести конях не утонишься.

Я посмотрел на большак, который, как белая лента, извивался мимо приходской школы и мне показалось будто бы там на фоне зелени мелькнула Иванова золотая карета.

Офицер лентяев.

Тот кто помнит Волдиса Пликшана еще небольшим мальчуганом, не может не удивиться, как из него вырос такой огромный лентяй. Отец его был так прилежен, что лишь два раза за всю свою жизнь переменял место службы. В первый раз он перешел из одной типографии, где наблюдал за мотором, в другую, где, шлифуя камни в литографическом отделении мог больше заработать, хотя работа была несравненно труднее. Во второй раз, будучи уже стариком, он получил место швейцара в каком-то частном банке. Также и мать, оставляя младших детей на попечение старших, с утра уже уходила из дома и возвращалась поздним вечером. То она работала в винном погребе, то в дровяном сарае, готовя деревянные круги, то на какой-нибудь фабрике. Когда же не бывало особых недостатков она ходила к господам прибиральщицей или мыла там лестницы. Всяду она была проворна и верна и всюду к ней благоволили. Не даром барон Нолькен предложил ей наконец место дворничихи в своем роскошном особняке в старой Риге. Заняв это место она держала лестницу, двор и тротуар на улице в такой чистоте, что даже самый придирчивый и жадный на взятки полицейский не мог бы к ней придраться. Также и сам Волдис в детстве был разбитым мальчиком с ясно выраженными музыкальными дарованиями. Когда он слышал, что на улице проходили солдаты, он обычно бежал вслед за ними до казарм, лишь бы насладиться звуками полкового оркестра. Возвратившись домой, он из старших сестер во главе со старшим братом составлял свой оркестр, а затем они ходили в такт и играли: один дул в хвост глиняной утки, другой бил кулаком по кастрюле, третий бил в ладоши, четвертый кричал во все горло, а пятый скреб ручкой половой щетки по полу.

Когда начинается этот рассказ, на попечении родителей находился один только Волдис, которому было лет одиннадцать. Старшая сестра уехала. Она посещала в Елгаве ткацкие курсы и была почти самостоятельна, потому что за свою работу она получала вознаграждение. Средняя сестра работала в переплетной, где была брошюровщицей и тоже зарабатывала себе на содержание. Младшая училась у одной белошвейки, а старший брат решил стать часовщиком. И действительно в этом ремесле он оказал уже в первые полгода значи-

тельные успехи. Как некоторые породы птиц вылетевших из гнезд птенцов своих первое время забирают на ночь обратно в гнездо, так и вся семья Пликшанов, за исключением старшей сестры, продолжала собираться вместе за ужином, который был одновременно и их обедом, а затем спала вдоль всех стен и даже на полу. Иной раз, сидя в маленькой комнатке, и глядя на этих шесть человек, которые были почти все взрослыми действительно можно было подумать о птичьем гнезде: — Вначале в большом, широком углублении совсем малые птенчики, с широко открытыми клювами — позднее гнездо так полно, что каждому приходится упираться в край его, чтобы не быть вытолкнутым наружу. Да, когда покушав, они поднимались из-за стола, то комнатка так переполнялась, что, казалось, им вот-вот не хватит воздуха для дыхания.

У каждой из этих малых птишек уже рос свой гребень. Девушки, заработав свою долю, хотели и употребить ее каждая на свои надобности. Заплатив матери за стол, остальные они тратили на дешевые платища, различные побрякушки, потихоньку ходили в кино или на балы. Мать за это бранила их. Отец же особенно не терпел ночных гуляний. Иной раз, возвратившись домой позднее обыкновенного, они не попадали в комнату и оставались на леснице или в оконной нише и, прижавшись друг к другу, дремали.

В такое переходное время, когда гнездо становится тесным, не редко происходит враждебная разлука. Можно было ожидать этого и в этой семье. Ибо впечатление, как будто в комнатке не хватало воздуха, рождалось не только от тесноты помещения, но и от чего-то другого, более худшего. Члены семьи не могли более ужиться вместе. Бывали дни, когда они не обменивались ни одним дружеским словом. Отношения иногда настолько обострялись, что старое гнездо грозило развалиться, если птенцы еще не научились или не хотели летать.

К удивлению самым разумным и послушным, когда таковыми должны были быть девочки, оказался старший мальчик, ученик золотых дел мастера. Аккуратно приходил он домой, был тих и учтив, вел себя и разговаривал, как взрослый. Мать чуть ли не боготворила его — Будучи доволен своим учеником, мастер дарил ему свою обношенную, но хорошо пошитую из английского материала одежду. А так как она ему была впору, то по воскресеньям даже отец с гордостью поглядывал на своего пятнадцатилетнего сына. К сожалению из-за этого сына родителям, незадолго до их смерти, пришлось перенести большое горе. Милый Саша, который, будучи в живых, не доставил им никакой неприятности, умирая, буквально убил их. Они были

так убиты, что у них не хватило сил перебороть тиф, которым они заболели. — В коммунистическое время сын их был призван в ряды армии. В Валмаре ручная граната разорвала его в куски. Два офицера, подвыпив, поспорились между собой в караульном помещении. Один бросил в другого ручную гранату, причем все, кто был в комнате, там и остались, кроме одного. Один стоял у дверей и, поняв серьезные намерения замахнувшегося офицера, выскочил за двери.

Так как вся семья Пликшанов целый день проводили вне дома, то за караульного в квартире оставался маленький Волдис. Это с одной стороны, было очень скучной обязанностью, особенно же если нужно было еще выучить уроки, чтобы не сидеть в классе круглым дураком. Но, с другой стороны, — если только не брать дела всерьез, — мальчик пользовался неограниченной свободой. Зажав в левой руке ключ от квартиры, он бродил по окрестным улицам, затрагивая правой свободной рукой девочек и маленьких мальчиков. Часто его можно было видеть на Гривенкале принимающим участие в различных шалостях, которые творили здесь дети окраины самых разнообразных национальностей. Там Волдис незаметно научился по-русски и по-немецки, хотя хорошо не мог говорить ни на одном, даже и на родном языке. Когда погода была хорошая, он часами играл в пуговку. Но охотнее всего он сидел около казарм, и смотрел через ворота, как русские солдаты толкались по двору, драли друг друга за уши, пробовали сломать один другому шею или же толкнуть «под ложечку». Вот это была жизнь! Особенно же беззаботная жизнь началась в казармах с началом великой мировой войны. Солдаты сновали, что муравьи. И мальчик, который так восхищался их жизнью, нравился беззаботным парням. Они с удовольствием принимали его, давали покурить, кормили вкусными щами, каких дома он никогда, по его словам, не едал. Дошло до того, что в один прекрасный вечер мальчик не вернулся более домой. Солдаты наговорили ему, что ни один честный человек не смеет сидеть теперь в теплой комнате, когда нужно бить врага. Таких мальчиков, как Волдис, заставляют подносить патроны в траншеях. Там он будет даже получать жалованье, сможет курить, сколько душе угодно и может быть добьется большой чести по окончании войны.

Родители, брат и сестры особенно не тревожились, когда возвратившись домой, получили ключ от соседей. Но когда мальчик не вернулся и к ночи, сон, а особенно у матери, стал очень тревожным. Этого никогда еще не бывало, чтобы кто-либо из членов семьи самовольно оставался ночью вне дома.

На другое утро о пропаже мальчика было заявлено полиции, но та им не могла отыскать следов или же не хотела из-за проказника-мальчишки терять времени, когда у нея была сотня других, более спешных дел. Все розыски со стороны полиции окончились тем, что через три дня явился полицейский, с пайкой подмышкой, и осведомился, не явился ли мальчуган домой. Родители как будто чувствовали, что мальчишка убежал на театр военных действий, что в то время не было редкостью, ибо такого рода геройство поощрялось даже умными людьми и маленькие беглецы не выдавались.

Поэтому то они и не особенно беспокоились, не найдя следов беглеца. Не особенно они и обрадовались, когда крестная Тилла, добровольно принявшая на себя обязанности сыщика, сообщила им однажды вечером, что видела мальчика. Он стоял в воротах артиллерийских казарм, в толпе солдат, но лишь только заметил ее, спрятался за столб. Когда она поспешила к воротам и хотела заглянуть во двор, то часовой оттолкнул ее и крикнул по-русски:

— Чего ты хочешь?

Хотя мальчик моментально исчез, Тилла все же была вполне уверена, что это был Волдис. В тех же самых коричневых манчестеровых штанишках, в той же самой матроске и жокейке. Уже по одной одежде и по манере втягивать шею в плечи она могла бы узнать Волдуса среди сотни ему подобных, а не то, что увидев его одного между взрослыми. Теперь надо лишь словить его, пока не перебежал куданибудь в другое место.

И родительское сердце не разрешало оставить мальчика на произвол судьбы. На следующее утро мать с крестной отправились к тем казармам, где был замечен мальчик. Но своей настойчивостью они ничего не добились. Солдаты, которые постоянно собирались у ворот, только смеялись над ними, когда они по-латышски спрашивали о мальчике, который должен здесь находиться и которого вчера здесь видели.

— Пуйка, пуйка! — передразнивали солдаты, смеясь между собой.

С часовыми даже и говорить нельзя было. Они стояли как немые и только толкали их, когда те подходили к воротам, угрожая даже стрелять.

3.

Вечером совет в полном составе решил, что на следующий день

отец пойдет в полицию и еще раз попросит помочь ему найти мальчика, указав на этот раз и вполне определенно его местонахождение. В это время вышла вдруг соседка и, позвав хозяйку в сторону, начала шептать ей что-то на ухо. Пошептавшись, обе женщины решили, что скрывать новость не стоит и лучше сказать обо всем открыто.

— Видишь-ли муженек, — сказала мать, — мальчишка-то наш вернулся.

А соседка тотчас-же подхватила нить разговора:

— Он явился к нам уже в два часа и просил, чтобы я зашла поговорить с вами и спросить не будете-ли вы его бить, если он придет домой.

— Ну, дерку то он заслужил основательную. Но приходится спросить —поможет ли это. — Если уж мальчишка сообразил, что нужно идти домой, то сообразил он и то, что сделанное им нехорошо и что впредь следует жить поприличнее.

Обменявшись мнениями, все решили, что будет лучше, если о прошлом не будет упомянуто ни одним словом. Но мальчик должен пообещать никогда впредь не причинять родителям подобных неприятностей.

От волнения ли или от неаккуратного образа жизни по Волдис побледнел. Войдя в комнату, он не поднял глаз ни на кого, а, тотчас же раздевшись, лег на свое место, которое 5—6 дней напрасно его ожидало.

Весь вечер в комнате была такая тишина, что даже вздохнуть громче никто не осмеливался.

На другой день родители ясно объяснили мальчику, чего они от него желают, и он обещал им исполнять все их требования. — Посылать в школу в такие тяжелые времена они его не могли. Но зато он должен был серьезно и аккуратно учиться дома. Старший брат, который учился в Вознесенском православном приходском училище, будет задавать ему читать, писать, решать и все прочее, что необходимо знать. А то иначе, что же он будет делать такой пустоголовый? Только таких, как он, и можно всюду заманить и в шайку воров и разбойников. Вначале все шло хорошо. Мальчик учился, был послушнее чем раньше. По вечерам, когда старшие возвращались с работы он аккуратно впускал их по первому звонку. И суп, который приказывали ему варить, стоял уже готовый на плите. Все признали, что Волдис исправился. Родители в присутствии его говорили, что живой и деятельный характер мальчика не мог смириться с одиноче-

ством, а так как дома ему делать было нечего, то он и бежал туда, где было больше жизни и деятельности.

Да, без сомнения, так оно и было. С этим соглашался и Волдис сам. Давно уже он почувствовал, что его тянет к другой жизни, нежелезной та, которая была дома. Действительно, он кис здесь как молоко в бутылке. Ему не нравилась ни тишина в комнате, ни угол в кухне, ни деревянная лестница, ни двор, ни ворота с покосившимися столбами. Ему нравилась улица, свобода и беззаботные товарищи.

И в один прекрасный день, в один чудный весенний день мальчик снова исчез.

Сады и парки стояли в цвету! Проводя чудные утренние часы в постели, горожане пользовались вечерами. Тогда они томились по насаждениям, площадям и тенистым бульварам. Они любовались чудными цветами сирени и каштанов, вдыхали, подняв нос, их чудный аромат и выпускали его через рот вместе с полным восхищения ах! Но когда темнело, тогда только и начинались настоящие весенние удовольствия. Тогда одуряющее умы очарование, казалось, распространялось от каждого дерева, от каждого куста. Да, казалось даже, что каждая травинка, храня каплю росы на острове стебля своего, испускала сладостно соблазнительный аромат. Это чувствовали даже старики, вышедшие провести вечерний час, сидя на какой-нибудь скамеечке.

Больше всего народу собиралось в большом Верманском парке, где играл военный оркестр. Вся площадка перед звучащей раковиной кишела людьми, как муравейник. Люди теснились и здесь, и там, не имея возможности найти достаточно хорошего места, где бы можно был присесть. Сидевшие же на длинных скамьях и не думали подниматься. Неохотно подымались со своих стульев и те, которые заняли места за маленькими столиками, вдоль стены ресторана. Там с недопитыми стаканами пива или лимонада сидели толстяки и улыбающиеся дамы и смотрели на людской клубок там, внизу как на детей предающихся дешевой и наивной забаве.

Пожилых, серьезных людей в этой толчее почти что не было. Большею частью это была молодежь и даже подростки с их проказами и шалостями доходившими иногда до упрямств в карманном воровстве.

Частенько заходили сюда и обе дочери Пликшана. Отец, конечно, разрешал им здесь оставаться лишь до вечера. Как только начинало темнеть и в вечерних сумерках вспыхивали ряды электрических лампочек, обе девушки оставляли парк и, провожаемые отдаленно,

ющимися и тающими звуками музыки, отправлялись домой. — Странно, что даже самые веселые мотивы в таком случае казались печальными.

На второй или на третий вечер после исчезновения брата обе сестры, выходя из парка, вдруг разом воскликнули: — Смотри. где Волдис!

Волдис, нагнувшись вперед и втянув голову в плечи, шел рядом с каким то мальчиком, который нес подмышкой какой-то сверток. Так как оба они уходили, то сестры без промедления и даже не сговорившись повернулись и последовали за ними. Мальчик вздрогнул, когда его вдруг схватили за руки; а, увидев сестер, так перепугался, что слова не мог вымолвить. Ясно, что ничего более не оставалось делать, как идти с сестрами домой, где его ожидали слезы матери и строгость отца.

Его товарищ, видя, что происходит, надвинул фуражку на глаза и, не сказав ни слова, поспешил исчезнуть. Волдис, как бы ища спасения, посмотрел ему вслед, а затем, набравшись смелости, проговорил:

— Я сегодня и сам пришел бы домой.

И он прибавил шагу, чтобы было заметно, что его ведут. О, — теперь скорее можно было думать, что он ведет своих проказниц сестер, уводя их подалее от тех мирских удовольствий, которые царили в парке.

По дороге сестры, необдуманно, то одна, то другая стыдили и запугивали его, говоря, что без наказания теперь не обойдется. Отец только о том и говорит, что снимет ремень да угостит тебя тем концом на котором пряжка. Да и мать так рассержена, что напрасно надеяться на ее заступничество.

Мальчик, казалось, безразлично относился ко всему этому. Он послушно шел вперед, не говоря ни слова. Он лишь время от времени старался освободить свои пальцы, которые как в тисках были защемлены в руках сестер, говоря и прося, чтобы они не сдавливали пальцев так сильно. — В этом отношении и сестры не чувствовали себя лучше. Сжатые все время руки оде резтели и потеряли чувствительность. Мальчик с радостью обратил на это внимание. И когда они были почти у ворот, когда сестры внимание свое обратили на окна, не стоят ли там родители и не ожидают ли их, мальчик вдруг вырвался. Руки его так легко выскользнули из их рук, как морковь из мягкой земли.

Пока девушки опомнились, их послушный братец был уже так далеко, что всякая погоня была бы совершенно напрасной. Поэтому они и не подумали гнаться за ним, а с криком бросились во двор и по лестнице наверх. Они взволновали весь дом известием, что поймали брата и довели его до самых ворот, но тут он вырвался и снова убежал. С досады сестры чуть не плакали.

Отец быстро выбежал на двор, даже без пиджака, а так как сидел за ужином. Но ему и в голову не приходило бежать за проказником по улице или отыскивать его следы. Выйдя за ворота, он окинул взглядом улицу с одного конца до другого. Насколько позволяли видеть сумерки, на улице не было никого, кто мог бы напоминать его сына. Да и не бежал никто.

Бурча себе что-то под нос, как бы приказывая стоявшим рядом с ним дочерям идти домой, старик вернулся во двор. Не взглянув даже на любопытных соседей, с состраданием смотревших на него, он скрылся в своей квартире. Весь вечер семья проговорила о сорванце-мальчишке, с которым не знала более, что делать. Сестры и брат относились к этому довольно безразлично. И если сестры и хотели его привести сегодня домой, то они делали это не из-за него или из-за себя, а только лишь из-за родителей. Ведь было сказано, что если где-нибудь заметят мальчишку, то пусть тотчас же ловят его и ведут домой. После происшедшего случая и отец начал спокойнее относиться к этому делу. Как будто бремя свалилось у него с плеч и он почувствовал облегчение. Он говорил матери — Теперь ясно видно, что в доме он не нуждается. Нужно бы позаботиться о том, чтобы он совсем с дороги не сбился. — Правду говоря, разве это дом для ребенка, который едва лишь знает своих родителей, ибо видит их или спящими, или вечно недовольными. Да и где ему быть, как опять не у солдат в казармах. Пусть идет добровольцем — там ему косточки посчитают да и человеком сделают — если только не подвернется какаянибудь шальная пуля.

Мать же была совершенно другого мнения. Она хотела потерпеть еще дня три. Но если Волдис к тому времени не вернется, то она бросит работу и пойдет искать его по казармам. Она не будет более разговаривать с солдатами, а обратится к офицерам. Что его нет в тех казармах, в которых он был раньше, она уже знала, но не еказала об этом никому ни слова. Настолько он уже понимал и догадывался, что здесь о нем будут наводить справки. Он укрылся где-нибудь подальше.

Три дня прошли, но мать прождала еще три. И в это время пришла от сына весточка. Эта весточка не содержала в себе ни предложения мира, ни перемирия. Совершенно наоборот. Вестник принес заклеенное сургучом письмо, на котором, как курица лапой, Волдие наскорябал название улицы и номер дома, и в этом письме он просил выдать ему всю его верхнюю одежду и белье.

«Дорогие родители» этого вестника своего «младшего сына», которому также было не более двенадцати лет и в котором дочери признали того мальчишку, с которым они видели брата около Верманского парка, с удовольствием бы наградили пощечинами и спустили кубарем с лестницы, если бы матери не пришла в голову добрая мысль, вернее — маленькая хитрость. Она моргнула отцу и втащила мальчишку за рукав в кухню. Там она дала ему на чай за то, что тот принес письмо и распросила его.

Хотя мальчик и сказал, что он свято обещал ничего не говорить о том, где Волдие находился, но одно сказать он может, что сын их живет у солдат и что со следующим полком выедет на позиции. Ему уже выдана шинель и он уже считается в полку. Свою одежду он думает продать, оставив себе самое необходимое, чтобы иметь деньги; ибо все солдаты получают деньги из дома, а без денег — это не жизнь. Все время мать разговаривала с мальчиком шопотом, как бы стараясь скрыть от других то, о чем они говорили.

Разузнав все, что было нужно, она сказала:

— Хорошо, мы ничего не имеем против того, что мальчик едет на позиции. Так и так в солдатах ему служить придется — так пусть уж он делает это теперь. Но одежду его тотчас же выдать тебе не могу. Все нужно сначала собрать, пересмотреть, кое-что перешить, починить и приготовить аккуратный пакет. Завтра об эту пору я сама ему все снесу. Да и денег дам немного, чтобы не нужно было продавать одежду за бесценок. Я же хочу еще раз повидать своего мальчишка, ибо, кто знает, вернется ли он обратно живым.

При последних словах, хотя ей и казалось, что говорит их лишь язык, слезы невольно навернулись на ее глаза. Мальчик почувствовал неловкость, и когда его спросили, куда надо снести вещи, он без сомнения открыл бы тайну, если бы она ему самому была известна. Он лишь приблизительно знал, что надо идти на Московское предместье. Да разве мальчишки знают, как называются все те улицы, по которым они бегают? Они идут и всюду, как бы нюхом, находят

своих приятелей, так что в названиях улиц они совершенно не нуждаются. — Они сговорились, что мальчик опять придет и проводит их до казарм, но только лишь в том случае, если Волдис будет на это согласен.

В квартире Пликшанов после этого началось волнение. До поздней ночи разсуждали лишь о том, как мальчика поймать и привести домой и как с ним обходиться, когда он будет дома. Драть? Привязать к дверной ручке и три дня не давать есть? Раздеть догола и спрятать одежду под замок? Спутать ему ноги как лошади, металлическими путами, чтобы он мог лишь прыгать?

— Не готовь вертела, пока птица в лесу, — ворчал отец. Однако и он втихомолку готовил свой вертел. Что будет дальше, будет видно; но поймать мальчишку было нужно. И это сделает он сам, а не мать и не девчонки.

На другой день произошло следующее.

По улицам шел тоненький, худенький мальчишка, босиком, в коротких штанишках, а вслед за ним шла пожилая женщина, в черном шерстяном платье и с порядочным узлом под мышкой. Но мальчишке и в голову не приходило, что в узле были лишь два старых веника, и что за ними по пятам, шагах в тридцати, шел отец, носасьвая пустую трубку, ибо не было времени ее набить. Когда таинственные путники дошли до Казачьей улицы, мальчик показал на большие ворота, затем вложил пальцы в рот и резко свистнул. Сделав это скрылся за углом. Мать нетерпеливо расхаживала у ворот, ибо было уговорено, что Волдис выйдет на свист, чтобы с ней встретиться. Отец держался вдали, не спуская однако глаз с ворот, чтобы в нужную минуту прийти на помощь матери. Они ждали пять, десять, двадцать минут. Тогда мать подошла к отцу, чтобы посоветоваться, что делать. Может быть мальчик не мог так скоро выйти.

Решили, что нужно ждать.

И они ждали. Мать — готовая обнять своего сына и стараться держать его, пока не подоспеет отец, отец — готовый к прыжку, лишь только увидит сына в руках матери.

5.

Привыкнув к мысли, что сын их давно на позициях, Пликшаны вздрогнули, как при виде приведения, когда однажды утром в кухне появился их Волдис.

Ночью лил дождь, и мальчик, с голой головой, в тяжелых сапогах, выглядел таким промокшим и истомленным, что ни у кого не поднялась бы на него рука, как бы зол он на него не был. Как восставший из мертвых, стоял мальчик перед удивленной семьей и хлопал глазами, не понимая, говорить, или лучше молчать. Никто в первую минуту и не думал заговорить с ним, рассуждая между собой, что бы это могло привести мальчика обратно, — как будто это была лишь тень вырисовывавшаяся на закоптелой стене. Наконец отец проговорил:

— Так ты все-таки вспомнил, что у тебя есть родители и дом?

Мальчик сделал шаг назад, чтобы прикрыть спину стеною, на случай, если бы у отца были злые намерения. Он открыл рот, вероятно что-то сказал, но нельзя было расслышать ни малейшего шопота.

— Идите завтракать, — сказала всем мать, ставя на стол кофейник. Одновременно она взяла мальчика под свое покровительство. Она одела его во все сухое, хотя и поношенное и тогда лишь села сама к столу.

Неопределенное положение окончилось. Все облегченно вздохнули, когда отец сурово, но все же добродушно попросил сына рассказать, почему он прибежал домой, когда уже был записан добровольцем, и когда мальчик, более для себя, нежели для других, вкратце рассказал длинную повесть.

Из его рассказа выходило, что он пошел не добровольно, но был заманут в казармы. Его кормили, давали курить и ему ничего не нужно было делать. По вечерам бывала музыка и песни. Затем ему выдали казенное обмундирование. Шинель была до пят и волочилась по земле. Часто приходилось падать, наступая на полы шинели. Нужно было бегать, прыгать, учиться мушкетерской и всему тому, что необходимо знать на войне. Это было трудно, и он давно бы прибежал, если бы было возможно. Без разрешения из казарм не выпускали, а проситься он не осмеливался, потому что знал, что если уйдет то не вернется, и думал, что и другие это знали. Он ждал удобного времени. У него был свой план, который он, наконец, и привел в исполнение. Когда полк был посажен в теплушки, мальчик поместился у самых дверей вместе с самыми отчаянными товарищами. Спустив ноги, они сидели, болтали и шутили. Когда же поезд у переезда около Матвеевского кладбища убавил ходу, он выпрыгнул. Зловредно разбилась, но уж не так, чтобы нельзя было двигаться. Когда

он поднял голову, то слышал еще, как кричали солдаты, но хвост поезда уже исчезал во тьме. Так как шел дождь и было очень темно, то красные сигнальные огни казались глазами. Он вылез из своей шинели, в которой он не мог бы бежать, и, поднявшись на горку, пошел по направлению к Матвеевской улице.

— Ты же мог шею себе сломать при падении, — не утерпела, чтобы не сказать мать.

Мальчик поднял глаза и впервые открыто взглянул на мать. Посмотрел и усмехнулся, как бы желая сказать: — Взрослый человек, а говорит, как ребенок. Разве он девченка, чтобы падать необдуманно. Все нужно уже наперед предвидеть. Полы шинели должны быть совершенно свободны. Ни одна рука не должна была касаться его шинели. Падать нужно было на ноги, а затем откатиться подалее от вагона, держа по возможности голову над землей. — Все это он мог бы объяснить матери, но он промолчал.

— Они же могли остановить поезд и поймать тебя. — Это уже проговорил отец.

— Поэтому-то я и бежал! — воскликнул мальчик.

— А если бы я расшиб ногу, то начал бы стонать, а то и представлялся бы мертвым.

— Тогда они отправили бы тебя в военный госпиталь, где ты мог бы заразиться различными болезнями.

Всем стало вдруг страшно. — Да, поезд конечно тотчас же остановили. Не может быть, чтобы, если вышал из вагона человек, на это не обратили никакого внимания. Но если поезд был остановлен, шинель найдена, а мальчишки нет, то его непременно будут разыскивать.

— Может быть уже через несколько часов за тобой придут. Ибо ты уже принадлежишь не нам, а царю, если решил и обещался идти на войну, — проговорил отец, отчасти запугивая, а отчасти и сам веря своим словам.

— Ха, — вырваюсь у мальчика. — Где же они меня разыщут? Свою фуражку я бросил гакже там рядом с шинелью. А сапоги мне не за чем носить. Их можно продать.

Мальчик осмелел. Онпил кофе и весело продолжал:

— Неужели вы думаете, что я сказал правду. Я сказал, что меня зовут Волдис Калинин, и что у меня нет ни отца ни матери. Как сироту они меня и взяли. Если бы я знал, что это дело зайдет так далеко, и что меня более не выпустят, я бы и не начинал его.

Нужно было собираться на работу. Каждый спешил на свое место службы. Даже мать, и та не осталась дома, хотя бы и могла остаться. Она была уверена, что после такой тужелой ночи сын завалится в постель и проспит до вечера.

Так оно и было.

6.

Война затянулась и понемногу начала угрожать и Риге. Это мешало нормальному течению жизни. Много было лишнего, но многого не хватало. Даже самые серьезные люди стали безразлично относиться к своим обязанностям. Лучшей добродетелью было, — не думать о завтрашнем дне, ибо он ничего не мог более обещать за сегодняшний. Фабрики со всеми рабочими были эвакуированы в Россию. Более мелкие предприятия, которые с войной не имели ничего общего, приходили в упадок, потому что население Риги сильно уменьшилось. А в тылу оставалась лишь небольшая часть Видземе, где железнодорожное сообщение не было еще под угрозой. Если у Пликшанов был еще кусок насущного хлеба, то только лишь благодаря тому, что вся семья держалась еще вместе. Если терял работу один, то она была еще у другого, и тот приносил домой хоть столько, что хватало на хлеб. Большого в это время никто и не желал. Вольдис уже заметно подрос, только работа у него из рук валилась. Он был и остался лишь домашним ключом, да и то не совсем надежным. Отец несколько раз пробовал отдавать сына учеником в потребительские и мануфактурные магазины или же к ремесленникам, где кусок хлеба был бы еще обезпечен на всю жизнь, но всюду работа была тяжелой, а вставать нужно было рано. Через несколько дней мальчик уже переутомлялся. Он лежал больной, стонал и терял аппетит. Но когда все уходило, он обрабатывал кухонный шкафчик без жалости. Контролировать было некому, потому что один приходил, другой уходил, и у всех был зверский аппетит.

Когда уже ожидалось падение Риги, Пликшаны говорили, что Вольдис должен был бы уехать в Валк или в Пеков. Слышно было, что немцы во всех занятых областях, немедленно объявляют мобилизацию и всех мужчин от пятнадцати до пятидесяти лет отсылают на западный фронт под французские пушки. — Старший сын давно уже был на Кавказе и воевал с турками, и мог быть убит не сегодня так завтра, если уже не убит, поэтому маленький шалун стал дороже родительскому сердцу. Кто же у них останется, если заберут и этого?

дочери — имущество непостоянное. Они уйдут с первым мужчиной, который пообещает на них жениться.

Пока они так рассуждали, говорили, да думали, немцы уже были в Риге. И слухи не были лишены основания. — Пожилых мужчин и подростков хотя и не посылали на западный фронт, но все же брали на работы, будто на основании свободного договора. Но договор этот был таким, что никто не имел права отказаться от работы. Наступили теперь и для Волдиса тяжелые дни. Его отослали далеко куда-то в Литву, в Тельши или Янишки на работы по прокладке дорог. Там за кусок хлеба приходилось работать так, как разве в прежнее время работали крепостные, когда поднимали на горы камни для рыцарских замков или когда воздвигали стены старой Риги. Во всяком случае ему так казалось. Не раз доставалось ему и по спине, а поэтому, когда позднее его упрекали в лени, он оправдывался тем, что тогда в Литве он оставил последнюю каплю любви к труду. Когда всячески болея, теряя сознание и симулируя ненормального, Волдис освободился, наконец, от тяжелой работы и возвратился домой, то он принес с собой лишь полковриги черного хлеба. Этого было мало, но зато не уменьшило радости свидания.

Как-нибудь уж обошлись бы, ибо новые условия жизни были приняты и осознаны, если бы не наступило еще более тяжелое время. Владычество немцев окончилось. Как мокрые куры, хвастливые немецкие солдаты потянулись обратно, и Рига стала латвийской.

Это было совсем странно. Ну, как можно было есть хлеб, если не было более господина, который его давал? Да, с хлебом было плохо, но все же каждый чувствовал облегчение, ибо над ним не было более тяжелого вооруженного кулака чужеземца. Может быть больше всего перемене радовался Волдис Пликшан; ибо только лишь было создано Латвийское правительство, как он бесследно исчез.

7.

Война разметала семью Пликшанов во все стороны. Волдис исчез перед самым занятием Риги большевиками. Саша погиб в Вальмиере, как жертва несчастного случая. Старшая дочь со времени занятия немцами Курземе жила в Москве. Средняя все еще продолжала работать в переплетной, хотя всего лишь по несколько дней в месяц. Младшая нашла, что в деревне можно и жить и покушать лучше, чем в пустой Риге, поэтому летом она нанималась поштучкой, а зиму жила в городе на те гроши, которые зарабатывала летом. Она

жила то у сестер, то у родителей, когда где бывало лучше; ибо все стало нервными, неуживчивыми, особенно же младшие. Только старики и держались вместе, как пара старых голубей, исполняя свои мелкие повседневные обязанности.

Сам он был за дворника у сестры жены, а сама бегала по городу и часами простаивала в хвостах, чтобы достать чегонибудь съестного.

Расхаживая по городу и стоя в очередях с чужими, грязными и больными людьми она однажды заразилась и принесла домой тиф. Заболел и отец. Дочери привыкли к уходу за ними родителей; но теперь, когда отец и мать были тяжело больны, они не знали что и начать. Боялись они и заразы. Они телеграфировали в Москву старшей сестре. Так как было большевицкое время и граница была открыта, то, набравшись смелости и, применив маленькую хитрость, Алиса через четыре дня была в Риге. Мать за это время уже умерла, а отец был при смерти.

Эта поездка была роковой для Алисы, ибо обратно в Москву она более не попала. Пока она похоронила отца и мать, наступило время, когда большевики должны были оставить Ригу, и она вынуждена была остаться здесь, хотя в Москве осталось все ее имущество, сколько у нее его было. Смерть родителей снова на время объединила детей. Объединила их и квартира с оставленной мебелью. Гнездо стало уютно, будто без души; но все-же здесь что-то жило, оставшись со светлых дней детства; здесь еще были живы имена отца и матери, улыбка умершего брата и проказы исчезнувшего. Сестры жили вкладчину и жили довольно хорошо. Они не заботились о большом, но никогда не упускали удобного случая, когда можно было заработать.

Вскоре средней сестре подвернулся жених, усатый сержант вторичительной службы. Когда банды Бермонта были изгнаны из пределов Латвии, он оставил военную службу и, получив место машиниста на древообделочной фабрике, женился.

Нужно было делить имущество.

Обрадованные счастьем Марии сестры, отдали молодой паре квартиру со всем, что в ней находилось, оставив себе на память кой-какую мелочь. К сожалению брак не был счастливым. Усатый сержант в военное время привык выпивать. Будучи хорошим ремесленником, он все же подолгу не уживался на месте. Даже в удостоверении его стояла пометка о чрезмерном употреблении алкоголя. У них были и дети, но жилось им плохо. — Последнее время я их по-

терял из виду. Может быть, что они еще и не разошлись, но вероятно, чтобы жизнь пьяницы могла бы когданибудь улучшиться.

Подвернулся жених и младшей сестре Иде. Он был старше ее лет на двадцать, почему старшие сестры и противились этому браку. Девушка все же настояла на своем. Ей так трудно было, с ее хрупким здоровьем, содержать себя, что она часто жаловалась на усталость. Оставалось выйти замуж или утопиться в Даугаве. Жизнь потеряла для нее всякую привлекательность: все было серо.

Каждый человек, начиная самостоятельную жизнь, становится более или менее практичным. Выйдя замуж, Ида сразу же поняла, что она обижена. Как пригодились бы ей теперь одна, другая вещичка, которую муж Марии успел уже снести в ломбард или спустить за безценок старьевщикам. Сердясь на собственное легкомыслие, она упрекала старшую сестру за то, что все оставлено Марии. — Такие разговоры повели к охлаждению между сестрами и они, живя в одном городе, встречались лишь на рынке, да случайно на улице.

В отношении замужества старшая сестра была счастливее обеих младших. Она вышла за довольно зажиточного человека, который был столяром. Приняв во внимание требования времени, он на довольно хорошем месте открыл мебельный магазин, и дела его с каждым днем шли лучше и лучше. Они занимали хорошо меблированную пятикомнатную квартиру. Одним словом — старшая дочь Пликшана стала г-жей Спаре, и единственная из всех смогла осмелиться возобновить связи со многими из своих родственников с материнской стороны, которые все если и не были богаты, то во всяком случае зажиточны. Кто знает — может быть она впоследствии и превзойдет их. Возможности были большие.

8.

Обе младшие сестры среди забот и недостатков мало думали о своем исчезнувшем брате. Госпожа Спаре, наоборот, каждый раз при ссоре со своим сварливым мужем, вспоминала про него, призывая его как своего спасителя.

— Ну да, — плача говорила она, — у меня нет никого, кто бы мог за меня заступиться. Был бы брат, которому теперь было бы двадцать три года, так ты не говорил бы со мной подобным образом.

Хотя сестра слышала о прежних проделках мальчика, все же это не мешало ей представлять себе брата умным, стройным молодым человеком. А так как о нем до сих пор не было никаких известий,

то можно было еще надеяться, что он жив и когда-нибудь вернется.

И Волдис действительно явился.

Было уже отпраздновано трехлетие существования Латвии, когда однажды утром прислуга госпожи Спаре пригласила ее в переднюю. Там на лестнице стоит какой-то старик оборванец, который называет себя братом госпожи.

Она вышла и не хотела верить своим глазам. Там действительно стоял, сгорбившись старик, очень похожий на ее покойного отца, но только без бороды и без усов. Тяжелый вздох вместо крика радости невольно вырвался из груди ее.

Нужно же было обняться и расцеловаться, но сестре был прети-вен дырявый, засаленный камзол брата, Схватив протянутые к ней руки, она повлекла брата в кухню и предложила стул.

К счастью муж уже ушел в магазин. Прислуга убирала комнаты. Они были наедине, и брат должен был рассказать ей обо всем, — где был, как жил, и почему вернулся полуголым.

— Я же Пликшан, — пробовал шутить Волдис, но слова эти сопровождались такой тупой улыбкой, что сестра испугалась.

Некоторое время они сидели разглядывая друг друга, затем брат злобно произнес:

— Нет ли у тебя чего-нибудь поесть?

Как она не подумала об этом? — Она открыла чулан, наставила на стол массу вкусных вещей, и брат ел. Он ел жадно, чавкая, и, проглатывая кусок, вытягивал шею, как птица.

Когда он съел почти все, его начало клонить ко сну. Он спросил не может ли где-нибудь растянуться.

Разве ты ночью не спал? — спросила его сестра.

— Как ты смешно говоришь, — ответил брат. — Разве человек без снанья может обойтись? Ночью я был у тети Анны, как же иначе мог бы тебя отыскать? Она дала мне адреса Иды и Марии. Но у них ведь ничего нет! — сказала сестра. — Не болтай глупостей. Подумаем лучше, за что бы тебе приняться. Во-первых ты должен прилично одеться.

— Конечно. Куда же я могу такой показаться?

Заснуть ему не удалось, ибо сестра настаивала, чтобы он переоделся. Нужно было выбросить развалившееся, без подошв туфли. Она принесла почти совершенно новые ботинки, дала чистые носки. Теперь ему нужно было снять грязный камзол. Чистую рубашку он получил уже вчера вечером. Когда наконец он одел старый дождевик господина Спаре, — они могли идти в ближайший магазин и ку-

пить там самое необходимое белье и приличный костюм. Когда они вышли на улицу, Волдис как будто оживился. Может быть на него повлиял ясный осенний день, может быть сытный завтрак, но теперь он разговорился, в комнате же у него с силой надо было вытягивать каждое слово. Сестра, идя с ним рядом, то и дело взглядывала на него не веря, что этот сутулый человек с опухшими глазами и толстыми губами ее брат. На короткий вопрос сестры, когда он явился в Ригу, он пространно рассказал как и когда это случилось. Уже позавчера вечером он был здесь. Во-первых заглянул туда, где, уходя, покинул отца и мать. Пройскав там напрасно, он остановил у ворот одну женщину и спросил ее не живут ли здесь такие-то и такие-то. Но женщина по большей части не знала тех, о ком он спрашивал. Одно фамилие лишь совпало и Волдис поднялся на пятый этаж и постучал у дверей, к которым была прикреплена блестящая латунная пластинка с надписью «Август Вецав».

Когда Вецавы узнали, что усталый и оборванный человек — пропавший сын старого Пликшана, они приняли его как родного. Здесь он узнал, что отец и мать умерли и что дом принадлежит новому владельцу. Услыхав, что родители умерли, холодок пробежал у него по спине, и глаза наполнились слезами. Вецавы подробно рассказали ему о последних днях отца и матери. Так много воспоминаний связывало их с добрым дворником, что мать тотчас же согрела ванну, чтобы мальчик Пликшанов мог хорошенько вымыться. Затем они ели и пили.

На следующее утро, отправляясь на рынок на набережной Даугавы, где они держали мясную лавку, милые люди оставили его в постели сиящими. Проснувшись, он нашел на столе завтрак, покушал и тотчас же отправился отыскивать вторую сестру своей матери, у которой были свои дома в другом конце города.

Эта тетка его была настоящей совой. Исполняя обязанности дворничихи в своем старом доме, бегая пешком за целую версту в участок или езда на трамвае и то на передней площадке за три копейки, она добилось того, что рядом с первым домом построила еще и второй, такой же большой, как первый. Теперь оба дома были порядком таки запущены, но однако все квартиры были заняты и приносили хороший доход.

Волдису казалось, что эта богатая женщина, у которой не было собственных детей, а муж семнадцать лет тому назад умер, обрадуется приходу своего племянника и щедро одарит его. Но этого не случи-

лось. Она дала ему лишь одну рубашку покойного мужа и сообщила адрес его сестры Алисы, добавив, что муж ее миллионер.

— Правда это? — спросил он, обращаясь к сестре и тотчас же сам ответил: — Что в наше время миллион? У меня самого были миллионы сотнями и тысячами. В Москве у каждого, кто идет на базар за покупками, мешок денег под мышкой.

Купив несколько штук белья, они зашли в какой-то довольно простой магазин готового платья. Волдис очень обрадовался, когда услышал, что сестра просит показать мужской костюм. Это же ни для кого другого, как только для него. Целый ряд таких костюмов, которые не одевались годами! Смех разбирал его как ребенка, когда он начал примерять их.

Наконец костюм был куплен. Темно-синий костюм сидел на нем очень хорошо и сильно изменил его самого. Приказав старые лохмотья выкинуть, а дождевик завернуть в бумагу, госпожа Спаре расплатилась и, обращаясь к брату, сказала:

— Теперь ты можешь смело показаться моему мужу. Затем они зашли на несколько минут в шляпный магазин и Волдис вышел оттуда со светлой шляпой на голове.

Но... Но... Со вчерашнего дня он еще не курил.

Получив деньги на папиросы, он с удовольствием закурил, выходящая через нос струйка дыма.

Теперь все было как следует.

9.

Спаре не особенно доволен появлением брата жены, но, окинув его взглядом, увидел, что хорошего защитника для жены из него не будет. Прислуга уже успела рассказать ему в каком виде брат его жены явился сюда сегодня утром. Да и самой Алисе было неловко при воспоминании о том, что она, что она считала брата чуть ли не рыцарем.

Поэтому, знакомя его с мужем, она не преминула заметить:

— Он там много чего перенес.

Слово «там» означало Россию: ад, мучения и ужас.

Был вечер. Нужно было садиться к столу, на котором в честь гостя было поставлено и кое-что крепкое для подкрепления.

Волдис ни от чего не отказывался. Он ел с таким же апетитом, как за завтраком и за обедом, так же чавкая и при проглатывании, вытягивая шею, так что сестра принуждена была сделать ему

замечание, что в хорошем обществе так вести себя нельзя. Брат посмотрел на нее, улыбнулся и отговорился тем, что у каждого человека есть свои слабости и, что там ничего не поделаешь. Один сморкается, затыкая одну ноздрю пальцем, другой скручивает папиросу спирально и тогда лишь ее закуривает, третий, наконец, при каждом слове употребляет «знаешь». Все это мелочи, на которые ни один умный человек не обращает внимания.

Волдиспил латвийскую водку, совершенно не обращая внимания, пьет ли хозяин или нет. Только лишь наполнялась довольно объемистая рюмка, как он тотчас же опрокидывал ее в рот, который, казалось только для того и был создан, чтобы есть и пить. При этом, как казалось, он совершенно не пьянел. Спаре от пары выпитых им рюмок повеселел; но гость сидел, облокотясь обоими локтями на стол, такой же апатичный, как и раньше, только когда его попросили рассказать, как он попал в Латвию, он тотчас же начал:

— Там было не житье. Подумайте только: нас, красноармейцев, которые привыкли к тому, чтобы, как только стукнуть прикладом винтовки, — все открывалось, — нас задумали учить дисциплине и регламенту. Без всякой дисциплины мы, латышские стрелки, охраняли Кремль, зили шоколад и сопровождали поезд Ленина по всей необъятной России... О... там уж больше не житье. Да, кто попал в баре, тот катается как сыр в масле. Простой же честный человек должен так же зарабатывать на хлеб насущный, как и раньше...

Вот я и подумал, что хуже этого быть не может. Что мне стоит — перебегу через Зилупе да и посмотрю, что делает отец с матерью, брат да сестры. — Вот тебе и на! Мало чего осталось. Правду говоря, я также должен был получить свою часть наследства... Но разве оно мне нужно? Пойду теперь отслужить свое время в Латвии. Солдатом ты был, солдатом и оставайся. Может быть начнется опять война. Мы уж к тому привыкли, что без войны...

— Ну, так Расскажи же, как через границу-то ты перебрался. Это интересно, — перебила его сестра. Вот ты, муженек, услышишь, что там за ужасы.

Волдис развалился на стуле и безразличным голосом начал:

— Нельзя-ли это оставить на завтра? Я устал. Я не привык так много говорить.

Это было слишком странно. Человек устал от разговора! Скорее уж от еды и питья...

Получив от сестры выговор и будучи высмеян свояком, Волдис, хотя и неохотно, продолжал:

Ну да. Само собой понятно, что это было ночью, и ночью очень темной, такой темной, что глаз выколи — не увидишь. Тогда на мне была еще военная шинель. Иду я вдоль берега по ракитнику и ищу брода, чтобы легче было перебраться через реку. Тут вдруг передо мной, как из-под земли вдруг вырастает человек. Я чуть не упал со страха. Но затем овладел собой и крикнул:

Руки вверх!

Человек что-то бросил и я еле мог различить его поднятые руки.

— Что у тебя там в мешке? — тихо спросил я, потому что и сам боялся, как бы не подошли пограничники, которые несомненно слышали мой крик. Я даже не видел, был ли то мешок, или что другое, но человек, запинаясь, ответил:

— Табак.

Тогда иди! — сказал я. — Если дашь мне половину, переведу через границу, как родного брата.

Я его торопил, заставляя войти в воду, но он сказал, что в этом месте омут, и мы начали пробираться по кустам до брода. Никто не заметил нас. Мы благополучно перебрались на другой берег. Я получил фунтов двадцать табаку, который на следующий же день превратил в деньги.

Ну, теперь ты врешь! — воскликнула госпожа Спаре. Ты мне рассказывал иначе. Ты говорил, что убил контрабандиста и забрал себе весь его пакет, но спасаясь от пограничников принужден был бросить его в реку.

Волдис поднял на сестру свои светло-синие глаза.

— Как смешно ты рассуждаешь, — улыбаясь, сказал он.

— Разве я похож на разбойника? Я сказал это только для того, чтобы внушить тебе уважение к себе. Но я могу сказать совершенно откровенно, — не верьте, если я иногда рассказываю о подобных героических подвигах. Я не разбойник, но честный солдат. Разве вы думаете, что мне доверили бы жизнь товарища Ленина, если бы я был человекоубийца?

10.

На основании того, что ему предстояла еще военная служба, Волдис не мог получить нигде и никакого занятия. Довольно побродил он по свету и теперь хотел отдохнуть под крылышком у сестры. Стоило ли работать, если можно было заработать только на хлеб, одежду и жилище? Все это у него теперь было и для этого не нужно было

даже пальцем пошевелить. В магазин свояк его не пускал, ибо он так только пугался под ногами, в полном смысле этого слова. Сестра посылала его иногда на двор выбить пыль из половиков; но он не мог этого делать. Он не желал лишать прислугу этого приятного занятия. Да и кроме того, чтобы сказали люди, увидя брата госпожи Спаре за подобным занятием. Сам Спаре называл его бездельником и терпеть его не мог. Больше всего раздражало его то обстоятельство, что будучи сам некурящим по причине слабости груди, он, возвращаясь домой, находил все помещения пропитанными табачным дымом. Но лишь только кто-либо делал замечание, впечатлительный молодой человек обижался. Ну да, — он был этим навозом, он был самым младшим, заброшенным и сиротой на голову которого каждый мог поставить пятаю свою. Иногда этот сирота до такой степени бывал рассерсержен, что, даже не попрощавшись, убегал из дома бессердечного Спаре, внутренне обещая себе никогда более не перешагнуть этого порога. Но вскор он возвращался назад. Но за время своего отсутствия он посещал младших сестер и терроризировал их своим поведением. В черном костюме, светлой шляпе, с папиросой в зубах и тростью на руке, — таким он обычно появлялся в дверях и останавливался там на минуту, как бы говоря, — посмотрите, что за франт ваш брат! Конечно, материальное положение сестер не позволяло ему оставаться у них более двух-трех дней, особенно же, принимая во внимание его хороший аппетит. Когда сестры, которым он порядочно надоедал, нападали на него с упреком в бездельничанье, Волдис дрожащим голосом отвечал:

— Разве я здоров? Разве я силен? Разве вы можете влезть в меня? Посмотри на мои руки и тогда говори. Это же не мужские, а скорее женские руки! Это я говорил госпоже Спаре, а теперь говорю тебе, то же скажу при первой встрече и третьей сестре, — один ведь я у вас, и вы должны были бы дорожить мной, как золотом; но у вас же нет сердца в груди.

Что можно было ему на это ответить?

Такие разговоры нравились им и они после такого разговора иначе брата и не называли, как «золотцем».

— У тебя «золотце» не был? — спрашивала при встрече одна сестра другую.

— Нет, слава Богу, не был.

Все вздохнули с облегчением; когда однажды этому «золотцу» снова пришлось одеть военную шинель.

Время отдыха окончилось.

Снабженный деньгами, добрыми советами и пожеланиями брат уехал как будто бы в Резекне. В действительности же он был назначен в пятый Цесписский полк и остался в Риге.

11.

Только недели две и удалось отдохнуть сестрам. Затем Волдис начал являться в гости. В первый раз он посетил младшую сестру, как бы с известием, что находится тут же, неподалеку. Он ни в чем не нуждался нища была хорошей, хотя давали и маловато, работы и обязанности обычные, давно ему знакомые. Ему было хорошо.

К средней сестре он зашел через неделю. Ну, ему уже не хватало на табак. Жалованье он еще не получил... Конечно, сестра и свояк, который хорошо понимал, что значит остаться без курева, должны были прийти ему на помощь. Много-ли надо солдату? Вполне хватало и двух лат.

Что значит идти к Алисе, которая перед тем как дать какой-нибудь сантим имела обыкновение побраниться и затем поучить его, как надо обращаться с деньгами, — Волдис знал хорошо. Он явился к ней ровно через месяц, в воскресенье перед обедом, одетый в новую солдатскую шинель туго затянутую ремнем, и попросил не будет ли сестра так любезна и не побережет ли кое-что у себя до окончания военной службы. При этом он вынул из-под мышки сверток и подал его госпоже Спаре.

В свертке была его штатская одежда.

Сестра похвалила Волдиса за то, что он не только добрый солдат, но и хороший парень. И когда этот воин, повернувшись на каблуках, хотел тотчас же уходить, она спросила, не хочет ли он остаться отобедать.

Да. Спасибо. Он был свободен до девяти вечера и мог остаться, если сестра и господин Спаре ничего не имеют против.

Это было началом. Волдис заходил к Спаре каждую неделю, а то и чаще, ибо нашел, что это очень выгодно. — Господин Спаре, довольный тем, что освободился наконец от своего бездельника-родственника при прощании иногда давал ему лат—другой на расходы, а сестра заранее засовывала в карман шинели сверточек с чемнибудь вкусным, Волдис, надевая шинель как бы нечаянно засовывал в карман руку и, нащупав там сверток, с благодарностью взглядывал на сестру. Он не благодарил, ибо не знал, был ли свояк об этом информирован или нет. Он стучал по-военному каблуками, прикладывая руку к козырьку фуражки и уходил.

Совершенно свободно чувствовал себя Волдис тогда, когда самого Спаре не бывало дома, что случалось довольно часто, ибо у нашего воина бывало достаточно времени заходить в гости и по будничным дням. Тогда он обычно садился в гостиной в мягкое клубное кресло, вытягивал ноги и, смотря на носки своих сапог, курил. Не редко сестра, заходя в комнату, находила брата спящим. Он спал, свесив голову на грудь и длинная струйка слюны тянулась от одного уголка рта до воротника шинели, а затем по шинели дальше до самого пояса. В таких случаях сестра шумно будила его, браня и упрекая в том, что он снова начинает распускаться. Не может прийти в гости как человек. Спать ему тут нужно. И, рассердившись не на шутку, сестра выталкивала его вон, кто знает, дозволено-ли так долго шататься по городу. У каждого человека есть свои обязанности, а тем более у солдата. Ворча, Волдис уходил. Но вскоре он возвращался снова. Теперь он казался бодрым и веселым. Да и вообще ему спать не хотелось; он дремал только тогда, когда не спал по ночам. Разве сестре неизвестно, что солдаты должны стоять на карауле? Не так легка уж эта служба, как один, другой об этом думает.

У Спаре в Огре была небольшая дача, где они обычно проводили лето. Муж, конечно, мог наслаждаться прелестями природы только по воскресеньям. Приезжая по будним дням, он был занят деловыми размышлениями, о различных стилях мебели, старых и новых, о получках, о платежах, векселях, доходах и расходах. По утрам он еспешил на станцию, ибо когда он выпивал кофе, то часы каждый раз показывали то время, когда вот-вот должен был прибыть поезд.

Сама Спаре жила здесь целое лето, работая в небольшом огорожке, фруктовом саду, а также, ухаживая за цветами. Настоящей-то работницей была старая Анна, которая жила здесь и зимой, присматривая за домом, все же руки гаспожи Спаре за лето загорали и грубели и она, возвратившись в Ригу, с полным правом могла ими похвастаться.

Приближалась уже осень, когда однажды, проводив мужа на станцию и возвратившись домой, она увидела в саду на дорожке брата. На голове у него была клетчатая жюкейка, а в руках толстая палка.

— Волдис, как же это ты здесь очутился? — воскликнула она таким тоном, в котором одновременно как будто слышались многие и различные упреки.

Волдис пошел к ней навстречу, галантно поцеловал ей руку и сказал:

— Не ожидала такого гостя.

— Пойдем в комнаты — торопила его сестра, предчувствуя, что здесь что-то не в порядке; ибо на брате не было ничего, что напоминало бы военное обмундирование.

— Ну, ты такой же оборвыш, как тогда, когда вернулся из Советов, — качая головой, сказала она.

— Что делать. Поэтому то я и здесь. Мне нужна моя одежда. В дальнейшем разговоре оказалось, что подозрения сестры относительно дезертирства брата не имеют никакого основания. Он просто вытянул жребий, освобождавший его от военной службы до срока. Сообщив это, Волдис как бы нечаянно вспомнил, что у него есть товарищ, такой же счастливец или несчастный, как и он. Да, их вернее можно назвать несчастливцами, потому что им теперь придется самим заботиться о себе. Начало, как видно, было блестящее. Товарищ остался в лесу, пока Волдис переговорит с сестрой о том, можно ли и ему зайти сюда.

Конечно, товарищ его мог сделать это. И через пять минут на веранде за чашкой кофе сидели два довольно подозрительных субъекта, жадно уплетая бутерброды и самодовольно изподлобья поглядывая друг на друга. Госпожа Спаре сидела у конца стола и порусски их расспрашивала, ибо товарищ Волдиса, Бобров плохо понимал по-латышски.

Планы молодых людей были похвальны. Во-первых им нужно было попасть в Резекне, это неминуемо. Недалеко от Резекне, в расстоянии двух часов ходьбы, находился дом отца Боброва. Отец его был плотником и брал большие подряды, так что, работая у него, можно было хорошо заработать. И они сговорились, что Волдис поедет вместе с ними, станет на работу и выучится плотничьему ремеслу. О, увидишь, каким он вернется в Ригу годика через три-четыре проведать сестер. Было лишь одно маленькое несчастье. У обоих не было ни гроша денег. Последние сантимы они истратили на толкучке, купив те лохмотья, которые на них теперь, потому что казенное обмундирование надо было сдать по принадлежности. У них даже не хватило на дорогу и они приплыли сюда пешком.

Вчера после обеда они вышли из Риги и к ночи были уже в Огре. Тотчас же они нашли и дачу Спаре, но не осмелились их в такой поздний час беспокоить. Да полуночи они просидели в лесу, а когда стало прохладно, то залезли в какую-то сушилку или баню, на самом берегу реки.

Несчастливые мальчики... ну они окончили военную службу и могли начать самостоятельную жизнь, но были голы и бедны, как новорожденные.

Оба пасынка судьбы ни на что не жаловались и ничего не просили. Они лишь рассказали всю правду и попросили лишь позволения пару часов вздремнуть. Тогда они встанут и с новыми силами станут продолжать свой путь. Через пять, шесть дней они надеются быть у цели.

Пока мальчики спали, госпожа Спаре со старой Анной работали, не покладая рук, готовя им на дорогу все необходимое. Хотя тот, второй и был совсем чужим человеком, к тому же еще русским, однако, в данном случае все, что складывалось в узел, должно было быть в двойном числе и мере. Жаль только, что сестра не могла дать брату праздничного платья, ибо оно было в Риге, а брат не хотел из-за этого ждать. Они приготовили несколько пар белья, перчаток, носков. Но главное, чтобы бедным мальчикам не пришлось голодать. Хлеб, масло, копченая ветчина, свр, большой кусок колбасы — ничего не было забыто.

Анне нужно было сбежать в лавку и принести две большие «Риги». Что это будет за радость, когда между различными лакомствами покажется и башня Петровской кирхи. Да и пенком этим бедным мальчикам не придется больше идти. Прощаясь, она даст каждому десять лат и скажет: это на дорогу... Прощание вышло немного иным, нежели его представляла себе госпожа Спаре. Мальчики, проспав почти до вечера, стали более спокойными чем утром. Было даже такое впечатление, что они не прочь бы остаться здесь пожить. Русский даже спросил нет ли какой работницы по дому. Во всяком случае они могли бы с Волдом хоть дров напилить, если таковые есть.

Тогда госпожа Спаре отозвала брата в сторону и сказала:

— Ты хорошо знаешь, что за человек твой приятель?

— Как смешно ты рассуждаешь, — с заметной насмешкой ответил Волдис. — Мы же вместе служили.

— Хорошо. Но-вот вам обоим на дорогу, и отправляйтесь со следующим поездом. Мой муж ничего не должен знать о вашем визите сюда. Через час он будет здесь. Немедленно попрощайся и вот, возьми это, тут будет, что вам поесть. Подойдя к приятелю Волдис шопотом передал ему распоряжение сестры, а может быть и сказал про деньги и хлеб. Ибо они весело схватились за шапки и палки, чтобы тотчас же исчезнуть.

Прощаясь, госпожа Спаре наказала русскому, чтобы он, как рабочий человек, держал Волдиса в руках и не отпускал бы его, когда тому надоест ремесло.

Да вот, чтобы оба пить не начали. Да, праздничный костюм она вышлет по почте, как только брат сообщит ей определенный и точный адрес...

12.

Приблизительно через неделю по отъезде обоих приятелей, на дачу Спаре явился старший полицейский надзиратель и пожелал видеть саму хозяйку. Когда она явилась, он, коснувшись пальцами фуражки, сухо произнес:

— У меня к вам маленькое дело.

Войдя на беранду, он сел и достал из довольно потрепанного портфеля какую-то бумагу. Пристально смотря на бумагу, он спросил, известен ли госпоже Спаре некто Волдис Пликшан.

Госпожу Спаре бросило в жар, затем холодок пробежал у нее по спине. Однако она спокойно ответила:

— Да, это мой брат.

— Совершенно верно, — через довольно долгий промежуток времени ответил полицейский, поднимая глаза. — А здесь он иногда не бывал?

— Да, он был недавно здесь.

— Но нам ничего не известно. Будьте добры дать домовую книгу.

— В домовой книге ничего не записано, и полиции не сообщено; ибо они были здесь лишь несколько часов. Кроме того, — это ведь мой брат.

— Что значит в эти времена брат? Для полиции безразлично, отец, брат, или сын: мошенником может быть как тот, так и другой. — Вы сказали они... Так значит ваш брат был не один?

Госпожа Спаре покраснела. Ясно было, что дело серьезное, и что отрицать или скрывать чтонибудь было бы лишь к худшему. Кроме того она была так расстроена, что не удержалась, чтобы не воскликнуть:

— Ради Бога, — что же они наделали?

— Ничего кроме, как только то, что самовольно покинули свой полк. Тут у нас подробное сообщение из Риги. Хотя это относится

только к вашему брату; но убежало их двое. Думают, что они убежали в Россию, ибо в разговорах с товарищами прославляли тамошний строй.

Тут уж не было ни малейшего сомнения в том, что Волдис обманул сестру самым бессовестным образом. Все могло быть, что в то время была жеребьевка и некоторые действительно уезжали домой, что побудило и обоих парней попытать счастья... И госпожа Спаре, огорченная всем этим, рассказала все подробно об этом случае, добавив, что немедленно доставила бы брата обратно, если бы ей пришло в голову, что он говорит неправду. — Спокойствие и деловитость, которыми лишь редкие полицейские обладают в подобных случаях, окончательно успокоили госпожу Спаре. Она вновь обрела способность спокойно рассуждать.

— Что же вы теперь будете делать? — спросила она, когда полицейский, уложив бумагу в портфель, с треском закрыл последний.

— Мы счастливо окончили это дело. Здесь следы и дальнейшие указания. Нам уже почти определенно известно, что позавчера они перешли границу. Однако, если брат вам при случае напишет, или иным каким-нибудь способом сообщит о себе, очень прошу вас не скрывать от нас ничего. — Это ради скорейшего окончания дела. Кто уже перемахнул через границу, тот, что волк в кустах.

Госпожа Спаре обещала это сделать, хотя и высказала сомнение в том, напишет ли ей брат когданибудь. До сих пор она не получала от него ни строки. Она даже не знала, умеет ли он вообще писать. Он же рос в военное время и школьные годы свои провел на чужбине, за пределами Латвии...

Г-жа Спаре до сих пор не обмолвилась мужу ни словом о визите двух приятелей. Теперь лишь она подумала об этом и пришла к убеждению, что плохо сделала. Удастся ли теперь сохранить эту тайну, о которой она сама сегодня лишь узнала? Если не сегодня, то завтра о двух дезертирах, которые скрывались на даче Спаре, будет говорить вся Огре, а послезавтра муж, приехав из Риги спросит: послушай ка, жена, что же у нас дома происходит? мне тот-то и тот-то передал то-то и то-то.

Вечером, идя на станцию, она решила обо всем рассказать мужу. Но затем решила, что сразу сделать этого нельзя. Мужу может показаться, что она была соучастницей бегства, если скрывала от него, что брат был здесь. Нет, теперь она сообщит мужу лишь о том, что брат досрочно освобожден от военной службы и отправился в Латгале искать работу. Он был здесь лишь от поезда до поезда, ибо хотел

взять свою штатскую одежду, и уехал, потому что приятель его не хотел ждать. Завтра же вечером она откроет мужу вторую половину дела. Все это было бы хорошо, не случилось нечто, совершенно непредвиденное. Она уже все рассказала и муж поразился вместе с ней доброму намерению Волдиса выучиться плотничьему ремеслу, когда оба вдруг будто натолкнулись на стену. Повернув в сад, они уже издали увидели Волдиса, который сидел на веранде за столом и, окутанный облаком синего дыма читал газету.

Спаре громко рассмеялся, а жена на минуту как бы окаменела. Тогда она стрелой влетела на веранду, схватила брата за руку и потащила в свою комнату. Спаре знал, что жена не так скоро окончит свою беседу с братом, и дал ей полную свободу, особенно потому, что ее брат и по его мнению заслужил основательной встряски, бросив раз начатое дело.

Сидя за своим поздним обедом, Спаре даже и не заметил, что жена вместе с Волдисом покинула комнату, выйдя через другие двери. Это теперь лишь, подавая сладкое, сообщила ему старая Анна, когда он спросил, не нужно-ли и Волдиса позвать обедать.

— Он уже ушел, — покачивая головой, сказала Анна. — Попал человек прямо в петлю. Кто бы это мог подумать. Мы его проводили, как на новую жизнь, но он ведь не окончил еще военной службы. Как это люди теперь нетерпеливы. Раньше прослужил двадцать пять лет и тогда еще оставалось довольно времени, чтобы пожить. А теперь и года прослужить не могут. Сегодня был здесь полицейский и тогда только госпожа узнала всю правду. Я-то не знаю, что он говорил, и что тут было, но госпожа после этого плакала и ломала руки. Ну, а теперь она свела беглеца в полицию...

Это были прекрасные известия! — Спаре сердито махнул рукой, взял простынь и ушел в лес, чтобы позднее искупаться в реке.

Когда он на заходе вернулся домой, жены еще не было, а когда ее и в девять еще не было, — попил чаю и лег спать.

Госпожа Спаре вечером не возвратилась. Пуста была ее постель и утром. Спаре встретил ее только в Риге. В одиннадцать часов она вошла в магазин, бледная с заплаканными глазами. Весь разговор их был:

— Куда же ты его дела?

— Отрская полиция попросила, чтобы я сама доставила его по принадлежности. Тогда я тотчас же повезла его в Ригу, чтобы опять не сбежал. Сегодня в десять часов утра доставила его в полковую канцелярию.

- Ну, и что же они?
— Придется посидеть.

13.

Принимая во внимание некоторые смягчающие вину обстоятельства Волдис Пликшан отбыл свое наказание довольно скоро. Сестры перепугались, когда он в один прекрасный день появился вновь, заявляя, что он их единственный брат.

Наше «золотце» нашлось смеялись над ним сестры.

Однако теперь это слово не звучало уже так, как раньше. Дело было достаточно серьезно, чтобы можно было подойти к нему с улыбкой на устах. Тут приходилось уже не улыбаться, а наморщить лоб. Теперь, когда на пути не было никаких препятствий надо было приниматься за работу. Если же брат этого не делал, то он был уже не золотцем, а просто лентяем.

Если младшие сестры могли дать ему только добрый совет — искать работу, то госпожа Спаре и особенно сам Спаре, согласен был оказать ему даже реальную помощь, если парень выразит желание учиться какому-нибудь ремеслу. Все неприятности были уже были уже наполовину забыты. Было ясно видно, что без помощи родных он погибнет совершенно. Кто знает, что с ним теперь уже происходит. Правда, несколько дней и ночей он провел у сестер, но где жил он все остальное время, когда был в ссоре с сестрами, — никто этого не знал. Хорошо еще, что было лето, но ведь лето не будет продолжаться вечно.

Однажды вечером, когда Волдис сидел у Спаре, произошел серьезный разговор. Посоветовавшись уже раньше, сестра и свояк начали с того, что указали двадцатипятилетнему парню, что пора бы ему стать на собственные ноги.

— Что ты человек начнешь без капитала.. — оправдывался Волдис, глядя на кольца дыма, которые поднимались от его папиросы.

— У тебя нет капитала? — смеялся Спаре. — А у кого из нас этот капитал был? Капитал, это человек сам. То что приходит совне может исчезнуть через час. Остается лишь человек со своими мозгами. У меня в твои годы тоже ничего не было кроме топора, шлы да пары рубанков. Несчастье в том, что современные люди хотят сегодня что-то начать, а завтра уже разбогатеть. Всем необходим капитал, займы, пособия. Кто теперь учится какому-нибудь ремеслу? А ремесло является самой крепкой основой человеческой

жизни. То, что у тебя есть, могут отнять; а то, что ты умеешь, является твоим навсегда.

Волдис терпеливо слушал. Иногда он кивал головой, когда связок, желая подчеркнуть наиболее важное, пристально заглядывал ему в глаза. Когда же разговор начал клониться к тому, что и Волдис тоже должен выбрать для себя какое-нибудь ремесло, он стал беспokoнться.

Сестра заметив это, сказала:

— Не думай, Волдис, что это шутка. Ты еще молод и перед тобой вся жизнь. Пойми, что значит, когда сегодня человек не знает, что будет с ним завтра. Ты уж пробовал браться за то, за другое. Ты стоишь и ожидаешь, пока выйдет газета. Ты бежишь искать по объявлению более подходящую для себя работу; но когда приходишь, то оказывается, что уж поздно. Это не жизнь...

— Молод. Разве я молод. В мои годы быть учеником, каждый сознательный человек почтет для себя безчестным.

— Ну да. Тогда с тобой и говорить нечего. Тогда ищи только капиталов и живи, как богат. Но заметь, — от нас ты не получишь ни сантима. Мы было решили так: дать тебе квартиру, стол и платить за правообучение, — одним словом, дать тебе возможность бесплатно обучиться какому-нибудь ремеслу, какое тебе больше нравится. Но если ты сам не хочешь, то оставайся вечным безработным и проси вспомоществования от государства. Мы не так богаты, чтобы тебя, здорового и сильного человека содержать.

— Если бы я был помоложе... — вздохнул, внимательно слушавший Волдис.

После продолжительного разговора они добились того, что Волдис согласился учиться какому-нибудь ремеслу. Он только не мог придумать, чтобы было наиболее подходящим для его сил, возраста и здоровья. Кузнецом или столяром он не мог быть. Такой работы не вынесли бы его маленькие, слабые руки. Пекаря работали всю ночь напролет и им не оставалось времени для сна. Парикмахер... Тут нужно было поразмыслить. Хотя, собственно говоря, и это было негодное ремесло. Каждого надо было называть господином, обслужить его, да после работы еще и поклониться...

— А как было бы, если бы научился сапожному ремеслу? — воскликнула вдруг сестра. — Смотри, капитан Левер, у которого на войне была прострелена нога, научился этому ремеслу, а теперь на вот, возьми его. У него теперь своя мастерская и небольшой магазин. Сам говорит: — Ну мы то теперь, слава Богу сыты.

— Хохохо! — засмеялся Волдис. Хочешь поймать меня, как муху на бумагу. Смотри ка, капитан сапожничает, а ты, простой солдат, не хочешь. А я вам вот что скажу: сапожничанье — последнее дело. Если бы мне ктонибудь сказал — учись сапожному ремеслу, или ты умрешь на месте, — то и тогда я бы еще подумал. Тогда уж в сто раз лучше стать портным. Может быть действительно, найдя портняжное ремесло наиболее для себя подходящим или же устав от своих длинных экскурсий по всем отраслям труда, Волдис согласился наконец учиться портняжному ремеслу. Одновременно он начал считаться своим человеком в доме, и мог остаться там на ночь. На другой день ему нужно было совершенно перебраться к Спаре, что он и сделал. В полдень он вышел, будто бы за своим имуществом и возвратился с маленьким свертком под-мышкой. Это было все его имущество.

Ну все было снова в порядке. Можно было жить так, как он жил до военной службы, когда он так приятно проводил время в этой же самой квартире, за этим же самым столом и на этой же самой кушетке. Несчастье было лишь в том, что уже в первый вечер сестра показала ему объявление: — Желаю обучаться портняжному ремеслу. Предложения прошу адресовать... Проклятие! — Это же был адрес Спаре... Исхода никакого больше не было.

Единственным маленьким успокоением для Волдиса была надежда, что едва ли кто отозвется на такое объявление. Господа портные не особенно-то нуждались в учениках. — Однако он ошибался. На следующий день сестра получила три письма с довольно выгодными предложениями, а четвертый какой-то портной из предместья явился лично. Он похвалил доброе желание молодого человека, разделяя мнение господина Спаре, что современное поколение избегает ремесл. Он был убежден, что Волдису, как человеку взрослому, не понадобится учиться три года, а достаточно будет и двух. При чем он не будет каким-нибудь узким специалистом, а будет уметь шить все, начиная с жилетки и кончая хорошо сидящим фраком. Им, на предместье, часто приходится шить даже дамские пальто. — Да, первый год придется уж поработать бесплатно, а на втором году он будет платить ученику еженедельно...

Портной был уже человеком пожилым. Он был изящно одет и говорил совсем отеческим тоном, что особенно понравилось госпоже Спаре, потому что брат нуждался в моральной поддержке.

— Я надеюсь, — сказал, уходя, портной, что мы уживемся. Мы работаем, как одна семья и постоянно начеку с нужным советом. —

Целуя руки у госпожи Спаре, он добавил. Я рад, что интеллигентные люди не гнушаются ремеслом. Со своей стороны я сделаю все, чтобы вы были довольны.

— Ну, ты слышал, — затворив дверь, сказала она, обращаясь к брату.

— Теперь лишь соберись с духом, и через два года...

Волдис сладко чмокнул губами, а затем, презрительно усмехнувшись сказал:

— Ведь учиться то не тебе. Тебе безразлично — две недели, или два года. Ты так наивна, что сразу же веришь всему, что тебе скажут. Все они так сулят: скоро и хорошо! А когда пойдешь туда, так сдирают с тебя кожу и никогда ничему не научат. О, у меня есть много знакомых, которые вовремя успели улизнуть, иначе их кабелили бы годами. Сестра рассердилась. Что это за разговор! Не успел еще начать работать, когда уже сомневаешься в результатах. Тут зашел человек и открыл свое сердце, — а его считают злым угнетателем.

— Твоя воля, — сказала она, стараясь скрыть волнение.

— Хочешь — иди, не хочешь — не ходи. Только знай, что муж мой не желает тебя никогда более видеть у себя.

— Другого исхода нет; идти уж видно придется, — безразлично ответил Волдис.

14.

По договору тотчас же на следующий день в восемь часов утра Волдис должен был явиться на работу. Это было маленьким событием в доме. Главное вставать надо было половину седьмого, когда обычно он спал до восьми. У изголовья кровати Волдиса был поставлен будильник, а ему строго наказано, тотчас же подниматься, как только будильник заиграет. Прислуга должна была вставать на полчаса раньше, чтобы вовремя сварить кофе и приготовить бутерброды, которые ему нужно было дать с собой, потому что до обеда было далеко.

Когда будильник заиграл, проснулась и госпожа Спаре. Она пошла брату собраться на работу, торопя его мыться, одеваться и завтракать. Однако, несмотря на всю поспешность, когда Волдис взял шляпу, часы уже показывали без десяти минут восемь. Видя, что брат топчется еще в коридоре, как бы нища вчерашнего дня, сестра спросила, что он потерял.

— Ты могла бы дать мне на трамвай, — проговорил брат.

— Нет, нет! Таких речей сестра и слышать не хотела. Она резко сказала:

— Подумаешь: целый день он будет сидеть, а утром, днем и вечером разъезжать на трамвае. Тут всего то двести шагов расстояния. Иди только и помоги тебе Бог! Сестра поцеловала брата в щеку и выпроводила за двери. Но не успела она еще дойти до дверей своей комнаты, как раздался звонок. Послав прислугу на кухню, барыня сама подошла к дверям и спросила, кто это может быть в такой ранний час.

Это был Волдис. Он просил выпустить его, и она открыла, браня его за то, что в первый же день он опоздает на работу. Что же еще ему нужно?

— Опоздать или не опоздать, — на этот раз это не имеет значения, — проговорил Волдис и хотел было войти, но, так как сестра стояла в дверях, держась одной рукой за ручку двери, а другой за косяк, то он остался там же на лестнице.

— Я одумался, я буду лучше учиться сапожному ремеслу. — Внезапный удар грома не поразил бы так госпожу Снаре, как эти тихим и спокойным тоном произнесенные слова. Она захлопнула двери, схватилась обеими руками за голову и долго стояла так в темном коридоре, ибо ей страшно было войти в более светлое помещение.

Разве можно было хоть одним словом обмолвиться об этом мужу? — Конечно нет.

К обеду Волдис пришел вовремя и на вопрос: — как дела, — ответил:

— Ничего!

Это и был весь разговор брата с сестрой. И в дальнейшем ни о его работе, ни о месте работы не говорилось ни слова. Парень уходил и приходил, хорошо кушал, вовремя шел спать и вовремя вставал.

Так прошло четыре дня. Затем наступил перелом. На четвертый день вечером, Волдис сам спросил у Снаре, что они, собственно говоря, думают, мучая человека таким образом. Поинтересовались ли они этим портным и тем, что должны там делать его ученики? Все там сидят, не говоря ни слова; он же сегодня раз навсегда заявил, что не позволит себя использовать. Тогда мастер обещал придти поговорить с сестрой. Как будто сестра является кем то более важным, чем он сам. Пусть только подумают, — этот старик дал ему сегодня пороть какие-то старые тряпки; ему же надо учиться шить, а не по-

роть. Да и вообще — там хуже тюрьмы. В тюрьме хоть в окно можно посмотреть, походить или полежать; а тут сиди на столе, как привидение, а когда встанешь и шага ступить не можешь.

Чем я провинился перед вами, — повышенным уже тоном спросил Волдис, — если вы отнимаете у меня мои лучшие годы? — Ну что тут можно было ответить? Если не ответить резкостью и не прекратить вообще этого дела, то упрек этот нужно было принять за шутку. Рассерженные Спаре пожали плечами, посмеялись и не ответили ничего. Умолк и Волдис. Так все и осталось как было. Но на следующий день в половине первого, когда Волдис только что вернулся и сел в кухне обедать, явился мастер и изъявил желание поговорить с госпожой Спаре.

— К сожалению — начал он, — должен вам объявить, что там ничего не выйдет. У него на уме все, что угодно, только не работа. Я был бы рад, если бы вы взяли его обратно. Он проводит время, рассказывая что-то другим ученикам и таким образом не только сам не работает, но мешает и другим. А самое худшее, это то, что он разносит семейные дразги и рассказывает о таких вещах, о которых нам и знать не нужно. Так например, он несколько раз рассказывал, — вероятно для того, чтобы другие не считали его ровней себе, — что сестры обокрали его. Пока он жил в России, родители его умерли, а сестры продали принадлежавший родителям пятиэтажный дом. На его долю приходилось по крайней мере три, четыре миллиона, но теперь сестры его носят шелковые платья, да шелковые чулки, а ему бросают крохи. А чтобы ему совершенно закрыть рот, отдали в ученики... Нет, нет — там ничего путного не может выйти. Лучше уж не заставляйте его приходиться ко мне. Он уже, слава Богу, два дня на работе не был, так пусть уж больше и не приходит ко мне. Госпожа Спаре поблагодарила мастера за труды и сообщение. Она вполне была с ним согласна. И она не верила тому, что там что-нибудь выйдет. — Сказав еще, что сказка про дом и его продажу выдумана с начала до конца, она выпустила честного портного и вошла в кухню.

Только что приходил твой мастер, — начала она.

— Я уже слышал его голос. Ну уж наверное жаловался и приходил за мной.

— Совершенно наоборот. Он пришел сказать, чтобы ты больше не шел на работу. И ты не пойдешь.

— Ишь, какая ты странная. Только теперь ты одумалась. Не

успел он тебе сказать, а ты уже и веришь; а когда я, твой родной брат, говорю что-нибудь тебе, так ты и слушать не хочешь.

— Но вместе с тем, ты уже знаешь, — нам надо расстаться. Мой муж не должен более тебя здесь видеть. Уходи и по возможности скорее.

Волдис с минуту сидел с какой-то косой улыбкой на лице, затем стал совершенно серьезен, и наконец по лицу его потекли крупные слезы. Некоторое время он сдерживался, а затем разрыдался. Может быть целыми годами копились эти слезы... Эти рыдания большого ребенка заразили и сестру. И нельзя было знать, кто из них страдал в эту минуту больше — сестра-ли, которой было жаль брата, или брат, которому мир казался созданным неправильно.

Dem Schneidenden ist jede Gabe wert,
Ein dürres Blatt, ein Moos, ein Steinchen
aus der Quelle,
Dass er des Freunds gedenke...
... So wird ein Nichts zum höchsten
Schatz verwandelt.
Goethe.

Горящий остров

Когда хлеба на нивах уже созрели и солнце тронуло синевой ржаные поля и рощи по взгорьям — он шел обратно.

Что за странные это были мечты! Ах, пусть никто, никто не знает их... Это были мечты, которые знакомы лишь тому, кто одинок и забыт, когда после долгой и напрасной борьбы, усталый нечаянно начинает вглядываться он в осеннюю, звездную ночь и ухо его начинает что-то улавливать, а сердце трепетать, как у малого ребенка.

Кто-то позвал и он откликнулся: иду! иду!

Над полями и несколькими серыми крышами вдали блеснуло серебро озера, как длинная полоса в вечном покое. Тогда ему показалось, что ехал он уже достаточно. Дальше он хотел идти пешком, как бы желая кого-то встретить или приветствовать.

Он заплатил возчику и взял свой легкий, маленький дорожный чемодан, а на руку пальто. Затем он пошел по беловато-желтому большаку с холма в долину, из долины на холм. Синеватый купол небес и бесконечное небесное пространство охватили его и подняли, — казалось, мать на милых и сильных руках несет его. Уж не пели ли где-то жаворонки? Или то был детский крик? Уж не был ли он слять малым и беспомощным? Нет, все зрело вокруг... тишина и тяжелая зрелость. Он достиг берега озера. Большак извивался вдоль самого берега. Зеленовато-бурый лес тростника подобно венку охватывал со всех сторон воды. Затем храм. С поржавелой крышей и молчаливой колокольней, с кленами и березами за каменным валом и закрытыми дверями. Весь белый... древней белизной... гнезда ласточек под навесом крыши...

Закрытые двери пробудили будто печаль, будто безпокойство в душе путника. Закрыты двери... Если бы они были открыты и все открыто!

Затем возвышенность—за нею река, впадающая в озеро, а там по-

дуразвалившаяся водяная мельница. Проходя мимо, он слышал — глухо гудели жернова повараживаемые ленивым и слабым напором воды. Жернова вертелись в такт, но будто в дремоте, будто это был сон их, а не действительность, о чем гудели они? В этом гуде было как бы желание освободиться и замолчать, и тогда никакой ливень, никакие силы не заставили бы их более завертеться.

У подножия возвышенности стояло здание школы, красноватое с заржавевшей от времени крышей; лишь в окнах был отблеск летнего солнца, да гирлянды дикого винограда вились вокруг огромной, старой веранды.

Он остановился и посмотрел на двери школы — и они были закрыты. По двору, крича, пробежало несколько мальчишек — наверное только что окончились каникулы. Как яркая молния вспыхнуло прошлое и угасло...

Затем путник направился дальше к березовой роще, которая тянулась вдоль равнины. Из труб редких изб поднимался дым; темно-зеленые кучи елей стояли рядом с березами; на полях виднелись леса, леса и целые горы облаков.

Он шел и светло-синие глаза его скользили по дороге. Там, почти на дне долины стоял когда-то дом его родителей — нет в то время и его дом также. Только удивительно! Казалось многое что переменялось и стало иным, но многое что — еще больше, совершенно не переменялось.

Он вошел на двор и дали, и озеро, и возвышенность и литовские леса на юге казалось исчезли. Тут был покой, тут было место, где...

Все исчезло в странном тумане... тут было место, где... Глаза его вспыхнули, радость охватило все существо его и кровь начала звонить в ушах. Годы исчезли, и он увидел то, о чем так мечтал он.

Он стоял у садовой колитки. Плетень обвалился и проросшие через него кусты мяты распространяли свой одуряющий аромат... Амбары и все постройки были такими же и все же нет. Дожди давно уже смыли старую краску с оконных ставней жилых помешений.

Двери были открыты и тропинки ведущие к амбарам были так же пропитаны, как и тогда, — но никто не вышел к нему навстречу... Дохнуло прохладой.

II.

В дверях показался мужчина, в сером пиджаке, льняном белье и на босу ногу. Свалявшаяся борода и смотрящие немного изподлобья

глаза практика. Пришедший пошел к нему навстречу и они разговорились.

— Мне кажется, что здесь Званитайи начал путник.

— Да, здесь, — подтвердил бородач, всматриваясь в лицо пришельца и немного удивляясь. — Здесь раньше жил Андрей Зимза. Ну уж лет десять...

— Да, да, — отец мой Андрей Зимза... я сын его Смайлис Зимза, и будто не зная, что сказать, он умолк. Казалось, даже стиснул зубы.

Умолк и бородастый, теперешний хозяин.

— Я хотел бы остаться здесь некоторое время, — сказал Смайлис. И через некоторое время оба они шагали по дорожке ведущей к дому. Сам хозяин ничего не имел против.

Его ввели в верхнюю комнатку, единственное окно которой смотрело на ряды яблонь, поля и березки роицы за ними. Для него была приготовлена постель с простыми льняными простынями и мягкой подушкой. Ржаной хлеб и кружка с молоком стояли на столе и — он мог жить, он возвратился.

Как странно все было здесь! Смайлис ходил по комнатке и прислушивался к своим шагам. Когда он останавливался, тишина охватывала все как глубокое озеро погруженное в дремоту. В тишине этой была и радость и страх одновременно и не знал он, чему предаться — казалось будто каждое брало его за руки, водило и рассказывало что-то.

Здесь провел он те дни, которые как сон мелькнули перед его глазами. Ни одного, ни одного дня не было такого, который был бы пуст или несчастен. Безконечная вереница светлых дней с солнечными сердцами подобно облакам гонимым южным ветром мелькнули перед ними. И под всем этим его герой на крыльях сокола стремящийся отыскать свою невесту, которую чорт похитил еще тогда, когда он лежал в колыбели.

На дверях пометка года — древняя; лет двадцать тому назад Смайлис сам нанес ее. И вот это число, безмолвное число, одному ему лишь и было известно.

У стены стояла когда-то его книжная полка, теперь ее уже не было. Некоторые хозяйственные принадлежности висели еще здесь.

В стены были вбиты гвозди для венков. Гвозди остались венков не было — ни одной травинки. Удивительно, куда делись они!

Смайлис открыл окно. При этом он разорвал паутину, которая под но серой сетке затянула собой раму. Мухи, жуужка вылетели вон.

Тут была однажды дурманящая весна... Когда он вышел на двор был тяжелый, частый дождик, как сквозь сито сеял он — было туманно, как обычно в апреле. Неудержимая радость, тяжелые предчувствия любви разрывали сердце и оно, казалось, звонило.

На яблонях и липах по краям сада сидели черные скворцы с желтыми клювами и с черных крыльев их, как серебро падали мелкие дождевые капли...

Почки разбухали... земля дымилась под пологом тумана. Такова была тогда весна...

Теперь же было лето в самой силе. На яблонях висели белые и розоватые яблоки, но печальными казались яблони. А там дальше — были пчелиные ульи. Теперь лишь одна колода и осталась и та вся заросла крапивой. Травой поросла земля под деревьями, никому вероятно не хотелось здесь поработать.

Ласточки с криком мелькнули мимо и вскоре невидимые щебетали где-то на крыше. Три, четыре гнезда висели в ряд под навесом крыши, но там уже не было маленьких птенчиков — да, лето подходило к концу.

Смайлис ходил по комнате и прислушивался не раздадутся ли чьи либо шаги и не зайдет ли кто приветствовать его? Один, другой образ всплывал в памяти как раннее весеннее утро и действительности, казалось не существовало... Но нет, никто не придет. Он пробудился. Однако может быть, однако? Ждало сердце. Оно устало, ему нужны были силы, а их могли дать ему лишь образы прошлого. Лишь возвращение назад прежних времен было тем чудесным источником, где, как прозрачное старое красное вино была скрыта живоносная сила. Он видел маленького мальчика с глубокими мыслями и ясными глазами — не был ли это он сам?

Старое зеркало в коричневой резной деревянной раме единственное из всего имущества каким-то чудом осталось еще здесь. Оно висело в углу со странно темным, казалось потухшим стеклом. Смайлис взглянул в него и пробудился, — да, все исчезло, все. Он видел свое лицо, с большими серыми глазами и чуть тронутыми седой волосами — это была та же самая жизнь, здесь или там.

Когда солнце заходило, Смайлис вышел на двор. Необычайная тишина вместе с полосами дыма лежала над полями. Где-то жгли валяжник и корни, готовы под рожь новину, или же где-то под глубоким слоем почвы горел торф, распространяя тяжелый запах гари. С поля возвращались рабочие. Людские голоса, рев скота — все было так, как тогда...

Мальчик-пастух с собакой стоял у скотного двора. Смайлис подружился с ними, ему хотелось осмотреть собачью конуру. Да, это была та же старая, только крыша прогнила местами и провалилась. Здесь когда-то еще маленьким мальчиком, став на колени он кормил щенят, а позднее ласкал большого рыжего домашнего сторожа. Давно это было...

Затем он хотел зайти в клеть, где летом еще мальчиком опал он и прислушивался к далеким раскатам грома и дождь тогда с шумом лил на крышу. В клетке пахло тогда медом, ибо на полках стояли соты... Теперь не было ни сот, ни меда. Была заметна сырость и пахло заплесневшим зерном.

А затем гость посетил каждую комнату, каждое местечко. С домашними он говорил лишь необходимое, глядя то на стену, то в окно. В комнате хозяина был все тот же еще пол из широких еловых досок, некрашенный, суковатый. Ах, пол этот, когда бывал он по праздникам добела вымытый, и какие ножки ходили по нему! Комната была большая с низким потолком. Тогда в цветочных горшках на подоконниках росли странные цветы или деревья, подобные клену с желто-зелеными листьями. Так хорошо помнил это маленький мальчик.

Печечка из розоватых кирпичей, у которой можно было греться длинными зимними вечерами, исчезла. Она была низенькая, низенькая. Тогда на маленьких железных дверцах были видны четыре чугунных коня, которые неслись галопом, а управлял ими грек — стоявший на колеснице с копьём и вожжами в руках. Когда печь бывала жарко натоплена, эти кони накалялись докрасна и, казалось, еще быстрее был бег их.

Да, костра более не было — что-то потухло...

И затем в людской напрасно искал он большую кровать, на которой какой-то мальчик спал с работником-парнем и слушал до поздней ночи сказки и затем, не боясь Вурдалаков, спокойно засыпал у него на груди. И этого также больше не было...

Смайлис пошел в ригу, которая, казалось, стояла пустой и заброшенной. Запах дыма чувствовался через открытые окна; внутри все было черно и покрыто копотью. Тишина звучала, но не было отзвука — будто дыхание смерти лежало на всем...

Может быть в роще осталось еще чтонибудь, что позовет его.

По краю луга, мимо мелкого олешиника, он направился к роще. В памяти его шумели березы, и гибкие ветви, как зеленые веревки висели, раскачиваясь по ветру. Кричали иволги и молодые листики

лили аромат первой смолы... Сказка дремала в тени.

Смайлис смотрел и удивлялся. Разве роща отдалилась, или он заблудился? Был лишь ранний вечер, солнышко только лишь зашло.

И пока взор его блуждал вдали, он споткнулся о первый пенек...

Кругом были только пни и пни. Все предгорье было полно будто маленькими могилками. Роща отшумела, сказки были окончены. А когда-то какой-то мальчик ходил здесь вечером и видел звезды сквозь гибкие ветви. Белые стволы были толпою жрецов, которые прислушивались к ночи...

Смайлис присел на пенек и понял все.

Красноватая луна поднялась на востоке и сквозь дымку тумана оттенила лицо Смайлиса.

Здесь погрузился какой-то замок со всеми чудесами, с войнами, вооруженными слугами, с королем и его любовницей.

Какой-то колокол отзвонил все сразу — нет, это было лишь сердце его, которое стало сильным в ночной тиши — в ночной тиши залитой кровавым светом полной луны, когда ничто уже не отзывается более. В доме было все тихо, когда Смайлис вернулся и поднялся в свою комнату.

III.

Со странными, тихими мыслями проснулся Смайлис. Тяжелый покой и глубокая печаль лежали на душе его. Казалось, будто он стоит у черных, глубоких вод, в бездне которых потерял он какую-то жемчужину, что-то самое дорогое и никогда более не найти ему ее. Безмолвны были воды и не отдавали раз поглощенного ими сокровища.

Прохладное, туманное утро лежало над садом, домом и полями. Это была тишина ранней осени. Солнце поднималось из тумана и глядело на желтеющие нивы; на полях звенели косы, а в саду с быстрым, мягким шумом падало одно, другое яблоко...

Да, того, чего искал он, более не было и напрасно возвратился он! Мир изменился — старый потонувший — был полон звуков, солнца, мечтаний, чудес и волнения в крови; новый вынырнувший — был спокоен, практичен, гол, богат урожаями и механическими людьми он был, как нарисованная картина и изо дня в день оставался все тем же.

Смайлис Зимза был готов. Он стоял, приготовившись в путь у окна наверху и смотрел в сад. Он мог теперь снова уехать: на клад-

бище долго не остаются... Ласточки вновь мелькнули мимо окна и, щебеча, исчезли за крышей. В этом щебетании было — да, там все же было что-то живое с тех времен. — Но и ласточки скоро улетят; было уже самое последнее время. Не послушать ли еще?

И тогда произошло то, что всюду он начал видеть, что-то до сих пор им не замеченное. Он шел еще раз по дороге мимо взгорья к берегу озера, мимо храма, школы и серых деревенских изб. Ему нравилось даже вторично искать чего-то между пней вырубленной рощи. И когда он снова возвратился домой, то нашел какую-то старую книгу с увлекательными рассказами и должен был прочитать ее.

Он перелистывал пожелтевшие листы и на каждой странице находил какую-нибудь песню, и погружался в нее, забывая себя и окружающее.

Там были далекие, далекие дни детства, которые мерцали как тихие звуки дуды или раковой свирели. Это были удивительнейшие стрепицы, когда все уже становится сказкой про остров в синих водах моря, про остров, о берега которого еле слышно бьются волны и которого никто более не находит и не знает, кто однажды сдвинул лодку с берега его.

Там были сказочные пути. Там боролись сыновья короля и герцога с чертями, драконами, вурдалаками, там звездами оседланные кони били о землю бриллиантовыми подковами, раскальвалась стеклянная гора и она, дочь короля, шла по цветущим лугам, — с солнцем в правой, а луной в левой руке...

Много было там мальчиков и девочек. То были сверстники и друзья Смайля. Смех их журчал как весенние ручейки. И затем там были места, к которым и боль приложила руку свою — и начала писать книгу эту и кроваво-красны были знаки ее.

Затем пошли страницы, где сердце его бродило одно со своими мечтами по песчаным тропинкам и боль писала страницы эти без усталости и будто кровью залита была вся книга эта.

Такой он держал ее в руках своих, как милую находку. И бродя по давно знакомым дорогам и местам, он открыл первую страницу, когда шел мимо старой школы, красные кирпичные стены которой обросли гирляндами дикого винограда. Смайлис читал сам рассказ о юности своей.

IV.

Это красное кирпичное здание школы у подножья холма! Как

много дней и ночей пролетело там в светлых думах. Смайлис видел перед собой первый день, когда он поднялся по лестнице наверх, туда в классные комнаты. Так много там было людей. Мальчики в новых сапожках, девочки в серых платьицах и головных платочках расхаживали взад и вперед и рассматривали друг друга. Новые, подаренные отцами фуражки они держали в руках и смотрели на их блестящие козырьки. Некоторые рассматривали свои перочинные ножи или ручки, а один, другой чесал волосы новым железным гребнем. Девочки ходили застенчивые, в ситцевых кофточках; у каждой маленькая косичка — у одной светлая, у другой темная, даже рыжие и как лен светлые были. У некоторых они были такие маленькие, что бантики еле держались в них. Там были болтушки, которые постоянно смеялись, и тихони, трусихи, которые стояли по углам. Были и бедные девочки, плохо одетые, в лаптях, с короткими рукавичками и худенькими ручонками. Некоторые из них дрожали от холода и печали. Все было чуждо. Холодом дышали высокие, беленые потолки, звучные коридоры и лестницы. Большие рамы и стекла классных окон и шати учеников также были чужды для каждого.

И он, Смайлис, был тем, кто, стоя в сторонке, спокойно наблюдал все это. У него на уме был лишь дом с красными бревенчатыми стенами и старыми шкафами. Было легко, печально и одновременно приятно. Поля были тихи и голы, моросил дождь, быстро темнело — все обнял с собою туман. Можно было лишь заметить, как тонуло в вечернем сумраке озеро, как серое полотно раскинувшееся между рощами. Но рощи были голы; вороны собирались по ночам на ночлег на елях, а по утрам, громко каркая, возвращались обратно на поля и холмы.

Да, там спал он, а вернее лежал в первую ночь на своем сеничке охваченный страхом и заботами между многими другими, такими же, как и он. Он натягивал одеяло на голову, он хотел быть один как дома, в тишине. Бледно горела лампа и освещала большую комнату, где тесно сплотившись, были погружены в сон молодые жизни. Был и смех и шум, шутили, кричали, опрокидывались кровати, раздавался плач, жалобы, доходило дело и до драки. А Смайлис глубоко зарылся головой в подушку и думал о счастливых ночах в отцовском доме.

Но он не чувствовал горечи разлуки. Когда бывала теплая солнечная погода, по вечерам он уходил домой — три версты, отделяющие его от дома, он проходил незаметно. А затем он спал в своей

кроватьке за шкапами, и дубовый венок висел на стене у него над головой, а в комнате монотонно жужжали прялки и это жужжание напоминало ему безконечное кощачье мурлыканье.

Когда подходила зима, вся земля погружалась как бы в сон смерти. Белы были поля, бело было озеро; густой иней покрывал рощи. Солнце исчезало, вечный сон охватывал все. Смайлис уже реже ходил домой. Как маленький итенчик брел он по глубоким сугробам в своем легком, сером пальто. Зато маленькое сердечко его билось горячее и помогало ему пробираться по занесенным снегом рощам и дорогам... а там вдали уже мерцал огонек в окнах родительского дома. На рождество звонила каждая снежинка, которая падала сверху; в каждом огоньке было целое солнце и каждый звук подвизанного к дуге колокольчика рассказывал сказки.

А как чудно бывало тут весной! Звонко журчали ручейки; и в этом журчанье были целые рассказы, о чем, неизвестно. Шум детских голосов раздавался на школьном дворе, где играли дети — ах, даже и играть-то, как ребенок, он не умел — ему нужно было мечтать. Нежная и далекая печаль была его весной.

Летом в школе было пусто. Тогда учились там лишь немногие избранные. Было свободнее. Каждый день вечером он уходил домой и каждый день в полдень купался вместе с другими в озере. Выносил из глубин его водяные лилии, а из камыша готовил себе свирели. А по утрам по росистой траве, еле согретой первыми лучами солнца, он шел в школу босиком, без фуражки и присаживался под раkitами на берегу озера, чтобы повторить правила по арифметике — хотя голова его бывала больше занята сказками и песнями. Нарвав цветов, он шел дальше, прислушиваясь к крикам иволг или к шуму ветра.

Какой незабвенной была эта жизнь! Вот тут же стояли еще эти красные стены, а вот и балкон учителя, а там двор с высоким журавлем колодца. Может быть и учитель все еще тот же — учитель, который все это время казался Смайлису таким ненужным. Может быть там еще и те мальчики и девочки, с которыми играл он, а может быть и сам он?... Ах! Мальчики, мальчики, где вы теперь! Сюда, все сюда, обратно; пусть будем все снова, как было!

Пусть хоть один день будет праздник!

И снова перевертывается страница старой книги и он читает.

V

Это классная комната на восточной стороне дома. Два ряда парт.

три больших окна и старая классная доска на стене. Мальчики сидят в одном ряду, девочки в другом.

Первым учеником в классе считается Путнинь, маленький черно-волосый мальчик с блестящими глазами. Он упругий живой мальчик, как рыбка и постоянно весел. Он сын работника и берет с собой в школу только кусок черного хлеба да немного творога. На голове у него вязанная шерстяная шапка, а на ногах лапти. Но он хорошо учится, лучше всех. Он постоянно поднимает руку, при каждом вопросе учителя, вот потому-то он и выдвинулся вперед. Прежде чем кто-нибудь успеет догадаться, Путнинь уже знает. Он же и дежурный по классу.

— Грауд и Винтер! не играйте в перышки! — обзывает он провинившихся.

— Не смейтесь и не разговаривайте! — делает он замечание девочкам,

— Вонаг колет меня иголкой! — кричит какой-то мальчик с задней парты. Смех. А Вонаг, спрятавшись за спины других кричит:

— Что ты врешь! Ты сам меня колот!

Наконец приходит учитель и тогда, оправдываясь, все врут отчаянно. А на перемене, по окончании урока, все уже забыто и все снова друзья.

Происходит игра в перья. Грауд банкиром, у него полны карманы перьев, но он еще и других старается обыграть. Вонаге большой мальчик с светлыми волосами, крепкий и сильный. Сын богатых родителей, он везде и всегда предводителем. А если кто-нибудь сопротивляется, того он бьет, когда не видят другие. Глаза у него в таких случаях разгораются, как у деспота. Чаще всего от него достается тихоне Ясмину. Он хрупок и нежен, как лилия, и часто прижимается к Смайлису, ища в нем защитника себе. Смайлис защищает его, — да, часто получает удары предназначенные Ясмину.

— Ян, иди сюда, — говорит он и прикрывает мальчика собою. Однажды Вонаг крикнул ему, чтобы он убирался с дороги, но тот даже и не пошевелился. И Вонаг, сверкая глазами, ударил его каблуком сапога и ударил так безжалостно и больно, что все перепугались. Нет, Смайлис и не подумал сдвинуться с места... Глаза его наполнились слезами. Вошел учитель и Вонаг отошел. Учитель подошел к Смайлису и, увидя на глазах его слезы, спросил кто виноват.

— Пожалуйся, пожалуйся, — кричат со всех сторон. Но он не говорит ни слова. Он не нуждается ни в чьей помощи. Учитель бессилен что-либо сделать. Ни боли, ни обиды отнять он не может. Но

благодарный взгляд синеглазого Ясмينا является для Смайлиса лучшим удовлетворением.

— Да, милый Ян Ясмин! Он был издалека, откуда-то с другой стороны волости. Его увозила тогда бледная мать его, закутав в платки от холода. В таких случаях Ясмин сердечно прощался с Зимзой и последнему нравилось держать его слабую руку в своей и гладить ее.

— Ты в понедельник приедешь? — спрашивает он у Ясмينا.

— Да, приеду.

— Ну так приезжай, я буду ждать.

И по понедельникам Смайлис всегда выходил на двор и смотрит, не едит-ли Ясмин. Приходит один, другой. Приходят и здороваются, а Ясмينا нет. Смайлис задумчив и беспокоится. Скоро начнутся занятия. И только за несколько минут до звонка входит Ясмин, еще больше дрожа от холода и потирает свои озябшие белые руки. Смайлис берет его под свое покровительство и, обнявшись они идут в класс, рассказывая друг другу о том, как они провели воскресенье.

В спальной комнате кровати их стоят рядом, и, когда холодно, они снят под одним одеялом. Ясмин такой теплый, хотя постоянно вздрагивает. У него светлые волосы и такие мягкие, как морская волна, как самые мягкие водоросли. Смайлис любил играть этими волосами и долго играет ими. Затем прижимается головой к голове Ясмينا и сладко засыпает. А ночью, проснувшись от страшного сна и почувствовав у щеки своей эти мягкие волосы, он снова становится спокоен. В столовой они сидят рядом, а на переменах держатся всегда вместе.

Ясмин для него как брат, если еще не ближе. Он избегает товарищей, отворачивается, когда его ругают и читает удивительные рассказы.

И вот однажды ранней весной, когда начало уже пригревать солнышко, Ясмин не приезжает более из дома. И никогда уже более не приехал он; умер, как говорили другие. Тогда Смайлис почувствовал себя еще более одиноким.

Никогда не поднимает он на уроке руки, чтобы показать учителю свои знания. Он получает за это одно замечание за другим. Похвалы не радуют его, а замечания не печалят. Он знает больше и лучше чем Путиньш и одним усилием мог бы быть на его месте, но у него другие думы и радости.

Вот весенний вечер. Бега на соревнование. Смайлис стоит в стороне и смотрит, как кучка учеников с шумом бросается к цели.

Ванаг первый со своими длинными ногами и ястребиными глазами. Он опережает всех и хвастливо смеется.

Затем объявляется награда: толстая тетрадь белой бумаги. Учитель обещает ее тому, кто будет первым.

— Ну, мамочкин сынок, а ты не попробуешь с нами? — смеется Ванаг у ткает его пальцем в лицо.

Он краснеет как ужаленный и отварачивается. Но когда по команде все начинают бежать, в нем что-то вдруг загорается и он, минуя всех, первым приходит к цели много раньше Ванага. Но награды он не берет. Спокойно идет он в класс и наблюдает как толпа делит добычу. Да, у Путиния легкое и светлое сердце. Он весел и добродушен. И у него чудесные глаза. Но все мысли его направлены только на арифметику да на похвалы. Слава о нем распространилась уже по всей волости и все предсказывают ему блестящую будущность. Но с ним не о чем поговорить и Смайлис скучает, сидя с ним рядом, и молчит. Иногда даже делается неприятно, видя, как скоро Путиний решает устные задачи — прямо как машина.

Грауд также мог бы быть его другом, но он приходит только тогда, когда Смайлис дает ему старые перья и кончики карандашей. Грауд бережлив, толстыми губами и мрачными глазами подсчитывает он свое преимущество.

Есть еще сын работника Волдис. Волдис Вайнот — это его друг. Это худой, желтый, но живой мальчик. Он знает много чудесных рассказов. У него часто нет даже хлеба и Смайлис угощает его. Ему нравится мужество и смелость Вайнота.

Им обоим подорожи идти в одну и ту же сторону и по утрам они втыкают в снег флажок в знак того, что один или другой уже ушел. По дороге рассказывают друг другу о своей жизни и об окрестности. Вайнот живет в фольварке и в одной комнате там помещаются двадцать человек, и какие они странные! Летом Смайлис обещается прийти к нему в гости.

Какое удивление и счастье на лице Вайнота у рождественской елки, когда он получил в подарок маленькую книжечку! Как жадно смотрят глаза его на горящие свечи! У него дома по вечерам так темно и холодно... Но весной им надо расстаться. Смайлис и летом ходит в школу, а Вайноту надо идти в Дуксты за болото пастухом. Там живет Ванаг, и тот будет приказывать ему все, что захочет.

И Смайлис ожидает, когда наступит осень и они снова смогут встретиться. Встреча, встреча? — когда она будет? думает теперь Смайлис, расхаживая по дороге вдоль берега озера в тени раки.

Шумят камыши, сверху изредка падают серебристые листки, а Смайлис продолжает читать старую книгу страницу за страницей.

VI.

Вот большая спальня на восточной стороне. Вечером после молитвы, когда тухнут огни, здесь начинается новая жизнь.

День где-то далеко; ночь опускается на землю, а у нас так много чудных рассказов.

Пятьдесят маленьких сердец и таких же еще неподросших телец лежат под серыми полосатыми одеялами на твердых тюфяках и зябко кутаются от холода. Окна замерзли и ледяные картины; покрывают собой все стекла. А на дворе полнолуние. Бледный, холодный свет льется на землю, вдали, как мелкие холодные снежинки, мерцают звезды.

Внутри полутьма; лампа чуть горит; тени мелькают по углам.

И вот открывается сказочный мир... начинаются чудесные рассказы.

Рассказывает один. Он говорит, как монотонно тикающие заведенные часы. Но рассказ уводит всех за тридевять земель. Льется кровь, падают драконы и всякая нечисть; льется живая и мертвая вода и приглашаются на помощь птицы и звери.

Годы проходят там как миг и жизнь как вздох. Сказки различны, но рассказываются лучшие. До Рождества рассказаны уже все сказки о птицах, зверях, деревьях и камнях.

Тогда наступает очередь для трех братьев. Дурачек уже сотни раз побеждал и остроумно смешил всех. Рассказы о привидениях тоже уже окончены, теперь остается еще рассказать о героях, великанах и принцах, которые отправляются в безконечное путешествие.

Лучшими рассказчиками являются Волдис Вайнот, все существо которого, кажется, состоит из одних сказок, и Крауклис, большой мальчик с темными волосами и глубокими глазами. Он живет далеко в лесах, где каждая коряга жива, где в каждом озере есть потонувший замок. Он знает больше всех про птиц, зверей и духов.

Часами звучит голос рассказчика. Луна уже перевалила через школьную крышу; в комнате становится тише, слышно легкое и ровное дыхание — сон расхаживает вокруг и закрывает глаза и уши.

И гаснущий голос маленького рассказчика прерывает ритм сказки в том месте, где льняное семя было рассыпано на траву и до утра его надо было собрать.

— Вы слушаете? — спрашивает он.

— Да, да, да, — отвечают голоса со всех сторон.

А через минуту опять:

— Вы еще слушаете?

— Да, я слушаю! — откликается еще один, два голоса. И Вайнот рассказывает еще полчаса, а затем спрашивает:

Но ответа нет. Тишина вокруг. Нет никого, кто бы отозвался. И рассказ оставляется на завтра, а Волдис, свернувшись в клубок засыпает. И лишь сны одни рассказывают между спящими.

Утром раздается звонок — исчезает сказочный мир, наступает день с его заботами и нет в нем более ничего удивительного.

А вечером вновь подхватывается брошенная нить и сказка разматывается далее, как золотой клубок. Смайлис всегда последним отзывается ночью. Он всем сердцем с теми всадниками и героями в сказке, и часто потом видим во сне улыбку дремлющей принцессы, а утром думает о ней между уроками. Сказки он приносит домой и рассказывает матери. Он видел большую книгу детских сказок в шкафу учителя, рассказывает он и об этом. А затем — случайно, на Рождество мать дарит ему большую книгу детских сказок.

Эта книга рассказывает волшебные вещи и Смайлис всецело в ее власти.

Он отдаляется от жизни и блуждает по чудесным тропинкам — он искатель и всем чужд. Эта книга увлекает его в таинственные лесные чащи, где вечно ткут ткань свою дочери солнца, где кукует кукушка, где будто легкие шелковые нити опутывают душу человека и связывают ее сотнями узлов и тогда уже нет ей в мир возврата. В таком лесу, в таких сетях трепещет теперь и его жизнь.

Как чудно было тогда, когда он нашел в своей книге прекраснейшую сказку! Сердце не забудет этого, не забудет того момента, когда он был околдован.

Тихий весенний вечер. Солнце садится и золото его заливает все вокруг. Теплое дуновение в воздухе и тишина. Черная полоса леса там на юге, в стороне Литвы будто заснула, погрузившись в мечты. Кричат, играя, ученики и звонкие голоса их далеко разносятся по окрестным полям. На озере еще остатки льда и серовато-желтый облачный мост тянется над ними. Смайлис не бегаёт вместе с другими. Он сидит в классе у окна и читает сказки и затем находит этот рассказ. Сердце вздрагивает... Младший сын на крыльях сокола отправляется в путь на поиски обещанной принцессы, три года едет он сквозь тьму, три года по морям, а затем он едет сквозь огонь. Ему надо вывалиться в грязь, чтобы не сгореть и тогда лишь, когда огонь

уже за спиной, он находит околдованную девушку, как птицу плавающую между камышами на озере.

Да, сквозь огонь! Этого еще никто не знает, об этом еще никто не рассказывал, теперь он об этом всем рассказывает.

Затем он раскрывает книгу и идет искать своих друзей, чтобы поделиться с ними своей сказкой. Но они заняты, кричат бегают, стараясь превзойти друг друга. Только он один стоит с своими мыслями освещенный вечерней зарей и глаза его смотрят на облачный мост перекинутый через озеро и кажется ему, что видит он сокола с младшим сыном, который спешит к своей принцессе.

Вечером, когда все легли спать, Смайлис рассказывает свою сказку. Но над ним смеются. Он ехал сквозь огонь! Этого никогда не могло быть, это выдуманно. Он врал, а в книге его глушости. Тогда он умолкает и переживает свою сказку один. Войната нет в школе, но на другой день Смайлис уводит его в сторону и там у школьной стены прочитывает ему сказку.

— Это может быть, — говорит Вайнот и долго думает. И Смайлис говорит тогда об этой езде сквзь огонь и смотрит в глаза Вайноту.

— А ты поехал бы? — спрашивает у него Смайлис.

Вайнот молчит и затем опускает глаза.

— О чем ты думаешь? — спрашивает его Смайлис.

— Этой весной отец мой уйдет далеко и мне также надо будет идти; и я не пойду больше в школу. И он называет какое-то незнакомое место. Это наверное далеко где-нибудь в Литве.

Затем оба друга погружаются в молчание. О езде сквозь огонь не произносится более ни слова.

Лицо Вайнота похудело и печаль закралась в глаза.

Одежда в лохмотьях, руки худые. Кажется, он печалится о чем то недостижимом.

— А я бы поехал, — говорит Смайлис и смотрит на далекие леса за озером.

Раздается звонок и им нужно идти в класс. Сурово и приятно звучит он...

VII.

Тогда он казался суровым, теперь же как звучная сказка. Если бы еще раз прозвучал он и созвал бы всех вместе — с какой охотой пошел бы и он!

Вспоминая звонок, Смайлис вспоминает и имена, которые звучат теперь так же, как забытые звуки звонка. Между многими есть одно, которое тише и слаще прочих.

Это то имя, которое дольше других и милее звало там в далеком, шумном городе: иди, иди, — я еще здесь!

Рутыня, Рутыня! звучит при каждом ударе школьного звонка, как мелодичный, серебристый отзвук.

Рутыня, Рутыня! — шумит ветерок, пробираясь между ветвями серебристых ив и, кажется, кто-то тихо подходил к нему, в серой, мягкой одежде и кладет легкую руку свою на плечо. Смайлис оглядывается. Никого нет. Лишь теплые солнечные лучи льются на озеро и на дорогу; тихо вдали шевелится камыш, да большая дорога, извиваясь, пробегает мимо храма, с колокольни которого несется беззвучное эхо, повторяющее: Рутыня, Рутыня...

Дрожь пробегает по телу чутника, дрожащими пальцами перевертывает он новую страницу и углубляется в ее содержание.

Новые образы встают в его памяти. Вот там эти маленькие девочки, с которыми в одной комнате так долго сидел он, слушал их смех, разговор, ответы и видел их застенчивые улыбки.

Там были маленькие и боязливые, с косичками, что мышиные хвостики, бледные, с почти прозрачными членами и маленькими зачоченевшими от холода пальчиками.

Там то у одной, то у другой падает на пол клубок ниток и он поднимает его, или отнимает у подхвативших его мальчишек и возвращает им обратно.

Ему нравится близость этих тихих, слабых девочек. Он сам чувствует себя более близким и более понятным им, и другие часто называют его девочкой и смеются над ним. Вот маленькая Ева со светлыми волосиками и большими синими глазками. Она такая всегда расторопная и послушная. Как она краснеет, когда надо отвечать урок, или когда что-либо сделано неправильно. Она дочь богатых родителей, ее туфельки постоянно скрипят, а передничек так красиво вышит.

А затем прелестная Марите — он не помнит уже более ее фамилии. Вся она — тихая улыбка и доверие. Она не смеется и не шутит, она тиха и медлительна, как золотое утро.

Затем маленькие сестрички Анна и Роня, дочери работника из фольварка. Они едят от одного куска, как воробьи серенькие и незаметные. Но глазки у них сверкают, как у белочек, а при смехе блещут белые зубки. Они спят под одним одеялом и в холодные зимние

вечера, крепко обнявшись, бредут домой по глубокому снегу, дрожа от холода и стараясь укрыться от ветра. Но для каждого проезжающего или проходящего мимо у них всегда есть милые и звучные слова приветствия.

Они умеют водить хороводы и поют лучше всех.

А между ними всеми Рутыня — Бирута Вилнис — так записано в большом классном журнале. Глубокие, большие глаза ее застенчиво и отчужденно смотрят на всех. Может быть она вечно мечтает и потому так тиха? А затем вдруг вся загорается, шумит, бегаёт или поёт свои песни. На ней хорошо синие платянце, а в темных волосах ленты. Руки её длинные и гибкие, а пальчики тонкие и красивые.

Бог знает почему у неё так много подруг. Она наверное знает какое-нибудь слово, может улыбаться и приласкать каждого, кто подходит к ней.

Дом её находится на южной стороне за озером на равнине между обширными полями и лугами. Зимой она ходила по льду через озеро, а весной и осенью кругом.

Не ходили-ли они иногда вместе? Да частенько ходили они по этой самой дороге. Тихо и молча, но дорога казалась такой короткой.

Не идет-ли она и теперь рядом? Да, она всегда рядом с дуновением ветерка, с лесным шумом и даже шорох капель осеннего дождя валяется её тихими отдаляющимися шагами. А когда весной с белых ив осыпаются желтые цветы — безразлично, где бы это не было, то они осыпаются, чтобы устлать собой дорогу, по которой должна пройти она. Но тихо и незаметно проходит она в своем сером мягком одеянии и не слышно шагов её...

Она всегда была вместе со всеми, но Смайлис не замечал её. Только тогда, когда бродил он со своей чудесной сказкой — Бог знает когда и где увидел он застенчивые глазки Рутыни.

Тогда он начал чувствовать её, как нечто вне себя, как другой мир, существующий рядом с его миром, как дыхание рядом с его дыханием.

Тогда он видел её, не глядя на неё и зная, где она находится.

Да, это был тот самый тихий весенний вечер, когда золото заката заливало собой воды и облачный мост висел над озером. Оторвавшись от книги, он поднял голову и оглянулся — Рутыня сидела одна в классе и будто испугавшись нечаянно подняла на него глаза. Золото заката отразилось на лице её и он увидел там тот мир, который был за огнем, за морями и за тьмой. Это было то же самое лицо, ко-

торое все эти годы улыбалось ему и улыбается теперь, как вечно юная, ранняя весна.

Рутыня, Рутыня... раздается в суровых звуках школьного звонка и звуки эти становятся такими нежными, как жужжание пчелиного роя.

Смайлис останавливается по середине дороги и прислушивается, уж не слышно ли действительно звонка и не нужно ли ему спешить? Все тихо. Подернутые синей дымкой тумана стояли вдали литовские леса, как и тогда...

Рутыня, Рутыня! отзывается издали...

Смайлис идет обратно и останавливается против больших классных окон школьного здания. Но звонка не слышно. Все тихо.

И возвратившись домой, он поднимается по лестнице в свою комнату и смотрит как день постепенно сменяется вечером. Но все же ему теперь легче, и когда наступает ночь, он снова берет свою книгу, зеленоватое сияние окружает ее и золотом блещут строки. Он может читать ее без огня, ибо сами строки излучают свет и невидимый блеск отражается на лице его.

VIII.

...Медленно поднимается Смайлс по старой лестнице и заходит в класс. В школе тишина; все мальчики на дворе, бегают там и играют. Высоко взлетает мячик и мальчики стараются поймать его.

Странная мысль занимает его. На сердце тяжело. Он поднимается по лестнице и считает ступеньки. Шорох одежды, шаги... Смайлс поднимает голову. Это Рутыня. Она проходит мимо и спускается вниз. Он замечает лишь лицо ее и худую детскую руку с длинными пальчиками. Рутыня — беззвучно произносит кто-то. Почему Рутыня? ему безразлично. Сердце так счастливо и, кажется, бьется скорее. Смайлс входит в класс. Тишина вокруг, он один здесь. Но в воздухе, в тишине этой все же кто-то чувствуется. Ему кажется, что кто-то дышит. Разве здесь не было только что Рутыни? Кажется, ее дыхание чувствуется еще в воздухе. Разве она только что не проходила здесь? Разве не слышно еще здесь шагов ее? Нет, но ведь это была она, которая только что прошла мимо. Она тут же внизу, или на дворе.

Не слышно ли шагов?

Он пугается и оглядывается. Рутыня шумит тишина. Тогда он садится у окна и смотрит на озеро. Внизу бегают и кричат мальчики.

По лестнице поднимаются девочки и смеются. Вот они и в классе и Смайлис чувствует, что Рутыня с ними.

Ему хочется взглянуть на лицо ее, которое такое чужое, желтое, темное.

Он поворачивает голову. Рутыня смотрит на него — но один момент лишь, а затем он не видит более глаз ее, он вслушивается в слова, но не слышно ни одного, лишь звуки слышит он.

Рутыня здесь, Рутыня — только это одно и слышит он.

Наступают длинные солнечные дни. В журчании весенних ручейков звучит что-то неслыханное, в каждом шуме что-то чуждое; радостное чувство страха, что он вот-вот найдет что-то, обретет какое-то великое сокровище.

Чудеса смешиваются с действительностью и он становится еще тише. Когда дети шумят в классе или в передней Смайлис забывается и присоединяется к ним. Но взор его блуждает по толпе и кого-то ищет — это Рутыня.

Когда же он идет домой, глаза его ищут кого-то на дороге. И нечаянно он говорит сам себе: Неужели же Рутыня уже впереди?

Затем он тащит Вайнота и говорит: идем скорее. И только тогда, когда уже недалеко перед собой он замечает Рутыню, видит завитки ее темных волос выбивающиеся из-под серого платочка, он начинает идти медленнее.

На перекрестке он останавливается и ждет, не оглянется-ли Рутыня. И когда она оглядывается, шаги его делаются легкими, но когда она не оглядывается, он ждет другого дня.

А когда Рутыня не вышла еще из школы, он отзывает друзей своих: не спешите, времени у нас достаточно!

По утрам, выходя на большую дорогу, он видит озеро, останавливается и смотрит в ту сторону, откуда она должна появиться.

Поют жаворонки и тоненькие корочки льда хрустят под ногами и тают на солнце. День обещает быть теплым. И он идет в школу и думает о своих сказках, о своих друзьях и еще о чем-то, чему нет ни имени, ни времени, ни места.

Счастливым заходит он в класс и садится на свое место. Но вскоре он замечает, что Рутыни нет. Там они сидят, почти все, разговаривают, радуются, или молчат, но класс кажется мрачным, и Смайлис думает, что он что-то дома забыл. Ему холодно, хотя щеки горят от весеннего воздуха.

Ему нужно выйти. Он слушает как поют жаворонки и проходит по двору. Затем заходит в спальню. Там все монотонно и мрачно.

Кирпичный пол холоден. Лестница пуста. Ему становится немного страшно. Наверное не решила задачи. Снова заходит в класс, садится и открывает книгу. Он читает и ничего не понимает. Путьинь заговаривает с ним, он отвечает да и нет и замолкает.

Вскоре раздастся звонок на уроки, но Смайлис мрачен и задумчив. А затем в передней он замечает Рутыню, которая смеясь здоровается с другими и заходит в спальню, чтобы раздеться.

Смайлис заглядывает в окно. Какое чудесное солнце сегодня! Радость наполняет грудь его и воздух кажется полным звуков. Приятен каждый шум, каждое слово звучащее вдали. Ликование охватывает все существо его. Нет, ему не нужно видеть Рутыни, ему не нужно даже слышать ее, достаточно, если он знает, что она здесь.

Смайлис знает, что он снова увидит глубокие, темные глаза, в которых так много неизвестного и неотгаданного, что ему так же мило, как весенний ветер.

На перемене он снова за свою волшебную книгу и что-то ищет в ней.

Заходит Рутыня и смотрит на него. Смайлис не видит ничего, он видит лишь взгляд ее, ее бледное, прекрасное личико и сказка сливается у него с действительностью. Только, когда ее уже более нет, он приходит в себя — легко и быстро бьется его сердце.

Он выходит на двор и принимает участие в играх. Он превосходит всех и каждый этому дивится. Он упруг и ловок — кажется, что силы у него еще много, огромной зрелой силы, для которой узка его грудь.

Рутыни также уже нет — незнакома и велика радость охватившая собою все.

Вечером он стоит у колодца и черпает воду.

Кругом толпа девочек и у каждой посудина: чтобы было чем завтра умыться, нужно черпать воду.

Рядом с ними Рутыня. Швы ее серого мягкого платья прикасаются к одежде Смайлиса. Он забывает про ведро, которое опущено в колодец и чувствует ее легкое прикосновение. Глаза его обращены на ее руку, в которой она держит кружку.

И тогда впервые Смайлис чувствует, что его радость и то неизвестное в руке этой, в одежде этой — в самой Рутыне. Он поднимает голову и вытаскивает ведро из колодца. И первой наполняется кружка Рутыни, наполняется до самых краев.

— «Спасибо! — тихо говорит она и улыбается.

— Спасибо! — звоном колокольчиков отдается в ушах Смайлиса..

Почему она так улыбнулась, так странно, как никто? Ни у кого не видел он такой улыбки. Рутыня была первой. Разве она всегда так улыбается, или только тогда, когда он видит?

Вечером, засыная, он думает о ней.

Голова его горит. Ему кажется, что он болен и хотелось бы быть еще более больным, еще более тихим.

И долго не может заснуть он, долго слышит еще глубокое дыханье спящих.

Он опирается на руку и смотрит в ночную тьму. Молодой месяц, как острый серп, плывет по небу. За окном весенняя ночь. А над всем какое-то легкое дуновение, которое наполняет собой и близи и дали.

Широко открыты глаза его, он не понимает ничего. Все кажется ему каким-то чудом...

Как легко и быстро летят дни, как во сне! Маленькие девочки приносят в школу массу цветов: синих, белых и цветущие вербы. Все синее, начинается ледоход. Льет весенний дождик, а затем появляются целые вереницы перелетных птиц. С криком летят с юга, со стороны литовских лесов дикие гуси и исчезают за холмами по направлению к северу. А однажды пролетает даже стая лебедей, гордо выгнув свои длинные шеи. Будто бы именно здесь и пролегал их общая дорога, все они летят через озеро, над школьным двором и направляются к северу.

Птичий крик и аромат цветов как сильная и одуряющая волна; Смайлис идет как усталый путник — что же иное могло бы опьянить его?

Вскоре окончатся и занятия в школе, осталось всего лишь несколько дней, а затем все расстанутся и разойдутся по большим дорогам.

Девочки снова принесли цветы. Их так много.

Рутыня разбирает их. Мальчики стоят вокруг. Они хватают цветы и балуются.

Смайлису хочется сказать что-то Рутыне, но язык не поворачивается ему. Он видит лишь ее длинные ресницы, когда она заглядывает ему в глаза. Она печальна и тиха.

Только уходя у нее падает белый цветок на ступеньки лестницы, и она этого не замечает. Смайлис нагибается и поднимает его. Тогда она поварачивается, взглядывает на него, улыбается и уходит, — не промолвив ни слова, не остановившись.

Долго стоит он с цветком в руке. Он обмял. Разве он только что не был в руках у Рутыни? Разве ее пальчики не держали его? Разве он не лежал у нее на коленях? Но может быть она совершенно не видела его.

Заботливо сжимает он руку в кулак и поднимается по лестнице наверх в класс. Ему кажется, что в руке его что-то горит, что-то живет. Сердце так и бьется, как будто бы он только что бежал и устал от этого бега, а он идет так медленно.

Он кладет цветок на свою книгу и долго, долго смотрит на него. Рутыня! — кто-то тихо говорит ему на ухо и Смайлис испуганно оглядывается — никого нет. Но теплый густой румянец заливает лицо и он закрывает книгу со всем цветком и глубоко засовывает ее между другими.

Со двора доносятся ликующие голоса, кажется, будто ликуют и звучат даже самые стены.

Когда по вечерам Смайлис остается в школе, он сидит обычно за своей книгой. Ах, все изменили ему! Путынь всегда первым на дворе руководит играми.

И Вайнот бегают вместе с другими; он еще свободен, но вскоре и он будет рабом. Он так радостно смеется, он весел и счастлив.

Грауд стоит, моргая глазами, и лениво смотрит на игру и кричит, когда начинаются ссоры. Ванга возвращается усталый и не трогает никого.

— У Смайлиса есть сказки, — говорит Ева; — прочитаем и мы. — И она кокетливо улыбается, встряхивая своими светлыми кудрями.

— Да, сказки, сказки, — маленькая Рома поднимает головку и Смотрит на Смайлиса. — Смайль, дай нам сказки, — говорит она и стыдится сами своей смелости.

Смайлис поднимает голову. Он смотрит на Рутыню, но та молчит. Затем он подымает глаза и видно, что Смайлис протягивает ей книгу.

— Возьми, Рутыня, — говорит Ева, и Рутыня подходит и берет...

Это были ручки Рутыни, которые взяли книгу. Она только что стояла здесь. Разве не была ее туфелька вот здесь у стола? Разве локон волос, упав, не касался щеки ее? Как она выглядела?

Но Рутыни уже нет. Все они читают книгу где-то в другом месте, в классе нет никого.

Теперь она найдет его любимую сказку. Она прочитает то место, где младший сын едет сквозь огненное море... Но найдет-ли?

Да, там был цветок ее, его она найдет. Румянец заливает его... Этот цветок нужно было вынуть из книги. Разве Рутыня догадается зачем он положен туда? Зачем? Он и сам того не знает...

И он выходит на двор, смотрит на синеватые литовские леса за озером. Может быть там эта тьма, эти моря, этот огонь. И Смайлису уже кажется, что сокол хлопает крыльями. Там далеко эта обещанная принцесса. Не такова ли она, как Рутыня? А какова же Рутыня? А вечером, когда он встречает ее на лестнице, она смотрит ему в глаза и улыбается ему — у него нет сестры. Рутыня, Рутыня... звенит где-то. Это была Рутыня, которая только что улыбалась. Да, никто ведь не улыбается ему, только Рутыня.

Она так тихо ходит, у нее такая легкая походка, и часто кажется Смайлису, что она проходит мимо, хотя и никого нет.

Ночь снова странно беспокойна, так быстро бьется сердце. А на дворе весенний дождь.

Когда на следующий день Рутыня отдает Смайлису книгу, он открывает сказку — его цветка там нет больше. И вся книга не та уже...

Смайлис на момент захлопывает книгу своих воспоминаний. Он уже не тот маленький мальчик. Но книга со сказками еще у него, цветка лишь нет в ней. Не пришел ли он сюда, чтобы отыскать его через столько лет? Не упал ли он здесь у дороги? Да и был ли он когда-нибудь?

Кажется, что он горит в руке его как расколенный уголь. Смайлис смотрит в темноте на свои руки, но в них ничего нет.

Ах да, — это было лишь в книге его воспоминаний. В полудремоте он перелистывает ее, как бы не зная более, где у нее начало и где конец...

Там, где расходятся дороги — одна в гору, другая мимо озера вниз — у подгорья растет развесистая рябина. У самого края кустарника лежит большой, покрытый мхом камень. И Смайлис Зимза сидит на нем и читает. Маленькие, пожелтевшие странички, но золотом отливают текст в блеске солнца.

Слышен шум мельницы. Тихо гудят жернова. Озеро так блестит под лучами солнца, что трудно смотреть на поверхность его. С рябины изредка падают красные ягоды, как мелкие капли крови.

Опять то же старое время...

...Занятия в школе окончены. Звонок не позовет уже малышей со двора за черные парты.

Свидетельства уже написаны; завтра все их получают. Девочки были в лесу за мятой и брусникой. Венки свиты и все украшается в честь последнего дня. В венки вплетены маленькие розовые и желтые цветочки. Их делали всем на радость маленькие пальчики. Веночки из весенних цветов будут свиты последними, чтобы не завяли так скоро. В последний день рано идет Смайлис по освещенной солнцем дороге в школу. Маленькое беспокойство подгоняет его — Рутыня не будет уже более ходить по этим дорогам.

Когда он на перекрестке дорог, как раз на том месте, где теперь, он слышит веселы голоса и его охватывает чувство огромной радости. Он оглядывается. Рутыня идет со своими подругами и на руках венки.

X.

Он идет медленно и они догоняют его. Нужно бы оглянуться, но страшно. Он слышит лишь шаги да разговор — один голос так знаком и так приятен... Затем все догоняют его и дают ему нести брусничные гирлянды. Смайлис останавливается, конфузится и рука его берет венки Рутыни, без всякой просьбы с ее стороны.

Она застенчиво взглядывает на него и отдает венки. Смайлис надевает их на руку и чувствует теплоту на том месте, где был ее локоть. Они идут рядом, но не могут сказать ни слова.

Это Рутыня, Рутыня, что идет теперь рядом — тепло рассказывает сердце. Она покраснелась и в глазах ее заметна радость. Какие же у нее глаза? Уж не посмотреть-ли? Нет, он не смеет! Страх и стыд не позволяют ему этого сделать. Мальчики выходят им навстречу. Смайлиса высмеивают. Девочка идет с венками! На дворе Ваня хватается за его гирлянды и разрывает их. Некоторые кричат и смеются.

Смайлис смотрит на плечистого, крепкого мальчика. Бог знает, что было в его взгляде, но Ваня отходит, конфузится и ступшевывается.

Рутыня печальна в глазах ее страх, как у испуганной птички. Но Смайлис подбирает куски гирлянды и несет в класс.

— Я свяжу их, — говорит он Рутыне и она оживает. Она разматывает разноцветные шерстяные нитки и связывает ими гирлянды. Пальчики ее дрожат. Смайлис замер и чуть дышит. Ему нужно бы взглянуть на нее, но он не может. Пальчики Рутыни касаются его руки. Они не грубее синих цветочков. Они нежны, как

гибкие водяные растения — думает Смайлис и вспоминает мягкие локоны Ясмينا.

А затем нечаянно взгляд его падает на волосы Рутыни, долго он смотрит на них и не видит ничего другого.

Он приходит в себя лишь тогда, когда Рутыня говорит спасибо и уходит. Класс снова пуст.

Когда девочки начинают украшать комнаты, Смайлис помогает им развязывать венки. Девочки подают их ему, а Рутыня говорит, где нужно их повесить.

Нет, он не повесил бы ни одной гирлянды на окна и на двери, если бы не было здесь Рутыни. Он чувствует ее у себя за спиной, не оглядываясь; он чувствует ее в соседней комнате, он слышит, как отодвигаются кровати.

Молитва пронета и свидетельства розданы. Двор заполнен лошадьми и телегами, много чужих людей; выносятся ящики и книги; она разговаривает, но не слова, а лишь звуки, мелодию ее голоса...

Путынь стоит рядом с матерью и весел как жаворонок; ему обещано будущее; у него самое хорошее свидетельство. Смайлис со многими прощается. Но он еще рассказывает по полупустым комнатам, как будто лица чего-то. Он прислушивается к голосам девочек, но не слышит ничего. На дворе его ожидает Вайнот с маленьким кулечком за плечами и свидетельством в руках. Им по дороге. Все весело и громко разговаривают. Глаза улыбаются и грудь дышит легко и свободно, — Смайлису кажется, что он что-то забыл. Он уже хочет сказать об этом другим, но он не знает, что именно забыл и продолжает молчать. Там, где расходятся дороги у рябины, все прощаются с ним и он остается один. Тогда вспоминает он странное и легкое слово — Рутыня.

Рутыня — она все еще в школе! Сердце становится спокойнее. Солнце светит, поют жаворонки — да, но она должна пройти мимо. В таком случае ему некуда спешить, он садится на камень, кладет книги рядом и прислушивается.

Долго сидит он и смотрит, как толпы детей расходятся по дорогам из школы, — отсюда ему хорошо видно. Он чувствует свое одиночество. Но разве он скучает по ком либо — нет, ни по ком особенно.

Но вот легкая повозка катится мимо. Он вздрагивает и невольно краснеет. — В повозке сидит Рутыня. Ее везет отец — мрачный, седоватый и кажется злой.

Но Рутыня печальна и не поднимает глаз. Она бы могла заметить его, если бы посмотрела. Оглянется она или не оглянется?

Повозка уже мимо — Рутыня не оглядывается более...

И затем становится тихо, пусто и жутко. Смайлису кажется, что дует холодный северный ветер. Он поднимается, берет свои книги и поднимается в гору к дому.

Ему кажется, что он идет не домой, а в какую-то другую неизвестную сторону...

Здесь в маленькой книжечке розоватые места под золотом текста. Не была-ли это ранняя печаль маленького сердца?

XI.

Кто знает, что за сон это был в тот раз! Да и действительно ли снилось ему? Может быть это были только такие боли, как у распускающейся почки, когда ее начинает пригревать солнце. Он болен, он растет и мужает и чувствует боль — ему надо освободиться! Но он не может; он ожидает, пока его кто-нибудь освободит.

Солнечные пальчики только и могут это сделать.

Он часто ходит в рощу, что около дома. Начинает цвести черемуха и мальчику кажется, что лишь теперь он начинает понимать, что черемуха может цвести...

Когда проходит Юрьев день, начинаются летние занятия в школе. Смайлису идет четырнадцатый год. Отец думает, что ему надо учиться какому-нибудь ремеслу. Мать же хочет, чтобы он ходил в школу.

Школа!.. Смайлис слышит это, стоя под окном. Может быть!.. Вдруг вздрагивает сердце и он, затаив дыхание, прислушивается.

Долго говорят два голоса, пока начинается смеркаться — какова будет судьба его?!

На следующее утро мать говорит ему.

— ...Ну, ты можешь ходить летом в школу, если тебе так хочется. Он прижимается щекой к милой руке и целует ее.

Там, там... Может быть... стучит сердце, и первое имя, которое приходит ему на память — Рутыня.

Но все снова исчезает в потоке ликования.

Он снова идет по обычной тропинке мимо рощи на большую дорогу и по горе в школу. Радостно сверкают красные кирпичи и большие окна.

Начинаются летние занятия.

Немного там этих счастливицков, но он в числе их. Путнись

уже впереди — черные глаза его блестят от радости и весь он такой гибкий. Он постоянно смотрит в книги, как бы стосковавшись по ним.

И Грауд тут же — он жует какое то лакомство и тупо смотрит, как ласточки лепят себе под крышей гнездышко.

Есть и еще несколько маленьких мальчиков и дрессировщик всех их — Ваняг. Но теперь он весело протягивает Смайлису руку, считая его ровней.

Всего десять или двенадцать мальчиков и три девочки. Тихая Марите, медлительная и улыбающаяся как золотое утро. Волосы у нее гладко причесаны, а в косичке белая лента. Она рукодельничает и пальчики ее быстро движутся.

Около нее сидят еще две маленькие девочки, но больше нет... никого.

Смайлис выходит на двор и подходит к колодцу. Он долго смотрит на отблеск в глубине, а затем на облака. Облака уже становятся белыми и круглыми с прозрачными серебристыми краями. Озеро совершенно синее, а на нивах желтые цветы и маленькие бледно-зеленые листики. Жизнь переливается из конца в конец; туманны южные дали, а за ними необъятная, далекая страна.

И вспоминается всадник на соколе в сказке. Он должен доехать до озера, где белой птицей плавает его принцесса.

И затем, Бог знает почему, выражение лица Смайлиса становится тихим и задумчивым. По ком тоскует он, кого он потерял? На солнце нашло серое облачко; забыта сказка и перед глазами здание школы. Окна кажутся слепыми, а стены холодными...

Он заходил в класс. Парты вынесены в соседнюю комнату; остались лишь две для мальчиков, да одна для девочек. Класс пуст...

Входит учитель. Начинается урок Смайлис ничего не слышит. Он вздрагивает, когда его вызывают, и краснеет. О чем он думал? Ему казалось, что кто-то тихо прошел мимо и шепнул ему: Рутиня...

Да, теперь Смайлис знает: Рутини нет в школе. Это было Рутиня, о ком он думал.

По вечерам он ежедневно идет домой. Вечера длинны и теплы, а в верхней комнатке так тихо и так приятно готовить уроки.

Но домой он идет медленно. Он думает о многих удивительных вещах; останавливается и прислушивается. Он долго остается у рябины, сидя на камне, и думает о том, что Рутиня не оглянулась... Он смотрит через озеро. Блеск воды мешают ему. Тогда он поднимается и идет дальше.

Неделя прошла и он уже свыкся с мыслью, что Рутини нет.

В понедельник он опять идет в школу. У него уже начинают осыпаться цветы и вся дорога усеяна ими. Он заходит в класс. Рутыня сидит на своем месте... Смайлис немеет. Он останавливается и волна крови ударяет в лицо. Потолок, кажется, уходит ввысь, окна открываются. Происходит полное превращение. Он борется, вздыхает один раз, другой, все глубже и затем будто поток уносит его.

Он стоит как прикованный. Затем быстро кладет свои книги и низко наклоняется под партой, чтобы никто не увидел лица его. Затем, будто нехотя, против собственной воли, он поднимает глаза и смотрит на Рутыню. Он смотрит долго — окружающее исчезает, остается лишь лицо и глаза. Он не видит, как Рутыня улыбается, как поднимается и уходит и снова он один.

Тогда он приходит в себя и выходит на двор. Высоко и широко раскинулся синий небосвод. Воздух будто полон звона. А на конце колодезного журавля сидит ласточка и щебечет виджу, виджу... Ах, ласточка! Смайлис не видел еще ни одной ласточки этой весной!

На дворе играют мальчики; Смайлис спешит к ним. Кругом желтые одуванчики, сотни жаворонков поют в небесной синеве. Какая весна! В роще кукует кукушка. Озеро дымится... Смайлис подходит к играющим. Он шумит, смеется и выказывает свою ловкость. И затем вдруг останавливается, смотрит на озеро и будто застывает. Он проиграл, он думал о чем-то ненужном. Да, он охотно играет роль побежденного — так чудны были мысли его.

В классе он не смотрит ни направо, ни налево. Он что-то знает и доволен. Все его внимание обращено на учителя. Он отвечает лучше Путиния; он хочет быть теперь лучше других, он должен быть таковым.

Классный воздух насыщен радостью. Смайлис тихо вздыхает и закрывает глаза. Здесь, здесь где-то вблизи весна, здесь дом, — а вне класса нет теперь ничего.

Когда последний урок перед обедом окончен, Смайлис взглядывает на Рутыню. Теперь лишь замечает он, что она в белом, на ней белое весеннее платье и она выглядит старше и жизнерадостнее.

Он выходит из класса, прислушиваясь к какому-то знакомому имени. Думы его легки и беззаботны.

Уходя по вечерам домой и возвращаясь по утрам в школу, он чувствует рядом легкие шаги и белое платье Рутыни...

ХП.

Легко и незаметно мелькают дни за днями. Иной раз у Смайли-

та ееть и спутник — это Рутыня. Они идут вместе до перекрестка. Оба тихи и застенчивы, редко перекинутся словом.

...Стоит прекрасная послеобеденная погода. Только что прошла гроза и Смайлис с книгами под-мышкой стоит на школьном дворе. На лице его отражается золото солнца и отблеск воды от переполненных луж.

Когда он собирается уже уходить, за ними слышатся шаги и кто-то кричит:

— погоди, Смайлис, пойдем разом!

Смайлис оглядывается. Это Рутыня, готовая отправиться в путь. Тихая радость охватывает Смайлиса, радость и вместе с тем боязнь

— Рутыня зовет его по имени!

И они идут разом. Дорога разделяет их, каждый идет по своей стороне.

— Я боюсь грозы, — начинает Рутыня и смотрит ему в глаза. Смайлис видит глубокие, застенчивые глазки и прядь волос на лбу:

— далеко тебе еще идти?

— За озером, далеко еще, — говорит она и останавливается. Она смотрит на дымящуюся поверхность озера и протягивает руку.

Смотри прямо перед собой, вот там на краю равнины. Три дома там, средний наш. — Она подымается на цыпочки и показывает вдаль.

Смайлис стоит рядом и смотрит на запад.

— Ну видишь? — улыбается Рутыня, придерживая платок на голове.

— Да, я вижу. — Но отблеск солнца от поверхности озера мешает ему и он ничего не может разглядеть.

— Там белая труба, смотри! И соломенная крыша.

Она стоит будто в забыты и кажется печальной.

Затем они идут дальше. Она придерживает подол своего светлого платья, чтобы не замочить: шаги их не слышны на влажной, залитой дождем земле.

— Я думал, что ты не будешь ходить летом в школу, — говорит Смайлис. Ему хочется сказать что-нибудь хорошее успокаивающее.

— На прошлой неделе тебя не было... — он конфузится и краснеет. Что он сказал?

— Да, я просилась... У меня дома так плохо. Я одна. Сестричка умерла. Мне в школе лучше. А тебе?

— Дома я читаю сказки. Я читаю и по ночам. Задачи и уроки легкие. Мне не нужно долго учиться.

— У меня нет сказок. У меня нет ни одной книги, кроме учебников. Тебе хорошо.

И затем Смайлис начинает рассказывать. Рутыня иногда взглядывает на него и глаза ее становятся глубже и задумчивее.

— Там есть удивительные сказки. Я часто не сплю по ночам и думаю о них. Почему теперь нет такого человека, который решился бы проехать сквозь огонь как в старое время?

— Сквозь огонь? — Удивляется и останавливается Рутыня. Ее глаза внимательно смотрят на Смайлиса.

— Да, сквозь огонь! Разве ты не знаешь этой сказки?

Разве ты не нашла?

Она не нашла; она не знает. И Смайлис начинает рассказывать. Рутыня глубоко дышит. Она смотрит на Смайлиса и чудеса захватывают ее.

Но в это время они подходят к тому месту, где дороги расходятся и Смайлис останавливается.

Он еще не успел рассказать ей. Но книга-то у него ведь с собой. Он перелистывает, ищет и находит.

— Ну? — спрашивает Рутыня. — А дальше?

Дождевые капли падают еще с рябины и солнце зажигает в них будто маленькие огоньки.

— Подожди, я прочитаю, — говорит он, стоя около камня. Рутыня стоит рядом и смотрит на него широко открытыми глазами. Ноздри ее трепещут, а лицо покраснелось от ходьбы и весеннего воздуха.

Смайлис уже сидит на камне, повернувшись спиной к солнцу. Книга в тени. Затем легко и незаметно садится с ним рядом и Рутыня. Солнце светит прямо в лицо ей и платочек соскользнул на затылок. По лицу тянутся темные, блестящие паутинки волос. Она слушает и окружающее исчезает для нее, он как во сне. Сквозь огонь! Он, этот младший сын, вывалялся в грязи, чтобы не сгореть. И когда прошел огненное море, сокол опустился на берег озера, где белой птицей плавала обещанная принцесса. Тогда младший сын произнес известные ему волшебные слова и она узнала его; она превратилась в человека и затем началось бегство...

Рутыня будто в забытьи. Губки ее полуоткрыты, красны; она дышит ртом...

В воздухе тишина, будто на молитве. Грозовые тучи отодвинулись на восток и стало светлее. Почва дымится. Безконечная небесная синева простирается над ними... Только тихо и монотонно шумит

пад ними мельница будто засыпая. Вдали чуть заметные, темнеют литовские леса. Темносиние цветочки кивают им своими головками, а с рябины, как призрачные янтарные снежинки, падают дождевые капли...

Смайлис окончил и закрывает книгу. Тишина обнимает их как большое, тяжелое, шелковое покрывало.

— Коленки Рутыни незаметно прижались к ногам Смайлиса. Он чувствует теплоту ее гибкого тела. Поднимает голову. Лицо еще сияет восторгом от чудесного рассказа.

А перед ним освещенное солнцем личико Рутыни и глаза ее устремлены на его губы, будто все еще слушаая и чего-то ожидая.

Затем она как бы просыпается.

— Да, это красивая сказка. Это удивительно, — говорит она. — Сквозь огонь он ехал.

Затем она хочет видеть в книге это место. Смайлис открывает и нагибается ближе. И головка Рутыни рядом с его щекой. Теплое дыхание ее касается губ и глаз мальчика. Темные ресницы опущены — она читает...

— Да, это удивительно, — говорит она, отрываясь от книги. И Смайлис вкладывает книгу в руки ее, так легко и с таким доверием, будто отдает свою драгоценность, свои мечты, свои ночи и дни, и она берет ее своими тонкими пальчиками и не знает, что делать с ней.

— Бери... Ты можешь взять ее домой, — говорит он, вздрагивая и смотрит на траву, которая все еще не покрыта росой. Его давит какое-то тяжелое и приятное бремя и он чувствует себя под ним таким маленьким. Лицо его еще тепло от дыхания Рутыни... Он смотрит, как пальчики ее блуждают по книге, будто чего-то ища.

Какие у нее пальчики и какая рука! Она немного загорела от весеннего ветра... Какие же у нее глаза? Не посмотреть-ли?

Нет, страх и радость связывают его, он не может поднять на нее глаз...

Он смотрит на землю, на туфельки ее между травой и цветами. Разве нога его не согрета ее близостью. Вот и шов ее платья, не коснется ли он его еще раз?..

Глубокая тишина вокруг. Сверху льется песнь жаворонка. Он погружается в думы и мечты...

Вит, вит, вуйт! мелькают ласточки мимо и Смайлис смотрит на Рутыню. Она улыбается ему своими глубокими, темными глазами. Затем легко начинает разливаться по лицу румянец; чуть заметный,

он то вспыхивает, то угасает. Она опускает длинные ресницы и встает.

— Я пойду, — тихо произносит она и Смайлис видит, что она протягивает ему руку. Она хочет проститься с ним, но протягивает ему только руку.

На лице его нежность, будто букет цветов взял он в руки. Он чувствует теплое, тихое и боязливое пожатие и снова не может поднять на нее глаз.

Ветерок пробегает по рябине, падают, сверкая на солнце, дождевые капли...

Когда Смайлис подымается, он один.

Только, сверкая, продолжают падать дождевые капли. Высоко над головой раскинулась радуга; она пьет воду из озера, в истоке его, в гуще камышей.

XIII.

Смайлис подымает голову. Он закрывает маленькую пожелтевшую книгу... На страницах ее легкий аромат фиалок и много невыразимых чудес кроется между строками текста.

Тишина здесь еще и теперь, хотя с того времени прошло уже целых двадцать лет.

Дождевые капли не падают с дерева, лишь несколько красных капель, несколько ягод упало с него.

Но теперь он не замечает их. Глаза его сияют. Лицо горит. Радость наполняет тело и душу его — такая радость, какой не чувствовал он с того времени.

Вот здесь он ощупывает покрытый мхом камень. Здесь была Рутыня, здесь проходила она. Здесь говорило сердце, старалось пробудиться и не могло, а когда расцвело, то опьянилось собственным ароматом своим.

А там, за озером три дома и у среднего белая труба, чуть заметен он сквозь синеватую дымку тумана, и там есть одна страничка золотого текста — маленькая, пожелтевшая, никому ненужная, для него одного лишь дорогая.

Неужели так незначительно человеческое счастье?

Да, удивительна душа человеческая драгоценностью своей!

Он хранит это сокровище, как ребенок игрушку свою, и забывает все, смотря на него.

Он пробирается между людьми как твердый и острый меч; он рассекает путь себе, нигде не находит он себе покоя. Долгие годы пол-

ные отчаяния, страха и беспокойства проводит он в борьбе. Он мокнет в крови и смерть проходит мимо него — нет, только вперед и вперед — мир еще велик!

А затем через многие годы он победитель и герой. Он победителем заходит в города; одежда его сверкает золотом и бриллиантами, на голове у него лавровый венок.

Знамена встречают его, открываются окна, сыплются розы, мажут платками, клики ликования несутся со всех сторон. Тысячи повинуются его взгляду и немому жесту — все мечты осуществлены.

Но тогда — когда наступает тишина — ночь, или раннее утро, или же поздний вечер и он один, тогда этот непобедимый герой бессильно закрывает лицо свое руками. Все было напрасно, все — обман.

Царство сна широко раскрывает перед ним свои двери, и вот один какой-то маленький образ, как блестящее колечко, или как чудесный цветок встает перед его мысленным взором. В слезах склоняется он к этому маленькому, незначительному пустячку и губы его шепчут как в молитве: Это ты, ты для кого бьется мое сердце — это ты, для кого дышу я!..

Но сон его длится, пока держит он в пальцах своих этот бледный сияющий цветок, вокруг которого никогда нет ночи — с наступлением дня он снова теряет все. Ничего нельзя больше вернуть и, нища маленький чудесный момент, он снова бросается навстречу опасностям; уйдя в себя, никем не понятый и мрачный, как ночь, — никто не должен видеть того, что он видел.

Вот там пробирается по грязной улице мимо домов нищих. Разве глаза его не выцвели и не слезятся, как плачущая скала? Разве не лохмотья на теле его и не котомка за спиной с засохшим куском хлеба? Разве знает он, где родина его и отчий дом, и где наступающая ночь и следующий за нею день?

Что гонит его? Может быть он верит в то, что с каждым днем будут расти силы его, седые космы волос станут золотистыми и сердце начнет биться скорее?

— Ах, не то!

У него есть один момент, одно маленькое сокровище, которое он несет с собою.

В темной комнате, где спит он на грязной постели или на полу, ему снятся иногда чудные сны.

Вокруг постели его разливается бледное сияние — зеленоватое, как весеннее утро и слышатся такие странные слова. Распускается

цветок лилии с огоньком посередине — летится и звенит звездный поток, звенит издали неудержимым восторгом.

Дрожащими пальцами берет нищий цветок лилии и говорит с ним; есть только момент, короткий момент, но он преисполнен божественного счастья. И если к нему подошел бы какой-нибудь король и обещал ему власть и все почести земные за этот маленький цветок, который держит он в руках своих — отдал-ли бы он его?

—Ах, король, — сказал бы он — что тебе в чуде моем, если у тебя нет своего?

Продать и купить его мы не можем, так же как и собственную жизнь.

И спросите вы у бедных женщин стоящих на краю могилы, у преступников в оковах, у каждого существа с человеческим сердцем — про счастье их? Ничего вы не услышите от них выраженного словами, ничего не узнаете вы про тот малый огонек, у которого третсяя тело и душа.

Так незначительно счастье человеческое...

Так незначительно и так необходимо.

Вот здесь, — руки Смайлиса чувствуют холодный камень и мох на поверхности его...

Где был он все это время и что делал? Это была жизнь, жизнь широкая, полная борьбы и мучений, но она была лишней и не имела никакого значения. Только этот маленький, незначительный момент, это дуновение ветра здесь, этот воздух пропитанный солнцем и далекий, далекий давно минувший день — это не было лишним.

Долгие годы искал он сбеженную невесту, веря сказкам, как герой их. По озеру, как белая птица, плавают дух ее — он околдован. Нужно лишь произнести волшебные слова и она превратится в человека.

Но этих волшебных слов нет и никогда не будет — все это, — только сказка.

И долго рассказывает он под ивами по большой дороге, мимо хра-

Сердце его подобно солнцу, сам он подобен озеру покрытому водяными лилиями и полному печального шелеста камышей, а в душе, как в темных водах, плавают белый пенный цветок. Губы его тихо произносят какое-то имя.

Давно минувшее лето вновь охватывает его, будто белая, легкая рука ласкает, и сердце наполняется восторгом. То лето, которое для него было единственным.

Какие были ночи и какие дни... Он идет домой мимо цветущих деревьев, когда книгу свою подарил ей. Разве он спал? Нет, все полно сна. Приятная усталость охватывает его в саду под яблонями, на которых только лишь распускаются почки; руки болят от неги и счастья, срывая цветы.

Он мечтает и смотрит на вспыхнувшую вечернюю зорю.

Ночью он просыпается от легкого, радостного сна. В окно льются бледные лучи луны и сладким трепетом сжимается сердце. Немелькнуло-ли где-то здесь белое одеяние Рутыни?

Нет, ли ее где-то вблизи?

Нет, ее нет, но завтра он снова увидит ее. Уже завтра; так скоро это будет, так скоро!

Теперь она может быть читает сказки. Теперь пальчики ее перелистывает книгу — да, теперь она должна думать о нем каждый раз, когда заглядывает в книгу. Есть какая-то тайна между ними; ее не знает никто и не узнает — это его книга и короткий момент под рябиной.

Утро будит его. Солнце, солнце, бесконечными потоками льет оно лучи свои на поля и на дома! Он собирает свои книги, берет букетик полураспустившихся цветов яблони и идет в школу. Внизу он смотрит на дорогу. Нет, там никого не видно...

Но в школе он видит, что Рутыня стоит на дворе и мысли его путаются. Он идет как пьяный и приветствует ее. Она улыбается и кивает головкой. Кажется, она выросла за эту ночь — глаза такие ясные, думает Смайлис, поднимаясь по лестнице в класс. День начинается — какой счастливый день! Смайлис чувствует в себе прилив сил и энергии. Ему так много хочется знать и учиться. Он тихо радуется тому, что перегонит всех. Рассказывая урок, голос его звучен и смел. В классе тишина, все дивятся ему. Путнись и тот запинается — у него не проходит так гладко. Смайлис прислушивается к себе и ощущает радость. Ему кажется, что нет ни одного человека, для которого с радостью он говорил бы и делал бы все, как только Рутыня.

Она услышит каждое слово, увидит каждое его дело. Ему кажет-

ся, что она везде и всегда так близко от него находится, что он чувствует на лице своем дыхание ее.

Нужно лишь немного повернуться, чтобы увидеть ее светлую одежду и темные, прелестные волосы и — нет, лицо ее он видит и не смотря на нее, даже с закрытыми глазами.

Вместе с солнечным светом в комнату врывается какой-то звучный поток, несслыханных слов и звуков он полон. Этот поток подхватывает Смайлиса и несет. Страшно и радостно. Ему хочется все дальние и дальние... пусть несет, пусть несет! Рутыня, Рутыня! шумит сверкающий поток и тогда знает он, куда несет его ясный день.

В полдень он заходит в класс. Он берет цветы, ощипывает бледные лепестки и бросает их на пол, на порог и на лестницу. Он знает, что Рутыня пойдет с ним вместе. Да, она кивает ему головкой по окончании уроков и говорит:

— Сегодня я тоже пойду домой.

Они идут вместе. Рутыня так смела, так свободно себя чувствует.

— Твои сказки у меня дома я пойду читать их, — говорит она и смотрит на него. — А знаешь, Смайль, мне страшно... Мне кажется, что и меня кто-нибудь заколдует.

— Теперь этого не случается, — думает Смайлис. — Теперь сказок нет.

— Знаешь, мне хочется, чтобы все было так, как в сказках. Я хотела бы видеть, как несется он сквозь огонь на крыльях сокола.

— Ты хотела бы видеть это?

— Да, это было бы так смело, так величественно.

— Рутыня, тогда я... он запинается... — Тогда и я пошел бы сквозь огонь.

Она удивляется. Глаза ее полны страха.

— Ты, Смайль? Разве ты так крепок? Зачем же тебе это нужно?

— Если ты была бы той обещанной, околдованной принцессой...

— Тогда они оба умолкают. Дыхание высоко поднимает грудь его. Он ждет чего-то, какого-нибудь слова.

— Да, но я не принцесса.

— Да, это правда. Но ты здесь. И мне некуда спешить.

— Конечно, это только фантазия. Как могу я быть околдована? И она смеется от всей души, откидывает локон волос и смотрит в глаза Смайлису. — Нет я не хотела бы быть околдованной, потому что тогда человек наверное далеко, далеко.

И они идут рядом под ивами, а под ними скользят тени и шумит ветер.

Около камня, где расходятся дороги, они опять останавливаются. Ароматно пахнет рябина. Им нужно было бы что-то говорить, но они молчат.

— Прощай, Смайль!

— Прощай, Рутыня!

Они еще раз взглядывают друг на друга, сконфуженные, как бы в недоумении, и затем расстаются.

Смайлис подымается в гору и, оглядываясь, видит серебристый блеск озера и солнечную дымку тумана вдали. Как богато его сердце! Он что-то знает, что-то нашел и, витая в волнах мысли, он идет мимо рощи домой. Рано утром он сидит на камне и ожидает... Теперь он знает кого он ждет... Она так спешит...

Она устала, покраснелась и теряет, видя Смайлиса.

— Доброе утро! — вставая приветствует он.

— Доброе утро! — тихо говорит она и румянец на лице становится гуще.

— Я думала, что опоздала.

Еще рано, — говорит Смайлис.

И она знает, что рано, но ей все же надо было спешить. Они стоят друг перед другом как бы в удивлении, как бы угадывая что-то. Они молчат и не знают, что сказать. Тогда Смайлис протягивает ей тяжелую, сладковато-горькую цветочную кисть рябины и видит, что рука ее тянется навстречу. Она берет ее и прикладывает к глазам, как бы успокаивая себя.

И тихо идут они дальше. Канавы еще белы от росы и озеро покрыто облаком пара.

В школе еще тихо. Есть лишь две маленькие девочки да пара мальчиков.

Смайлис садится на свое место и чувствует за плечом взгляд Рутыни. Ему нужно посмотреть на нее. Ее личико так знакомо ему и так мило. Она улыбается ему, тихо кивает головкой и снова смотрит в свою книгу. Как сеть оплетает их тишина. Маленький золотой паучок бегаёт по паутинке между двумя детьми и ткет что-то невидимое, непонятное. Затем он устает и сам запутывается в нитях своих и тишина снова их обнимает.

Смайлис мысленно смотрит на личико Рутыни. Смеет-ли он еще раз взглянуть на нее?

И затем сердце его пробуждается как испуганный жаворонок и

где-то начинает звучать ликование. Раздвигаются дали, поют птицы...

Его цветы были в волосах Рутыни...

XV.

Идет майский дождь. Золотое колесо остановилось и потонуло во мгле. Сыро в долинах, а с цветущих деревьев потоками льется вода.

Вечером небеса дрожали от громовых раскатов, а утро дождливое и прохладное.

Еще рано, а Смайлис уже стоит под развесистой рябиной, около камня и ждет...

Проходит час — никого нет. Ноги его мокры; маленький зонтик промок и дождь пробивает насквозь. Он начинает дрожать от холода.

Еще только один момент — и она придет, тогда заблестит солнце и волны тепла охватят его.

Но ее еще нет.

Он уходит в школу. В руке у него маленький цветок чайной розы, бессильно опускает он свою головку и увядает.

Смайлис идет домой и беспокойно ворочается в постели. У него лихорадка. Ему снится Рутыня, ему кажется, что она превращена в камышину на озере.

А утром он снова стоит под деревом и ожидает. Тяжелые тучи ильвут с севера, изредка заметны проблески солнца, но оно холодно и бледно.

Долго стоит он и смотрит на дорогу — все пусто.

Когда он приходит в школу, уроки уже начались и ему надо извиняться за опоздание.

Он тих и задумчив. Он даже и уроков не приготовил как следует — не беда — за один день он успеет нагнать пропущенное...

Вечер тихий и солнечный, но он не замечает этого. Усталый и безразличный поднимается он в гору. Затем на третий день Рутыня улыбается ему, сидя на своем месте, и снова гаснет эта маленькая улыбка. После обеда он медленно идет по дороге, будто кого-то ожидая и она, задыхаясь от быстрой ходьбы, нагоняет его.

— Видишь, Смайль, вот и я, — она хочет улыбнуться.

Как чудно все кругом.

— Я не могла идти в грозу, мне нужно было сидеть дома. А ты, Смайль?

— Я читал новые сказки. Я хотел тебе рассказать их. Но они так печальны.

— Почему печальны? Рассказывай.

— Нет, они не для тебя, ты не поймешь их, — знаешь, это про одного принца, — начинает он.

Они идут медленно, будто дорога утомила их.

— Он хочет жениться и посылает в страну желтых роз послов за своей принцессой. Каждые три года присылала она ему по золотому колечку. Он устраивает свадьбу. Замок его стоит на берегу моря, корабли его украшены серебряными мачтами и шелковыми парусами — тысяча кораблей есть у него. И посылает их навстречу невесте, а сам садится у окна на самой высокой башне своего замка и смотрит на море. Корабли его достигли страны желтых роз и приветствуют принцессу, но она не идет. Тогда они возвращаются обратно и сообщают об этом своему повелителю. Но он посылает их туда еще раз, а сам сидит на башне и ожидает.

И вторично возвращаются корабли его и сообщают то же самое.

И в третий раз посылает он корабли свои и приказывает отвести бриллиантовый перстень невесте своей. И в третий раз возвращаются корабли и сообщают, что принцесса не идет. Ей элучше нравится оставаться в стеклянном замке у своих роз.

Но до страны желтых роз не близко. Три года нужно было тра- тить кораблям каждый раз для поездки своей.

Тогда принц приказывает потопить все корабли свои, а себя кол- дуну приказывает превратить в камень на самой высокой башне.

И никто не может отколдовать его, только принцесса страны жел- тых роз может сделать это, но она не идет...

— Она не идет? — удивляется Рутыня.

— Она не идет.

— А принц превращен в камень?

— Да это печальная сказка, — говорит Рутыня. — А почему она не идет?

— Она не знает, что принц девять лет ждал ее в замке своем.

Долго думает об этом Рутыня и они молчат.

— Есть и еще одна сказка про это ожидание.

— Младший сын нашел принцессу, произнес волшебные слова и она превратилась в человека. Он берет ее с собой и дает ей малень- кий золотой ключик.

— Это для меня если я буду околдован.

— И когда он возвращается с войны один волшебник превраща- ет его в черный каменный замок у дороги с железными воротами и ма- леньким золотым замочком. Он запирает и никто не узнает его.

Только принцесса своим золотым ключиком может спасти его и вернуть ему человеческий образ.

Но она не идет.

Проходит сто лет, а она не приходит. Она забыла об этом. Она умерла, а принц черным замком стоит у дороги.

Замочная скважина заржавела и некому открыть замка.

— Почему она не пришла? Спрашивает Рутыня и личико ее становится печальным.

— Она забыла его.

— Как же можно забыть?

Он смотрит на Рутыню и видит, что глаза ее полны страха.

Они останавливаются, Дороги расходятся.

Он думает и затем спрашивает с дрожью в голосе, тихо:

— А ты бы пришла?

Личико ее краснеет, глаза загораются. Опять исчезает все окружающее, а в небесах глубокая тишина.

Он ждет ответа. Но Рутыня протягивает ему свою маленькую прелестную ручку, как тогда. На момент она остается в руке Смайлиса и в этом ответ: я пришла бы.

Он поднимает глаза... Мечты исчезли и снова он один. Лигуя, взбирается он на гору мимо оленника.

XVI

Утром, идя в школу, Смайлис замечает сидящую на камне белую фигуру. Это Рутыня. Разве она ждала его?

— Я устала, говорит она, — я спешу.

И сердце Смайлиса сладко замирает. Она все же ждала; на коленях у нее лежала открытая книга, она что-то думала и тихо покачивала головкой.

Тихо идут они рядом.

Волны пробега т по ржаным полям, в березовых рощах кричат иволги.

День проходит незаметно, полный восторга и счастья. Перед Ивановым днем луга покрываются цветами и пчелы целыми днями жужжат там.

В этом жужжании Смайлис слышит голос Рутыни, и дыхание ее в дуновении ветерка.

На озере из глубины вод поднимаются и распускаются водяные лилии.

В полдень, кунаясь, Смайлис выливает их и несет в школу. Все они лежат перед Рутыней и она улыбается смелому ловцу. А он стоит и рядом и рассказывает о цветах, которые могли бы нравиться ей.

Ресницы ее опущены, а руки заняты рукоделием; спокойно дышит грудь, спокойно дремлет все существо ее. Маленькие девочки, сидя рядом с Рутыней, смотрят на Смайлиса и, как маленькие птенчики, подняв головки, слушают его чудесные сказки. Но он знает для кого предназначены сказки и рассказы его.

И когда взлетают как бабочки ресницы ее, ему кажется, что снова опускается он в глубины вод; становится тихо и жутко и ему самому. Дрожь пробегает по лицу. Он затихает на полуслове и вглядывается в невидимые чудеса. Ликование разрывает все его существо, бессильный и растерянный уходит он.

Что она теперь сказала? Губы ее не шевелились, но кто же что-то сказал?

Золотой сеткой покрыты все дни те и ночи и он закутывается в петлях ее, и каждая нить кажется ему рукой Рутыни, которая держит его — рукой с тонкими пальчиками и цветущими кончиками ногтей. Когда Рутыня остается одна, она поет, синим дымком, вьются мелодии вокруг ее головки.

Она тихо поет и по утрам, сидя на камне и поджидая его и тогда он рассказывает совершенно другие сказки.

Он в тот раз неправильно передал ей содержание — старый замок давно уже открыт и принцесса приехала на серебряных кораблях своих...

Перед Ивановым днем занятия в школе кончаются — будут каникулы. В последний раз идут они вместе по дороге. Все тонет в цветах, а облака на небе такие белые, как пена морская. Смайлис даже говорит, что это все околдованные принцы, которые сотнями лет ищут невест своих.

— Теперь будет лето; где ты будешь проводить его? — спрашивает он у Рутыни.

— Я не знаю. Мне нужно будет белить полотно, теперь... У меня так много нового полотна.

— Ты будешь на Иванов день распевать лиго-песни?

— Я только слушаю их. Мне некуда идти. — И она тихо думает что-то про себя.

Так приходи к нам, — радостно говорит он, будто что-то востановившая. — В Званитайи. Видишь, где та березовая роща. У меня есть цветы для тебя. Придешь?

— В Званитайн? Да, — тихо говорит она — я приду.

— У меня в саду есть белые и красные розы. Ты сможешь выбрать, какие тебе лучше понравятся. Есть и мак. Много красного мака с золотистой пыльцей на листьях... У меня ореховое кресло на веранде — на нем я усажу тебя. Я обовью его диким виноградом; у нас есть дикий виноград вокруг веранды. Можно и хмелем — он ароматнее.

— И если ты придешь, я покажу тебе нечто самое удивительное. Это божье деревце, которое растет под окном, а на нем живет золотая божья коровка. Да, она блестит, как настоящее золото. По утрам она взбирается на верхушку, как маленькая капелька и греется там на солнышке, а вечером она сползает на землю и спит ночью в траве.

Он рассказывает самые удивительные вещи и Рутыня слушает. Он знает, что теперь она уйдет; мелькнет ее платье, исчезнут локоны и дыхание ее не будет больше касаться лица его.

Он рассказывает и смотрит на лицо ее и ему кажется, что сам он читает на нем удивительный рассказ свой.

— А у нас будут жечь Иванов огонь, говорит она. — Там за озером ты увидишь старую замковую гору, там будут гореть костры. Ты должен придти.

— Да, — говорит он, — я приду. — Но он сказал это машинально, он даже не знает, что сказал. Ему опять кажется, что он висит над бездной.

— Прощай говорит она. — Там ночью будут костры.

Костры, костры... тихо шепчет ему кто-то на ухо и он медленно поднимается в гору.

Тихой болью и беспокойством полно сердце его — и долго не понимает он этого.

Завтра ее больше не будет, наконец вспоминает он. Это спутник, который идет рядом с ним, опираясь на руку его. И жутко ему от этого спутника, скучно...

А ночью он встает в мечтах и проснувшись чувствует, будто на подушке рядом с ним есть кто-то, он чувствовал дыхание и говорил кто-то... Глаза были закрыты, он видел длинные ресницы... Глаза готовы были открыться и не открылись...

Сердце бьется от радости, как горячий источник. Рутыня, Рутыня... звенит в ушах и широко открытыми глазами смотрит он на бледное сияние луны за окном. Зеленоватый свет заливают все кругом. На ржаном поле за садом кричит перепел...

Ему жутко от какого-то имени и он закрывает глаза. Но страх побеждает ее улыбка.

Рутыня... Рутыня... новый сон облекает его и звонит. Так звонили в весеннюю полночь древле.

XVII.

Через четыре дня канун Иванова дня.

Травы и венки тихо вянут у дверей и на столе. Сердце сжимается от радости, которой нет ни начала, ни конца.

Смайлис открывает свою книгу и перевертывает новую страницу. Горячая волна заливает все. Что это за ночь! Ему кажется, что он сидит на берегу озера или на песчаных дюнах бесконечного моря. Где-то вдали звонят. Белые волны тумана, как дым стелются над водами, а вдали мелькают огонек, один, два — десять, — масса огоньков! Там что-то движется, что-то плывет.

Это какой-то остров — плавучий зеленый остров. Кругом ночь и грязные, серые тучи на западе.

Огни приближаются да, это пловучий остров. Зеленые дубы растут по берегам его, тянутся гирлянды дикого винограда, шумят камыши. Под деревьями горят огни; слышится пение, шум растет. Пловучий остров подходит ближе, он тих и весь в огнях, он горит, пламя лижет зеленые венки, розы дымятся на раскаленных углях, слышен звон струн. Лиго!

Горящий остров отдаляется, искры осыпаются — от песен слышатся лишь отголоски, кажется, что еще какая-то рука с венком тянется к нему в сторону берега, звучат тихие, милые слова; призывная песнь, — одежды белые мелькают в темноте...

Он уплывает, ночь становится темнее; воины снова печально бьются о берег и он один. Как мираж мелькнула картина и уплыла — на водах тишина.

Он проводит рукой по глазам — что же это было? Горело-ли озеро, или он все это видел лишь во сне?

Нет он не спал — это была древняя Иванова ночь... Разве он не был тоже на этом острове?

Да, вот тут записано что-то об этом... да...

...Он берет работника за руку и говорит: пойдем! Ему разрешено идти с ними, с песенниками этими.

— Куда же? — спрашивает работник и смотрит на Смайлиса.

— Смотри, туда за озеро, где блестит огонь. Туда. И они идут мимо хуторов. Звучат песни, вечер душный и теплый. Огни то разгораются, то гаснут, то вновь разгораются. Три, четыре шеста и огонь на

концах их высоко в воздухе. Широким кругом рассыпаются искры и громко раздаются звучные голоса. Там танцуют, шумят и поют лигелесни, в звуках музыки какая-то темная, жгучая радость. Жутко Смайлису. Тужело дышать. — Там ночью будут огни, — слышит он голос Рутыни.

Он сидит на скамье под березами. Взор его блуждает и ищет, но — Рутыни нет.

Ему кажется будто он на чужбине, надо бы опять домой.

Он горд и одинок.

Тихий смех пробуждает его.

Перед ним стоит Рутыня.

На голове у нее венок из белых цветов и вся она в белом.

Она хочет подойти к нему, но затем как бы конфузясь повертывается и, смеясь, убегает. Лишь зеленая веточка падает и остается лежать у ног его.

Смайлис встает и проходит мимо танцующих. Ему больше ничего не нужно. Огни горят так ярко; на сердце легко и радостно. — Рутыня здесь...

Затем она подходит, протягивает руку ему, тихая и покорная.

Они идут под березами, и свешивающиеся вниз, гибкие ветви их ласкают их головы. Рутыня раздвигает ветви и пропускает Смайлиса вперед.

— Иди сюда, здесь дом мой, здесь живу я, — говорит она и показывает в сторону сада на берегу озера.

Но никуда не нужно идти им и обратно к кострам возвращаются они.

С верхушек листов льются искры и они стоят и молчат. Рутыня стоит так близко, что он боится пошевелиться, чтобы не ушла она.

Тут замковая горка. Рутыня ведет его на холм. Тихо идут они и прислушиваются друг к другу в ночной тьме.

— Сюда прихожу я читать сказки твои по вечерам, окончив дневные работы. Я скоро кончу и отдам тебе книгу твою. Тогда вечера станут длинные для меня.

— Ах, нет; ты можешь оставить ее себе, книгу эту; у меня так много еще дома рассказов, — говорит он.

— Побежим вниз, — улыбаясь, говорит она и незаметно свиваются их руки и они бегут вниз все быстрее и быстрее. Они устают и венок соскользает с головки Рутыни. Он берет его и накладывает ей на голову. Она смеется и так быстро дышит; в глазах такая радость и дыхание ее так тепло. Пальцы его дрожат и запутываются в волосах

ее, и тогда сама она накладывает венок из белых цветов на свою голову.

Он молча смотрит на лицо ее, охваченный удивлением и забыв окружающее. Так хорошо и хотелось бы что-то сказать, но нет слов, это так глубоко где-то, необъяснимое и невыразимое. Ему хотелось бы сделать что-нибудь для Рутыни, доставить ей радость или боль, но что-нибудь такое, чего никогда еще не было.

Но она улыбается и идет дальше.

— Иди я покажу тебе лодку на берегу озера, — говорит она и идет вперед. Подол платья ее сыреет от росы. Они стоят на берегу.

Рутыня садится в лодку и тихо раскачивает ее. Войны с шумным плеском ударяются о дно ее.

— Там водяные лилии, — показывает она на озеро, туда где за кочками начинается глубина. Кажется, что белые птицы там. Ночью они красивее, чем днем...

— Я нарву, — Смайлис садится в лодку.

Она смеется, вылезает из лодки и бросает в лодку весла, затем прыгает сама и лодка плывет.

Смайлис редко ездил на лодке, но умело гребет он, крепко держа весла своими молодыми руками...

— Не туда, не туда, — показывает она пальчиком и он меняет направление.

Полоса тумана закрывает берег. Над водой тепло и приятно. Рука Рутыни в воде и она тихо говорит:

— Теплая.

Над водой тишина; на берегу мерцают огни и шумят танцующие.

Лодка выплывает из камышей на свободное пространство. Рутыня сидит на лавочке напротив...

— Смотри, смотри, где водяные лилии, — показывает она. Кругом, как стая белых птиц, рассыпаны цветы, в воздухе чувствуется тяжелый крепкий аромат трав.

Тогда чувство страха охватывает его и он кладет весло в лодку. Лицо его бледно и он удивленно смотрит на лицо Рутыни. Захватывает дыхание... Тело его вздрагивает от жуткого, никогда не испытанного страха.

Рутыня ли это, уж не сон ли?

Он пробует заговорить, губы его дрожат.

— Смайль? — спрашивает она, как бы в недоумении и смотрит на него.

Тишина обнимает собою весь мир.

— Смайль...

И затем улыбка мелькает на лице ее и она опускает ресницы. Руки ее крепко держатся за борт. Из воды смотрят цветы...

Тогда силы возвращаются к нему. Радость потоком заливает сердце. Он наклоняется и ищет цветы в теплой воде.

Он вынимает их из воды, прекрасные, с длинными стеблями, с которых струйками сбегает вода и кладет на колени Рутыне. Он уже много нарвал их, но все еще продолжает рвать и каждый раз, кладя цветы, он может коснуться пальчиков Рутыни и заглянуть ей в лицо.

Целая куча цветов вынута из воды. На коленях у нее целый ворох; вода стекает по стеблям их ей на ноги.

— Ну, довольно, Смайль, довольно, — говорит она и погружает руки свои в белоснежные цветы...

Тяжелый сладковатый аромат водяных лилий окружает их...

— Поделится, — говорит Рутыня и начинает делать букет.

— Нет, это твой.

— Бери. Они сорваны ночью и святы, — говорит она и дает букет Смайлису.

— Рутыня...

— Ну?

Когда пойдем мы опять в школу?

— В школу? — она думает и затем говорит, понизив голос: — я не пойду больше в школу.

— Ты не пойдешь? — он опускает руки и умолкает.

— Мне... меня отдадут в городское училище, — произносит она еле слышно. — Я не знаю, каково мне там будет.

— Так ты будешь далеко? И никогда больше не придешь?

— Я не знаю.

Тишина... кажется ночь стала темнее. Потемнел как озеро и сам Смайлис.

— А если тебя, — если тебя будут ждать?

Она поднимает головку.

— Ждать? кто же меня будет ждать?

— Если я... буду ждать тебя?

Что-то сброшено, темное и тяжелое. Он переводит дыхание и тихо смотрит на ее руки.

Он ждет..

Глаза ее огромные, глубокие, будто испуганные. Она, кажется, ничего не понимает.

— Если ты... Я знаю, где ты будешь...

И затем они оба сидят и смотрят в воду, в которой ничего нельзя разглядеть. Как черные, огромные иглы нагнулись к воде стебли...

Затем Смайлс выпрямляется. В глазах его радость и покой. Какие-то странные огоньки вспыхивают в бездонной глубине глаз. Он встает на ноги и молчит.

— Смайл! — тихо произносит она имя его.

Он думает думы свои.

— Ничего.

Он улыбается и садится.

Я хотел только рассказать тебе одну сказку. Я ничего не хотел больше говорить. Это удивительная и чудная сказка о забытом принце.

Он смотрит на Рутыню.

— О забытом? — Печально смотрит она на свои цветы и в белом венке она сама похожа на полуночный цветок.

— Ну рассказывай, я хочу слышать. Но сядь здесь, — указывает она на место рядом с собою.

Он садится.

— Нет я лучше не буду рассказывать. Это печальная сказка.

Но головка Рутыни почти рядом с лицом его и ему нужно рассказывать.

— Принц послал кольцо свое принцессе страны белых роз и пригласил ее к себе в гости. Она обещала ему уже с колыбели и он ждет ее.

Он приказывает раскрыть замок свой. Ворота замка обвиты белыми розами и сто воинов в белых одеждах и с серебряными мечами стоят у замка. Он послал корабль со ста лебедями, и, золотыми канатами опутав, потянут они корабль принцессы по морю. И приказал он приготовить для нее почетный трон и поставить на столы серебряные чаши с медом и красным вином.

И каждую ночь приказывает он зажигать у ворот янтарные факелы и ожидает суженую.

Королевская корона лежит на троне ее, а жемчуг — его она получит в подарок.

Триста гусяров день и ночь упражняются в пении, а на высокой замковой башне развивается флаг, на котором золотом вышиты имя Рутыня...

— Рутыня? — восклицает она и дышит на него.

— Да, имя ее на флаге. — Нет, это не ее имя. У нее другое имя...

И он ожидает.

Но принцесса страны белых роз не является.

Он ожидает три года и зажигает факелы, но она не является. И корабль его с лебедями возвращается обратно и узнает он, что она забыла его и присылает обратно кольцо его.

Он забыт.

И вот он приказывает потушить факелы и изгоняет стражу и гусларов из замка своего. Затем он приказывает опустить флаг и удаляется в покон свои. Затем он берет жемчуг и кольцо и бросает их через окно народу, чтобы нищие подобрали их, и бросает чаши, чтобы пьяницы разнесли их по улицам.

А венец бросает он нищенке в лохмотьях, как подарок. Он закрывает затем свои ворота и двери; глухо щелкают замки и никто уже более не откроет их. Он закрывает окна и затем... затем он сжигает белый флаг с именем любимой...

Рутыня вздрагивает. Плечо ее прижалось к Смайлису и дрожит. На лице ее написан страх. Цветы выпадают из рук ее...

— Смайль... ах!

— И затем — затем он сам зажигает замок свой — он в огне, никто не может спасти его. Он сжигает себя сам, — никто...

— Смайль, Смайль! — шепчет она охваченная ужасом и схватывает руку его. Она крепко держит ее, как бы ница спасения.

— Нет, нет! — восклицает она. — Неужели он должен сгореть?

— Да, он сгорает. Остается лишь зола на том месте, где стоял замок его...

— Только зола? — Рутыня крепко держит его за руку и глаза ее влажны.

Долго сидят они рядом в тумане между стеблями камышей. Ноги их покрыты цветами...

И затем Рутыня поднимает глаза и в них тихая улыбка. Они так близко к лицу Смайлиса, как еще никогда. Они ищут чего-то в глазах его и тихо ликут.

Ее личико розовеет. Уж не от вечерней ли это зори, от красной полосы заката? Сказала-ли она что-нибудь, или это только шелест пробежал по траве и по озеру?

Рука ее то поднимается, то опускается, касаясь волос Смайлиса. Она ласкает и гладит его по лицу и он смущается точно во сне. Он не понимает, что происходит. Это были руки Рутыни? Это была она? Нет, это было так давно, так давно, что он не отличает уже более сна от действительности.

Он только знает, что пальцы ее что-то ласкали. Это были вероятно цветы с тяжелым запахом водной бездны. На пальцах ее было что-то более легкое, чем такие нити. Уж не были ли это капельки воды? Ему даже кажется, что это были волосы Рутыни...

Тогда ее зовут:

— Рута, Рута! Уху! Рута!

Они подвезжают к берегу; ворох белых цветов лежат на дне лодки...

— Ну мне надо идти, — говорит она и стоит на берегу. — И знаешь, я пойду туда если ты мне не будешь более рассказывать таких печальных сказок.

Она протягивает ему свою маленькую руку.

— Прощай!..

И она быстро уходит по краю покрытого росой луга.

— Рута, Рута! — зовет звонкий голос...

Он блуждает вокруг огней, где льется дождь искр; люди танцуют и смеются.

Он чувствует ласковое поглаживание на лице своем. В руке увядает один единственный цветок из озера. На зоре он возвращается домой. Солнце восходит, а он еще с открытыми глазами лежит в своей постели. Ему кажется, что он как лодка покачивается на волнах. Льется дождь искр и белых цветов, где то поют. В песне ее имя...

Ах, он был на огненном острове. На плавучем пламенном острове!..

XVIII.

Когда наступает осень и Смайлис опять идет в школу, Рутыни там более нет.

Но какой-то спутник всегда был с ним. Это Рутыня.

А затем несколько лет проведенных им в одиночестве; они полны бесконечных мечтаний...

Днем она всюду сопутствовала ему, а ночами она лежала рядом с ним на подушке и рука ее ласкала его.

Бог знает, почему так красивы были сны эти, не имея за собой действительности.

Время проходит быстро... Дни перегоняют друг друга, а ночи на всех парусах спешат навстречу утренним зорям. Как бульканье во-

ды мимо быстро бегущей лодки, как звенящие пузырьки мелькают дни.

Завтра, завтра, она возвращается! Слышатся голоса. Зимой она стучала в оконные ставни вместе с северными ветром, а осенью вместе с дождевыми каплями, которые смачивали землю. А ранним весенним утром она бросала в воздух жаворонков своей милой детской рукой, а ласточки казались такими, будто они только что встретили ее по дороге.

Да, дни и годы быстро проходят для ожидающего. Смайлис уже вырос и выросли мечты его. Он оставил школу и малых друзей своих. Он как молодой дуб, который, покрывшись листвою, спокойно стоит на холме своем и солнце ежедневно ходит по ветвям его и птицы прилетают и улетают с юга и с севера — это думы его.

Она была где-то далеко, далеко — Рутыня, но в один прекрасный день она вернулась.

Наступает весна, и ее ожидает конфирмация. Храм уже украшен — он слышал об этом.

Сердце рассказывает ему старые, — старые сказки день и ночь. Ах, они же спрятаны у Рутыни вместе с книгой его.

Ему кажется, что это было лишь вчера, когда она гладила волосы его. Она снова здесь.

С ив на большую дорогу, что вьется вдоль берега озера, снова падают желтые цветы. Вся дорога усеяна ими, что желтыми семенами.

Старые березы вокруг храма покрытые липкими листьями блестят на ветру.

Он заходит в храм. Свежесть и тишина охватывает его. Безумие в голове его; он может сосчитать удары сердца. Лицо Рутыни как привидение стоит перед ним... Жутко ему, как когда-то, когда она была так близко.

Там стоит толпа девушек в белом с зелеными венками на голове. Лиц он не различает. Тяжелые волны филиама окружают всех; из высоких окон на голове их падают солнечные кресты. Как шелест в роще, плывут тихие звуки органа.

Уж не ожили-ли снова старые сказки?

Когда толпа богомольцев выходит из храма, Смайлис стоит у ворот. Он стоит за спинами других, он хочет лишь взглянуть на личико Рутыни.

...Снова рука ее в маленькой белой перчатке в руке Смайлиса. Глаза ее сияют и смотрят на него. Радость сквозит в ее улыбке.

— Ну, видишь, вот я и снова здесь, — говорит она и вдруг умолкает. Вспоминает-ли она что-нибудь? Лицо ее краснеет...

— Ты не забыл?.. Да, да, это были чудные дни! — говорит она. — Но теперь я уже никуда не поеду, теперь я буду дома.

На голове ее темно-зеленый миртовый венок и солнце окружает ее золотым покрывалом.

Разговаривая идут они сквозь толпу.

Как чудно это было! Он такой сильный, руки его покрыты мозолями, на ногах большие сапоги. А Рутыня тоненькая, как молодая березка. Но крылья счастья шумели над ними. Все остальное забыто.

— Ну, а проведать-то меня ты теперь придешь?

— Ну, конечно; теперь да, — несмело говорит она и оглядывается. Глаза ее сияют радостью.

А вот и ее повозка. Ее ждут. И Смайлис протягивает руку — она опирается на нее и садится на сиденье.

На повозке двое людей; с удивлением они смотрят на Смайлиса. У одного толстая сигара во рту. Смайлис снимает шляпу.

— Прощай! — говорит тихий, милый голос и повозка трогается.

Весенний воздух полон жужжания. Серебром сверкает озеро. Сказки вернулись.

Это любовь, что принес он домой. Великолепный цветок ароматом которого залиты поля и рощи. Но ее никогда нет — она всегда была лишь.

XIX.

Она придет, она придет!

С этим удивительным словом засыпает он и просыпается утром.

Теперь он, как герой в сказке, который выпил чашу напиток силы эту чашу преподнесла ему Рутыня. Незаметно проходят дни. Разве не безразлично, когда придет она? Разве в этом надо сомневаться? Рано Смайлис уходит на поле — ему нужно дышать, работать и мечтать.

Отец наблюдает за ним и улыбается. Какая сила в нем, какая сила!

Пашни расширены, запущенные куски земли вспаханы. Хлеба будет вдоволь.

В полдень когда работники отдыхают, Смайлис лежит на опушке рощи и прислушивается к ветру и крикам птиц. Сон бежит от него, но сны посещают его при солнечном свете.

При свете вечерней зори он еще обходил поля, ласкает жеребят на опушке рощи и стоит на дворе, что-то думая.

Да, это удивительный рассказ о человеке, который знает, что она придет, эта Рутыня с милым взглядом очей своих.

Этот странный мальчик помнит сказку о том, как послал он послов и ожидает свою принцессу из страны желтых роз.

Да, и ему нужно встретить ее!

И он приказывает прорубить новое окно и дать доступ солнцу.

Она будет ходить по этим комнатам, так пусть же она не говорит, что здесь темно и пусть тени не заслоняют лица ее, как облака заслоняющие лик солнца.

Это трудная работа и так много затрачено на нее свободного времени. Но это сделано и стало светлее, как когда-то на великие праздники.

Он прорубает окно и в клети со стороны сада, чтобы золотилось зерно в закромах, когда придет она.

А в полдень, рассказывая по саду, он и измеряет что-то шагами, смотрит и измеряет вновь. Между рядами старых яблонь нужно проложить дорожку.

И он снимает дерн, работая по вечерам, в полдень и под дождем. Он один это делает, ибо кому же поручить это дело?

Временами он опирается на лампу и смотрит на траву по желтые цветы и белый клевер. Вот где ступают ножки Рутыни... это Рутыня... шелестит платье..

Глаза его начинают сиять.

Дорожка проложена, посыпана белым песком и мелким гравием. Она выглядит как полотно на зеленой траве — это для нее. С яблонь падают на дорожку тени и мелькают при ветре. По этим теням найдут ножки ее и под ветвями яблонь зазвучат слова — какая-нибудь мелодия.

Но цветов — для нее надо много цветов. И на южном склоне сада этот мальчик разбивает цветочные клумбы и обладывает их пластинками из известняка. Они привезены издалека.

Пластинки окрашены в белый цвет и весь круг блестит на солнце, как снег на зеленой мураве. Весной он привезет розы и цвести им нужно скоро...

Вся восточная сторона дома обсажена молодым виноградом, чтобы зеленая, живая стена слала улыбки свои восходящему солнцу.

Каждый шаг его связан с мечтами. Каждая травинка, каждая почечка хранит в себе еще не распустившиеся цветы, их откроет рука ее в тот день.

Она будет единственной повелительницей здесь. Никто не по-

смеет ходить здесь. Да, здесь вокруг сада нужна ограда, каменная ограда — со столбами, как церковная ограда — здесь впрямь будет святилище.

Лето проходит как сказка, каждый отдел которой начинается словами: она придет!..

Вдоль проезжей дороги с каждой стороны надо посадить осины... да, веселые лесные осины! Когда она придет, осины начнут трепетать, заставят звенеть блестящие листики свои и склонят верхушки свои перед нею. С одного дерева на другое передается дрожь эта и вся маленькая аллея затрепещет и зазвенит.

А осенью она положит под ноги её золотые венки свои.

Потом он ходит по комнатам своим и думает о том, как Рутые все понравится здесь.

Где она присядет и где ляжет отдохнуть? Он вспоминает ожидающего из сказки своей и тогда, когда осенью урожай уже продан, он привозит домой серебрянную чашу; дорого заплатил он за нее, на собственные деньги он приобрел ее.

К чему она? спрашивали у него.

Он улыбается. Никому не нужно знать об этом. Когда рука ее поднимает чашу к устам, тогда узнают они... Он осматривает старые сиденья, еще со времен дедов и ему приходит что-то на ум. Там не хватает одного стула. И затем через некоторое время и его он привозит из города. Он тяжел как маленький трон, из желтого кленового дерева он, со спинкой напоминающей гусли; весь он покрыт чудной резьбой — цветы и головы странных драконов украшают его. На зло всем драконам — она будет сидеть там по праздникам и слушать сказки, как раньше.

Много хороших книг приобрел он. Они стоят в его комнате, в книжном шкафу со стеклянными дверями. Там есть песни, маленькие, как темно-синие цветочки; там есть песни полные огня и аромата, как цветущие кисти рябины, там есть и народные песни, каждая из них, как маленький блестящий кусочек янтаря, маленькая сказка, читая которую, комнату заливают солнце и седая древность.

Есть там и прелестные рассказы, в которых можно заблудиться, как в дремучих лесах.

Зимними вечерами он читал какое-то древнее сказание о каком-то герое, который сорок лет ехал по морям и по суше, спеша к возлюбленной своей. В море и в огне был он и в плену у прекрасных существ, но один зов был сильнее всех остальных — это зов той, которая его ожидала.

Сорок лет! И тогда наконец пришел он.

Этот рассказ мальчик посылает Рутыне. Может быть она будет знать кто это, который сорок лет мечтал и ожидал.

И каждое утро, просыпаясь, пьет он напиток силы, который приносят ему ручки Рутыни.

Ночью она спит рядом с ним и пальцы ее блуждают по волосам мальчика.

Он говорит с ней, как только наступает тишина и забываются звуки милых слов, которые всегда таковы, что хватает их на целые годы.

И чудом он является для всех и сам для себя, так же как и великое ожидание его...

Смайлис вздрагивает. Ожидание? Разве он дождался? Кто же это был? Как гость гуляет он теперь по саду. Ах, ранняя осень уже чувствуется в воздухе! Листья так странно шуршат в крапиве над яблонями. Смайлис смотрит туда, где были в саду его розы. Редкие известковые пластинки разбросаны и заросли травой.

Свиньи вырыли их. Единственный куст еще остался, без цветов, с одними лишь шипами...

Кончается золотой текст в его чудесной книге. Красные пятна, будто от спрессованных красных роз остались там. Все, что дальше, писано чужою рукой.

XX.

Он ожидал ее долго, горячо, не думая ни о чем другом. Он так томился, ему так хотелось видеть ее. Он ходил всюду, где думал встретить ее.

Он среди веселых людей, где играет музыка и где танцуют, он на ирирах и на свадьбах, быстрым взором обегает он присутствующих, ища лицо с глубокими, темными, застенчивыми глазами и темными блестящими локонами волос, ища какую-то стройную фигуру, какие-то нежные, длинные руки, как стебельки водяных лилий, которые мило протянулись бы к нему навстречу.

Но нигде нет ее...

Наступает весна, печаль его растет и неизвестность мучит его.

И затем он узнает что-то непонятное: Рутыню увезут в литовские леса, она станет женой своего богача — крестного и будет жить в большом поместье. Это далеко, далеко — никто не знает этой местности. Все это как в сказке. У него захватывает дыхание — нет, Рутыня, Рутыня, здесь, она только что гуляла с ним под серебристы-

ми ивами вдоль берега озера, вместе с теми радостными днями детства.

Ему снятся пустые сны. День кажется ему разбитым колоколом, который уже более не звучит. Все голо. А затем наступает жаркий весенний день и снова идет он по берегу озера, ему нужно взглянуть на глаза Рутыни. Он как во сне, как лунатик, не знает куда идти ему.

Там роща, где жгут костры под Иванов день, там фруктовые сады; лодка, как черная тень, как призрак лежит на берегу. Полдень, тишина кругом, ноги безпрерывно тонут в высокой, мягкой траве.

Он ждет и что-то ищет. Да, ему кажется, что это здесь. На дворе в песке играют двое маленьких детей и тихо поют. Собаки лежат, растянувшись на солцепеке и не замечают его.

Тих сад, тихи и двери покрытые облезлой старой краской.

Ждет-ли он у дверей? Постучал-ли он? Жуткое счастье и дрожь в сердце его. Но никто не приглашает его войти.

Он открывает дверь. Большая, светлая комната, на стуле сидит Рутыня. Волосы ее растрепаны и закрывают лицо. Она наклонилась над полотном и думает о чем-то. В руках блестящие ножницы. Он поднимает глаза и в них отражается страх. Затем она краснеет, бледнеет и останавливает взор свой на лице Смайлса.

— Рутыня...

Разве руки ее запутались в чем-нибудь? Разве это не ее волосы? Его руки крепко держали что-то, как тихую, белую птицу, у которой так сильно трепещет сердце. В руке быстро бился дрожащий пульс.

— Рутыня, я пришел.

Тишина вокруг. Он не может пошевелиться от удивления. А вокруг них на полу прыгают солнечные зайчики. Время остановилось, блестящий диск солнца замер в вечном покое. Никогда не было так и не будет.

Что-то медленно уходит, будто на-цыпочках, и нет более — это была мечта его.

Руки Рутыни соскальзывают с колен, ресницы прикрывают глаза. Лицо ее холодно, будто неживое.

— У меня будет свадьба, — строго и вслух говорит она. — И я буду жить в большом поместье. — Она радуется.

К ногам его падает какая-то золотая нить. Ему кажется, что блестящие ножницы отрезали ее — он же слышал резкий звук смертельного разреза. Да золотая нить перерезана; она лежит затоптанная у ног его, а белое полотно, как холодная простынь прикрывает

что-то собою. Он поднимает голову и видит Рутыню растерянную и несчастную.

Как он осмелился придти сюда, кто гнал его? Все здесь так чуждо, так пусто и так ненужно. А Рутыня закутана в какое-то серое покрывало — она околдована и он более не узнает ее.

У него закрыт какой-то железный замок и он молчит — он знает, что нет никого, кто бы открыл его. Руки Рутыни пусты и мертвы.

И снова бредет он по освещенной солнцем равнине и ему кажется, что он слышит звон, будто из потонувшего замка.

Уж не сон-ли был это? Неужели действительно он был у Рутыни и видел ее?

Кто знает, была-ли это Рутыня, которую искал он? Все это было так давно.

Колокола в старом храме под березами и кленами отзвонили что-то и замолкли. На большую дорогу осыпались с ив желтые цветы, будто усыпая путь для кого-то. Рябина отцвела. Рутыня увезена... Синей полудугой раскинулись литовские леса, немые и неподвижны они как в сказках.

Итак все так же как было.

Солнце продолжает путь свой, ночи освещаются попрежнему луной и звездами, листья на деревьях распускаются и время идет вечным путем своим... Только какой-то мальчик стал иным.

Ему некого больше ждать.

Когда ранним летним утром идет он по полю, ему кажется, что был мороз и все замерзло. Листья увяли и почернели, не слышно в них шелеста ветерка с чудными рассказами его. Облака так холодны: как огромные снежные горы ходят они по небу и от них дышит холодом.

Он ставит ногу на ниву и кажется, слышал он жалобный писк птенчика. Ислугавшись, он останавливается и смотрит на землю — да, он задавил жаворонка, и тишина разлилась в воздухе.

Нет, он не раздавил его, жаворонок замерз под холодным дыханием ночного ветра и не поет более — все птицы замерзли.

Роща будто сжалась, печально шевелятся гибкие ветви как бы плача и изгибаясь, будто говорят кому-то последнее прощанье.

Мальчику безразлично, зеленеют-ли поля или они голы, руки его работают, сеют и косят и однако так ненужны и лишни они.

Он безразлично смотрит на то, как молодые друзья его работают и богатеют. Соревнование не приходит в голову ему. Разве тогда не будет все так же как теперь? У него могут быть сокровища, как у

Креза, каменные дома и амбары полные хлеба, полные ящики жемчуга и шкафы полные драгоценностей — это ничто.

Он никогда не открыл бы их и не взглянул-бы на богатство свое.

Мальчику нужно думать о прошедших днях и о сказках — а также и о том, уж не сказкой ли все это было.

Много раз хотел он пробудиться, будто от сна — нет, все это действительность, от которой нельзя пробудиться.

Дни и ночи проходят будто замоченные в крови; они всего касаются своими руками и заставляют растилать траурный бархат по всем путям. Звезды в тумане, а солнце покрыто серой пеленой.

Но с мира сорвана маска для этого мальчика. Всяда видна голая правда, как поле осенью. Жизнь сбросила фату и сняла одежды принцессы — теперь она нищая в лохмотьях, которая ненавидит мечтателей.

Затем Смайлс становится мечтателем. Ему нравится забываться в прошлом и вести беседы со своими образами. Странная, тихая рука обнимает его, а вокруг тоска, как венок из красного мака.

И тихому мальчику кажется, что его опять кто-то любит, но любовью полной боли и мечты, кто-то дарит ему поцелуи, по которым так тоскует его сердце не испытавшее еще радости мук.

Да, значит он опять влюблен. У него тихая и прекрасная невеста. Вечером, по заходе солнца, когда тишина обнимает всю землю, она приходит к нему... Она сверкает огоньками — звездочками, будто приветствуя его. В ночной тишине, при свете лампы, она сидит рядом с ним — такая легкая, призрачная, как лунное сияние и одуряющая, как сладкий аромат роз.

Эта новая невеста его любит сказки и тихие, маленькие песенки; все удивительное и несуществующее любит она; она заставляет блуждать милого мальчика своего там, куда не ступает нога человеческая — она обладает чудесной силой, волшебная сила кроется в пальцах ее, и чьих глаз касается она, тот видит чудеса, как после волшебного напитка.

Цветы начинают беседовать с мальчиком и оживают; все они околдованные принцессы, а солнце является рыцарем их, спасителем — все они смотрят на него и открывают свои чашечки. В каждом камне дыхание жизни и в росте каждой травинки сладкая музыка.

— Люди струны какой-то божественной арфы, а боли и радости их — звучание струн этих... И в глазах их показывает мальчику невеста его отблеск звезд; они наверное заблудились где-нибудь около земли.

И в тот раз милый мальчик отдался той, которая полюбила его и отдалась всецело. Ему не нравилась жизнь, нравились лишь песни да сказки.

Зимза вспоминает, кто был этот странный мальчик в Званнтаях. Из них улыбалось ему лицо ее.

Кто была она? Никто не отгадал этого и не отгадает. Смайлис Тот мальчик боялся людей и был одинок. А когда случалось ему бывать с людьми, лицо его не улыбалось, как у других. Девушки приглашали его танцевать, улыбались ему, искали его близости. Но мальчик не замечал и не знал этого, ему лучше правилось бывать одному. Он был чужд соревнования, ревность и ненависть были незнакомы ему у него была лишь гордость, одиночество и мечты. О нем шептались, называя его ненормальным — ему было безразлично...

О полях забывал он и они оставались голы. Он радовался лишь туману, росе, да солнцу; золотое зерно не нравилось более ему. Он привозил из города книги, полные чудес, но никому не были нужны они как только ему одному.

Белая невидимая рука свела его с общей дороги и поставила на пути усеянном шипами роз..

Он ходил вместе с отцом по полям, слушал, что говорил он и какие советы давал ему, но на все отрицательно качал головой.

Прочь надо было ему уйти отсюда! Казалось, что за лесами и равнинами ждет его Рутыня, и он отыщет ее. Только одно словечко услышать от нее, только одну маленькую, тихую улыбку увидеть на лице ее и мир будет совершенен.

Рутыня и та неизвестная, милая рука, которая ласкала его — все было одно. Мечты вились вокруг нее, как пчелки золотые вокруг сладостей, и он покорился. Жизнь свалилась, как изношенное платье — мечты руководили им — он не мог уже более проснуться...

Годы проходили и... и разве он проснулся? Ах, околдованные просыпаются лишь раз сто лет. Разве теперь: он проснулся?

Годы, много лет...

Зимза Смайлис закрывает свою памятную книгу, — последняя страница была прочитана и вот теперь он сидел здесь. Руки его были полны, будто цветами, или листьями мака, которых так много было тогда в саду. Ими он мог засыпать книгу свою с золотым текстом.

Пусть покоится, пусть покоится!

Зов прозвучал; пробудился, как сказочный горой от волшебного сна, теперь снова можно было отдаться мечтам.

Прохладный вечер ложится над полями и над озером. Раздаются удары колокола, как обычно в субботний вечер при заходе солнца. Он отзвонил и умолк. Великий, тихий покой наполнил сердце.

Смайлис сидит на подоконнике и смотрит вниз, в долину. Как живо было все! Так же, как давно, давно когда-то. Синие литовские леса неподвижным валом тянулись у горизонта, полные далеких мечтаний и сказаний; холмы и хутора дремали как и сотни лет тому назад.

И ему вечному мечтателю, казалось, что он стоит у стеклянного гроба. Он только что слышал и видел чудо. Как любимая девушка, вздохнула юность — один единственный раз; вспыхнула зорницею улыбка и мелькнула на лице, подобно отблеску солнца на полях; слышалось дорогое имя и все снова дышало ненарушимым покоем, нетленное, полное скрытой жизни.

Пусть покоится, пусть покоится!

Он возложил здесь несколько дней, как белые и бледнорозовые цветы возложил он их.

Завтра он вернется в шумный город, где жизнь борется с мечтами и действительностью.

Только ночью его охватила тоска, как крепкая сеть — ибо снова приближалась минута разлуки.

XXI.

Он проснулся и чудное утро приветствовало его. Это был солнечный день, богатый животворною силой. Он мог отправляться в путь, ибо тоска снова начинала удручать его. Тоску нагонял на него горячий ветер играющий ветвями яблонь и синеющие далеко на юге, у самого горизонта литовские леса.

Далекие мечты неслышно и бесконечно мило звали его и в таких случаях печаль его росла.

Когда, прощаясь, он подал руку чужим людям, на душе его стало легче и спокойнее. Неся свой маленький чемодан, он снова шел по дорожке мимо полей, рощ и вышел на большую дорогу у берега озера. У рябины он остановился и завязал в носовой платок кисть красных ягод...

Тихо грелось на солнышке школьное здание, пылая красною крышей своей. Вокруг него было как бы мягкое, серебристое покрытие.

Смайлис почувствовал какое-то желание и снова свернул с дороги и начал взбираться на гору, направляясь к школе. У ворот он остановился и прислушался. Казалось, что в комнатах шумели голоса...

Затем он отворил ворота и вошел во двор. Было тихо — ничего не было, что напоминало бы тот день. Ласточки сидели на колодезном журавле и щебетали... Смайлис погрузился в свои думы. И пробудившись вдруг, показалось ему, будто подошел к нему кто-то и легкая девичья ручка легла на плечо его. Он вздрогнул и поднял голову. Так все же значит раз это было... Затем он вошел в дом. Навстречу ему вышел учитель. Это был незнакомый ему человек, с удивлением смотрел он на путника.

— Я хотел бы видеть классные комнаты. Позвольте мне взглянуть, — произнес Смайлис.

— Пожалуйста, — удивляясь, сказал учитель. Оба они поднимались по лестнице и учитель что-то рассказывал.

Смайлис постоял немного в одной комнате, затем в другой, взглянул на окна.

Он чувствовал себя как на кладбище, где, спустя много лет, смотрел он на забытые могилы. Однажды это было, да, было; это не был только сон.

На кладбище долго не остаются и он повернулся, чтобы идти обратно.

— Благодарю, — произнес он, обращаясь к учителю и начал спускаться по лестнице вниз. Пустое помещение считало шаги его...

День был жаркий, когда Смайлис шагал по большой дороге. По серебристым ивам пробегал ветерок. Снова печаль охватила его, перемешиваясь с глубокой жизнерадостностью и сладостью. Разве невозможно чудо воскресения в действительности, не в одних лишь мечтах... Разве это уже не произошло? Нет, нет, — лишь блеснуло озеро; да камыши кланялись каждому дуновению ветерка, беспокойно скрепя свои мечевидные листья.

Около храма стояли повозки. Проходя мимо, Смайлис слышал звуки органа... Гибкие ветки берез махали ему, как зеленые руки и какая-то непобедимая сила приказывала ему остановиться.

Он вошел в ворота ограды. Двери были полуоткрыты. Сила древних хораллов гудела внутри, и он вошел... Долго сидел он на скамье, рядом с незнакомыми людьми и слушал безынтересную речь пастора, которая монотонно звучала в тихом, белом храме. Ему хотелось до конца проследить за медленным богослужением и слышать церковные

напевы и гул органа. Солнце проникало сквозь кресты оконных рам и лучи его падали на спины и головы богомольцев и на страницы старых молитвенников. На алтаре мерцало желтое пламя двух свечей темный образ смотрел на молящихся.

...Тогда снова какая-то легкая, молодая рука опустилась на плечо его; и было все так, как в действительности, и Смайлис знал, что это не только сон был тогда. Печаль превратилась в великую радость и он отдался ей, как белой волне... И снова проплыл мимо него огненный остров, сверкающий, горячий, в вечно зеленых венках... орган звучал как во время священных мистерий...

Преображенный шел он снова мимо дорогих ему могил, в которых поконлись сказки вместе с зеленовато-желтыми утрами, вечерами и веснами.

Когда богослужение окончилось, он стал на дворе под кленом и смотрел на толпу богомольцев.

Одно, другое лицо казалось странным. Неужели?.. Да, действительно он узнал их. Там был Путнинь, маленький черноволосый мальчик, с черными как драгоценные камни глазами. Вместо него был полный мужчина с припухшим лицом и водянистыми глазами. Его руки мягкие и толстые играли цепочкой золотых часов. Он был вероятно торговцем, он достиг своей цели.

Может быть днями и часами подчитывал он свои барышни. Он был хорошо одет и на голове у него была светлая шляпа...

А затем мимо прошел Ванас — все приветствовали его — он наверно был представителем власти.

Да, а затем — это был сын работника Волдис Вайнот, тогдашний рассказчик. На нем серый пиджак и запыленные сапоги. Руки у него загорелые, мозолистые, а глаза серьезные и смиренные. Двое детей идут рядом с ним в старых туфельках. Где же сказочные страны?

И еще один, и еще один идет — женщины и девушки и у всех на лицах какой-то маленький отблеск давно прошедших времен.

Смайлису хотелось бы крикнуть: где вы, милые мальчики и девочки, проснитесь! Но пробуждения нет. Мимо всех проплыл огненный остров и все забыли его. Жизнь — колдунья сказала свои волшебные слова и изменила и изуродовала всех. Каждый из них замкнутый в замок развалившийся замок, где когда-то пели мечты и реяли флаги, и золотой ключ спрятан, чтобы никто не мог более отомкнуть их.

Черные вороны гнездятся лишь в расщелинах стен и в траве покрывающей башни — никто уже не ждет пробудившейся принцессы. Да и существует ли она, да и была ли она когда-нибудь?

Чего он искал здесь? Ему нужно было хоть бы мельчайшую частичку от того, что было однажды, он приходил напиться, как жаждущий из какого-то забытого чистого источника в тени деревьев, вокруг которого так много весенних цветов. И он в течении нескольких дней пережил в мечтах свою чудесную сказку жизни — но много ли было в ней правды? Ничего!

Однако может быть вернулась бы и действительность, если бы только знать волшебные слова.

Ему нужно было дотронуться до чегонибудь осязаемого рукою своей..

И теперь, когда смотрел он на лицо Вайнота, он знал что-то. Он подошел к суровому мужчине, снял свою шляпу и приветствовал его крепко пожимая его огрубелую руку. Это была его юность; он смотрел как в зеркало, не улыбнется ли ему кто-нибудь. Но мужчина смотрел на Смайлиса и покачал головой.

— Не могу припомнить.

Только когда Смайлис что-то сказал ему, он заметно улыбнулся.

— Да далеки эти времена, да и мало и припоминаю. Наверное так и будет как вы говорите.

И затем он сказал пару слов про свою жизнь и спросил о том же и Смайлиса, но там не было ничего из того что было нужно. Фамилия его была правильна он был ранен колдуньей — жизнью за запретный околдованный замок, где однажды... где однажды...

Затем этот человек подал ему руку, ссылаясь на недосуг и на спешку, на работу и домашние дела.

Смайлис выпустил его огрубелую руку и ничего более не осталось. Это было все осязаемое, что было в мечтах Смайлиса. Грубая рабочая мужская рука, созданная для вечной работы.

Разве пойти поздороваться с другими? Посмотреть в глаза Путницу и Ванату? Разве эти руки будут лучше? Ах нет, это было бы напрасно и тоскливо. Это было бы тоже самое, что ласкать побелевшие кресты на кладбище и спрашивать у них о том, как шумел однажды ветерок в ветвях дубов и сосен и как падали с листьев прозрачные дождевые капли. Ворота в сказочную страну захлопнулись и с каждым днем все более ржавели замки.

Смайлис стоял под деревом и чувствовал как навевает на него печаль легкий летний ветер.

Чего же он искал здесь? Разве жизни и миру что-либо мешало? Разве она не была совершенной?

Солнце было так же ярко, как и раньше, и тысячи жизней взывали к нему. Разве на земле не набухали почки, разве не цвели розы и в озерах каждой весной не выросли водяные лилии?

Так же по ночам блистала молния, а осенними ночами небо бывало усеяно звездами, сквозь которое смотрела сама вечность. Звезды не изменили пути своего, во всей вселенной была гармония, как в божественной арфе и пальцы Его рождали симфонию, в которой не было еще ни одного диссонанса... Чего же искал он? А здесь — разве так же не ходили люди, а дети не кричали и не смеялись? Разве в сердцах не расцветали чудные огненные цветы и рука не сжимала руку с глубокой любовью и дрожью?

Чего искал он?

Нет, нет, никогда уже цветы не будут так цвести и никогда не будут более такими, как тогда. Это был мир, который уплыл, сверкнул и исчез. Разве никто и нигде не может найти его? Разве то, что было может бесследно исчезнуть, как дыхание? Или же может быть превращается в сказку?

И он искал только сказку ибо все стало сказкой. Он искал здесь того высшего момента, в который каждый побывал в сказочной стране, он искал какой-то предварительной жизни вне границ этих дней и пространства — да, это была какая-то иная, прежняя жизнь — так далека и неопутимо прекрасна была она. Кто же верил в нее? Тот кто верил в мечты и сказки.

Все освободились от этой жизни, он один лишь был там. Он один лишь искал принцессу... годами ожидал ее, годами шел сквозь тьму и моря на крыльях мечты своей, прошел и сквозь огонь — стремясь получить руку обещанной невесты. Он был сожжен, он был лишним, но в ушах его постоянно звучали слова — туда, в ту сторону...

У него не было ни дома, ни имущества, ни борьбы здесь, где каждый хватает свою долю. У него были лишь маленькие песни да сказки.

Смайлис поднял голову, когда никого уже не было. Звон на колокольные стих, двери закрылись. Только ветер тихо раскачивал гибкие ветви, да летний день как сладкая песня разлился над землей.

Вокруг храма лежал лишь седой каменный вал, покрытый мхом как ограда кладбища.

За озером, как линия проведенная великим художником, как лук, в прелестном изгибе стояли литовские леса...

Нет, ничто не сказка. Так оно однажды и было, как звучат милые слова...

Золотым дождем вливалось в сердце радость. Он нашел все...

Тогда он затворил маленькую калитку и тихо ушел, как пришел, по белой дороге. Рука в руку шел и разговаривал он со своей далекой, искомой невестой.

Они говорили о какой-то преждевременной жизни на огненном острове в зелени венков.

Разве так незначительно человеческое счастье?

Да, странна душа обитателя земли сокровищем своим. И если бы к нему подошел какой-нибудь король и посулил бы ему все почести земные и всю власть за этот маленький цветок в руке его — отдал ли бы он его?

— Ах, король, — сказал бы он — что тебе в чуде моем, если у тебя нет собственного?

Ибо продать и купить его мы не можем так же как и жизнь свою.

Утренняя зоря.

Отрывок. Сборн. «В Синей тюрьме»).

Янис лежал в постели с открытыми глазами. В руке его был лучший ежемечасник, первая страница которого начиналась исторически-социологическим очерком Яна Межсарга «Наши пути в будущем». Он только что кончил читать и у него было такое чувство, что нужно было бы весь земной шар прижать к груди, кричать, раствориться в звуках... Хотелось пойти и рассказать Эльзе.

Но Эльзы он не видел уже целый месяц. Милда, побывав у нее, рассказывала, что Эльза с тех пор, как получила новое место, все свободное время проводит со студентами, больше всего с каким-то Плаудом, к ней же совершенно охладела.

Усилием воли подавил он недоброе чувство, схватил несколько газетных номеров, которыми он обложил себя и начал искать рецензии.

В одной было упомянуто, что очерк Я. Мк хорош и написан хорошим стилем; во второй — что молодой писатель хочет сказать действительно что-то новое; в третьей так же коротко, что западноевропейские ученые едва ли согласятся с мыслями этого юноши, который к тому же не имеет академического образования... В прочих не было ничего упомянуто. Янис остолбенел... Что это означало? Он снова взял газеты, с бычьим сердцем просмотрел их с одного конца до другого... Ничего... Только всего...

Статья, которая разрушала все царящие в литературе культурные принципы и воздвигала совершенно новые, не оставила почти никакого влияния на нашу интеллигенцию!!!

Его называли варваром, Атиллою. О, он не был им. Он как Спаситель гнал фарисеев и садукеев вон из оскверненного ими дома Божия. А если он даже и Атилла, разве это преступление? Когда народ готовится задохнуться в своей мягкотелости, тогда являются Атиллы — приходят из других стран и приносят с собой гибель для народа. Но иногда восходит и более яркое солнце — Атилла родился в среде мягкотелых и громит народ свой, не для того, чтобы погубить его, но чтобы подготовить его воскресение. И разве есть кроме кнута какое либо другое средство, которое могло бы встряхнуть его? Этих писателей,

этих поэтов, которые бормотали и шепелявили как дети свои пошленные и позаимствованные у других мысли и фантазии.

Бормотали, поднимаясь на цыпочки, вытягивая шею, кривя бледные губы, про «свободочку», про «правдочку», про гениев, про песимизм, про Гете и Ницше...

В искусстве, в науке, в жизненном быту — всюду, куда ни глянь, слова фантазии и подернутые дымкой печали взоры гениев труда — и все это, только для ушей. Каждый сидит и дрожит под жалостным и завистливым взором редактора, льстит и угождает за каждую копейку, и, принеся ее домой, подсчитывает с женушкой, дружкой, или детками...

И вот этим то пришлось услышать эти святые слова! Но слушателями были создатели будущего родины и славы ее! Приличные рижских немцев, страх перед ними, обманы и хитрости высосали у них все силы, все увлечение, все жизненные соки!

Вы будете плакаться и утверждать, что наши внешние условия, что мировой скептицизм сделал вас такими? А я буду кричать вам, что вы лжете! Буду кричать вам, что даже буры умели сохранять свою независимость, Ницше сумел подвергнуть испытанию полюсы мысли человеческой, а Нансен — полюсы планеты нашей. Вы бредите потому, что сердца ваши и чувства пусты и далеки от истинных мировых вопросов. И если что-либо из этого случайно и попало в ваши рабские души, то это — десятая копия с копии. В вас нет и следа самостоятельности. Ноги ваши не касаются земли, а головы свои вы, как страусы, зарыли в песок, потому что нет у вас ни желания, ни сил, ни смелости, а вместо крови в жилах ваших течет болотная жижа.

Янис выскочил из постели и начал ходить по комнате. Он читал где-то в трудах Аспазии, Андреянова, или другого какого-то писателя, что Балтию сдвинуть с места невозможно. Теперь он мог себе это представить. На момент у него мелькнула мысль, никогда и ничего больше не писать на родном языке. Махнуть рукой и уехать в Россию или за границу...

Но это противоречило самым основным принципам его... сердцу... прогрессу... Он любил свое маленькое отечество. Ради него можно было себя и на костре сжечь, не моргнув глазом...

Пальцы его дрожали, когда он схватил со стола какое-то письмо, в котором тоже было что-то сказано о его статье. Тут его называли основателем новой эпохи, писателем, который и для западной Европы явится чем-то новым. Тут его называли талантливым историком и социологом. Удивлялись его остроумию, с каким он схватывает са-

мый скелет и душу в расплывающемся теле жизненного быта. Много-чего было там в этом духе. Это письмо он получил от одного известного журналиста, которого он считал глубочайшим знатоком дела, почему через него и послал свой манускрипт.

Янис волновался тем более потому, что даже и этот человек хранил молчание. — Но это же ужасно! — хватаясь за голову, воскликнул он, — неужели же мой народ действительно является живым мертвецом!... Что означает молчание интеллигенции? Неужели она так равнодушна к своему народу, к правде? Разве она кого-нибудь боялась? Может быть она считала неприличным волноваться?... В Риге действительно «хороший тон» является главной жизненной задачей. Он вспомнил, как один из первых литераторов с большим пафосом учил его, как нужно держать нож и вилку, как чесать волосы, носить шляпу и т. д. в тот момент, когда он ожидал от него небесной росы для своего жаждущего сердца, когда он даже не чувствовал, есть ли у его души тело, волосы и шляпа... Но это было бы такой слепотой, таким убиением духа, каких даже и у жида не найти!...

Или может быть из характеристики своего народа он выпустил самое главное свойство — лень? Но кто же был более работающим, чем латыши? Он начал мысленно переживать последнюю эпоху, стараясь отыскать моменты волновавшие Балтию. Они были — во времена Валдемара, Матера и Янсона. Но как же было поднято это волнение, неужели самой правдой? Никогда... Претензии, смех, шутки, грубые нападки на личность... Ах, толпа! толпа! — упав на ступ, воскликнул он: — неужели же даже нашему великому Валдемару, лучшему мужу нашему, приходилось братья за такое оружие, чтобы действительно грубому и спокойно погрязшему в своей личности народу внушить предчувствие правды! Это так поразило его, что он долгое время не мог придти в себя.

Почти 40 лет прошло со времени военного похода Валдемара, а народ — особенно же интеллигенция — все так же еще дико груб и равнодушен к каждому общественному делу — настоящий земледельческий народ!...

Чем больше он думал, тем больше убеждался в однородности мыслей своих с мыслями Валдемара... Итак со времени Валдемара народ был на ложном пути, и теперь снова нужно было навести его на тот, единственно правильный путь, на котором когда-то стоял он...

— Так оно и есть, так оно и есть, — мысленно повторял он. Вспоная неутомимый дух Валдемара, в нем росла сила и он чувствовал,

как кровь ударяет в голову и дрожь пробегает по всему телу его до корней волос.

— Ну, хорошо мысленно крикнул он, — да будет так!

Сегодня, Балтия, я плюю тебе в глаза и вот начнется борьба, в которой я не пожалею ни мужчины, ни женщины, ни старика, ни ребенка. Мой меч как бритва и кровь будет дымиться на нем. Мой смех, как легион злых духов, будет душить, бить вас и не будет на родине моей никому больше покоя, пока буду дышать и жить я...

В висках у него стучало голова кружилась. Схватив пальто, он выбежал вон.

Он шел натываясь на прохожих, не думая, куда и зачем идет. В мозгу то вспыхивали, то потухали новые темы...

Зашло солнце, стало прохладнее: на улицах начали зажигать фонари, а Янис все шел и шел... Улицы наполнялись народом. Рабочие и чиновники возвращались со службы домой; студенты и школьники выходили на вечернюю прогулку...

Все это сливалось в один бесконечный шум и мысли Яна оцепенели.

Лоб его был покрыт потом, а лицо посерело от усталости. Тогда он увидел перед собой Эльзу. Она шла опираясь на руку Плауда и смеялась. В этом смехе Янис уловил что-то новое. У него вдруг мелькнула безумная мысль: Плаудис был очень умным и талантливым человеком. Он в русских журналах печатал даже стихи, которые в некоторых кругах пользовались большим успехом. Но в нравственном отношении человек он был недалекий, и ни на что другое, кроме стихоплетства, способен не был. Поэтому был опасен для каждой женщины. В этом смехе Эльзы звучало что-то циничное, напоминающее Плаудиса, а последний старательно скрывал цинизм свой, и лишь за стаканом пива да с распутными женщинами все скрытое прорывалось наружу. Янис инстинктивно остановился и у него было такое чувство, что надо было бы дать Плаудису по уху и силой вырвать Эльзу из сетей его.

Эльза также его заметила и отгадала его мысли. Но в глазах его, ей показалось, она прочла презрение и к себе. Кровь ударила ей в голову и она поклялась никогда не простить Яну этого презрения.

Она еще вольнее стала смеяться и, наклонившись вперед, смотрела на покрасневшее лицо Плаудиса таким пламенным взором, что все завертелось перед глазами Яна.

Тут уж гордость или самолюбие были более неуместны. Теперь ничто уж более не удержит его от принятого им решения, с каким

он приехал в Москву. Сегодня вечером он отыщет и скажет ей все — пусть будет, что будет... Если и нужно будет остаться одному — не беда. Смерти искать он не будет, но он станет еще безжалостнее.

Всю горечь жизни вложит он в борьбу...

Он был уже дома. Долго в каком-то оцепенении простоял он около стола. Затем он опять вышел... Сначала надо было узнать у Милды адрес Эльзы, а затем идти к ней...

Милда весело выбежала к нему навстречу и приглашала зайти. Схватила какую-то книгу и спрашивала у него о чем-то серьезном. Но он ответил, что не может говорить сегодня о подобных вещах.

— Однако с Эльзой ты серьезно поговорить хочешь, — шепнуло сердце.

— Ян, я скажу, чтобы подали чай, — крикнула Милда и выбежала в смежную комнату.

— Вы так долго не были у меня, — возвратившись, продолжала она; — поговорим о чем-нибудь... Скажите, ежемесячник с вашей статьей уже получен? Он должен был быть получен уже вчера... Я прочтала в какой-то газете — пишут, что хороша статья-то...

Не будем об этом говорить! — перебил ее Янис и задумался.

Милда замолчала и вопросительно смотрела на Яна. Чем пристальнее она смотрела, тем нездоровее казался ей Янис. Но она не смела сказать ему об этом.

— Милда! Вы ведь, что сестра мне...

— А вы — как брат...

— Я боюсь за вас, боюсь за свою совесть... Я хочу быть правдивым Милда!... — Взял ее за руку и искал слов. Милда казалось не глазами, а всей душой смотрела на него и ожидала.

Янис закрыл лицо руками и долго молчал. Милда также не проронила ни слова. Она была как в экстазе, глаза ее пылали, казалось, близились счастье, которое приходит только раз в жизни.

— Я не могу быть для вас никем иным, как только братом... я люблю Эльзу... — не отнимая руки от лица, закончил Янис.

Милда сразу не могла понять сказанного. Что-то, как дуновение коснулось струн ее сердца и глаза ее раз и другой нервно моргнули. Затем ей показалось, что волосы ее вместе с кожей содранные упали на пол к ногам ее. Вздрыгнув, она отступила от того места и, закрыв лицо, начала тихо, но неудержимо рыдать.

— Ян, я с ума сойду, — Ян, иди ко мне! — с ужасом в глазах, перестав вдруг рыдать, воскликнула она. Руки ее бессознательно хва-

тались за грудь. Янис взял ее за плечи, и Милда, как ребенок, закрыла глаза, и прижалась к груди его. Руки ее обняли его за шею. Страх охватил и Яна. Он оцепенел и не знал, что делать. Было тихо и, казалось, что-то светлое промелькнуло мимо них. Двери открылись сами собой, вся комната погрузилась во тьму.

— Ян, ты не любишь меня? — холодно спросила Милда, когда Янис совершенно не ожидал этого.

— Да! — вырвалось у него.

— Зачем же ты ласкал и целовал меня? — крепко обняв его, шептала она. Временами дрожь пробегала по всему телу ее.

— Я сам не знаю. Весна — я жил как во сне, — затем родилась любовь, и не знаю к кому больше к вам, или к Эльзе...

— Ну, а теперь знаете?

— Знаю.

Милда быстро освободилась и прошептала: ну так идите — уходите скорее отсюда.

Янис стоял смущенный.

— Идите, я вам говорю! — топнув ногой, крикнула она, как малый капризный ребенок.

Янис пошел к дверям.

Милда стояла и долго не могла опомниться... На столе было какое-то письмо. Механически прочитала она подчеркнутые слова: — я женился — и в другом месте: — не смогу наверное больше помогать тебе, девочка... Взглянув на то место, где только что сидел Янис, тепло и приятно дрогнуло у нее сердце. Она не могла поверить тому, что произошло... Усмехнувшись, она села на стул Яна, поправила гребень в волосах, при чем заметила, что пальцы ее дрожат.

Она вспомнила и Ремизова и его револьвер. Представила себе, как она могла бы застрелиться. Но затем отогнала эти мысли...

Открылась дверь, хозяйка принесла самовар.

Где же ваш гость? — спросила она.

— Ушел домой... — серьезно сказала Милда и махнула рукой. Когда хозяйка вышла, легла в постель.

Янис спустился по лестнице вниз и, затаив дыхание, прислушивался к малейшему шуму сверху. Поднявшись на несколько ступенек, слышал, как хозяйка внесла самовар, как они разговаривали...

После этого он успокоился. Вышел на улицу и быстро пошел вперед.

С Эльзой непременно хотел встретиться сегодня же. Этот день должен был стать последним и новым днем.

У Милды он не спросил адреса Эльзы. Плаудис знает его. Поэтому он пошел к Плаудису. Оттуда к Эльзе.

Совершенно усталым подошел он к дому, где жила Эльза. В дверях он встретился с какой-то дамой. Та села на извозчика и, внимательно посмотрев на него, уехала. Это наверное была принципальша Эльзы. Прислуга ввела его в гостинную. Видя, что Эльзы нет, она показала на дверь ее комнаты.

Янис хотел постучать, но случайно нажал на дверь — она сама открылась... Он вошел и от волнения, которое вновь охватило его, онемел...

На столе ярко горела лампа. За открытой книгой сидела Эльза в белой, красными точечками, легкой кофточке. Можно было видеть, что так поздно она не ждала гостя. Косы ее были расплетены и тяжелыми прядями падали на плечи.

Машинально она повернулась к дверям. Глаза ее широко раскрылись от удивления.

Янис растерялся и не мог припомнить того, что ему нужно было сказать. Как одурелый смотрел он на Эльзу. Рот его был как бы склеен, на губах играла ничего не значущая улыбка.

— Он пьян, — подумала Эльза: — иначе он не пришел бы. — На момент он показался ей похожим на Плаудиса. Иной причины у него не могло быть.

Оскорбленная гордость, стыд, жалость и гнев охватили ее...

— Вон! — изгибаясь как змея и топая ногой, прошептала она. Она готова была броситься на него и ударить.

— Эльза! — опомнился вдруг Янис.

— Вон! — как фурия подскочила она к нему и распахнула дверь.

Янис задрожал. Лицо его переменялось. Он вышел из ее комнаты.

Стойте, мерзавец! — схватив Яна за плечо, прошептала она: — что вам нужно?

— Эльза! — я забыл свою гордость и самолюбие! Сделайте это и вы... воскликнул он растроганно и хотел было взять ее руку...

— Я презираю вас! — как сумасшедшая крикнула она и захлопнула перед ним дверь... Янис медленно направился к выходу. А Эльза схватила книгу, в которой только что читала статью Яна и с бешенством бросила ее в угол. Она сбросила туфли, сорвала кофточку

и бросилась в постель. Обхватив подушку, она впилась в нее зубами, прижимаясь к ней, как сумасшедшая голою грудью...

Янис ушел — навсегда — он был негодеем, как и все прочие, но она любила его!!!. Она хотела броситься за ним — догнать, такой, как она есть — отдаться ему, хотя бы на один миг, — прижать его к своей груди, целовать, задушить собственными руками...

Янис был уже на улице.

— Она горда, как сатана! — уже с детства. Она никогда не забудет обиды тогда — весной...

Она как змея готова была бы задушить меня... Но там нельзя помочь уже ничем... — Мысли мелькали в голове Яна, с ними шел он по улице, клянясь вырвать из своего сердца последние корни любви. Если нужно, сделать все, но только никогда не возвращаться к Эльзе.

Свою боль, гнев, волнение он снова хотел утопить.

— Фурман! — крикнул он — в ясную, морозную ночь: — К «Яру»... Было морозно... Он ехал и думал.. Мысли принимали другое направление... — Пить, гулять в «Яре» — как это вульгарно и дико!!!... Он, высокий человеческий дух, заместитель Валдемара — святые муки свои готов обменять на удовольствия!!.

И показалось ему, что в муках этих кроется великое счастье...

Он принял решение никогда более не прикасаться к вину. Жалок тот человек, который должен искать счастья вне себя...

Все это явилось так внезапно, так неожиданно. Выскочив из саней, он расплатился и пошел пешком. Никуда кроме, как домой...

Он шел и волнение его понемногу проходило...

Он шел довольно долго, когда вдруг поднял голову.

Удивленный он остановился...

Улица ведет вверх. В конце ее церковная ограда и стены. Белые башни исчезают в темноте небес. Внизу темносиние, прозрачные тени на стенах и на снегу. Воздух будто застыл. Как кристаллы, всюду блестят снежинки. Янис стоит в каком-то оцепенении и смотрит вверх... Все затихает в нем. Величественная жизнь охватывает его, как ледяное море... Душа разворачивает крылья и исчезает в безднах фатума, — растворяется и исчезает... На улице остается только тело его, члены и мысли, страсти. А вокруг зола борьбы в течение многих столетий — синеватые стены и башни...

Но «сам» подымается над всем этим. Чистый, как крыло лебедя, как плечи ангела. Он чувствует, что все, что мы называем трагиз-

мом событий, трагизмом горя и страха, исчезает там, где оно встречается с фатумом, с великим трагизмом сущности и жизни. С тем на что намекают Гамлет и Фауст... Тишина, — сердце открыто. Тут же вошел второй — неизвестный... Кто? Фатум. Он оставил следы в сердце, как блеск снега на краю лунного диска. Там, в сердце его начинаются они, а в бесконечной звездной мгле исчезают...

За стенами поднимается шум и быстро приближается к нему. Мимо проносится карета с зажженными фонарями. В карете дама в черном.

Этот шум тревожит Яна. Он постепенно приходит в себя и чувствует на лице острые уколы ледяного ветра. Он идет дальше. Думает об этом коротком мгновении, в котором он с Елисейских полей успел дойти до безмолвия туманной Леты... Эти мгновения глубже и счастливее, нежели море глубочайших страстей... Страстный человек несознателен, как животное, но здесь — в тишине он, как ангел беседует с трагическим решением доступной взору его вечности... Но такие мгновения бывают редки... Их нужно ожидать в тишине, чистоте сердечной — в белом одеянии, с фиговой ветвью и со свечью в руках...

Только тот, чья броня выточена фатумом, имеет право стать жизненным судьей...

Янис хотел еще раз пережить это мгновение, но это ему не удалось... Все пережитое им за этот день подобно облаку комаров окружило его, закрыв собою луну и звезды... И вдруг его охватила ужасная жажда одиночества, — одиночества, которое является лестницей к тишине... ко мгновению фатума...

...Эльза всю эту ночь промучилась без сна... Бесконечно огромный и темный купол вселенной вставал перед ней, только лишь стоило закрыть ей глаза. Снова, как в день Страшного суда гудели звуки невидимых органов... Просыпаясь, она всеми силами старалась понять, что означает все это... Но смертельной усталостью были наполнены все чувства ее. Рыдая, возвращались они и ничего не могли рассказать ей... Проснувшись утром, она не находила себе места, стены ее комнатки, казалось давили ее... напоминали ей чужбину, бедность, унижения, дикую, неудовлетворенную любовь. И ни одного луча счастья — ни малейшего.

Она пробовала связно размышлять, пробовала учиться, читать, но все напрасно. Хозяйка разговаривала с нею, но при каждом вопросе она пробуждалась будто от кошмара...

До обеда она оставалась дома, запершись в своей комнате. За-

тем, переодевшись, пошла к Плаудису. Там осталась она до позднего вечера.

Возвратившись домой она снова скрылась в своей комнате. Обняв ту же подушку... горько плакала... Плакала не о том, что потеряла, но о том, что не Ян — ее единственный и любимый — это у нее отнял... И теперь она любила его еще более чистой любовью.

На столе лежала записка от Ремизова. Он просил Эльзу придти к Мильде, которая заболела. Эту записку она прочитала лишь на следующий день и тотчас же ушла.

Маре.

Они медленно поднялись на гору. Широкая долина, освещенная лучами весеннего солнца, лежала перед ними. Молодой путешественник приложил руку к глазам, защищая их от солнца, и внимательно смотрел на дорогу, которая вилась по долине. На свою дорогу.

Как лента вилась эта дорога между зелеными дугами и богатыми нивами, то поднималась на гору, то исчезала в долине — далеко, далеко вилась она, огибая рощу, как желтая нить, пока наконец совершенно исчезла в темном лесу у самого горизонта.

Хотя он и смотрел на дорогу, но думы опередили его — на целые мили!

Разве можно было измерить или охватить его великие мысли и намерения?

В темных глазах его блеснула искра духа гордого завоевателя мира, как будто нечаянно протянул он руки и глубоко вздохнул; грудь его наполнялась избытком счастья. Затем он наклонился к своей спутнице.

И она следила за взором юноши, пока глаза ее не стали влажны, а предметы не затуманились, тогда она закрыла их. Но когда она снова взглянула на своего спутника, глаза ее сияли, как солнце.

— Ты себе и представить не можешь, как счастлив я, — начал юноша, — так долго боролся, почти уже пришел в отчаяние и наконец свободен! — Свободен! — Так страшнеть с себя иго рабства, эти унижающие узы бедности! — Еще ничего не начато... но это меня не беспокоит, — лишь бы вырваться из этих притеснений и мир мой!.. Как жаждал я свободы! Другой на моем месте не смог бы освободиться, ему надоело бы бороться, но для меня это было легкое дело... Я чувствую, что я все могу, что хочу, и это делает меня еще более сильным. Свободного места для духа и способностей моих — этого лишь у меня и не было, но вскоре это будет у меня!.. Ты увидишь... вы, там в долине станете свидетелями этого через пять... десять лет...

Он обернулся и бросил сердитый взгляд на поселок, мирно расположенный в долине и освещенный солнцем, который только час тому назад он называл своей родиной.

— Они думали, что я не достоин внимания. — Такой горемыка, сын бедного поденщика! — Ха, ха! — Уже в школе, когда они воображали, что я избегаю их из-за смирения или грусти, они готовы были точить о меня зубы свои, но как они ненавидели меня, когда я обходился с ними, как будто сами они были этими низкими и презираемыми...

Он поднял плечи и скрестил руки на груди. Это придало виду его что-то надменное. Но принимать такую позу, когда мысли его были заняты чем-нибудь важным, уже с детства привык он. Из-за этой позы смелые и рассудительные люди уже издавна называли его нищим принцем». И теперь он был погружен в горькие воспоминания своей юности, в то время как взор его следил за теньями, которые легкие облачка гнали через равнину. Воспоминания были горьки, но ему нравилось задерживаться на них.

— Так жить... вечно одному со своим переполненным сердцем, одному против всего мира... И никем не быть понятым... — сказал он с темным удовлетворением.

— Никем?!

Полуутвердительно, полувопросительно произнесла девушка.

Как всегда, так и на этот раз звук ее голоса был для юноши как милая ласка. Он схватил ее руку и тепло произнес:

— Нет, нет! Как никем! Ты всегда понимала меня, моя милая подруга детских игр моих! — Он глубоко заглянул в ее очи и на лице его промелькнуло сожаление. — А знаешь — действительно — иногда здесь бывало так хорошо. Помнишь, когда мы зимой, по вечерам, убегали с саночками на наше местечко, откуда еле-еле еще можно было видеть огоньки поселка? И никто не знал, где мы находимся. — Всегда у тебя было для меня что-нибудь в кармане, в чем ты иногда может быть сама себе отказывала...

— Ничуть! Мать часто давала и для тебя.

— Мать! Какая у нея была нужда кормить чужих дармоедов!

Но все же сердце ее не лежало ко мне.

— Ах, неправда!

— Ты со своей ангельской душой! — смеялся он, — если ты вечно будешь таскать все этому мальчишке, то ты наконец и сама ничего не получишь! — слышал я, как однажды сказала она.

— Она никогда так плохо не думала.

— Нет, она так плохо не думала, ибо ты и после этого все продолжала «таскать» мне, моя добрая русалка!

— Ты был так добр ко мне, так бесконечно добр.

— Мне так правилое... Но и все эти невинные детские радости, как мне надо было нищенствовать и выпрашивать их у моего хлебодателя! Нищенствовать и выпрашивать их у моего хлебодателя! Нищенствовать! Нет, я украл их и за за это меня наказали.

А как все восхваляли его воспитание! На его стороне была вся правда, я же был несчастным горемыкой, без защитника. Эх, как я ненавижу его, это воронье гнездо, там в долине!

— Ах, не говори так, не говори! — в испуге молила она. Он бесечно смеялся.

— Не беспокойся. Я им ничего не сделаю. Моей мезтью было бы, если я раз эту малость там — он указал на поселок в долине — мог бы превратить в большой, могучий город. Вот поэтому то мне и надо спешить отсюда.

Прощай, Маре!

Губы ее шевелились, но шевелились беззвучно. Юноша схватил и пожал ее руку, которая безжизненно висела вдоль тела.

Он ушел.

Там, внизу он еще раз обернулся. Во взгляде его отражалась больше радостная надежда на будущее, нежели печать разлуки. Он поднял шлягу.

— Будь здорова, Маре!

— Будь здоров, Висвалд!

Неподвижным, безжизненным взором следила она, как, спускаясь вниз, он наконец исчез из ее глаз.

Она видела еще только голову его, затем шлягу с орлиным пером.

В глазах она почувствовала боль и щипанье, но всячески боролась со слезами, чтобы иметь возможность дольше последить за ним. Вот он снова поднимается на гору. Остановился еще раз помахал рукой и затем снова зашагал, насвистывая веселую песенку.

Ну, а теперь ничего уже более не было слышно.

Маре опустилаcя на камень там же у дороги и долго, долго лились горячие слезы из очей ее... Опершись усталой головкой на колени, она закрыла глаза. С каким удовольствием душа ее укрылась бы теперь от мук грядущих дней... как хорошо было бы теперь заснуть и спать пока... он снова вернется на родину... пока все снова будет как было.

Легко как увядающий листик, что-то коснулось плеча ее. Она подняла голову. Могучая фигура в темном, широком плаще стояла рядом с нею. Странная торжественность охватила ее, все тело ее

вдрогнуло как будто от ужаса, но она оставалась неподвижна и ждала.

Незнакомец указывал вдаль. На последнем повороте дороги, видимом на опушке леса двигалась черная точка.

— Действительно brave парень, нечего сказать! Хорошо сложен с головы до ног, только глаза вот...

— Глаза! А что с его глазами? — в испуге воскликнула Маре.

— Они не способны видеть вблизи. Все, что далеко, кажется им огромным, могучим, достойным соперничества, а то, что вблизи, они не видят. Глупец! Он побежал туда искать счастья, а счастье все время было рядом с ним.

— Ах, ты наверное его совершенно не знаешь, — несмело ответила Маре. Но когда незнакомец промолчал, она тихо спросила:

— Кто ты такой?

— Я вестник, приближения которого стараются не замечать. Люди думают, что я загораживаю им свет и стараются по возможности скорее освободиться от меня... но шаг мой медленен, я охотно медлю. Чем нелюбезнее меня встречают, тем дольше я остаюсь.

— Но это ведь нехорошо с твоей стороны. Я не осталась бы там, где меня не желают видеть.

— Мне нужно оставаться. Но иногда случается, что меня провозжают с улыбкой на губах и райским сиянием в очах.

— Я тебя не понимаю и меня охватывает ужас от близости твоей. Как зовут тебя?

— Что в имени тебе моем? Каждый зовет меня по-своему. Будь здорова! Я хочу следовать за ним.

Он махнул в ту сторону, куда ушел Висвалд.

— Ты хочешь следовать за ним? Подожди! Не становись на его пути! Я чувствую, что близость твоя не принесет ему ничего хорошего.

— Нет, это по-твоему ничего хорошего. Я подготовлю ему неудачи, недостатки и отчаяние.

— Я предвидела это! Разве нет средств предостеречь это?

Я умоляю тебя! Пройди мимо!! Или возложи на мои плечи, что суждено ему.

Незнакомец казался раздумывал.

— А что бы ты для него сделала?

— Все, что ты прикажешь.

— Волшебное сияние очей твоих часто радовало его. Отдай его мне и пусть на этот раз он идет своей дорогой.

— С каким удовольствием я его отдала бы тебе, если бы этим можно было спасти своего друга! Только на этот раз, сказал ты? Так значит ты все-таки последуешь за ним?

— Да, я последую за ним.

— Но в таком случае ты будешь знать, когда ему угрожает опасность. Ах, дай и мне эту способность.

— Я ничего не делаю даром. Волосы твои так блестят, будто чернее солнце укрыло в них луч свой. Дай мне их блеск!

— Возьми его. Но где и каким образом ты будешь сообщать мне о судьбе его?

Незнакомец снял с шеи тонкий шнур, на котором висело маленькое колечко и подал его Маре.

— Носи его на сердце. Когда ты почувствуешь от него болезненный укол, тогда спеши сюда, я принесу тебе вести о нем.

Последнее слово звучало уже издали, как эхо...

Маре осталась одна.

Разве это был сон? Маре, как в безчувствии, схватила одну из длинных кос своих и взглянула на нее. В испуге она снова выпустила ее из рук. Итак все же не сон! Ее волосы потеряли блеск и окраску. — Но счастливая улыбка осветила лицо ее: все-же это случилось ради него.

Солнце клонилось к вечеру, когда Маре возвращалась в поселок.

— Ай-хо, хали-хо! Подожди, Маре, подожди! — раздался позади нее чей-то веселый голос.

Молодой цветущий парень с высоко поднятым букетом только что распустившихся анемонов в руках бежал за ней. Рано ушел он в лес, чтобы нарвать их для Маре... для Маре, которую любил он больше жизни своей, как много раз уже утверждал он. У него теперь было так легко на сердце, ибо Висвалда, с которым одним он не мог соперничать, более не было. Его самонадеянность поднималась как выюн, с которого свалили камень... теперь ему не надо было ни перед кем идти на уступки.

Маре подняла на него глаза. Парень отпрянул, как ужаленный. Неподвижный взор его был устремлен на глаза Маре, затем, испуганный, он перевел его на длинные косы бесцветные и лишенные блеска.

От быстрого бега у него захватило дыхание. Когда он подавал цветы Маре, в глазах его горела страсть, а руки так сильно дрожали.

Рука с букетом цветов опустилась. Как одурманенный отступил он несколько шагов назад. Ужасная злоба овладела им, будто кто-то несправедливо обидел его. Что же тут произошло?.. У него что-то похитили, что он считал почти уже своей собственностью. Но он был разумный юноша. Он понял, что гнев не поможет ему и он лишь скривил губы в презрительную усмешку.

— Батюшки! Ты наверное была на ведьминой горе, а?

Он помедлил несколько секунд, ожидая ответа, но лишь воробьи чирикали на заборе, будто радуясь его гневу. Тогда он повернулся и бросил букет далеко через дорогу. Вместе с букетом исчезла и его великая любовь к Маре и преклонение перед ней.

Вскоре парни и девушки пустили слух, что красавица — Маре была на ведьминой горе и потеряла там сияние прелестных глаз своих. Девушки-то утверждали, что она и раньше не была никогда красавицей; только потому лишь, что она умела кокетничать да казаться гордой, парни и считали ее за таковую; с ними вполне соглашался и тот, кто хотел подарить ей цветы. И Маре начали с тех пор называть «та с этими неясными глазами».

Прошли месяцы и годы. Радость и веселье стучались иногда и у дверей Мары, но никогда она не открывала им. Время ее проходило в одиночестве и горячих мечтах. Днями и часами мысли ее были заняты милым образом, пока руки ее были неустанно заняты работой... воспоминание о друге было ее единственным счастьем.

Маре должна была теперь работать за двоих, ибо мать ее стала слаба и нуждалась в уходе. Не мало говорила она о том, что Маре время уже выходить замуж. И ей было бы легче умирать, если бы она видела, что единственный ребенок ее устроил свою жизнь так, как полагается каждой честной женщине. Она не сомневалась, что Маре может получить лучшего мужа в поселке. Хотя она была и не богата... все же маленький домик у нее был. Из-за домика этого мать всю жизнь свою проработала, да и сама Маре была прелестной девушкой, ни одна девушка во всем поселке не могла соперничать с ней. Лучшим, т. е. наиболее зажиточным парнем был именно тот, который намеревался преподнести букет ей и мать втайне часто называла его своим зятем и радовалась, когда слышала иногда вблизи раскаты его голоса. Но давно уже он не показывался здесь.

Давно уже у матери Маре ослабело зрение; но все же прелестную улыбку, которая появлялась на губах Маре, она различала. Когда

ей становилось тяжело, она призывала дочку, хотя и нечего было сказать ей, но у нее так легко становилось на душе, будто солнышко заглядывало в комнату. Заботы о судьбе дочери не давали ей покоя.

— Плохо, доченька, надо было бы тебе замуж — что это за жизнь?

— Разве я смогу так ухаживать за тобой, когда у меня будет еще и другой, за кем надо будет ухаживать и кого надо будет любить?

— Ах, детка, из-за меня то... — не окончила мать, как бы лучше зная.

Но Маре выскочила на двор, горячие слезы оросили лицо ее. Да ее счастье наступит и оно будет таким огромным, таким могучим, каким оно лишь показывается людям во сне! Теперь же надо было лишь ждать, надеяться и мучиться.

В один прекрасный день она почувствовала болезненный укол маленького колечка, которое она получила от незнакомца. Поспешно бросила она работу и отправилась к назначенному месту. Когда она взобралась на гору, незнакомец уже ожидал ее.

— Я предвижу уже, что ему грозит опасность!

— Сильные враги угрожают ему; хотят уничтожить то начинание, на котором основаны все надежды жизни его.

— Так спаси его если можешь!

— Я нет! И на этот раз ты сама это можешь сделать, если хочешь пожертвовать...

— Скажи лишь чем! — воскликнула Маре, и умоляюще протянула к нему руки.

— На лице твоём какой-то ангел провел тонкие, светлые линии, незаметные для глаз простого смертного. Когда душа твоя преисполнена любви, они проявляются как синева небес, и кто тебя видит тогда, у того открывается сердце для тебя, как цветок для лучей солнца. Этот ангельский дар люди называют улыбкой: ее ты должна отдать мне.

— И ты спасешь его! Так бери ее!

Как падучая звездочка блеснула и потухла в последний раз улыбка на прелестном личике Маре...

— Не знаю, разве окна эти стали так же слепы, как глаза мои, Маре, или ты более не протираешь их; все здесь так печально и уныло... Подойди же сюда, дочка! — позвала мать, садясь в постели.

Она, казалось, в лице девушки искала причину, почему в комнате так уныло, но черты лица Маре оставались немые, как высеченные

из камня. Тогда старуха глубоко вздохнула и опустила голову на грудь.

— Сколько мне осталось еще жить... мне ведь все безразлично... но, если ты, Маре.. привязалась так к человеку, который не достоин того... Жди бы в счастье и довольстве, а ты вынешь... в заботах. Раньше времени состаришься... не можешь даже улыбнуться больше.. Маре, Маре!... Хоть бы перед смертью увидеть мне какойнибудь солнечный луч...

Долго еще ожидала старуха луча этого, но когда ни один не блеснул ей, тогда однажды лицо ее окаменело сном смерти.

Теперь Маре была одна. Когда расцвели июньские розы, она ждала своего возлюбленного; когда осенний ветер гнал через равнину увядшие листья и зимние метели выли вокруг ее домика, она прислушивалась по вечерам, не постучит ли кто тихо у дверей, а когда весной дети возвращались с гор с руками полными первых анемонов, сердце ее ликовало, ибо он мог, наконец, явиться в любой день!

Но тут она вдруг снова почувствовала призыв незнакомца.

Он сидел на камне и глядел вдаль, где между зелеными полями вылась дорога, так как тогда глядел он.

Маре уже довольно долго стояла перед ним, когда он повернулся к ней.

— Неожиданная, тяжелая болезнь грозит ему. Если бы он даже и остался жив, то невыразимые муки были бы его уделом.

— Могу ли я спасти его?

Голос ее звучал сердечной мольбой.

— Ты могла бы еще. Но если опасность минует его... Он забудет тебя.

Маре стояла без движения, без звука, будто кровь остановилась в жилах ее.

Тогда незнакомец поднялся, чтобы идти. Его фигура таяла во мгле; тогда лишь опомнилась Маре и протянула к нему руки.

— Останься еще, останься! Пусть будет так — пусть — будет так! — Будто жалость мелькнула на благородном мраморно-бледном лице незнакомца: он тихо промолвил:

— Так долго пока ты не согреешь и не оживишь холодной души его, пламенем твоего собственного сердца.

— Он исчез. Слышала-ли Маре последние слова его, которые прозвучали как шелест леса? Она упала на камни, лицо ее передергивалось от боли, а дрожащие губы шептали: забыта, забыта... забыта!..

II.

Прошли годы.

Куда девался маленький поселок, который ютился у подножья горы? Там, где раньше быстрая река свободно несла воды свои через зеленые дуга и поля, теперь раскинулись, прильпши к ней, широкие улицы с прекрасными домами; высокими дугами изогнулись мосты над водами ее, соединяя собой кварталы города: куда бы ни кинуть взор, всюду могучим сильным ключом била жизнь.

Прилежные руки человека местами задержали быстрые воды и заставили их работать на себя, как бы в гневе за такое ограничение свободы с ревом и шумом падали они через мощные шлюзы, но немного дальше им снова приходилось покоряться. И река покорилась силе человека: как обессиленная тихо несла она наконец воды свои к морю. Когда ей не нужно было уже более спешить, у нее мелькнула мысль о том, что видела она в этом новом городе. Откуда появились эти новые лица? Лишь редко видела она там-сям кого-нибудь, кто в дни весны своей сиживал на берегах ее, доверял ей печальные мечты свои и горячие желания, или же с любопытством спрашивал у нее, каковы небеса на тех высотах, где она в виде янтарно-прозрачного ключа начала бег свой. — Это мне совсем не нравится, — вздыхала река и тихо продолжала путь свой, — все здесь так шумят, будто хотят перекричать друг друга и слушать только собственный голос. — Что привело их сюда? — В одном замке созданном всеми средствами, которые только могут дать искусство и природа, жил тот, кто со всех стран света привлек сюда толпы людей, которые помогали бы ему вырывать золото и другие сокровища из недр земли и копить их. Ему нравилось, когда в праздники люди стояли у красивой ограды и любовались чудным садом и жилищем его, почитая их за чудо; когда быстрые кони его неслись по городским улицам, ему нравилось думать, что люди с удивлением смотрят на него; когда он ходил по копиям своим, раздавая приказания, ему нравились громкие и тихие выражения славы и почета. Хотя он и показывал вид, что не слышит, когда люди шептали: — Видишь, там господин наш, видишь, там наш повелитель! — Но он не мог удержать людского ликования, как не мог утишить шума моря.

Да и кто был почитаем более его? Он нашел чудесные источники купааясь в которых тысячи и еще раз тысячи обрели красоту и мощь, о которых раньше и не мечтали.

Много друзей было у Висвада. Вблизи, конечно, больше, чем

вдали, хотя и вдали число их было велико. Друзья очень любили Висвалда, ибо он был добр, мудр и любим, так приятно было чувствовать себя в блеске близости его, да и Висвалд любил друзей своих, как лучших и наиболее уважаемых людей на свете, кто не был честен и уважаем, тому не было места у Висвалда.

У него была прелестная жена — украшение и роскошь дома его — которую любил он и которая отвечала ему тем же; никто не умел так оттенить красоты ее, как он. У Висвалда было двое детей, таких умных, талантливых и прекрасных, что даже старики не помнили что бы когда-либо им приходилось видеть таких.

Его слуги были так честны, что что служили для всех примером. Да что там много говорить? Весь дом его был, как могучий маяк среди разъяренного моря жизни, служа примером и образцом для других правящих домов. В самых высших кругах говорили о нем, считая его примером для всех. Даже в королевских дворцах гремела слава Висвалда и ни одно мягкое сердце таяло от восторга, а прекрасные глаза наполнялись слезами, когда прославлялись славные дела его. Поэты, которые скрывали в сердцах мировую скорбь, днем и ночью занимались поисками «счастливого острова», начали толпами посещать замок Висвалда, художники, искавшие моделей нравственности, правды и человеческого сумасбродства, надеялись найти их там: все, все они спешили сюда, как в обетованную землю.

Сознание, что он такой великий и неоценимый благодетель человечества могло бы начать угнетать Висвалда если-бы изо дня в день не росло в нем убеждение в собственной честности и совершенстве. А славословия друзей его все увеличивались, доходя до силы мощных аккордов. Он был достоин этого, не только как богатейший, но и как мудрейший, честнейший и могущественнейший: дух его охватывал все силы данные человеку, и если бы он захотел заняться каким-нибудь искусством, то и там он достиг бы такого совершенства, какого еще не достиг никто. Он был подобен солнцу, вокруг которого все совершало путь свой — все зависело от его решения. Ни один художник, ни один мудрец не мог назвать труда своего совершенным, если на нем не было печати мощного духа его. Ни один художник не мог считать труда своего совершенным, если он не относился к могучему образу его.

Чувство прекрасного было в такой мере развито у Висвалда, что ничего обыденного, некрасивого, грубого он не выносил около себя, лишь в совершеннейшей гармонии красоты искал он жизненных наслаждений.

Но жизненные удовольствия и красота ковали медленно и незаметно такую тонкую броню из лести, роскоши и лжи и одели в нее душу его, так что ни один луч теплой человеческой любви не мог более проникнуть туда, ни найти пути наружу. В самой душе его сидело лишь его барское «я» и мнило себя центром всего мира — ни одного господина, ни одного повелителя не было под ним. Лишь одна маленькая слабость напоминала Висвалду, что он принадлежит еще к людям: бешеный, неукротимый гнев часто охватывал его. И из-за пустягов! И странно, что слабость эта тем более увеличивалась, чем более росло совершенство его. Прекрасная жена и друзья его, которые заботились о нем более, чем о собственной жизни, решили, что нужно отдавать от него все то, что может вызвать вспышки гнева.

Однажды Висвалд сидел в своем саду, в прекрасной беседке выстроенной в восточном стиле и в полудремоте переживал еще раз радости, доставленные ему одним из друзей его на вчерашнем пиру. Все мечты его были сосредоточены на образе одной прелестной женщины, которая в королевском величии восстала перед его умственным взором. Он видел ее вчера всего лишь один миг и однако она произвела на него огромное впечатление. С удовольствием он спросил бы о ней кого-нибудь из друзей, но проявить любопытство казалось ему презренной слабостью. Лучше обождать, видно будет, кто из друзей угодает мысли его, желание его познакомиться ближе с этой красавицей.

Друг этот станет самым милым для него

Мечтательный взор полукрытых глаз его остановился вдруг на каком-то маленьком, одетом в лохмотья, мальчике.

Мальчик сидел в его саду, прислонившись спиной к прекрасной статуе богини Любви и играл прекрасными цветами сорванными в прекрасном саду его. Этот неожиданный вид так неприятно подействовал на погруженного в сладкие мечты Висвалда, как неприятный и недостойный гость явившийся на пиршество. Его высококочинное «я» почло себя оскорбленным. Как? Значит так мало считались с его желаниями и так исполняли его приказы? Ведь это было известно, как противно ему все некрасивое? — Как они могли впустить сюда грязного ребенка?

Он позвал слуг, но никого из них не сказалось вблизи. Это еще более увеличило его досаду и гнев пламенем разлился по лицу его; он вскочил и приблизился к ребенку.

Смеясь ребенок запрокинул головку и взглянул на него своими светло-синими глазками, которые блестели как пуговики на его гряз-

ном личике. Теплым солнечным лучам был подобен смех ребенка: но он ударился как о твердую броню и не проник в душу Висвалда: — Вон — ты! — Вон! — был суровый ответ Висвалда на смех ребенка.

Такое неожиданное недоразумение испугало мальчика. Он открыл рот, свесил голову на грудь и начал плакать.

Этого еще не доставало! Рыдания! Нестерпимые слетали с губок! Годами Висвалд не слышал плача и теперь испытал такое чувство, будто, все тело его кололи иглами. И ужасно было чувство полной беспомощности прекратить все это. В безумном гневе поднял он руку. Бить ребенка!

Но не успела рука его опуститься на голову ребенка, как его быстро подняли и рука Висвалда повисла в воздухе.

К гневу присоединилось давящее чувство стыда за то, что он собирался сделать что-то смешное и нелепое. Он быстро выпрямился и глаза его встретились со взглядом мрачным как лесная чаща, когда ее окутывают ночные тени.

Перед ним стояла стройная женщина. Она прижимала к своей груди светлую голову ребенка и гладила ее, стараясь его успокоить, пока спокойный и мрачный взор ее был устремлен на Висвалда. Затем она повернулась и медленно вышла из сада.

Висвалда охватило мучительное беспокойство. Что это была за женщина? Он видел ее не впервые — этот мрачный взгляд. Много раз в ужасных сновидениях мучил он его. Этот взгляд не избегал смиренно ни одного человека, но никому он и не улыбался; в этой полной его независимости от внешнего мира крылось что-то ужасное.

Печаль охватила душу Висвалда от этого взгляда. Черным потоком унесла она с собой его радость. Он чувствовал, что мужественная сила его надломилась. Напрасно погружался он в воспоминания полныя заслуг жизни своей, напрасно собирал он перед умственным взором своим все те радости, которыми уже наслаждался он и еще надеялся наслаждаться, печаль его росла и усиливалась.

Тогда он приказал сообщить об этом друзьям своим. Все бежали в великом беспокойстве и страхе, будто землетрясение только что поглотило все их счастье и имущество. На цыпочках пробрался он в самую темную комнату прекрасного замка, которая к тому же еще и искусственно была защищена от проникновения лучей света. Здесь сидел Висвалд с печалью своею и друзья сели с ним и разделяли мучения его, но ничем не могли помочь ему.

Смех и веселье покинули это обширное помещение. Группами сто-

или друзья его и обсуждали, что делать. Что этого нельзя было допускать в дальнейшем, с этим они были согласны все, но как предотвратить это неприятное положение? В самый момент озабоченности раздался чей то боязливый, взсмелый голос: — Самис!

Открыв рты, все взглянули на говорившего, будто у него вырвалось слово глубочайшей мудрости и все удивлялись, что именно ему пришло в голову, ибо так незначителен он был.

Великие люди и высокие личности часто ломали себе головы, стараясь понять, как мог этот незначительный человек попасть в число друзей Висвалда.

Он и сам вероятно этого хорошо не понимал, и поэтому он был доволен, что высокое общество начало употреблять его вместо бруска, о который можно было поточить языки свои. Но когда пригодность его в этом отношении была признана, так и он смелее поднял голову и начал даже высказывать мысли свои, как это он только что и сделал. Это, конечно, было высшей ступенью, которой достигло его самоеознание.

Как он был горд, что слово «Самис» вызвало такое всеобщее удивление! Но как это было естественно! Конечно! Про Сама они все, все уже думали. Нужно лишь было ему явиться и все снова будет хорошо.

Многие хотели оказать ему услугу и отыскать Сама, чтобы потом при удобном случае выставить свои заслуги перед Висвалдом в самом лучшем свете.

Самис был самым младшим между друзьями Висвалда. Слава Висвалда привлекла его сюда из дальних стран, и он нашел предмет прославления еще более величественным, чем слава его.

Самис был молодым, прекрасным блестящим, а его талант выдумывать все новое и все более соблазнительные удовольствия был действительно удивительным. Этим талантом он затемнил всех друзей Висвалда, вызвав от них ревность последних и неограниченную любовь Висвалда. Несколько дней тому назад он вдруг исчез, но в этом не было ничего особенного, ибо ему нравилось иногда укрываться на время и исчезать как во тьме. Никто не знал, где он находится. Один ловкий человек, у кого уже с малолетства был особый дар, отыскивать следы, и который в этом отношении не раз уже оказывал крупные услуги, предложил разузнать о местонахождении Сама. И действительно через пару дней он уже имел возможность сообщить, что Самис находится в прекрасном летнем дворце, недавно подаренном ему Висвал-

дом. Ловкий человек мог, конечно, сообщить и что он делает, но так как никто этим особенно не интересовался, то и он считал за лучшее молчать.

Некоторые из друзей через два, три дня привели Сама. Последний тотчас же направился в темную комнату к Висвалду. В мрачном молчании ждали друзья, что будет. Через какой-нибудь час Самис вышел вновь с сияющим взором и объявил радостную весть, чтобы готовились к роскошному пиршеству, которое под его руководством произойдет дня через три и превзойдет по красоте все бывшее доселе.

Друзья поблагодарили Сама в самых изысканных выражениях, но то были лишь слова, в груди же их жило чувство ревности и вражды к счастливому сопернику.

Висвалд снова сидел в своей беседке и думал о предстоящем пиршестве. Во взоре его отражались страстные мечты, он ожидал чего-то особенного: в разгоряченной фантазии взоры его ласкали прелестную женщину, опяляющую, сладостную, соблазнительную. Каждый нерв дрожал при мысли о предстоящих наслаждениях; предчувствие их охватило душу его, как прохладные, освежающие воды в летний жар. Его друг, его дорогой друг Самис хотел преподнести ему в благородном самоотвержении этот прекрасный цветок с древа жизненных наслаждений. В каких красноречивых словах восхвалял он волшебную красоту Дании! Хотя сам он ждал целые годы пока распухнет этот бутон! Нет, Самис не сказал этого открыто, но Висвалд почувствовал это. И он умел ценить дружбу Сама. — Искусно и умело, не жалея крупных денежных сумм, он добился наконец обещания, что мать Дании с прелестной дочерью своей посетят его замок: они жили теперь в летнем дворце Сама. Но теперь и Самис знал, почему все это должно было случиться. Только Дания одна и могла рассеять мрачные тучи печали, которые так угнетали теперь его благородного друга. Пусть только подождет он до дня пиршества — пусть подождет!..

Сладкие, нежные звуки убаюкали его...

Но вдруг снова будто тяжелое бремя навалилось на грудь его. Из темных глубин, в которые только что хотела погрузиться душа его, снова глядели на него мрачные, таинственные очи, снова он видел перед собой образ серьезной женщины.

— Вернись! — тихо сказала она, и голос ее звучал так спокойно и печально, как старое воспоминание. — Вернись, ты сам погубишь себя. Не доверяйся твоему бесчестному другу, не доверяйся этой женщине, они потушат в душе твоей последнюю искру того божественного

пламени, которое пылает еще под муссором самолюбия. И тогда ты пронал: для тебя не будет более ни прощения, ни надежды.

— Прочь, прочь от меня! Почему ты становишься всегда на пути моем? Откуда ты явилась? Кто прислал тебя? И мрачный взор подходил все ближе и ближе. Он воззлся в глаза его так остро, будто хотел уничтожить его зрение, а голос шептал у самого уха его потрясающе и ужасно:

— Бог

Собравшись с силами, он стяхнул с себя кошмар: грудь его была свободна. Но из глубины ее вырвался смех такой громкий и сильный, что потрясал все тело его как в лихорадке и он слышал собственный голос громко и насмешливо повторявший: Бог!

Этот смех был ужасен! Неудержимо разливался он как внешние воды и, отражаясь от окружающих деревьев и предметов, стократным эхом вновь отдавался в ушах Висвалда.

А между тем в нем самом как тиканье часов из мира духов раздавался знакомый и все же чужой голос: Бог! Бог!... Неужели он болен, или сошел с ума?

Тяжелые тучи, как огромные стаи птиц, плыли по небу. В том месте, где когда-то расстались два человека сидела согбенная женская фигура. Как и тогда, она опиралась руками на колени, охватив руками голову. Буря рвала и трепала ее черный платок, который длинными складками обнимал всю ее фигуру: она не двигалась. Тогда буря с ревом унеслась дальше.

Долго, долго сидела она, затем вздрогнула и подняла голову: перед ней стоял незнакомец.

— Горячее желание сердца твоего вызвало меня в последний раз. Что ты хочешь для него?

Дрожь, Маре пошевелила губами и тихо, еле слышно, произнесла одно слово: — Муки.

Как блеск молнии вспыхнуло и потухло во взоре незнакомца чудное, неестественное сияние, но голос его звучал твердо и неумолимо, когда он повторил: — муки!

III.

Едва лишь яркие лучи солнца осветили широкие улицы нового города и тени, быстро убегая, заползли в самые теплые уголки, как из всех домов поспешно высыпали толпы народа: страх и волнение выражалось на их лицах.

— Разве вы не слышали?.. Об ужасном несчастье в конях?.. Сотни людей погибли!

— Сотни?.. Тысячи! Я только что оттуда! Бесчисленные семьи потеряли ближайших членов своих!

— Но как же это случилось?

— Как?... Очень просто! Давно уже там все никуда не годилось. Мы все ожидали, что так однажды все это кончится. И «Величественный» хорошо знал это.

— Знал, он знал это? И человеческие жизни имели в глазах его такое малое значение, так мало заботился он о безопасности?!

— Ужасно. Этот бессердечный деспот!..

Ну что? — Разве не моя правда? Я это говорил вам всегда, уже тогда, когда он притаился к нам со своим негодным хвастовством: не верьте ему, говорил я. Я знал его еще мальчишкой — ему не было дела ни до одного человека... Ну скажи, что из такого может выйти, который не печалится ни о ком? — Он один только и умен! И вот он ушел искать по свету счастья и притащил его и нам. Хорошее счастье! Он уничтожил луга и поля наши, вырубил леса, обещая превратить их в золото... Где теперь наши счастливые и спокойные дни! Солнце он затемняет нам своим дымом, а воздух портит ядовитыми парами.

Где же обещанное счастье? Сыновей наших он сделал черезчур умными, так что они смеются над нами, а дочери наши уже с малых лет вдыхают яд безнравственности. Где же счастье это?

— Правда, правда! Как мудро и умно говоришь ты! Так и мы все думаем.

Только несколько тихих голосов прошептало:

— А кто же встретил его с распростертыми объятиями? Кто прославлял его, как великого сына родины и ставил благороднейшим примером для молодого поколения? Кто с благодарностью черпал сокровища из богатых источников его?

Но ни у кого не было времени прислушаться к этому шепоту.

— Ах, что мы потеряли, что мы потеряли! Всего лишился — этот деспот, этот хитрый самознайка, этот кровопийца!

— Вы уже слышали?.. Наше имущество, все наше имущество и богатство!

— Что с нашим имуществом?

— Мы же доверили ему все наши деньги...

— Конечно, конечно! Где же смелее можно было и поместить

их, как не в его деловых предприятиях, да и где они могли бы принести более высокие проценты?

...все они теперь потеряны.

— Потеряны, что ты говоришь, потеряны!..

— Вчера какая-то вдова хотела получить свои деньги обратно, но заведующие его имуществом не смогли ей выплатить, сегодня все банки закрыты.

— Это ужасная сплетня! Но что же сказали заведующие?

— Никого из них не видно. Когда судно тонет, крысы бегут!

Я рад, что не был так доверчив... Я не дал ему ни гроша. И теперь я ничего не потерял. Многие же из друзей моих в беде. Пусть! не надо было быть такими дураками!

— Это все изобретения этого негодяя! Он завлек нас в свои сети. Мы поверили его блестящим обещаниям, оставили родину, где так хорошо нам жилось, где мы были так счастливы и вот он лишил нас последнего куска хлеба. Ах, почему мы слушали его, почему?!

— Это я давно уже говорил вам, а разве вы мне верили! Он корыстен и расточителен, а с такими людьми надо быть осторожными. Посмотрите, как великолепно он живет! А откуда все это? Только из людского пота и слез!

— Вы слышали?.. Я от быстрого бега не могу передохнуть...

Действительно ужас! Сам Господь простер над ним суровую руку свою. Знаете, что случилось?

— Говори же — рассказывай!

— Новый мост, что строили за городом через водопад и на который затратили такие огромные суммы, — обвалился!

— Что ты говоришь? Невероятно! Ложь! Ты сам это выдумал!

— Видел своими собственными глазами. Сотни людей теснились на нем, спеша к копиям. И вдруг страшный треск, громкие стоны и бесчисленное количество людей без всякой надежды на спасение вовлечены в пенящийся водоворот.

Что вы на это скажете, друзья? Это же наказание Божье!

Этот человек величайший грешник в мире!

— Теперь к нему! Тащите его из его замка! Пусть он поплатится за это! Пусть он заплатит нам собственной жизнью! Собственной жизнью за кровь родных наших, за потерю нашего имущества! К нему!

IV.

В обширных покоях роскошного дворца царица глубокая тишина.

Из таинственной чащи лавровых и миртовых кустов в саду, чирикая, вылетели птички и полетели к высокой обвитой розовыми гирляндами коллонаде, которая соединяла сад с замком. Широко открыли они свои круглые глазки и вытянули шейки, стараясь что-нибудь увидеть, затем они прилетели обратно и уговорили более боязливых оставить свое убежище. Когда все они собрались и разместились в гуще гирлянд, начались разговоры и рассуждения. Молодые, недавно лишь вылупившиеся из яиц думали, что люди потому лишь и ушли, чтобы не пугать их и не нарушать их покоя своими громкими голосами и тяжелыми шагами. Они вообще-то не особенно доверяли людской мудрости, но на этот раз люди поступили хорошо; за это им следовало выразить признательность. Они радовались от глубины души. Хотя они и не могли ясно выразить этого звуками, да и родители также приказывали им молчать, однако все это не мешало их веселью; они продолжали щебетать. Ну их больше нет, ну их больше нет!

Старые птицы приняли это близко к сердцу. Они здесь родились и выросли и никогда еще не переживали ничего подобного, даже от дедов и прадедов этого не слышали. Они обратились за советом к одному старому воробью, который был опытен и повидал свет, ибо, прежде чем переселиться сюда, он довольно долго жил в другом саду... но и тот не мог вспомнить, чтобы люди когда-нибудь уходили отсюда, отсюда, чтобы дать возможность птицам лучше пожить.

Этот случай он считал чрезвычайно важным и предсказывал, что вскоре будет конец света. Все птички опустили головы и застонали. Что им делать? Что им делать?

Вдруг качнулись гирлянды и кто-то будто бы кашлянул. Все птицы подняли головы: сорока надулась и гордо смотрела вокруг. Она была напичкана мудростью и не желала ничего другого, как вытрясти ее, но она все еще сидела и ожидала, когда ей будет оказана честь.

Все, кто хотел хоть что-нибудь узнать, принялись на все лады прославлять ее. Когда она уже достаточно наслушалась, то открыла свой клюв... Все, что она сказала, было истиной, ибо она слышала ее собственными ушами. Она рассказывала то, чем полон был мир. Она рассказывала о Висвалде. Друзья покинули его. У всех у них вдруг оказались спешные дела: у одного заболел отец, у другого любимая лошадь, а третий давно уже хотел уехать и лишь великая любовь к Висвалду удерживала его. Многие вспомнили вдруг, что вра-

чи давно уже советовали им переменить климат, нельзя же было оставить без внимания их мудрого совета.

Да и у всех слуг случились вдруг разные беды, которые заставили их покинуть возлюбленного господина и повелителя. Прекрасная супруга Висвалда уехала самой первой. Она должна была это сделать из-за детей, ибо им в присутствии Висвалда грозила опасность, да и из-за своей благородной семьи, которая осталась бы недовольна, если бы она дольше осталась при муже, который потерял всякое значение в свете и наконец она должна была уйти именно из-за света, который считал ее образцом истинной женственности и нравственности. — Таким примером она желала остаться и виредь. Итак все покинули его.

Ну, а где же он сам, как самая важная и самая главная персона, спросили птицы.

Такого вопроса сорока не ожидала, поэтому и не могла на него ответить. Как ни старалась она что-нибудь выдумать, что могла бы слышать собственными ушами и видеть собственными глазами, однако ничего придумать не могла: вся мудрость ее испарилась. Но не зная чего-нибудь она считала стыдом и злом, которые могли повредить ее доброй славе. Поэтому она была страшно недовольна этим глупым вопросом.

— Ну так это же безразлично, где он теперь находится — вот глупость, ну стоит ли им еще интересоваться!.. Может быть, что я еще и сделала бы это, но вы же знаете, что в последнее время у меня не совсем здоровы глаза. Нет? — Разве я вам этого не говорила?.. — Я стала ужасно близорука: дела мои слишком утомляют меня. Так теперь жертвую собой ради вас. Мне давно уже надо было быть на дугу. Вчера уже я узнала, что туда явился из Египта мудрый аист; он удивительно хорошо умеет лечить глаза. Поэтому-то мне и нужно спешить к нему: прощайте!

Сорока улетела, а птички снова свесили головки. Какую пользу принесла им мудрость сороки, про будущее она ведь не сумела ничего рассказать им. Молчал и старый воробей, трескотня сороки сделала его нервным, издавна уже не мог он терпеть, чтобы другие так много говорили.

Вдруг поднялся шум, как рев далекого моря и становился все грознее. Большие красивые ворота сада были взломаны, толпы взволнованных людей с горящими факелами в руках ворвались в сад, потоптали цветы и траву, вырвали кусты, обломали ветки у деревьев, и

уничтожили все, что стояло у них на пути. Затем они ворвались в замок, кричали, проклинали, ругали, били и ломали все, что попадалось под руку, и затем бросили во все углы свои факелы. Затем — птички не слышали более и не знали, что произошло. Лишь старого воробья все это более или менее удовлетворило; он же был прав: настает конец света.

V.

Потайным ходом известным лишь немногим избранным, можно было из королевских зал прекрасного замка попасть в обширное подземное мраморное помещение, вполне изолированное от внешнего мира. План этого помещения был плодом богатой фантазии Висвалда. Не жалелось никаких средств, никакого искусства, лишь бы можно было осуществить причуды господина и повелителя. Как по мановению волшебного жезла огромное помещение превращалось вдруг в волшебную ночь мечты и поэзии — бесчисленные звезды сияли тогда на прозрачно-чистом небесном своде и серебристые ключи журчали при синеватом лунном свете. Пока все друзья пировали в обширных покоях замка, Самис вел Висвалда потайным ходом... Его ожидала здесь Дания.

Прошло ли с того момента лишь несколько часов, дней или недель — Висвалд не знал. В те моменты, когда он думал, что находится в сознании, он вдыхал все тот же тяжелый, удушливый воздух и бессильная рука его, ощущывая, хватала все те же мягкие, бархатные подушки. Он хотел отряхнуть с себя как мрачный сон все это полное муки состояние, но был не в силах этого сделать. Что-же случилось с ним? Откуда эти физические и душевные муки, почему не мог он пошевелить ни одним членом? И эта ужасная тьма вокруг! — Долгим, как вечность, казалось ему протекавшее время с тех пор как он находился в этом невыносимом состоянии, и однако могло пройти всего лишь несколько секунд с тех пор как он встретился с Данией, так глубоко момент этот врезался в его памяти.

Когда они пришли сюда — Самис исчез. Свет все усиливался и нежная вначале полутьма исчезла. Тонкую, тонкую серебряную паутину ткал этот свет вокруг чудных зеленых листьев растений, разноцветные капли росы, как бесчисленные драгоценные камни дрожали на огромных цветах, в темных тенях кустов лепетало, смеялось тонкими, тонкими голосами — шум отдалялся, сливался в один чудный мягкий звук, напоминающий музыку фей.

И снова все было тихо. Дурманящие ароматы, как мягкие, креп-

кие ленты, обвивались вокруг лба Висвалда — сладостная усталость охватила его.

Большая ветка розового куста наклонившаяся почти до земли под тяжестью своих чудных бледно-желтых цветов, вдруг закачалась. Висвалд поднял голову...

Какими бы восхитительными словами Самис и не прославлял красоты Дании, однако слова эти были лишь детским лепетом, старающимся воспеть сияние звезд и могучую силу лучей солнца. Могли ли слова величайшего поэта и кисть славнейшего художника передать эту волшебную красоту?!

Висвалда охватило непередаваемое ликование. Ему казалось, что он достиг высшей цели жизни — совершенства наслаждения, которого не испытал еще ни один смертный. Пламя страсти бушевало в душе его — и он дал ему волю, ни один нерв не чувствовал сопротивления, но лишь безграничную радость: все, что было прожито, достигнуто, все надежды его потонули в бездонной пропасти черных очей, которые обещали шыл неизмеримых наслаждений... Пасть на колени, молиться, исчезнуть и растаять в ее блеске!..

Дания наклонилась над ним, он протянул руки, чтобы обнять ее.

— Ты высокая, могучая, прекрасная! Теперь я знаю, что такое жизнь. Пусть потухнет свет очей моих, если я что-либо иное почту достойным внимания...

Ну, а что же случилось потом? Тьма покрыла все. Вдали раздался будто удар грома и Висвалду показалось что над головой его с криком пронеслась стая воронов... затем все снова стихло... И однако нет... какие-то странные звуки, будто звон жести. Эти звуки были так противны, они причиняли даже физическую боль... Теперь были уже близко... Затем начали уже удаляться... все дальше... дальше... Замерли совсем... Затем он не мог уже более определить ни времени, ни пространства и чувствовал лишь мучительную, грузущую боль.

Когда Висвалд очнулся и пришел в себя, он почувствовал прохладное, свежее дуновение воздуха. Жадно вдыхал он этот свежий воздух. Хотя и чувствовалась примесь какой-то гари, все же этот воздух был живительнее, нежели ядовитый аромат увядающих цветов. Он вполне пришел в себя и, поднявшись, присел.

Вблизи кто-то шел... несмелыми, взволнованными шагами. Висвалд хотел позвать, но грудь его была будто сжата.

Две смелых руки поддерживали его, он почувствовал на губах живительную влагу; затем его увели; все происходило как во сне.

С большими трудами лишь они могли подвигаться вперед. Висвалду казалось, что они должны были пробираться через развалины и мусор... и всюду тот же противный запах гари...

Колеи его дрожали, он не мог держаться на ногах. Они сели... Не слышно было более никакого шума... солнечные лучи обжигали ему лицо. Он ошупывал вокруг себя руками, стараясь уяснить себе неуяснимое... Ведь это все было сон... все это должно было быть сном!..

Но рука, на которую он опирался была тепла — полна жизни.

— Смилуйся! стонал он, — что случилось со мной? Скажи же мне, зачем ты так обо мне заботишься, где я нахожусь?

— Ты сидишь на развалинах своего замка, — ответил ему голос, при звуках которого он вздрогнул до глубины сердца.

— Сгорел?

— Да.

— А я сам, что случилось со мной?

Вопрос этот отразился на лице его в виде ужасного страха: он чувствовал, что с ним случилось, но ведь это не должно было быть правдой; ответ должен был выяснить все и рассеять страх.

Но ответа не было.

Тогда он закрыл свое лицо и из груди его вырывался крик боли: слеп!

Снова плеча его коснулась та рука, которая привела его сюда.

— Встань и преодолей боль свою; еще большие страдания ожидают тебя.

Еще большие! Ты вестник несчастья! Зачем ты преследуешь меня? Кто ты?

— Я женщина.

— Ты исчадие ада! Прочь от меня! Подлая!.. Нет... Останься... Ах, я несчастный! Я чувствую, как исчезают силы мои, когда руки твои более не поддерживают меня. Веди меня дальше, я богато вознагражу тебя.

Куда же я должна вести тебя?

— К моим.

— Кого называешь ты «твоими»?

— Мою жену и моих детей, конечно.

— Напрасно ты будешь искать их; их нет более здесь.

— Нет? И они знали о судьбе моей?

— Это им было известно...

— Тогда сведи меня к заведующему имуществом моим, я хочу наградить тебя.

Ты только что оставил развалины последнего, что принадлежало тебе.

Теперь ты можешь называть своей лишь одежду, которая на тебе.

Ужасные известия! Разве нет еще конца им?.. А друзья мои?

— Неужели же и их нет более, или кто-нибудь остался в городе?

— Твои ближайшие друзья еще здесь.

— Ну тогда еще есть помощники и спасение! Веди меня к ним!

— Теперь мы у дома твоего друга.

— Как зовут его?

— Это твоей любимец Галл.

... Болезненен же будет рассвет счастливого дня моего милого Галла. Сколько раз хотел он протянуть мне свою милую спасающую руку. Этот день был бы счастливейшим днем в его жизни, обычно говаривал он... Ах, он самый правдивый, самый честный человек в мире!

Они поднялись на широкой, застланной мягким ковром, леснице наверх и вошли в приемную.

Одетые в блестящие ливреи лакеи принимали и докладывали о посетителях. Когда Висвалду вместе со своим спутником хотел пройти во внутренние покои, один из них важно загородил дорогу.

— Я хочу сперва спросить у своего господина, пожелает ли он принять тебя.

Пожелает ли принять меня! Разве с радостью не спешил он на встречу мне, когда я раньше заходил к нему? Ах, Галл, Галл — милый мой! Видишь, твой несчастный друг...

— Тебе нужно вести себя тише. Мой господин теперь как раз за столом, и тогда он не переносит шума. — Я доложу о тебе.

— Это нужно было давно уже сделать, ленивое существо!

Твой господин прогонит тебя, когда узнает, как ты вел себя по отношению ко мне. Иди и скажи, что здесь ждет друг, который ему дороже жизни...

Через несколько минут слуга появился вновь.

Мой господин желает знать, чего ты хочешь.

— Прочь, собака! С какого времени я должен сообщать о желаниях своих слугам Галла! — крикнул Висвалд и голос его прогремел по всему дому. Галл поспешил сюда.

— Тише, тише! — успокаивал он, — я действительно дивлюсь те-

бе... Мы были так спокойны, думали, что ты скрылся.. убежал.. Да, было бы лучше, если бы ты бежал... Это было бы самое лучшее для тебя.

— Видишь, что со мной случилось?

— Да — да... Но не умно с твоей стороны показываться днем... Тебя преследуют теперь... И они правы... Копи обвалились, река прорвала плотину... ужас повсюду, куда ни взгляни! Твои расчеты никогда и никуда не годились... если бы ты слушал нас! — Но ты понадеялся на собственные силы, как на крепкую скалу. Все были как слепцы... Теперь настоящие люди взялись за дело, которые что-нибудь понимают... ты же постунал, как глупец.

— Я же был благославлением для своей родины!..

— Скажи лучше, проклятием. Какое благославление принес ты? Ты уничтожил нравственность, испортил молодое поколение... не только бесчисленные человеческие жизни, но и все бремя грехов лежит теперь на твоей проклятой душе!

— И это ты мне говоришь, Галл?

— Да, это я тебе говорю, ибо я правдив, ничто не может удержать меня говорить правду. Другой, конечно, сказал бы, что ему до всего этого нет никакого дела, а я не могу... Ты тысячекратно заслужил судьбу свою, это лишь я могу сказать тебе: ну и неси теперь бремя свое!

Подшел слуга и шепнул Галлу, что подано новое кушанье, Галл ушел на цыпочках и ему был страшен гнев Висвалда. Но Висвалд как разбитый вышел вон.

Галлу стало жаль его. Он приказал слуге, чтобы тот взял одно из его старых пальто и дал его Висвалду; хотя он и заслужил свою судьбу, все же однако он человек, а по ночам становится холодно...

Но когда слуга, выйдя на улицу, увидел, что беглецы уже далеко, он вспомнил, что в детстве от быстрого бегу у него кололо в боках — поэтому он счел за лучшее вернуться обратно. Он это и сделал, вполне успокоенный своим добрым желанием и добрым желанием своего господина.

— Куда же мне вести тебя? — спросила Висвалда его спутница.

— Знаешь ли ты моего друга Сама? Он так мил и любезен, как солнечный луч, и сердце его так нежно, как у ребенка. Мне хотелось бы выплакать свои слезы на его груди... веди меня к нему.

Чудная, звучная песня неслась им навстречу, когда они вошли в роскошный дворец Сама. Никто не задержал их, лишь песня указы-

вала им дорогу. Так дошли они до роскошной залы, стены которой были покрыты дорогими позолоченными тканями. — В падающем сверху свете огромные и прекрасные растения бросали причудливые тени на дорогие ковры. Висвалд рухнул у порога. Как мучимый белью ребенок зовет мать, так и в его голосе дрожали сдерживаемые рыдания:

— Сам!

Самис лежал под пальмами на мягких шелковых подушках, у ног же его — с арфой в руках — сидела Дания. Услышав голос Висвалда, Самис встал, лениво взглянул на вошедших и затем тихо засмеялся, как смеются, глядя на приятную картину.

— Ах, это ты, могучий благодетель человечества! Да, да! Я уже думал, что так оно будет! Но ты уже слишком разошелся — поступать так безжалостно и бессердечно. — Что из того, что люди смотрят на тебя, вытянув шею, будто ты какое то чудовище — надо стараться обрести сердца их, это важнее.

Я уже давно хотел это сказать тебе, но разве ты послушал бы меня? Мне жаль тебя — ты как бы сросся с сердцем мом... а сердце у меня доброе... Поэтому меня и любят все. Но тебе не нужно было бы так... вот тебе одному и приходится теперь расхлебывать то, что сам заварил... Но жизнь наша была прекрасна, не правда-ли? Жаль, что она так для тебя кончилась... Ай, смотри ка, Дания, смотри! Он все еще как одурелый — он одурел от твоей красоты... Может ли какой либо смертный еще более льстить тебе?... Подай ему чашу, Дания! Пусть же льется еще радость жизни на мрачном пути его!

Дания встала и направилась к Висвалду во всем сиянии своей прелести, соблазнительная, смеющаяся, как будто она хотела еще радовать его потухший взор. Она подала ему золотую чашу. Только лишь Висвалд почувствовал холодный металл в руке своей, как ужасный гнев перекошил черты лица лица его, высоко поднял он чашу и с силой бросил ее в ту сторону, где, как думал он, стояла Дания.

— Будь ты проклята, блудница, и да будет проклят и он, этот глухой подлиза! — крикнул он. Вскрикнула и Дания — быстро, как стрела уклонилась она в сторону, чаша задела плечо ее и как струя крови стекало тяжелое вино с ее драгоценной одежды.

Самис вскочил на ноги. Как безумный рванул он потайную дверь и в тот же момент вернулся с хлыстом в руке. — За это ты заплатишь мне негодий! — и в воздухе раздался свист хлыста. Висвалд про-

должал стоять, будто ничего не случилось, но спутница его подавила тяжелый вздох: на лице ее горела узкая, красная полоса.

Но не успел еще Самис поднять руки для второго удара, как она повернулась к нему и, молча, на него взглянула. Самис вздрогнул под этим взглядом, рука его бессильно опустилась, он не мог дольше выдержать ее взгляда и опустил глаза.

Никем не удерживаемые вышли они из дворца и по тихим улицам вон из города.

— Есть-ли у тебя какое-нибудь желание? спросила Маря, ибо это она была спутницей несчастного — когда они были уже далеко за городом.

— В горах, там, где стройные ели протягивают верхушки свои к ясному небу и быстрая река с ревом вырывается из горного ущелья, я знаю одно потайное местечко. Это каменная скамья высеченная в скале над самым пенящимся водопадом. Я велел высечь ее на память. Малым ребенком я упал было в этот водопад, если бы меня не спасла низко нависшая еловая ветка. Если ты доведешь меня до того места, то там мне уже знакома каждая пядь земли...

— Нет, нет — я замечаю, что мы идем неправильно! Наш путь ровен, хотя иногда нога моя и наталкивается на корни... не слышно больше и рева реки... Остановись! Ты неправильно ведешь меня! Ты заодно с той злой силой, которая хочет погубить меня... Ты также женщина — одно из тех подлых существ без жалости и доверия... Ах, как мне тяжело, как тяжело! Адеские муки разрывают грудь мою...

...Почему ты так крепко держишь руку мою, как в клещах!.. До сих пор ни одна сила в мире не способна была толкнуть меня по тому пути, по которому я не хотел идти. Если я хочу освободить себя, то и освобожу. А я этого теперь хочу. Я преодолел силы природы и в моей власти уничтожить жизнь, если она доставляет мне одне лишь страдания.

Он вырвался из рук Мары и оттолкнул ее от себя. С силой отчаяния бросился он в сторону водопада; протянув вперед руки, он старался обезопасить ту жизнь, с которой он только что решил покончить в пенящейся бездне водопада.

Но уже через несколько шагов он упал. Все члены его были буд-то налиты свинцом и непреодолимое бессилие вновь охватило его.

— Преодолей свои страдания! — вновь услышал он там те тихий голос. — Вставай и следуй за мной!

— За тобой? — еле слышно спросил Висвалд; — куда ты поведешь меня?

— В свою хижину. Она тут же, недалеко; там ты сможешь отдохнуть.

— Но у тебя своя жизнь — обязанности, которые ты должна исполнять!

— Мой долг оставаться с тобою, до тех пор, пока это тебе будет нужно — иди!

Лишь только снова коснулась его рука Маре, как он почувствовал сильный ток крови в жилах своих, он поднялся и пошел с нею, такими легкими шагами как зрячий. Но душа его переживала безумные муки и жаждала освобождения. Где причина его мук и что это за причины? Может быть это — ужасная женщина, которая шла с ним рядом? Но почему же пропадали силы его, когда она отдалялась от него? Уж не привязала-ли она его к себе волшебною силой?

И снова он начал хулить Маре.

— Я знаю, что ты в связи со злыми духами. Давно вы уже задумали погубить меня... Это же радость ваша.. погубить лучшего и могущественнейшего из людей... Ах, как я ненавижу вас!.. И ты также.. ты — причина моих страданий...

— Ты прав, — сказала Маре, дрожащим от боли голосом, много мучений претерпел ты из-за меня.

Он не слышал боли ее—ему лишь показалось, что она насмехается над ним, и страшный гнев охватил его. Маре должна была уклониться, чтобы удары его не коснулись ее.

Она переждала, пока бессилие и усталость вновь сломят его и тогда привела его в свою хижину.

Безшумно приготовила она ему постель, принесла еду и питье. Но он ни к чему не притронулся. Он сидел погруженный в мучительные думы, пока наконец тяжкий сон не одолел его... Маре раздела и уложила несчастного, затем она омыла выпачканное сажей и пылью лицо его, и причесала ему волосы. Крупные слезы падали из глаз ее на руки, которые еще так недавно собирались ее бить — она осушила их горячими поцелуями...

Каждое утро, просыпаясь, Висвалд проклинал новый день который пробуждал его к жизни. Он желал чтобы весь мир постигло еще большее несчастье, нежели то, что постигло его — самого честного и правдивого и в безумном гневе он проклинал и Мару.

Она ждала... ждала того момента когда после бури настанет тишина...

В одно прекрасное утро он проснулся спокойно... Маре принесла начатые сети. Целыми днями училась она плести их с закрытыми глазами...

Но лишь только Висвалд понял ее намерение, он порвал петли и выбросил сети вон. Боже мой! За намерением Маре крылись бесчисленные мрачные дни — все существо его боролось против невозможного, освободиться от нее — он не хотел ее — не хотел!

И Маре ждала...

Уже три раза просыпался он без проклятий и без стонов, тогда она снова принесла ему другие сети. Когда пальцы его коснулись петель, он с досадой произнес:

— Как я могу делать то дело, которому никогда не учился?

— Я научу тебя.

Сотни раз он разрывал петли, бросал работу и хулил Маре, когда страдания одолевали его и сотни раз она вкладывала работу в руки его, помогала его неловким пальцам, хвалила его за малейший успех и терпеливо переносила все, пока наконец он научился своему делу.

Теперь он просиживал целые недели за плетением сетей. Неужели он успокоился и покорился своей судьбе? Беды изрезали морщинами благородное лицо его, убелили волосы его и согнули его стройный стан.

Однажды, когда Маре принесла ему новую работу, она почувствовала горячие слезы на руках своих.

— Я не могу больше переносить этого, — жаловался он, день за днем уходят, но душевные муки мои не уменьшаются... силы мои идут на убыль... даже тогда, когда и ты со мной... пламя пожирает меня. Если ты можешь дать мне добрый совет и спасти меня, то говори.

— Знаешь ли ты причину твоих страданий? — спросила Маре. Он помолчал и затем тихо промолвил:

— Я знаю ее: Это грех!..

Маре не знала ни совета, ни спасения. Когда утренняя звезда заглянула в маленькое окошечко, голова ее от страшной усталости свесилась на грудь. Но звезда опускалась с небесных высот все ниже... все ближе... Усталость Маре исчезла, она вздрогнула и стала ждать...

Ей было знакомо это торжественное ожидание...

Она подняла взор свой и душа ее углублялась в созерцание спо-

койного, прелестного, как поверхность озера в ясное летнее утро, ви-
да: перед ней стояла величественная фигура женщины.

— Я послана к тебе по молитве твоей — скажи, чего ты желаешь?

— Я прошу совета и помощи, как освободиться ему от греха,
который угнетает душу его?

— Что считает он грехом своим?

— Ах, разве ты не знаешь этого? Внезапная смерть унесла ты-
сячи человеческих жизней в самом расцвете — по вине его. Это пре-
ступление угнетает его и не дает ему покоя, пока он не очистится от
греха своего.

Разве ты не видела, как дети ищут на лугу цветы, чтобы сплести
из них венок себе? Рука их срывает цветы то здесь, то там, остав-
ляя прочие на забаву легкому дуновению ветерка. Коса же косаря не
падит ни одного из них. Уже увядшие, или въ самом цвету, а то и не
раскрывшие еще бутоновъ своих — все они падают под острем косы.
И все же существует один, кто руководит как рукой ребенка, так и ру-
кой косаря.

...Но я укажу тебе место, где он сможет освободиться от своего
бремени.

Маре затаила дыхание и слушала.

— Вам нужно идти в ту сторону, где стоит солнце в полдень. Че-
рез день вы подойдете к большому болоту. Над ним постоянно висят
ядовитыя испарения. Ваш путь обозначит маленькая узенькая тро-
пинка, по которой еще не ступала нога человеческая... яркая звез-
дочка будет твоей путеводительницей. Но что бы не случилось, ты не
должна спускать с нее глаз своих и смотреть в сторону. Если ты сде-
лаешь это, тогда вы оба погибли... За болотом протекает широкая
река с пенящимися, кипящими водами. И через нее вы должны будете
перейти. Как прохладительные струи будут кипящие воды реки для
ног твоих, но если он опустит в них голые ноги свои, они покроются
неизлечимыми ранами...

— Как ужасно! — воскликнула Маре, — как же мне избавить его
от этих мук?

Благородная женщина вынула из складок одежды своей малень-
кий сверточек. В нем была пара чулок необыкновенно тонкой вязки
и длинная связка блестящих, прозрачных жемчужин.

— Вот видишь! — сказала она, — жемчужины эти — слезы твои
пролитые ради него. Их столько же, сколько петелек в тонкой вязке
чулок. В каждую петельку ты должна вложить по жемчужине.. ни одной,

на одной не должна потерять ты, ибо все они сосчитаны. Эту работу ты должна выполнить в течение трех ночей. Когда на третье утро первый солнечный луч коснется верхушек деревьев, твоя работа должна быть готова... Если ты оденешь ему эти чулки, воды реки не повредят ему. На другом берегу реки есть высокая скала. На этой скале на высоте человеческого роста ты увидишь маленький красный крест. В том месте, где находится крест этот, он должен целый день долбить скалу. Ни одной минуты он не должен отдыхать, иначе труд его будет безрезультатным. Когда он выдержит до конца, он найдет маленький камешек обладающий удивительным блеском...

Но задача моя дальше не простирается...

— Благодарю тебя, добрая и заботливая! Когда же мы должны выйти отсюда?

— Через девять дней все уже должно быть сделано.

— Но как безошибочно найду я путь туда?

— Я пришло тебе маленькую ласку в путеводители, за ней ты сможешь следовать!..

— Теперь я знаю, где найти спасение от великих мучений твоих, сказала Маре Висвалду, — потерпи и подожди еще немного...

Когда последний блеск вечерней зори потух в синие-темных тенях ночи, Маре приступила к работе и стала нанизывать одну жемчужину за другой на тонкие петельки. Когда глаза ее уставали и ее начинало клонить ко сну, она протягивала усталую руку и, будто благославляя, клала ее на голову Висвалда: это внушало ей новую силу и жизнь. Когда на третье утро первый солнечный луч позолотил верхушки деревьев, Маре нанизывала последнюю жемчужину; затем она упала в постель и погрузилась в глубокий сон. Через два дня они вышли из хижины. Маленькая ласка сидела под кустом можжевельника, который был единственным украшением хижины. Заметив обоих путников, она вскочила и побежала вперед по направлению к югу, держась от них на расстоянии трех шагов. Три раза в день садилась она отдыхать, тогда могли отдохнуть и путники.

С наступлением темноты, они достигли болота — ласка исчезла. Кругом царил мертвая тишина. Синеватые испарения поднимались из болота, сгушались в облака, ползли во все стороны как руки великана, снижались... как ленивые змеи ползли они вдоль зелени, снова вдруг поднимались широкими изгибами — изгибы становились посередине все тоньше, разрывались, сокращались и снижались вновь. Тьма сгушалась. Маре обняла Висвалда своими руками и нащупывала

ногой обещанную тропинку. Как радостно забилося ее сердце, когда нога ее коснулась твердой земли! Огромную силу почувствовала она в во всех членах своих, поддерживая любимого человека, она тащила его с собой на узенькую, шириной в одну пядь, тропинку, по которой они должны были пройти над ужасной бездной. На миг Маре остановилась. Тьма была так велика, что ничего невозможно было различить... Где же была обещанная звезда-путеводительница?

Там мерцала она голубым, теплым сиянием, девственно-чистой, как любимые очи — Маре знала теперь путь свой.

Вдруг болоте пришло в движение. Прозвучал дикий смех. В одуряющем шуме он приближался все ближе и ближе. С обеих сторон тропинки выросли огромные фигуры. В руках их было пламя, ежеминутно менявшее цвет свой. Но Маре не спускала со звезды своего взора...

Как туманные образы летним утром начали танцевать и кружиться вокруг ног обоих путников, так что приходилось бояться смять их, поднимая ноги. Маре чувствовала, совершенно не глядя на них, как они прекрасны. Ее охватила сильный соблазн хоть раз взглянуть на их волшебную красоту, подобной которой не было во всем мире; взор ее протягивало вниз с какой-то неестественной силой...

Мерцай, звезда моя!..

Как жемчужные ожерелья дрожали над болотом звуки арфы. Какой-то голос шел так красиво, как не слышало еще ни одно человеческое ухо. Звук арфы и волшебная песня неслись из кристального замка, который парил в золотистом свете и был так близко, что Маре не могла больше выдержать — она должна была — должна на него взглянуть...

Сняй и мерцай, дорогая, милая звездочка, мерцай!..

Маре, прекрасная Маре, взгляни на меня хоть раз! Любовь твоя слепа и ты лишь стремишься за призраками!

Чего ты хочешь от этого несчастного?

Посмотри на меня, как я красив и могуч, много у меня сокровищ и драгоценностей. Я постоянно любил тебя и могу вернуть тебе все, что в безумии ты потеряла: юность твою, прелесть твою и веселое, радостное настроение. Видишь там замок, он будет нашим жилищем, там забудешь ты все страдания твои, боль...

И все сможешь приобрести ты, если только один единственный раз ты взглянешь на меня!

Мерцай, моя звездочка, мерцай!.. Ну еще только один шаг... еще один... последний!

Шиня и пенясь, неся горячий поток над острыми камнями. Маре вынула из-за пазухи чулки и одела их Висвалду. Тогда она взяла руки друга, прижала их к своей груди, покрыла их собственными руками, чтобы ни одна капля ядовитой жидкости не коснулась их: так перешли они через реку.

Только после долгих поисков нашла Маре маленький знак креста высеченный в скале. Тогда она дала Висвалду взятый с собой молоток и подняла руки его к тому месту, где должен был долбить он. Он начал с жаром работать, но Маре вскоре заметила, что силы его начинают убывать. Но ни на один миг он не должен был прервать своей работы. Поэтому она поддерживала руки его, чтобы они преждевременно не устали и пока она их поддерживала, сила не покидала их.

Маре подняла глаза свои к небу — солнце показывало лишь полдень. — Ах, как долго еще надо было ожидать до заката! Она хотела что-нибудь рассказать ему, чтобы незаметнее протекало время, но ничего не проходило ей на ум. — Тогда она начала рассказывать про свою жизнь. Пока руки его неустанно работали, Висвалд слушал рассказ ее, который казался ему чужим и все же знакомым, как давно забытая песня раннего детства, когда печально звучит она в сумерках тихого вечера...

Как в жертвенном пламени краснели стволы высоких сосен под сучьями темных веток — солнце зашло.

Крик ликования, вырвавшийся из груди Висвалда, прервал рассказ Маре.

— Ну посмотри же, взгляни сюда! Ты же должна видеть... Мне кажется, что в каждой жилке, в каждом члене я чувствую какую-то странную силу...

Он держал в руках маленький камень чистый и прозрачный, как пламя. И однако он не чувствовал ни малейшей тяжести, ни атома какого либо вещества.

— Храни его у своего сердца, — сказал Маре.

— Но как мне теперь хорошо, как легко! Грудь свободна... все страдания исчезли! Говори же, говори! Ах, теперь я знаю, зачем ты меня сюда привела, я знаю, кто ты, — ты само милосердие!

— Нет, нет! Я лишь бедная женщина... Но теперь ты устал. Иди, отдохни! Я устрою тебе постель под тенью этого дерева, а завтра мы сможем вернуться домой.

Он заснул сладким, живительным сном. Его губы улыбались во

сне и чуть слышно шептали: — Теперь я знаю, кто ты, ты — само милосердие!

На следующее утро, проснувшись, Маре увидела, что Висвалд сидит на своей постели и горько, горько плачет.

Испуганная она быстро поднялась. — Что с тобой случилось? Разве чудесный камень потерял уже силу свою, или снова тебя мучили боли твои?

— Нет, нет, — ответил он, — мне не мучат меня более... Но что-то другое, чего не в силах я выразить словами... И прошлое удручает меня, а что-то, чего никогда еще не было.

— Что же это такое, чего никогда не было? — Как мне понять тебя?

— Я вижу удивительный мир, так ясно, что лучше никогда нельзя видеть физическим зрением. Все до самого горизонта охватывает взор мой. Я вижу прекрасные селения, тихие домики, населенные счастливыми обитателями. Корясть, вражда, недоброжелательство и здесь бродят от одних дверей к другим, и одни другие открываются, чтобы впустить их. Но если они желают гденибудь обосноваться и начинают ожесточать сердца людские, тогда вдруг появляется какой-то человек, который срывает покрывала с этих обманщиков и показывает людям скрытые под ними когти тигра. Там где нужда и горе вызывают слезы, человек этот осушает их, его сочувствие тепло и мило, как солнечный луч. Ему покоряются человеческие сердца. Он умеет углубляться в них и часто находит там теплые источники, которые извергают адские муки и уничтожают счастье сердец, но он снова умеет вернуть им счастье и покой. Свет, божественный свет распространяет он всюду, куда бы ни повернулся он, пламя его духа согревает тысячи. Но однако он тих и кроток. Ибо он выполняет лишь волю Того, чей божественный взор он старается уловить с трепетным почтением...

И я вижу многих идущими в прекрасный дом, построенный этим человеком, вижу, как они стоят на коленях, а души их в торжественной молитве поднимаются вверх как жертвенное пламя. И его самого я вижу богачейшим и могущественнейшим между всеми и все же самым малым и смиренным перед лицом Того, кто так много даровал ему. Ах, он никем иным и не желает быть, как справедливым управляющим огромным имуществом своим... Ах, я знаю, что всегда, всегда во сне и наяву этот мир будет являться перед духовным взором моим, напоминая мне о задаче моей, для которой я был рожден, и кото-

рой все же не выполнил. Навсегда она теперь исчезла для меня, силы мои растрчены, духовные сокровища мои употреблены без пользы, и... поздно... поздно!

Не обрета долгожданного покоя, вернулись они в свою хищину. Висвалд не обнаруживал более ни нетерпения, ни отчаяния, но он почти более ничего и не говорил. И работать он более не работал. В его усталых чертах отражалось мучительное беспокойство, а потухшие глаза его мертвенно маячили между потемневшими веками, будто сплывая разглядеть что-то важное; морщины на лице его стали глубже, как серебро блестели его длинные волосы, а могучий стан был согбен, как у старика.

Сердце Маре сжималось при виде его безнадежных страданий. Вновь она проводила ночи в горячей молитве и ожидании небесной вестницы. Но долго никто не внимал молитвам ее. Ее надежда начала исчезать. И вот однажды ночью, когда уже побледнели звезды при приближении утренней зори, она коснулась лба Маре.

— Грех его искуплен, — сказала высокая вестница.

— Но ты же знаешь, что он страдает. Душа его просветлена и он видит, что погубил жизнь свою. Если это было милосердие, которое ты оказала ему, то скажи же мне, откуда взять ему сил для новой жизни!

— Ты много требуешь, но ты и была крепка в вере... Хочешь ли ты исполнить все, что я скажу тебе?

Маре склонила голову.

— Ты ведь знаешь...

— В таком случае слушай. В трех днях пути отсюда, в ту сторону, где солнце по вечерам окончивает путь свой, находится огромный, густой лес. Путеводителями я пришлю тебе стаю ласточек. Также и здесь ты найдешь лишь узенькую тропинку ведущую через лесную чащу. По ней вы должны пройти через лес. Но лишь только вы войдете в тенистую чащу леса, как со всех сторон градом посыплются на вас ядовитые стрелы. Тебе они не способны нанести вреда, но каждая из них может быть смертельной для твоего друга...

— Ах, как же мне охранить жизнь его! Скажи, смогу ли я это сделать?..

— Это в твоих силах. Видишь ли эти нити, которые блестят, будто они сотканы из лучей вечернего солнца; они так тонки, что если ты отделишь от других одну из них, ты едва заметишь ее. Это блеск волос твоих, который ты отдала за него... Из этих нитей ты должна со-

ткать ткань. В три приема в течение трех ночей ты должна закончить твою работу. Перед тем как войти в лес, накинь на него эту ткань и крепко придерживая своими руками, тогда он будет защищен от смертельных стрел, которые не могут пронзить ткани этой. Что бы не случилось, твои руки не должны знать усталости: иначе он погиб.

Длина лесной тропинки три тысячи шагов. Через каждую тысячу шагов ты увидишь у края дороги камень. На него вы можете сесть и отдохнуть, но отдыхать вы можете до тех пор, пока маленькая серенькая птичка будет точить свой клювик о ветку дерева, под которым вы будете сидеть; как только она взмахнет крылышками и улетит, так и вы должны идти дальше.

За лесом есть большой луг. По самой середине, на небольшом холмике, растет удивительно красивый, красный цветок... Но прежде чем выйти на луг, твой друг должен сломать изгородь из острого терновника, которая отделяет лес от луга... Он должен сделать это только руками. Тернии будут колоть тело его и причинят ему нестерпимую боль... и только в тех местах, где ты поспешншь вытащить занозы, боль будет исчезать...

Когда вы переберетесь через тернии, ты не должна терять ни одной секунды, но должна спешить отыскать цветок. В огромном венчике его ты найдешь капельку росы. Осторожно достань ее. Нетронутой снеси каплю эту другу твоему и омочи ею лоб и глаза его, тогда... но моя задача выполнена.

— Не теряй надежды, потерпи и жди! — сказала Маре Висвалду.
— Кто ожидает, не сомневаясь, тот смеет дожидаться спасения!

Но Висвалд не понял ее.

Из ночи в ночь Мар сидела и работала. Когда руки ее уставали, а глаза с трудом лишь различли нити, она вставала и холодными губами касалась лба своего друга, затем она снова садилась и работала до рассвета.

Через девять дней, приготовившись в путь, оба вышли из хижины. Стая ласточек сидела на кусте можжевельника и весело щебетала. Увидя путников, ласточки вспорхнули и полетели на запад.

Когда ласточки опустились на отдых, присели отдохнуть и путники, и каждый раз Маре отламывала кусочек хлеба и крошила его крылатым путеводителям. На третий день они достигли леса. Маре вынула драгоценную ткань, которую она тщательно хранила за пазухой и накинула ее на своего друга. Чтобы придержать ткань со всех сторон, она обняла его обени руками, и так они пошли в лесную чащу!

Только лишь проникли они в тенистый сумрак леса, как стрелы со свистом посыпались на них со всех сторон. Но ни одна из них не смогла пронзить драгоценной ткани и ранить Висвалда. Дрожа, Маре заметила, что по дороге извиваются огромные змеи, так что она даже не знала, куда ступить. Вдруг одна из них, извиваясь, поднялась и обвилась вокруг рук ее. Шипя, положила она свою голову на плечо Маре, Маре почувствовала ее ядовитое дыхание... она закусил губы, чтобы подавить крик, а руки ее отяжелели будто налитые свинцом... она не могла более удержать покрывала...

Но первая тысяча шагов была уже пройдена, у дороги лежал камень. Маленькая, белая птичка покачивалась на одной низкой ветке и точила свой клювик...

— Как странно, — дивилась Маре, — мне казалось, будто только что блеснули лучи солнца, но откуда им быть в этой чаще?

Она провела рукой по волосам и снова ей показалось будто венок из лучей украшает ее голову.

На лице Висвалда отразился восторг.

— Слышишь, как поют птички, — сказал он, — как песнь их неслетя навстречу свету?... Как удивительно согласуются они с их прелестью! Видишь — ты же должна видеть! — как они, распевая, поворачивают свои прелестные головки!.. Ах, какое чувство радости наполняет грудь мою! Я мог бы ликовать вместе с ними... я же понимаю их... я вижу новый чудный мир... Моя душа звучит в унисон с их песнями, но она не одна... и твоя... и ты... как мне назвать тебя...

— Я ничего не понимаю из того, что ты говоришь, — хотела бы ответить Маре, но птичка полетела и им нужно было идти дальше.

Опять засвистели стрелы. Огромный ворон, каркая, опустился на руки Маре, разорвал острым клювом своим ее одежду и, врезаясь, оставлял кровавые раны на теле ее. Слезы показались на глазах Маре от боли, но она не отпустила рук своих. Тогда ужасная птица начала клевать пальцы ее, которые крепко держали покрывало, боль была невыносима... пальцы ее стали раскрываться один за другим... ах, еще один лишь удар сердца!..

Они достигли второго камня у дороги.

— Не знаю, что попало в глаз мне, думала Маре, — такая прозрачная, светлая капля... но она не вызывает ни боли, ни жара, как слеза боли...

— Разве ты не чувствуешь аромата цветов? — снова спросил Ви-

свалд. — Как понятен немой их язык! Теперь и я знаю, что сказал молодой зародыш, когда вынес на поверхность земли нежные ростки свои и растение, выпуская ветку за веткой и лист за листом навстречу свету... и цветок, раскрывая бутон своей навстречу солнечным лучам!... Как чудно понимать то, что не имеет ни слов, ни звуков... Поддай мне руку... я чувствую, что единственно только через тебя для меня все это возможно...

Но как же мне назвать тебя?

— Я не понимаю тебя, — вновь хотела было ответить Маре, но птичка вспорхнула и им нужно было пройти последнюю тысячу шагов.

Руки Маре так устали, что она лишь с трудом могла закутаться друга своего в покрывало. Ужасный страх напал на нее, она боялась, что у нее исчезнут силы, прежде чем они достигнут цели, и кровь еще более стала застывать в жилах ее, нежели от страха перед вороном и змеями. Она уже видела друга своего пораженным смертельной стрелой, видела его предсмертные муки, последний вздох его... С каждой секундой силы ее уменьшались, надежда исчезала... у нее потемнело перед глазами... руки опустились... Она споткнулась и упала как неживая... на третий камень у дороги.

Но вскоре ее охватила приятная свежесть. Как изъеденный весенними ветрами тонкий слой льда вдруг проламывается под горячими лучами солнца и освобожденные потоки, радостно журча, несут пенящиеся воды свои вниз — вниз, так и Маре казалось, будто окаменелое лицо ее сразу ожило под дыханием ветра. Но у нее не было времени об этом думать. Она всматривалась в лицо Висвалда, на котором все еще отражалось счастливое умиление.

Неужели молитвы ее были услышаны, и уже произошло чудо?

— Ты слышишь журчанье ручейка? Как спешит он унести воды свои на лоно моря! Ты понимаешь вечный язык его, как понимаю его и я. Ничто для нас ни немо, ни тихо, ни безжизненно: в красках, ароматах и звуках все существа, все творения выражают лишь единственную песнь славы — лишь славославят Творца — всех нас соединяет мощь вечной любви... Как сладостно всецело ей отдаться и погрузиться в ее священное пламя!.. Поддай мне руку твою, ты, я — только часть от тебя... теперь и я знаю тебя, ты... ты сама любовь!..

Птичка вспорхнула и исчезла в лесной чаще.

— Мы ничего еще не достигли, милый, тебе нужно еще проложить себе дорогу через кусты терновника...

— Я силен и крепок, благодаря тебе я все могу... — И он схватил тернии.

Но они как раскаленные иглы вонзались в его тело, причиняя ему нестерпимую боль, Маре не могла вытащить всех заноз и вскоре тело его покрылось кровоточащими ранами.

— Потерпи, милый! Как охотно я разделила бы боль твою, но это не суждено мне.

Он улыбнулся, но губы его дрожали от боли.

— Если ты со мной, то я смогу все...

— Еще миг и мы будем у цели.

— У цели... с тобой я силен...

Голос его слабел, холодный пот выступил на лбу, из бесчисленных ран сочилась кровь, но в руках он держал последнюю ветку терновника — путь был свободен.

Хотя Маре и очень хотела перевязать раны друга, но она не смела медлить. Прижмурив глаза, она внимательно осматривала дуг, в какую сторону пойти бы ей, чтобы отыскать чудесный цветок. Тихий ветерок принес целую волну сладкого аромата — в ту сторону и поспешила она. Почтительно приблизилась она к чудесному цветку, роскошно сверкал он, как утренняя зоря. Осторожно вынула она прозрачную капельку росы из чудного венчика и поспешила к своему другу.

Но как удивительно! Смотри на каплю эту, и следя, чтобы она не разлилась в руках ее, она увидела в ней отражение чудно-прекрасного личика. Кому же принадлежали эти глазки, золотистые блестящие волосы и прелестная улыбка на пурпурных губах? Эта картина была так красива, что от нее нельзя было оторвать глаз.

Маре была уже около Висвалда. Она нагнулась и омочила глаза и лоб его, как этому научила ее высокая вестница... Его раны закрылись и зажили, глубокие морщины, которыми боль и заботы изрезали лицо его, исчезли... он открыл глаза... ясные, полные жизни...

Две пары глаз встретились в немом счастье. Им казалось, что во взоре один другого они видят высокий, святой храм — неизмеримо велика была внутренность его и эпохи для посетителей его были погружены в вечность. Двери этого храма были широко открыты... под звон всех колоколов, они могли войти туда...

Но время, протекая мимо, коснулось их дребезжащим колесом своим: глубоко вздохнув, они проснулись.

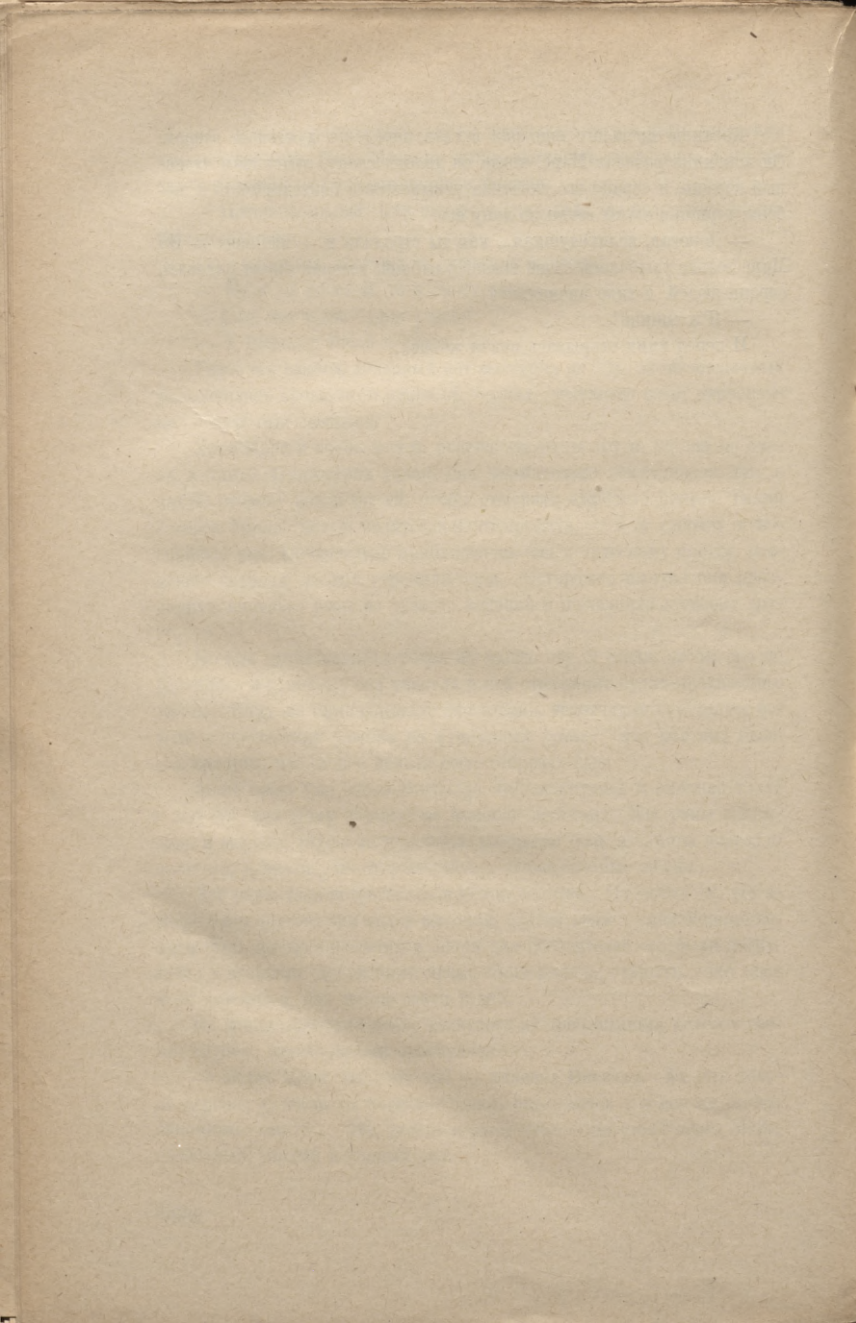
— Маре, Маре, ты... это ты! — ликовал Висвалд. Ах, что только перенес я, когда ты постоянно была около меня, а я все же не мог вспомнить, кто ты... Ну, теперь я знаю это. — Он стоял перед Маре, свободный, гордый и полный сил.

Картины прошлого еще раз встали перед его духовным взором. Он вспомнил рассказ Маре, когда он долбил скалу, отыскивая чудесный камень, и сердце его охватила невыразимая благодарность и любовь: горящие слезы текли по лицу его.

— Дорогая, великодушная... как ты страдала и — любила! — Но Маре только улыбалась своей теплой улыбкой, которая умела радовать сердца людей, и тихо промолвила:

— Я женщина!..

И перед ними открылась новая жизнь...



Лизочка.

Когда я слышу имя «Лизочка», тогда в памяти моей невольно встают воспоминания, связанные с одним прекрасным утром в начале лета. По голубому небосводу как белоснежные лебеди плывут легкие, пушистые облака, нежное дуновение ветерка ласкает ветви берез, воздух же полон жужжания: это пчелы летят за медом. Кажется, что воздух переполнен ими, невидимыми. Я лежу навзнич в качалке около дома, прикрыв глаза фуражкой. У меня чудесное самочувствие: я знаю, что гуси теперь отошли к пастуху и ни сегодня, ни вообще в этом году пасти их меня не заставят и это чувство свободы вот уже около двух недель преисполняет сердце мое невыразимой радостью. Мне нравится прислушиваться к жужжанию пчел; мне нравится обонять запах цветов, который доносится ко мне с соседних клумб; мне нравится тихонько напевать на каком-то неизвестном, мною же самим выдуманном языке. Не умею я еще сознательно наслаждаться красотами природы, чувствую лишь, что вокруг меня происходят какие-то чары, какое-то чудесное осуществление.

А затем — а затем — открывается калитка, что у большого дуба и идет... идет... Лизочка!... Я смотрю, как по усыпанной грантом садовой дорожке мелькают ее желтые поршни и синие чулки, вижу на зеленом фоне листьев ее белый платочек и мое прелестное самочувствие достигает своего высшего предела. У меня такое чувство, что, все было так хорошо — только Лизочки одной и не хватало; ну, а теперь и Лизочка есть; желать более нечего.

Лизочка идет по дорожке с какой-то корзиночкой в руках, замечает меня, улыбается, свергает своими чудными карими глазами и говорит:

— Доброе утро, Волдис!... Мама дома?... Мне хотелось бы вскопнуть и Лизочке что-нибудь сделать, ну, что-нибудь такое особенное! Я и сам не знаю, что бы это было; может быть вцепиться в ее фартух и рвануть, может быть вырвать у нее из рук корзиночку и удрать, может быть даже укусить ее в руку. Да, да, именно это: очень часто являлось у меня такое желание укусить Лизочку в руку!

Но это я только думал. Мысленно я всегда являюсь таким геро-

ем. В действительности же мне безумно стыдно в ее присутствии и я никогда не решился бы сесть с ней рядом. Также и на этот раз на ее вопрос: «Мама дома?» — я отвечаю сонно и безразлично: «Дома»!

Лизочка проходит мимо меня и направляется в сад.

Там имеет обыкновение спать наш рыжий Дуксис. Я ожидаю, когда он залает. Это такое животное, которое, подобно мне, кажется ужасно злым, но если ему, скажем, по приказу надо было бы кого-нибудь укусить, он начал бы скулить и убежал бы. Повторяю, что, когда Лизочка заходит в сад, я всегда ожидаю того момента, когда Дуксис, залавав, бросается на нее, как бешеный. Так обычно всегда бывает и в таком случае я, заложив руки за спину, захожу в сад и, не глядя на Лизочку, медленно и важно направляюсь прямо к собаке, а она, поджав хвост, с визгом убегает из сада. В такой момент я чувствую себя чрезвычайно довольным и гордым: во первых я чувствую как бы сознание собственной силы и, во вторых, мысленно почитаю себя каким-то великаном, Лизочкиным спасителем. И у меня есть на то право: Лизочка уже большая девочка — к Иванову дню ей исполнится четырнадцать лет, мне же только восемь!.. Но Дуксис боится меня больше чем Лизочки!.. И вот когда мне удастся таким образом самому же возвысить себя в глазах Лизочки, — у меня сразу же как то появляется желание к совершению других героических дел: я готов выворачивать из земли деревья со всеми корнями, бороться с медведями и волками, рубить головы драконам. И все это для Лизочки. Для нее одной, но почему?..

Но кто же эта Лизочка? Ее зовут Лизочкой Телен. Да, но ведь это еще ничего не говорит. Она живет у Теленов — паны и мамы, но она им не родная дочь. Она дочь дальней родственницы самой Телен. Эта родственница умерла года два тому назад и Телены взяли девочку к себе. Так Лизочка и живет теперь у них и раза два в неделю по делам заходит к нам. Мне она нравится больше всех женщин на свете. А когда, взяв за основу непонятное еще для меня слово «жениться», я начал строить фантастические и смешные планы, от которых однако и моему детскому сердцу становилось иногда тепло и приятно, — повторяю, когда я начинал так думать, то всегда в мыслях этих фигурировала Лизочка.

Люди видят, что я стесняюсь Лизочки и начинают надо мной подтрунивать, особенно же Трина Бредис, которая, посмеиваясь, зовет меня «Лизочкиным женихом». В таких случаях я страшно сержусь, слезы показываются у меня на глазах, но в глубине сердца я благо-

дарен Трине. Нельзя сказать, чтобы все были такими же поклонниками Лизочки, как я. Ее пргемная мать, например, заходя к нам вечно жалуется на Лизочку, называя ее несносным, неблагодарным и распущенным ребенком.

— Так изподлбья все и смотрит! — говорила о ней Телениха.

Я никак не могу понять, — как это делают, и мне хочется понаблюдать за Лизочкой. Мысль, что может быть такой человек, у которого глаза так устроены, что видит сквозь лоб, совершенно опровергает мою до сих пор существовавшую и мною же самим составленную теорию о строении человеческого тела, почему мне и не хочется допустить подобного утверждения. И в конце концов — это тоже что-то такое — не знаю, противное что-ли. Пусть уж кто-бы смотрел изподлбья, пусть, говорю я — мне это в конце концов совершенно безразлично. Но Лизочка — нет, по отношению к Лизочке это недопустимо!.. До сих пор у меня не хватало смелости пристально заглянуть в глаза Лизочке, но сегодня я решил это сделать. Это же смешно — говорю я сам себе — большой мальчик, а ходит опустив глаза!.. Но на этот раз вышло не совсем удачно: когда Лизочка зашла в садик, обычного в таких случаях лая не последовало (не знаю, куда это животное могло исчезнуть), и Лизочка без помехи вошла в комнату. Если бы мне удалось и теперь разыграть роль смелого рыцаря, то я был бы смелее!.. Но что же оставалось делать — что решено, то решено. Сегодня я должен быть смелым!

Я встаю с качалки, где уже достаточно отлежал себе спину, и направляюсь в комнату. Проходя мимо окна, я вижу, что Лизочка сидит с мамой за столом и мама наливает ей кофе. Когда я зайду, то — ясное дело — и мне также предложат. Это было бы не плохо, ибо тогда я сел бы против Лизочки, если и не совсем против, то хоть немного — наискось. Но просто так, без какой бы то ни было причины, зайти в комнату мне не хочется. Поэтому я делаю вид, что бегу откуда-то со всех ног, вбегаю в переднюю, громко топая ногами (это кажется мне особенно мужественным) и — влетаю в комнату.

— Мама, не звать ли уже коров с поля? — сухо и хозяйственно говорю я.

— Пусть еще немного попасутся! Иди, выпей чашку кофе, Володи! — говорит мать.

Мать сидит против Лизочки у середины стола: мне приходится сесть в конце. Самая удобная позиция.

Беру от матери кусок хлеба намазанный маслом, опускаю нос в

стакан, но изподтишка наблюдаю за Лизочкой. Поднять глаза я все-таки не решаюсь и поэтому вижу лишь ее пальцы и кусочек хлеба в них. Пальцы такие красивые, тоненькие, с удлиненными ноготками — такими как миндалинки! И когда они двигаются, то каждый из них мне кажется живым в отдельности. У меня нет таких пальцев: не совсем нравится мне мыть их как следует, ну и за день многое что на них накапливается.

— Ну, что же Телен-то сам был вчера в Елгаве — спрашивает мать у Лизочки.

— Да, был — отвечает Лизочка.

Голос у нее такой странный, такой бархатный и вместе с тем как серебро. Когда она говорит, то создается такое впечатление, что серебрянный колокольчик, звеня, катится по бархату. Мне очень нравится Лизочкин голос. Затем я поднимаю глаза еще немного и вижу бархатный воротничек ее кофточка, белую шейку и подбородок; Лизочка кушает и под подбородком у нее что-то так красиво двигается: то вверх, то вниз.

— Волди, туфли-то ты почистил? неожиданно обращается ко мне мать с вопросом.

— Нет! — говорю я и, подняв голову, бросаю пристальный взгляд на Лизочку. Я вижу продолговатое личико, которое вероятно никогда не загорает, карие глаза, начесанные на перед густые темнорусые волосы. Волосы и все прочее для меня не важно — мне нужны лишь эти глаза! И я ловлю их, во взгляде ее направленном мимо меня через окно во двор, и этот взгляд так прям, так мил — опять такой же бархатный и, кажется, звучащий. Никогда еще до сего времени не замечал я, что человеческие глаза могут обладать такой притягательной силой! Лоб же — как уж лоб и глаза находятся как раз под ним, как и у всех людей! Нет уж, сказочку то эту о взгляде изподлобья Телениха сама выдумала. Из-за зависти выдумала. Ей завидно, что Лизочка такая молодая и красивая и все обращают на нее внимание, ее же, Телениху, с ее двумя огромными клыками, дети даже боятся.

И решив, что Телениха соврала, я почувствовал такую мучительную боль, что как будто бы сам был обижен. Хочется мне этой Теленихе чемнибудь отомстить за ее злое сердце.

Не знаю как долго я был погружен в подобные размышления, смотря на Лизочку, но только, когда мама крикнула мне:

— Волди, да что же это такое? О чем ты думаешь?.. Почему не отвечаешь?..

Я говорю — когда мама крикнула мне, я понял, что она меня уже о чем то спрашивала, а я не слышал.

— Что, мама? — отозвался я.

— Видишь ли, Волди, теперь ты иди и вычисти свои туфли; вам с Лизочкой надо будет сходить на кладбище и снести цветы. У Лизочки есть уже цветы из дома, а мы нарвем в саду...

Я не хотел верить своим ушам. Мне с Лизочкой надо идти на кладбище? С одной стороны мне страшно хотелось идти и мысли об этой прогулке заставляли радостно биться мое сердце, но с другой — было очень неприятно, как бы стыдно, может быть даже хотелось плакать. А результатом всего этого было то, что я довольно остро ответил:

— Я не хочу, мама!..

— Ну, ну, почему же ты не хочешь? — удивилась мама; погода прекрасная... прогуляешься...

— Я не умею, мама, — еще более остро ответил я.

Но мама оставалась спокойной: ни малейшей дрожи незаметно было в ее голосе:

— Что же там не уметь, Волди! Цветы посадить Лизочка умеет и она это сделает. Тебе же, как мужчине, надо ее лишь проводить...

Не знаю почему, но невыразимый гост поднялся во всем моем существе и под влиянием его я забыл все, что делаю и почему это делаю; мне было безразлично: что будет, то будет.

— Я боюсь Стубуровских собак! — воскликнул я со слезами на глазах.

Мама начала смеяться. Я только расслышал:

— Ай, ай, Волди!..

Дальнейшего я не слышал, ибо как ветер вылетел из комнаты, убежал на берег пруда под ивы и там выплакал все свои слезы. Мне было стыдно, чего-то жаль и страшно досадно, что я упомянул об этих собаках. В зеркале пруда я увидел свое отражение, свои затуманившиеся глаза, фуражка с разорванным козырьком и выбившимися изпод нее волос.

— Настоящая обезьяна! — в глубине души выругал я себя и плюнул в глаза своему отражению в воде.

— Чего же ты собственно хочешь, спрашивал я у себя, — говори же, — пойдешь ты или нет?

Ответ был довольно определенным: пойду!... Ну, так чего же ты

здесь болтаешься!.. упрекнул меня какой-то внутренний голос: иди, пока Лизочка еще не ушла.

Я вымыл в пруду глаза, чтобы не было заметно, что они заплаканы и был убежден, что все теперь будут думать: этот такой мужчина, у которого и за деньги слез из глаз не выжмешь!.. Пошел я, бросаюсь камушками, нарочно мимо окон, чтобы мама заметила. Иду, а сердце колотится быстро, быстро: не ушла бы только Лизочка!.. Нет, вижу: Лизочка помогает что-то делать маме в людской комнате за столом. Но как же мне это сделать? Ну, просто войти в комнату и сказать маме:

— Мама я передумал, я пойду с Лизочкой на кладбище!.. Ничего другого я не придумал. Так лучше уж пусть будет, что будет. Пусть уж мама первой со мной заговорит. Сел я на крылечке и начал насвистывать какую-то самим же придуманную мелодию, пусть мать слышит, что сын ее тут же! В этот момент из сада выбежал Дуксин, такой мокрый, что как будто бы его только что выкупали. Как только я взглянул на него, так тотчас же и вспомнил свой неудачный выпад с этими Стубуровскими собаками и больно, больно заняло сердце. Дело это теперь только тем и можно поправить, что непременно надо идти с Лизочкой, взять с собой хорошую дубину, нарочно вызвать Стабуровских собак, безразлично — на жизнь или на смерть! — и доказать, что все это было только в шутку, — и эта боязнь, и эти слезы! Мама вышла из людской, прошла мимо меня, в садик, возвратилась обратно, снова прошла мимо, но ничего не сказала. Но она не была сердитой, это я видел. Повидимому, все это было не так важно — и для нее было безразлично, иду я, или нет, и мою выходку она наверное уже забыла. В таком случае ничего не остается делать, приходится самому же о себе и позаботиться. В ином случае, вчера, например, или позавчера я бы никогда на это не пошел. Но сегодня я взглянул в глаза Лизочке и сразу как то стал старше, смелее и умнее.

Я сунул руки в карманы, вошел в комнату и, ни на кого не глядя, проговорил:

— Мама, если ты разрешаешь мне вырезать хорошую палку, то я иду с Лизочкой на кладбище!..

Я ожидал, что мама посмеется надо мной: говоря, нет уж, если ты не хотел, то теперь сиди дома; или же скажет: эге, не утерпел!.. Но мама совершенно спокойно, как будто бы все это не стоило и пылинки, ответила:

Режь хоть две... Но собирайся скорее, да туфли почисти!..

Я взглянул на Лизочку, — не увижу ли на лице ее насмешливой улыбки? Но и Лизочка была совершенно спокойна и я, довольный собой и другими, взял туфли и вышел из комнаты.

II.

Мы шли по дороге между зеленеющими ржаными полями. Лизочка несла корзинку с цветочной рассадой, а я бежал впереди, размахивая палкой. Я казался себе настоящим великаном, который способен вызвать на борьбу не только Стуборовских собак, но даже самых ужасных драконов и людоедов. Я гордился тем, что я мужчина, иду впереди, смелый и бесстрашный, а женщина, которая почти вдвое выше меня ростом, идет позади. О том же, что корзинка, которую несла Лизочка, была не так легка, я подумал только позднее и, как бы сознавая свою вину, обернулся к Лизочке и стыдливо проговорил:

— Дай, я тебе помогу!

— Иди, иди, Волди, — сказала Лизочка, — не так уж тяжела эта корзина... донесу сама...

— А если ты оттянешь руки? — сказал я, как взрослый парень, и прицепился к корзине. — Вот только если собаки покажутся, то мне уж придется идти впереди! — добавил я.

Лизочка рассмеялась:

— Ах, так ты не боишься собак?

— Фу! что ты говоришь! — делаю вид, что обиделся, проговорил я, — я, — и боюсь этих собак... гром и молния!.. Это выражение — «гром и молния» — я позаимствовал у Мартина Лейнека, большого пьяницы, который иногда заходил к нам в гости. Мне страшно нравилось это выражение: казалось, что в нем есть что-то бесконечно сильное.

Пригрозив «громом и молнией», я хотел видеть какое впечатленье оставит это на Лизочку. Но взглянуть на нее я не решался. Я только, как сказать, на словах был героем; в действительности же я чувствовал себя с Лизочкой очень неловко, — и шут его знает, почему это так было. Были такие моменты, когда я хотел броситься в рожь и убежать со всех ног домой!..

Вдали я тоже мог сказать одно, другое слово, но, идя рядом с Лизочкой, слова ни за что не хотели сходить у меня с языка. Но сердился-те я не на себя, а на Лизочку: такая большая девочка, а не может и пары слов сказать маленькому мальчику! Хоть бы спросила:

и я может быть рассказал бы ей, что никаких приготовлений нет, ибо я совершенно не знаю, как к этому надо готовиться, но что папа с мамой действительно задумали отдать меня в елгавскую школу, чему я не особенно рад. И если бы таким образом у нас завязался разговор, то может быть и я рассказал бы, что вчера в березняке нашел три птичьих гнезда, а на скале оврага несколько ягод земляники, которые начали уже краснеть. Но Лизочка не спрашивала меня ни о чем, — шла молча.

Шла, пока вдруг сказала:

— Отдохнем!..

Мы поставили корзину и сели. Я искал глазами между травой землянику, а Лизочка сняла с головы платочек и отирает пот с лица. Она вся покраснелась. Когда она сняла платочек, я увидел, что вдоль спины у нее свешивается довольно толстая коса с бантиком на конце.

— Эх, был бы я посмелее, — подумал я: подергал бы я тебя за эту косу!..

Мне казалось, что я, как человек мужского рода, имел бы право, а может быть это даже было бы и моим долгом пошутить с девочкой и что это было бы настоящей и вполне уместной шуткой. Но этой смелости у меня то как раз и не хватило и таким образом коса девочки осталась попрежнему спокойно висеть вдоль спины. Да и глаз то поднять я также не смел. Лизочка отерла пот с лица и спросила:

— Ну, Волди, почему же ты сначала не хотел идти со мной на кладбище?..

Это был довольно неожиданный и вместе с тем для меня не совсем приятный вопрос.

Ковыряя палкой землю и пристально глядя на дно оврага, я ответил:

— Да разве я не хотел... Это только так не вышло...

— Что же у тебя не вышло? — смеялась Лизочка.

Ну это-то мне уже совсем не нравилось, что она смеялась как раз над этим моим выражением. Как будто бы я уже был такой малыши и у меня не было такого дела, которое могло бы поменять мне пойти на кладбище.

— Мне не нравится, когда мне так... приказывают, — серьезно ну, что же будет осенью, пойдешь-ли в школу в Елгаве, — или что-нибудь подобное. Мало-ли о чем можно было бы поговорить! Тогда сказал я и добавил: по приказу я ничего не делаю!..

— В таком случае ты совсем молодец, Волди! — снова усмехнулась она.

Это уже было слишком! Выходило так, что в смелости то моей она до сих пор сомневалась. Нехотя поднял я голову и нехотя повернулся к ней, строго сирив:

— А как ты думаешь?..

Я все время так держал себя, чтобы меня можно было принять за ее защитника, а тут вот: посмотри!... Я был убежден, что мой вопрос — ответ произвел на Лизочку должное впечатление, ибо она более уже не смеялась. Это придало мне смелости, и если я еще чувствовал известную неловкость, то это относилось к делам, слов то более я уже не боялся. И всетаки, когда мы поднялись, чтобы продолжать путь, я ухватился за ручку корзины лишь кончиками пальцев, — ради смелости; лучше уж держаться от нее подальше.

— Иди ближе, Волди! — нашла нужным заметить Лизочка — почему ты меня боишься?..

Это был один из слабых пунктов. Тут нужно было коснуться уже самой сути дела и рассказать что-нибудь очень убедительное.

— Я несколько не боюсь... — ответил я не совсем смело, — я только не привык так... с девочками! А ты уже большая девочка... Поэтому у меня... так не выходит!.. С мальчиками — дело другое...

— Ого! — уже от всей души смеялась Лизочка и спугнутый ее смехом из рва выпорхнул жаворонок.

Это опять мне не нравилось. Она в глаза смеялась надо мной. Как поком полоснуло мне сердце что-то такое острое, непонятное. Я чувствовал себя обиженным и у меня явилось желание отплатить ей за это; поэтому совершенно случайно у меня сорвался:

— И так — ты все еще смотришь изподлобья!

Хотя я только что убедился, что подобное утверждение ложно, всетаки из упрямства я продолжал на нем настаивать и после того, как Лизочка с удивлением сказала:

— Что за глупости, Волди!..

Нет, нет, ты смотришь изподлобья и это нехорошо!

— Кто же тебе это сказал?.. спросила Лизочка.

— Телениха сказала и... моя мама тоже говорит!..

— И твоя мама говорит?.. удивилась Лизочка.

— Да, именно так и говорит, отрезал я.

Лизочка вздохнула и не сказала более ни слова. Я почувствовал, что она огорчена и мне стало жаль ее, но сознаться во лжи я не

мог. Поэтому некоторое время мы шли молча. Но затем я всетаки переборол себя и заметил:

— Я тебе... солгал!.. Моя мама так не говорит!..

— Я уже так думала! — радостно отозвалась Лизочка. Твоя мама хорошая!..

Мне было очень приятно слышать, что она так отозвалась о моей маме. Поэтому я собрался с духом и, чтобы окончательно успокоить Лизочку, сказал:

— Да и вообще... Телениха врет! Ты не смотришь изподлобья, — я это уже заметил!..

— Ого! — засмеялась Лизочка, но теперь смех ее звучал приятно: ты заметил?.. Разве ты также знаешь, как я выгляжу?.. Ты же убегаешь, как только меня замечаешь!..

Это снова меня взбудоражило.

— Я вовсе не бегу... но я тебе ведь только что сказал, что я не привык так с девочками! — сердито ответил я.

Снова наступило молчание, которое я прервал совершенно странным предложением:

Переходи жить к моей маме... Моя мама хорошая... и тогда ты станешь мне сестрой!..

— Ах, ты хочешь, чтобы я стала твоей сестрой?..

— Ну, а почему же мне не хотеть...?

— Ах, так значит я тебе нравлюсь?..

Этот вопрос был довольно странным; зачем ей надо было спрашивать, и что мне на него ответить?.. Мне этот вопрос не понравился и поэтому я вполне определенно заявил:

— Да, и так как сестры у меня нет, то ею можешь быть ты!..

— Оставь, Водди, — печально ответила Лизочка, — ты не понимаешь...!

— Опять, — я не понимаю: зачем же она говорит такие вещи, если думает, что это я не понимаю!.. Вот нашлась умница!..

Мы были как раз у того опасного места, где ежеминутно могли появиться стубуровские собаки. Именно здесь я мог проявить себя и я уже держал дубину наготове. В действительности эти собаки ничего ужасного собой не представляли, — просто таксы, — я это хорошо знал, — и разве они также иногда не могли стать звероподобными?.. Но таксы на этот раз, как назло, не показывались и это меня огорчало: эта девчонка всетаки на целую голову становится выше меня!..

После жары по дороге на кладбище была приятная свежесть. Сначала мы отыскивали могилы моих родственников — это было желанье Лизочки.

— На этих могилах я посажу самые красивые цветы! — сказала она.

— Почему же так?..

— Назло! — отрезала она; — потому что вы лучше Теленов...

Мне всетаки показалось, что не совсем хорошо теленовские цветы садить на наших могилах, но я ничего не сказал — каждому же приятно, когда своим достается больше, чем чужим!..

Лизочка ловко и умело разрыхляла землю, а я только стоял да смотрел. Когда могилы были приведены в порядок, мы отыскивали какую-то жестянку и пошли на реку за водой.

Я зачерпнул воды, но посудину то нести мне Лизочка не позволила: тяжела она дескать, для меня. Но дно жестянки было в грязи и когда мы возвратились на кладбище, — увидели, что белый передник Лизочки вымазан грязью.

— Ай! — воскликнула она, глядя на передник; ну будет брани!..

— Брани? — удивился я, — разве Телениха часто тебя бранит?

— Чаще чем кормит, — определенно и умно ответила Лизочка.

Это меня огорчило, мне не нравилось, что Лизочку ругают и поэтому я предложил:

— Ну, так вымоем!

— Эх, что там, — упрямо ответила Лизочка, — пусть!.. Пусть они бранят и бьют!.. Авось перенесу!..

— Но ведь мы же можем вымыть! — упорствовал я.

Мне нравится, когда меня обижают!..

— Нет! — противилась Лизочка, — пусть они обижают меня!..

Этого я не понимаю: как может нравиться человеку, когда его обижают?..

Мы начали поливать цветы. Лизочка молчала. Когда цветы были политы, она проговорила:

— Ах, если бы здесь лежала моя мама!

— Что же тогда было бы?..

— Тогда я часто, часто приходила бы на ее могилку!..

— А где же твоя мама похоронена?..

— За Добелем!..

За Добелем — это было вероятно очень далеко. Вдруг Лизочка опустилась на колени и нагнулась над могилой. Я думал, что она

нюхает посаженные цветы, но когда она все еще продолжала оставаться в таком же положении, я нашел нужным заговорить с ней:

— Лизочка, что ты делаешь!.. Пойдем...

— Да, да... сейчас... — ответила она и поднялась.

Я видел, что глаза ее мокры и красны.

Я понял, что она плакала. Но я был убежден, что она плачет об этом переднике. И мне вдруг стало так так ее жаль, так жаль, что я быстро опустился на колени, совершенно не сознавая, что делаю, зачерпнул рукой воды из посуды и начал чистить ее передник.

Лизочка была так поражена моим поступком, что даже не двинулась с места. Стояла и смотрела на меня. А я только продолжал мыть и на душе у меня было так хорошо от этого сознания, что и я могу помочь Лизочке. Не знаю, стал ли ее передник чище от такого мытья, но когда наконец я поднял голову, она так внимательно, так пристально смотрела на меня и на глазах у нее были слезы. Затем она вдруг обняла меня и, рыдая, прижалась ко мне лицом. Я почувствовал что-то мокрое, соленое и вместе с тем что-то горячее: она целовала меня. Все это поразило меня, нравиться то нравилось. И не было более никакой стеснительности и неловкости относительно этой большой девочки, которая была почти вдвое старше меня!

Мы стали друзьями.

Возвращаясь домой, мы уже разговаривали то о том, то о сем и Лизочка смеялась. По дороге я предложил ей:

— Давай расстелем этот передник здесь на траве, пусть он высохнет.

Разостлали мы его на солнышке и сами присели.

— Да разве это можно перенести, когда постоянно бранят? — вдруг спросил я, снова возвращаясь к нашему прежнему разговору.

— Когда не смогу более переносить, я убегу! — серьезно ответила Лизочка.

Это — такое бегство — было для меня чем-то новым.

— Куда же ты убежишь?..

— Хоть куда!.. Убегу в Елгаву!

Невероятным мне это не показалось, но самая мысль о бегстве мне не понравилась; если она убежит, то я ее уж больше не увижу!.. К нам Лизочка более не зашла. Мы расстались на перекрестке и разошлись по домам.

Со мной происходило что-то странное: мне хотелось, чтобы она проводила меня, но попросить об этом я не решился. Весь этот день я был задумчив. Мама спросила:

— Уж не переутомился ли ты, Волди?..

— Как же это я мог бы переутомиться?.. И что это ты выдумываешь, мама!..

А отец, который слышал наш разговор, засмеялся:

— Какой ты разумник, Волди!.. Совсем как взрослый!..

Это выражение, конечно, мне льстило.

III.

Я ожидал, что Лизочка опять зайдет к нам, но она не заходила. Мне очень хотелось узнать, чем окончилось дело с ее передником, и когда через неделю мама сказала прислуге, что надо идти к Теленам за крыжовником, (у нас в этом году не было), я вызвался ее проводить. Мама ничего не имела против. До Теленов было версты три.

Когда мы пришли туда, нас угостили чаем и яйцами; затем Телениха сказала:

— Пусть дети оберут крыжовник — это детская работа!.. А вы, обратилась она к прислуге, можете за это время поболтать с нашими девочками!..

Прислуга, конечно, с большой радостью приняла это предложение, мы же с Лизочкой пошли в сад. Присев около куста, мы принялись за работу. Этот передник не выходил у меня из ума и поэтому, когда мы сели, я тотчас же спросил:

— Ну чем же кончилось тогда у тебя это дело с передником?..

— Эх, что там! — рассмеялась Лизочка, — дали одну затрещину, потом другую и все!...

Я удивился как может она об этом спокойно говорить. Я подумал: если бы я, если бы моя мама меня так... не знаю, что бы я тогда сделал!.. Что бы я сделал, этого я не мог себе сказать, но только это было бы что-то ужасное: я или взобрался бы на дерево и целые сутки не слезал бы на землю, или разбил бы себе лоб об стену, чтобы на нем вскочила шишка величиной с яблоко—пусть бы мама потом разминала ее ножом и жалела своего сына. Таким я тогда был вешельчичивым.

Крыжовника у Теленов было очень много. Лизочка отыскивала самые крупные ягоды и клала мне в рот, мелкие же клала в карзину. Это мне не совсем нравилось, что со мной обходятся как с малым ребенком, но ягоды были очень вкусные и отказываться от них не имело никакого смысла.

Когда Лизочка протянула ногу, я увидел, что чулок у нее дырявый.

— Ай, какой у тебя дырявый чулок! — удивлялся я.

Лизочка усмехнулась и чуть приподняла подол юбки.

— Это еще ничего!.. А посмотри сюда!..

И я увидел, что чулки у нее совершенно не достигают до колен, что пагинки совершенно разлезлись и обвязаны веревочками:

— Разве ты думаешь, что ктонибудь дает мне чтонибудь целое!.. Посвисти!.. Ого!..

Это не хорошо, что Телениха так обходится с Лизочкой, подумал я, но мне не понравилось также и то, что Лизочка так странно... так некрасиво... Разве девочка смеет так показывать мальчику голое тело?.. И ягоды, которыми Лизочка продолжала меня кормить, не казались уже мне такими вкусными.

— Лиза! — раздался через некоторое время громкий и резкий голос Теленихи.

Лизочка вскочила и побежала домой и я слышал, как Телениха ругалась:

— Стыда у тебя нет, бессовестная девчонка!.. Разве я тебе не говорила!.. Вот, как дам по морде!.. Вот, как дам по морде!..

Дальнейшего я не расслышал, а затем опять:

— Смотри ты у меня, крапивное семя!..

Крапивное семя!.. Что же это такое?.. Что это значит? Надо спросить у Лизочки.

Когда Лизочка возвратилась, я, набив рот ягодами спросил:

— За что это она тебя так?..

— Забыла закрыть чулан, забежала кошка и съела сметану, — безразличным тоном рассказывала Лизочка.

— Ах, так вот как она тебя ругает?..

— Это еще ничего, — смеялась Лизочка, — иногда такого жара дает, что уши горят!

— Подожди, Лизочка, — хотел я добиться своего, — разве ты не дочка своей матери?

— Как так? Каждый же является ребенком своей матери, — рассеялась она.

— Да, ну, а почему же она тогда сказала крапивное семя?..

— Ах так?.. Ха, ха!.. Этого ты, Волди, не понимаешь!.. Когда подрастешь, тогда...

— Ну, опять ты за старое, — обиделся я, — мне безразлично, можешь и не говорить.

— Ну, если тебе так интересно: так называют ребенка у которого нет отца...

— Так у тебя нет отца?..

— Отец то был, только он не был настоящим отцом...

— Этого я совершенно не понимаю. «Отец был, но не настоящий»... Она наверно меня дурачит.

Но Лизочка продолжала все резче и все с большим волнением.

— Что она знает о моей маме!.. Моя мама была хорошая!.. Как смеет она ее оскорблять!.. Ну, подожди, отплачу же и я тебе!.. Напущу завтра в чулан всех кошек и собак, пусть жрут все добро! Сама то кто, — как она смеет чернить других!..

Хотя мне Телениха и не нравилась, но Лизочке все-таки тоже не следовало о ней так отзываться!..

— Если бы была жива моя мама; разве, ты думаешь, я жила бы у этих свиней?... Ты увидишь, что я сбегу, вот увидишь!..

Она опять начала рыдать...

— Милый, милый Волди! — она обняла меня и стала целовать; только тебе одному я и могу все рассказать... Ведь у меня нет никого, ни одного человека!..

Но на этот раз мне не нравилось, что она меня целует. И слез у нее не было, а рыдания вышли какими то сухими, воющими. Я чувствовал лишь горячие губы, от которых мне хотелось скорее освободиться. То, что она дружески относилась ко мне, мне нравилось, — но все-таки мне казалось, что тогда, на кладбище, все это было куда лучше...

Набрав полную корзину, мы пошли в комнату, а оттуда я с прислугой домой.

Прошла неделя. Приехали портные и начали шить мне костюм для Елгавы. Это мне очень нравилось. Это было впервые, когда портные были приглашены из-за меня; я целые дни проводил в отведенной им комнате, следя за тем, как из отдельных кусков с помощью иглы выходит для меня два костюма из самотканного сукна и пальто.

Мать удивлялась, что я так вырос. В прошлом году для меня требовалось вдвое меньше материала, чем теперь.

— Но зато брюки-то у него теперь будут навывпуск! — смеялись портные.

Один из них пошел на другой день к Теленам: поговорить о рабете

— Если бы вы знали, какой там скандал! — возвратившись, рас-

сказывал он, — Лизутка, их воспитанница облила Теленху кипятком!...

— Что вы говорите? — удивлялась мама, — почему же она это сделала?...

— Ну, вы же знаете Теленху... выбрала девочку, а та схватила со стола кипяток да на нее!...

— Ну, и очень обварилась старая-то? — спросила мама.

— Нет, какой там, — пустяки!... Но сам то по себе поступок, сам-то по себе, — говорил портной; — как такая девочка осмелилась поднять руку на свою приемную мать!...

— Ну, что там говорить, — дочь проходимца! — добавила прислуга, которая слышала весь этот разговор.

Слова «дочь проходимца» снова заинтересовали меня, и когда я спросил у мамы, что они означают, она только махнула рукой и сказала:

— Э, ничего это не означает!...

Все же я почувствовал, что с Лизочкой дело обстоит не так, как с прочими девочками, что она совсем иная, но в чем дело — узнать мне не удалось.

Дня через два Лизочку отвезли в Добель и отдали в ученицы к одной швейке. Я же осенью уехал в Елгаву и поступил в школу.

Летом, когда я приезжал на каникулы домой, я иногда спрашивал у мамы про Лизочку, интересуясь где она теперь.

Мама говорила, что она все еще в Добеле, и работает уже самостоятельно; к Теленым же она не показывается.

Так прошло лет шесть.

IV.

Я был уже порядочным мальчиком, лет четырнадцати, когда опять как обычно проводил лето в родительском доме. Вспоминается мне один прекрасный день, после обеда, он остался в памяти моей со всеми мельчайшими подробностями. А в памяти моей он остался потому что связан с Лизочкой, которая принадлежала к самым ярким образам из моих детских воспоминаний.

Иногда моя мальчишеская фантазия, которая начинала уже неслышно осознавать, что такое женщина, имела обыкновенно останавливаться на Лизочке, которая в памяти моей была связана с ясным летним утром, ароматом цветов и жужжаньем пчел. Какая-то странная

грусть охватывала меня всегда, когда случайно до ушей моих доносилось произнесенное другими слово «Лизочка».

Был воскресный день. Во всем доме царила тишина. Только маленький Ян в амбаре тихо наигрывал что-то на гармошке. Я сидел за столом под липой и читал какую-то книгу. Нечаянно взглянул в сторону дороги, я увидел, что тут же мимо риги идет женщина в шляпке и с зонтиком в руке. Это была какая-то незнакомка. Она вошла во двор мимо деревянного сарая и по середине двора встретилась с мамой. Я слышал, как они разговаривали.

— Здравствуйте! — сказала незнакомка.

— Здравствуйте, здравствуйте, — ответила мама, — а ведь я вас не знаю, барышня... Как будто бы и видела вас где то, а может быть и нет!...

— Неужели вы не узнаете Лизочку? — засмеялась незнакомка.

Лизочка!... Сердце мое дрогнуло и я стал внимательнее прислушиваться к разговору.

— Так, так!... — Лизочка, — повторила мать, но в голосе ее не было ни радости, ни тепла. — Ну здравствуй, здравствуй. Откуда идешь?...

— От Теленов... Заходила к ним, — ответила вопрошаемая.

— Что же так мало гостила?...

— Эх, что там, — горько усмехнулась Лизочка, — здравствуйте и больше ничего. Попрачатся и не успела... Хорошо еще, что собаками не затравили!... Вот я и подумала: найду в Лизкты, — здесь когда-то были добры ко мне...

— Так, так, — сказала мама, все еще стоя на месте и затем, так нехотя, добавила: — ну, заходите...

— Нет, куда там... я лучше здесь на лавочке посижу, — ответила Лизочка.

— Да, погода прекрасная, — сказала мама.

Они сели на лавочке под сиренью, спиной ко мне. Разговор не вязался. Начнут говорить и замолчат. Я только понял, что Лизочка живет в Добеле.

— Что я хотела бы у вас попросить, — произнесла после длинной паузы Лизочка, — не могли ли бы вы дать мне напиток?...

— Да, да... почему же нет... — немного растерявшись, быстро ответила мама. — Я сейчас... или зайдите...

Они встали и направились к дому. Я видел, что около дома мать остановилась, не зная через какие двери вести гостью: через парадные или черным ходом?

— Бадья то ведь паверное стоит на прежнем месте!... Я уже знаю...

И она вбежала черным ходом. Мать вошла вслед за ней.

Но вскоре мама опять вышла, подошла ко мне и так странно, взволнованно сказала:

— Волди, сходи в лавку и принеси три фунта сахара... Вот деньги...

Лавка была недалеко от нашего дома и я с удовольствием ходил туда; я только не понял, почему это так вдруг понадобился сахарный песок, когда я только позавчера принес десять фунтов.

— Это наверно Лизочка, которая пришла? — спросил я у матери.

— Да, да... Лизочка... зашла мимоходом, — поспешно ответила мать, — ну иди, да поскорее.

Зашел в комнату, взял фуражку и пошел. Проходя мимо амбара, я видел как работник Стритис, огромный широкоплечий мужчина, вышел из амбара и пошел по двору к дому. Оттуда навстречу ему шла Лизочка.

— Ого, что же это за барышня? — проговорил Стритис, — да ведь это Лиза!... Откуда же это ты?...

И оба они поздравствовались, как старые друзья. На куче хвороста в конце амбара сидела жена работника и прислуга:

— Посмотри-ка, какие друзья! — проговорила прислуга, — откуда же они знакомы?

— Что же тут удивительного?... Стритис два раза в месяц едет в Дюбель; разве ему до «дома сестричек» дойти трудно?...

— И зачем она лезет сюда! ворчала прислуга, — что ей здесь понадобилось!... Безовестная!...

Дело становилось все туманнее... Почему мама не пригласила ее в комнаты, а завела в людскую, да и сама как будто бы сердится? И чего это эти сороки на Лизочку так взъелись?.. И что это такое «дом сестричек»?... Быстро сбежал я в лавку и так же быстро вернулся домой. Мне хотелось еще посмотреть на Лизочку; посмотреть какова она теперь.

Проходя мимо амбара, я услышал, что Стритис смеется там во все горло. Он всегда так смеялся.

Мне показалось, что я слышу и голос Лизочки. Прислуга, прижавшись к стене прислушивалась, а товарка ее стояла сзади.

Пьют пиво, — сказала прислуга.

Стритис вчера уже зашлса... для подруги... Вот бессовестная, — стыда то совсем нет!...

Я отдал матери сахар. Когда я входил в комнату, мать с-отцом разговаривали и довольно резким тоном, что с ними случилось, довольно редко.

— Какое тебе дело! — сердился отец. — Что ты можешь сказать теперь работнику! Он у себя в амбаре может делать, что ему угодно...

— Нет, но как ей не стыдно, — этого я не понимаю! — взволнованно ответила мать.

Когда я вошел в комнату, они замолчали.

— Иди, Волди, присядь, поиграем в шашки! — сказал мне отец.

Мне нравилось играть, но отец играл со мной очень редко. Поэтому я страшно удивился, что на этот раз он сам предлагает мне играть. Сегодня мне совершенно не хотелось играть, но играть нужно было. Мы сыграли несколько партий; начало уже смеркаться. В людской накрывали на стол. Вошла прислуга.

— Для Стритиса сала не режьте, хозяйка, — сказала она, ядовито усмехаясь; он ужинать не будет... ради того гостя... Гость как с неба свалился!...

Прислуга имела виды на Стритиса и поэтому волнение ее было вполне понятно.

— Иди, иди, — резко сказала мать.

Я хотел у отца что-то спросить, но по лицу его видел, что из этого ничего не выйдет: пусть уж лучше остается.

После ужина я отправился спать, но заснуть не мог. Я думал про Лизочку. Я продумал все случившееся со мной в детстве и старался придти какому нибудь выводу. Было что-то неясное, какое-то предчувствие, но не было определенного решения. Под влиянием странного любопытства, когда все в дом затихло, я осторожно спустился по лестнице, обошел сад и с другой стороны, чтобы никто не увидел, подошел к амбару. Как вор, на цыпочках, остановился я у стены и приложил ухо, как давеча прислуга.

В амбаре тихо смеялась женщина, а мужчина тихонько говорил: «Гостя дорогая, пора спать!... Пора спать, Лиза!»

Больно екнуло сердце. Стало чего-то жаль, может быть даже хотелось плакать... Тихонько вернулся я в свою комнату и лег в постель...

На другой день на рассвете Стритис проводил свою гостью. Я не видел тогда Лизочку вблизи. Может быть это было хорошо.

Теперь в детских воспоминаниях моих осталось чудное летнее утро, аромат цветов, жужжанье пчел; калиточка у дуба открывается и входит Лизочка в новых, желтых поршнях, входит Лизочка, но она не смотрит изподлобья.

Щепки в омуте.

(Психологический очерк).

Мы чиним крышу на выгоревшем конце гостинницы «Россия». Отец постоянно наверху. Он начинает с края. Почти безостановочно стучит он своим молотком, и, прибывая кусок жести, добирается до самого верха. Через каждые полчаса он садится верхом на переплет крыши и каждый раз набивает трубку, предварительно выколотив ее о жечь. Он делает это со страшной определенностью, ни разу не пропуская, и не забывая. Больше он и не курит, как только там наверху. Я замечаю, что он очень спешит. Чтобы больше сделать. Мы рассчитываем в следующую пятницу кончить. Но если так пойдет, то и на среду не хватит. Мне кажется, что я знаю, почему он так спешит. Я думаю, что в прошлое воскресенье он опять много пропил. После этого он временами дома с матерью и Руди бывает таким любезным, но на работе как одурелый и не позволяет мне остановиться ни на минуту.

Да у меня и нет времени остановиться. Мне нужно на мокром, залитом водой потолке разбирать содранные и брошенные в кучу куски жести и подавать ему наверх. Иногда мне приходится слезать вниз. Там на краю тротуара две кучи сорванных кусков жести вперемежку с погнутыми жолобами и обгоревшими концами досок. Я освобождаю куски жести, связываю веревкой по несколько кусков вместе и тащу за собой по лестнице. Иногда жечь цепляется за ступеньку, и когда я с силой дергаю за веревку, жечь подпрыгивает, скользит и остается висеть над краем крыши. Я мог бы пустить, пусть падает. Во всю длину дома внизу огорожено, и редко кто проходит здесь, разве по делам в гостинницу. Но тогда мне снова надо слезать и все начинать сначала. Поэтому я всячески стараюсь вытянуть связку жести на край крыши, где ее можно достать руками. И потому еще, что отец сурово стучит молотком. Он не выпускал меня из вида. Не смотрел, но видел все. Он в воскресенье много пропил, поэтому теперь приходится поработать. Мне не страшно, но я просто так не отстаю. У меня свой расчет, и я хотел бы скорее здесь закончить.

Уже поздняя осень. Изю дня в день дует сильный морской ветер. По утрам туман, а после обеда идет крупный, мокрый снег. Жесть мокра с утра до вечера и покрыта скользкой ржавчиной, золой и облезлой краской. За работой руки не мерзнут. Но время от времени пальцы будто немеют. Мне приходится останавливаться и засовывать руки в карманы. Но не на долго. Только лишь перестает стучать мой деревянный молот, отец начинает с бешенством стучать своим молотком. Да и сам я не могу долго стоять без дела. Мои туфли без подметок. Уже с утра ноги мокры. Фланелевый камзол сильно поношен, а курточка слишком тонка для такого позднего времени. Я борюсь с холодом и принужден постоянно быть в движении, иначе от холода не избавиться.

Так работаем мы уже третий день. Со стороны двора крыша уже готова. Там пожарные меньше сорвали жести. Если так пойдет, то в среду до обеда и эта половина будет готова. Тогда мы будем свободны.

Подняв наверх свою ношу я помещаю ее под только что набитой отцом крышей, где нет ни ветра ни дождя. Здесь выгорел лишь чердак. Внизу все в порядке — только залито водой. Там живут по-старому. Я не знаю, что именно там делают. Но когда отец, сидя наверху, курит свою трубку, и когда по улице никто не гроыхает, можно слышать как внизу разговаривают, смеются, слышен и звон посуды. Когда со стороны двора открывают окно, можно чувствовать запах капусты и какого-то мясного кушанья. У нас в узелке есть тонко намазанный маслом хлеб и бутылка с давно уже остывшим чаем... я быстро схватываю свой деревянный молот и колочу так, что у самого уша закладывает. Я думаю так: если уж мои привыкшие уши закладывает, то же самое и у тех, кто там внизу проходит мимо. А особенно у тех, кто изредка заходит сюда. Их я видеть не могу.

Когда я на крыше и уже подал отцу расправленные и загнутые по краям куски жести, я всегда заглядываю вниз. Откуда у них столько свободного времени, чтобы ходить целыми днями? В теплых пальто, в калошах, с зонтами над головой. Почему бы и не ходить. У тех ноги не мокры.

И если в такой момент кто-либо заворачивает в отгороженное место и направляется в «Россию», я пускаю ему что-нибудь на голову. У меня всегда в руках какой-нибудь маленький кусочек жести или обгорелой доски, а то и горсть ржавых гвоздей... Я хорошо заметил, где находятся двери. И понемногу приоровился. Попадаю каждый

раз. Это я знаю или по сердитому восклицанию внизу или по сильному стуку закрывающейся двери. Мне некого бояться. Внизу отгорожено, я здесь дела свое дело — кто может доказать, что это нарочно?

Я не знаю, почему мне здесь так не нравится и почему я здесь все время такой недобрый. Еще никогда и нигде я так остро не чувствовал, что ненавижу свое ремесло.

Мы — ни металлисты, ни добрые ремесленники. Когда каменщики и плотники главное закончили, тогда являемся мы. Обиваем подоконники и карнизы и подвешиваем водосточные трубы. Это починка, а не работа. Издавна у меня такое мнение. Мне кажется, что я испытываю досаду потому, что здесь так низко. Двухэтажный деревянный домишка с плоской крышей и длинным навесом. Я привык к более высоким. Когда я стою на каком-нибудь пятом этаже, ухватясь за стену, то мне кажется, что я делаю что-то такое, на что не каждый способен. Тогда я чувствую небольшое уважение к себе. Я могу упасть и разбиться, я рискую своей жизнью. В действительности, я уж не так смел. Но притворяюсь — для других и для себя. Мне нравится, когда мадамочки смотрят на меня из окон широко раскрытыми от страха глазами, или мальчишки умильно следят за мной с улицы. А тут — к чему здесь рабочий? Влезет дворник и ручкой своей метлы так же прибьет.

Но это еще не все. Мне нравится новая оцинкованная жесть, которая звенит, когда ее режешь. А здесь обгорелые тряпки, от которых грязнятся и руки и обшлага рукавов. Все здесь бедно и грязно, из того же обгорелого мусора кое-как сбито. Мала и плата, которую мы получаем. Отец мой стар и не какой-нибудь ученый ремесленник. Я — молод, чтобы чему-нибудь как следует научиться. Мы принуждены работать там, где более богатые манут рукой на работу. Поэтому то и злоба меня разбирает.

Но и это еще не все. У «России» плохая слава. Я не знаю, что это за слава, но так все говорят. Наверное, я еще молод. Кроме того это меня мало интересует — у меня довольно другого, о чем думать и о чем я еще никому не говорю. Но о чем-то я догадываюсь. И поэтому я зол. Нам нужно чинить здесь крышу, чтобы те там внизу могли устраивать свои свинства. У нас никто не спрашивает. Нам лишь бросают эти нищенские гроши...

У меня целая горсть сора. Я бросаю его через край крыши вниз через минуту внизу под крышей раздается сердитое восклицание. Затем хлопает дверь. Я знаю: это тот, кто шел с той стороны в светлой

шляпе. Я натренировался и никогда не ошибаюсь. Отец наверху начинает громко стучать. Я схватываю свой деревянный молот и стучу в унисон с ним. Четверть часа удары наши градом сыплются на проходящих мимо. Заржавелая жесть со стоном выгибается под моими ударами. Так будет гнуться все, что станет на моем пути. Это лишь начало. Дай лишь подросту еще пару годков...

Я погружаюсь в свои думы. Это для меня лучшие моменты, и я жажду их, как отец своей трубкой, как пьяница опьянения.

Ноги мои мокры. С бортуза вода просачивается за ворот. В плечах и суставах я чувствую легкую сырость. Чуть я останавливаюсь, как неприятная дрожь пробегает по всему телу. Колени болят; ими мне целые дни, разбивая, приходится принимать длинные полосы жести. Правая рука болит от тяжелого молота, а спина в пояснице от постоянного сгибания и поднимания жести. Руки и пальцы мои в одних царапинах. На правой руке два пальца обвязаны грязными тряпками, на левой один палец сгнил от неловкого удара. Мои руки так же черны, как эта заржавевшая жесть, которую они гнут. Когда я представляю себе длинный день, который еще впереди и всю работу, которую еще предстоит нам окончить, я чувствую всю трудность и всю боль. Кажется, все члены болят у меня. Кажется, никогда не будет этому конца. Я, как запряженная лошадь, которую непрестанно подгоняет невидимый, но осязаемый кнут возницы.

Но когда я погружаюсь в размышления, тогда я более не чувствую и не сознаю ничего. Я также вижу свою работу, а руки безошибочно делают свое дело. Я становлюсь автоматом, безжизненной машиной, которая делает то, для чего она назначена. Мои мышцы и тело на платном труде; сам же — я живу в другом мире.

Я исходил много, прошел длинный трудовой и жизненный путь. Вижу чуждые, роскошные понарамы и минутами прихожу в восторг как дурак. Кажется, деревянный молот мой превратился в раскаленную сталь. Мои руки как живого и жувучего противника ломали и мяти ржавую жесть. Я и не замечал, как проходит время и как подвигается работа.

Иногда мне кажется, что от природы я ленив и рассеян. Я не знаю, как бы я мог выдерживать без дум своих на этой тяжелой, ненавистной работе. Все прочее мне кажется лучшим и более привлекательным, нежели то, что я должен делать. Иногда я завидую даже дворнику, который тут же внизу бродит с метлой своей по грязному двору и подбирает грязные тряпки, выброшенную из окон яичную

скорлупу, разбитые стекла и всякую дрянь. Испробовал я учеником у пекаря. Однажды два месяца проработал у сапожника.

Когда мать была больна и другой работы не было, мы с отцом ходили на деревообделочную фабрику пилить на дрова заболонки. Но я не нашел работы, которая была бы мне по душе.

В том не приходится и сомневаться, что там виноваты думы мои и фантазия. Там я живу на безграничном просторе и вижу такие картины, после которых все мне кажется трудным, серым, грязным и противным. Но я ничего там не могу сделать. Без этого я не могу жить. Я могу желать, но это сильнее моего желания. Я как пьяница, как курильщик опиума нахожусь во власти своей страсти.

Отец там наверху начинает стучать все громче. Я прихожу в себя. Вероятно я был в забытьи, дольше обыкновенного. Я взглянул через улицу, туда, где ветер гнал мокрый снег на против нас стоящие дома. На углу, на перекрестке, между зданием банка и парком ветер крутил снег с необыкновенной силой, бросая его на красную кирпичную стену и завешенные гардинами окна. И в то, через которое эта роскошная, молодая дама часто смотрит, как мы лазим здесь по крыше и стучим своими молотками. Я как дурак. Иногда воображаю, что она смотрит на меня и тогда меня охватывает какая-то приятная нега. Потому что молодая женщина смотрит на меня. И затем я бросаю взгляд на свои сношенные туфли, залатанную куртку на руки и понимаю, что я дурак. И тогда мою негу вдруг глушит злорада. Я смотрю, не захватит ли гонимая ветром снежная волна и того окна, сквозь которое я вижу легкие, как розовая туманная дымка, гардины. Но волна долетает лишь до стены. Отодвинув край гардины, она стоит и смотрит, улыбающаяся и счастливая. А за ее плечом видна гладко причесанная голова с черными обстриженными усами... В это время отец начинает стучать особенно сильно. Вероятно я замечтался слишком долго. Как получив пощечину, я наклоняюсь и схватываю свой молот. Но так и застываю с вытянутой рукой. Теперь я вижу так ясно, что не может быть никакого сомнения. Вчера мне лишь показалось. И когда затем, не понимая, я пробовал вспомнить, не заметил ли я и позавчера, то уяснить себе этого я все же не мог никак. Но более не может быть никаких сомнений. Той шляпе, с маленькой бородкой и немного приподнятыми плечами. А она в вязанном черном платке и зеленоватом пальто... Я схватил молот и как сумасшедший начал выбивать жезл. Джин, джин, джин, Вчера и позавчера. Они были — также, как и сегодня. Он в круг-

джин — плакала моя жесть. Джин, джин — слышался отголосок сверху. Уши мои полны этого колющего шума, к которому нельзя привыкнуть. В голове катится какой-то звенящий, обвязанный острыми полосками клубок. А между, за и над всем этим каплет моя мысль — как вода между пальцами из крепко сжатого кулака.

Разве только всего и есть черных визанных платков?.. А зеленое пальто?.. Что-то в мозгу моем освободилось и вертится, как диск, гонимый невидимой силой. На чем вертится он, я не знаю... Где же я в одном окне видел такое же зеленое пальто?

Уж не сегодня ли утром, проходя мимо, я его там видел?.. И я стараюсь ответить на этот вопрос с таким принуждением, с каким никогда еще на своих вечерних курсах не решал ни одной математической задачи. Против собственного желания я стараюсь найти отрицательный ответ, ибо от этого, как мне кажется, зависит, что-то очень важное. Если его, там в окне, там более нет, то оно продано. И затем еще одна в зеленом пальто ходит по улицам. Да и что удивительного, если ей и случится пройти здесь мимо?

На миг я прихожу в себя. Что я делаю? Я разбиваю готовый кусок — без толка, в одном и том же месте, в течение пары минут уничтожая получасовую работу. Отец сверху кричит. Мне надо взобраться и подать.

Но когда я снова спустился вниз, мое первое умозаключение как бы забыто. Снова я погружаюсь в сомнения и начинаю сначала. Только с другого места. Таких мест десятки. Одного я избегаю, второй хватает, а третий и четвертый грозят мне издали. Мой мозг горит, а мысль делает фантастические зигзаги, чтобы избежать и успокоиться.

Ну если она и проходила здесь мимо... В это время она обычно проходит. Я-то не видел, но, может быть, потому, что не обратил на это должного внимания. Если у нее что-нибудь уже шито, то она об эту пору могла выйти и снести. Немного уже темнеет, а с огнем то ведь надо быть экономными... Но почему они завернули в отгороженное место, по которому только и идут в «Россию». В гостиницу, у которой такая плохая слава... Я вдруг вспоминаю все слышанное об этом — тайно издеваются, с циничной откровенностью, полусловами, которые выразительнее длинных разговоров... Противно и отталкивающе понятно. Еще противнее и мучительнее полупонятное, о чем можно лишь догадываться. Я и знал, что я все же так много понимаю и о так многом догадываюсь. На работе и дома у меня никогда не был времени думать об этих вещах. Но все же я городской ребен-

вок. Я не смог предохранить мозг свой от этих паров, которые окружают меня с малолетства. И вот некрасивые фантастические картины бесконечной вереницей мелькают в голове в голове моей. Я сбит с толку и почти одурманен ими и суровые раскаты отцовского молотка лишь на половину приводят меня в себя.

Может быть она перешла на эту сторону потому, что здесь суше?... Моя мысль снова делает зигзаг и ищет выхода...

У нее нет калош, поэтому она и пробирается между кучами обгорелых досок и жести. Может быть ее заинтересовали наклеенные на окна красные полосы бумаги и она перешла с той стороны, чтобы прочитать, что на них написано... Комнаты для приезжающих... Первоклассный буфет... Отдельные кабинеты... Я и сам так подходил, читал и удивлялся, что это за отдельные кабинеты... Прочитала и ушла... этого ведь отсюда не увидишь. А этот с приподнятыми плечами и с острой бородкой...

Как ребенок, как дурак я стал. Долго и заботливо строил я печальный домик, до мельчайших подробностей продуманный и во всех уголках закрепленный. А затем одним движением руки смел его. Я мокрая, тающая снежинка, которой играет ветер, бросает об стену, а потом на землю.

Я ловил себя как оторванный бурей лист — тут хмелею высоко над крышами в угрожающе сером воздухе, тут задыхаюсь где нибудь у грязной подворотни.

Мы работаем до позднего вечера. Когда отец наверху не может более вбить короткого гвоздя и пару раз попадает себе по пальцам, он ругается, плюет и бросает молоток на потолок. Я тотчас же начинаю складывать свои инструменты в пустой ящик из-под гвоздей и слезаю по лестнице вниз. Против окон верхнего этажа я останавливаюсь на лестнице. Видеть там ничего нельзя. Толстые, зеленые шерстяные сторы спущены, лишь по краям, на белых косяках заметны полосы света. В нижнем этаже весь ряд окон закрыт зелеными ставнями. Весь дом кажется тихим и пустым. Двор между задними стенами высоких каменных домов кажется высохшим дном старого колодца. Старые навесы и почерневшие сарайчики плавают во тьме и в грязи.

Кто-то бродит по грязному дну этого колодца и тихо ругается. Мы выходим из ворот на переполненную народом улицу. После ветра и холода на крыше, здесь кажется туманно и тепло. Слуга зажигает над дверями гостиницы круглую матового стекла лампу. Сквозь стек-

линные двери я замечаю узкий, оклеенный клетчатыми обоями, коридор и деревянную лестницу, косо поднимающуюся вверх. На гвозде висит шапка швейцара с золотым голуном...

Я охотно прижался бы здесь в уголок и подождал.

Но тут же за собой я слышу шаги отца и не останавливаюсь. Ежедневная привычка движет меня как машину с определенной скоростью.

Вначале тротуар довольно широк и мы идем по нему. Я иду впереди. Курточку я застегнул, а воротник поднял. Ящик с инструментами я на веревке несу за спиной. Невдалеке за собой я слышу шаги отца, которые стихают лишь тогда, когда мимо нас проезжает какой-нибудь ломовой извозчик или торговец капустой на железныхшинах.

Я знаю характерный шаг отца. Левая нога у него от ревматизма в колене потеряла гибкость и поэтому он всегда так странно постукивает каблуками по мостовой. За спиной у отца такой же ящик как и у меня. Каждый вечер мы уносим их с собой домой. Мы стесняемся попросить у дворника местечка где бы их поставить.

Тротуар становится уже, а народа на нем больше. Когда из окна какого-нибудь магазина на меня падает яркий свет, я вижу, что продавцы мимо смотрят на меня. Мои туфли и брюки в грязи. На рукаве у локтя висит оторвавшаяся заплатка. Мои руки грязные, будто я целый день рылся в навозе. Мое лицо тоже вероятно не много лучше. Я думаю, что от меня воняет гарью, грязью и ржавой жестью.

Я схожу с тротуара и иду по краю улицы. Там на каждом шагу кучи навоза, который за день сгребли, но не успели еще увезти. На перекрестках стоят ручные тележки, а хозяева их стоят у стен или в нишах дверей. Изредка какой-нибудь пустой ящик или телега. Все время я слышу за собой шаги отца. Он неотступно идет за мной. По дороге мысли мои немного рассеиваются. Я слишком застенчив. Я замечаю каждый брошенный на меня взгляд, каждую гримасу на лице от моей грязной одежды. Я понемногу забываю свой безответный вопрос и беспокойство. Уклоняясь от влияния окружающего, не замечаю даже своих больных рук, отбитых пальцев и мокрых ног. Грязь хлопает в моих дырявых туфлях. Ноги мокнули в холодной жиже. Я не обращаю внимания и на это. Я бреду по лужам наполняющим колдобины мостовой, ступаю в полную воды водосточную канавку, а затем переносу ногу на решетку, через которую липкая жидкость стекает в подземный канал. Со звоном проносятся мимо трамваи. Вле-

сти огнями, вагоны ослепляют глаза и, высекая искры наверху на проволоке, с шумом уносятся вдаль. Мы не можем ехать. Нам тотчас надо завернуть. Сворачивая несколько раз, надо пройти по длинной улице и затем завернуть в немогущий переулок, где наш убогий домик притулился между двумя ему подобными. Тот, на другой стороне, совершенно необитаем. А в нашем все четыре квартиры битком набиты. Через покосившиеся ворота я захожу на двор, а оттуда на наше крыльцо. Темно, как в аду. Из одного окна падает на двор узкая полоска света, а по сторонам ее, будто налиты черные чернила. Я не дохожу до нее. Останавливаюсь там же под капелями и прислушиваюсь. Это она и с третьего этажа сапожник, с которым — как я заметил — она как будто кокетничает.

— Ужасная погода стоит, — слышу я голос сапожника, который в этой сырости и темноте звучит особенно нежно.

— Да. Ветер и дождь. На улице грязь непролазная.

Я весь превращаюсь в слух. Про улицу и грязь говорят. Но она сказала улица, а не улицы. Она могла думать только о нашей улице, которая у нее за окном, против ее швейной машины.

Однако, я опять слушал больше только самого себя. Когда я к ним прислушался, разговор их был уже далеко впереди, так что опять я не мог следить за ним и понять

Она смеется и щелкает языком.

— Скоро захотели! Знаем мы таких.

Мне кажется, что сапожник подошел ближе. Мне кажется, я слышал, как у ихнего крыльца, кто-то шлепал по грязи. Его голос звучит еще мягче. Чудно! — я ничего не понимаю. Но мне пришло на ум гнилое яблоко, которое сжимают в руке, и из которого, шипя, каплет коричневый сок.

— Но я вас прошу, Эмма.

— Скоро захотели. Кто горячее хватает, ногти обжигает. Проворные ребята больше не в моде. Да у нас здесь и не Шампетеровский парк...

— Но это же не далеко, — молил сапожник.

— Тут же на углу Авоту иелы. Вы же целый день не были на воздухе. Как наседка...

Ну она ответит... Я задерживаю дыхание. Наверное в кинематограф приглашает. Если нигде не была целый день, то пойдет.

Но снова я не прислушался, что она сказала. Я втянул воздух, будто мне что-то до сих пор закрывал рот, и услышал как сапожник сплюнул.

— По такой грязи — вороны их знают...

— Теш! — Эмма шепчет. — Мне кажется, здесь кто-то слушает. Стукнула одна дверь, затем другая.

Некоторое время я остаюсь стоять там же под каплями. Пусть же думают, что я подслушивал. А затем иду быстро, быстро, и стараюсь громко дышать, будто всю дорогу так шел и устал.

— Болтается... — крикнула на меня мать, просушивая на плите картофель, когда я бросаю свой ящик в угол. Рудис тотчас подползает играть. Его горб при свете машины кажется таким странно большим.

— Где отец? — спрашивает мать, не поворачиваясь даже ко мне.

— Он зашел в лавку купить табаку, — отвечаю я без запинки, хотя ни минуты и не думал об этом и теперь лишь понимаю, что отца нет дома.

И не догадываясь, что это не согласуется с моей быстрой ходьбой и усталостью, я пробую насвистывать какую-то легкомысленную мелодию. Пусть не думает, что я слышал, или у меня какое-либо подозрение. Но Эмма в глубине комнаты начинает вторить. Я замолкаю и снимаю куртку.

Я моюсь, вытираюсь и избегаю взглянуть за перегородку. Но и не глядя, я вижу отражение профиля ее головы в абажуре. Мне очень хочется знать, что она делает, но все же я не смотрю.

Входит отец. Он действительно был в лавке. В руке у него пачка табаку и завернутая в газету селедка. Как я мог это знать? Изю дня в день живя и работая вместе, мы знаем один другого как самого себя. Умывшись я начинаю искать наш общий гребень.

— Вот! — слышу говорит Эмма. Делаю шаг через порог, беру, но не смотрю.

В гребне еще остались ее волосы. Но это ничего. Она рассеяна и неаккуратна до крайности. Может быть, что она еще утром чesалась...

Я кидаю взгляд на кусок зеркала, который брошен на полке. Мои светлые волосы так выросли, что около ушей образовались длинные пряди. Лицо худее, чем обычно. Но особенно некрасивы глаза. На выкате — как будто удивлены. Я молод, а лоб у меня уже в морщинах. Это от дурной привычки морщить брови. Да разве у меня есть время думать о моей внешности?

Отец добродушно разговаривает с матерью и Руди. Хитрец — так он думает погасить расход недельного заработка. Недельный за-

работок нас обоих в один день! Мать еще ворчит, но я знаю, что ей правится и что она сознательно позволяет дурачить себя. Да и что она могла бы сделать?

Мы уже сидим за нашим общим столом и чистим картофель, сваренный «в мундире», пока мать снимает селедки с углей. На краю плиты шипит керосинка, на ней греется утренний чай.

Эмма сидит напротив, и я могу взглянуть на нее, не вызывая подозрений. Но ничего особенного заметить не могу. Ее лицо все то же — немного упрямое, со скрытой улыбкой в уголках рта. Веки опущены, волосы гладко причесаны, на плечах вязанный платочек.

Мне хочется потянуться и попробовать, не сырой ли.

— Сегодня плохая погода — с хитрецей говорю я, занимаясь своей селедкой.

— Вы очень мерзлы? — рассеянно спрашивает она. Никогда она не интересовалась, где и что именно мы делаем.

Мой мальчуган сегодня совсем тихий, — вставляет отец и некрашено подмигивает матери.

— Наверное влюбился, — смеется Эмма и бросает в меня шелухой картофеля, которая однако пролетает мимо. Я краснею. Руки мои неловко чистят картофель. Мать толкает Руди в бок.

— Не лезь, куда не надо. Вот твоя сторона.

Она делит свою селедку пополам и половину придвигает Руди. Они обычно съедают по половине. Мы же трое по целой. Но я всегда оставляю от своей часть Руди, потому что он вечно кажется голодным. Также и Эмма. Но сегодня она отрезает почти половину.

— У тебя сегодня нет аппетита, — начинаю я и многозначительно смотрю как она белыми тонкими пальцами нехотя чистит картофель. Но она и не смотрит на меня.

— У швеек никогда нет хорошего аппетита, — отвечает она.

— А у сапожников, — сам не зная почему, спрашиваю я.

— Ты! — отзывается она и опять бросает в меня шелухой. Шелуха попадает мне в кончик носа и прилипает к нему. Все смеются. Даже Руди, который вообще смеется редко. Со всем своим тяжелым настроением и своими безответными вопросами я случайно становлюсь предметом шуток для других. Я едва сдерживаюсь, грубо не крикнув или не сделав еще большей глупости.

Аппетит у меня прошел. Откровенно говоря, я и ел то для вида. Я встаю и ложусь на кровать к стенке. Они пьют чай и я, никем не тревожимый, могу наблюдать.

Если бы у нее совесть была нечиста, разве она могла бы так спокойно пить чай? Разве она не почувствовала бы, что я смотрю на нее — стараюсь проникнуть до сокровеннейших тайников мозга? Но кто знает мысли и совесть ее! Мне давно уже казалось, что внутренняя сущность ее доступна мне лишь снаружи. Она вилетена во все великие планы и намерения мои. Она укоренилась там — как цветы в горшке, без которого они теряют всякое значение. Что бы случилось, если бы она... если бы она... Но я не могу и думать об этом... Нет, мне нужно об этом думать, но я не могу положиться на первые подозрения. Мне нужны ясные доказательства.

Но где возьму я их? Я мог ведь убедиться не сыр ли ее вязаный платок... На ногах уже мягкие туфли. Я мог посмотреть, каковы другие, которые стоят под ее кроватью... Но мне кажется, что я храню опасную тайну, о которой нельзя говорить. Будто уж я не могу и пошевелиться, не могу громче дышать.

Крепкими белыми зубами Руди откусывает сахар и громко прихлебывает чай. Мне кажется, что этот противный грызун во мне самом. По всему телу у меня пробегает дрожь отвращения. Я недоволен. Мне надо бы вскочить, кричать, громко требовать. Но я остаюсь спокойно лежать, борюсь со своими страданиями, будто нарочно подстрекаю свои подозрения. Затем я прислушиваюсь. Я снова начал напевать ту же легкомысленную мелодию... что же я с ума схожу что-ли?

Она напилась и встает. Хочет идти уже за переборку, но замечает под плитой мою куртку. Я понимаю, что она вызывает у нее новые мысли. Она подходит ко мне, останавливается, смотрит и улыбается.

— Разве я хочу уже идти спать? Замерз? Почему не пил чаю?.. Я смотрю, но не могу ответить ни одного слова. Она нагинается и тоже пробует заглянуть мне в глаза.

В этот миг соскальзывает угол ее вязанного платка и касается моей щеки. Он сух.

Она вздрагивает, выпрямляется, пожимает плечами и уходит. Почему мне надо было огорчить ее? Но я лишь глубже вздыхаю и нехотя шевелюсь. Почему она сегодня так застенчива?

Отец, мать и Руди спят. У нас здесь темно. Но у нее за переборкой еще горит лампа. Она что-то делает. Я слышу шелест бумаги, а затем будто и одежды. Это обычный шорох, но сегодня он кажется мне странно значительным. Малейшему звуку я придаю какое-то

особое значение. Я еле овладел собой, чтобы не встать и не посмотреть в щель между досками. Два года мы спим так каждый на своей стороне, и ни разу не приходило мне на ум подсматривать, когда она раздевается. Откуда вдруг такая — фантазия! Я стискиваю зубы, и, злясь на себя, сжимаю кулак так, что ногти впиваются в ладонь.

Завтра рабочий день. У меня нет времени валяться на кровати. Мне надо спать. И я начинаю дышать ровнее и засыпаю.

Я заснул, но не очень крепко. Я буду спать чутко и буду следить за каждым шорохом там за стеной. Если у нее совесть нечиста, она будет бредить. Пробормочет слово, полслова — мне и того будет довольно. Я пойму. Тогда я буду знать. Но что тогда — когда я — буду знать?..

Кто-то схватил меня будто когтями... Я понимаю лишь, что сижу в постели и широко раскрытыми глазами смотрю во тьму. Я не заснул и знаю, что не засну. Я знаком с этими бессонными ночами. Как серый камень давят они труд и не дают дышать. Лоб у меня сырой, хотя совершенно не жарко. Я расстегиваю воротник.

— Ты чтонибудь сказал? — слышу я ее тихий вопрос и вздрагиваю, будто захваченный на месте преступления. — Спи. — Я сейчас потушу лампу.

Она тушит лампу и ложится. И вскоре я слышу ее глубокое, спокойное дыхание. Заснула. Как каждый вечер. Что же я глунец, мучусь здесь своими подозрениями.

Но напрасно я упрекаю себя. Воля моя бессильна бороться с подозрениями. В этом я уже не раз убеждался. Наверное я нездоров. Я читал, что у психически ненормальных людей всегда не хватает равновесия между бессознательными чувствами и сознательной волей... Но и эта мысль лишь на момент мелькает в сознании. Чуть позже я снова во власти своих волнующих чувств. Моя навязчивая мысль, как подстреленная чайка бьется в ужасных зеленовато-пенистых волнах.

Час, не больше, провел я вблизи ее. Наблюдал, но и посмотреть-то хорошо не успел. Но бесконечной вереницей мелькают будто за целые годы пережитые впечатления. Как песок по песчинке пересыпаю я их из одной горсти в другую. Я взвешиваю, оцениваю, придираюсь к пылинке, будто это проблема жизни и смерти... Была она там, или не была? Такова ли она еще, за какую я ее считал, или же мне придется разрушить те основы, на которых я строил грандиозное здание своих намерений и своего будущего?

Сто раз я у порога ужасного положительного заключения. И сто раз я разрушаю его и снова начинаю сначала. Я становлюсь все больше нервным и гоню свою навязчивую мысль, будто мне надо поймать собственную убегающую жизнь. Я горю как в огне, я бросаюсь во все стороны. Я как тонущий, у кого волны перекатываются уже через голову, а руки все еще напрасно ищут опоры.

В моем разгоряченном мозгу зарождается безтолковая, глупая мысль... Если бы я встал и тихонько подошел к ее кровати. Опереться руками на край, наклониться низко, низко и заглянуть в ее глаза. Пусть темно! Что тьма! Сквозь закрытые веки я проник бы в ее мозг. Как раскаленным вертелом я перерыл бы там все, разбирая по жилочке, по крошечке, по атому. Я бы разрушил тот уголок, где укрылась ее дремлющая мысль. Тот уголок, откуда выходят ее самовольные мечты. Глубоко, глубоко рылся бы я в том уголке, где ее переживания и воспоминания напечатаны как в книге красными буквами...

Ничто, ничто не укрылось бы от моего соколиного взора. Острыми ястребиными когтями я сжимал бы ее мозг, чтобы по каплям вытекло оттуда все... Я не знаю что... Все, что мучит и душит меня...

Как кошмар я бы мучил ее, пока она не ответила бы на эти вопросы, которые подобно искрам горят в моем сознании...

Я чуть не задыхаюсь в бешеном беге вихря своих мыслей. Кто я, и что я делаю? Неужели это любовь, в которой горю я. Не слепая ли это, безумная вражда, которая не знает границ и не разбирает дороги? Куда иду я?

Я прихожу в себя. Разве я застонал или крикнул? Мать пошевелилась в своей постели. Я слышу ее сердитый голос.

— Что с тобой? Почему ты не спишь? Болен ты что-ли?

И когда я не отвечаю, глупо притворяясь спящим и начинаю громко дышать, она становится еще более сердитой.

— Если тебе не спится, то дай спать другим. Завтра не воскресенье.

Я сам это знаю. Но я ничего не могу сделать. Я знаю, что завтра чуть свет надо вставать и идти на ненавистную работу. Я знаю, как это трудно после бессонной ночи и тяжелой борьбы с самим собою. Но что могу я сделать. Что то во мне сильнее меня самого. Я задыхаюсь под тяжелым бременем и с ужасом прислушиваюсь к тяжелым и бесконечно медленным шагам ночи.

Однако проходит и эта бесконечная ночь. Мать встает первой.

Я вижу ее за работой у плиты, но мне это безразлично. Затем встает и отец. Я вижу его свалывшиеся волосы и бороду, которые от огня плиты призрачно отражаются на стене. Сейчас и мне надо будет вставать. При этом сознании на меня вдруг нападает сон — хитрый мучитель сон — я засыпаю так крепко, что отцу приходится поддерживать за плечо, чтобы разбудить меня. С усилием я открываю глаза.

Короткий сон лишь одурманил меня. Ноги мои дрожат, руки хватаются без толку за что попало, но голова вскоре проясняется. И вновь горит в ней вчерашняя мысль. Загорается как уголь под тихим дуновением утра.

С узелком в руке я захожу за переборку. Я не знаю, откуда у меня такая решимость, но иду так, будто об этом только все время и думал. Спрошу у нее коротко и ясно. Это последнее, печальное заключение, которое вдруг прервало ход моих мыслей.

Эмма сидит в своей широкой, помятой ночной кофточке и с досадой перебирает лежащие на машине тряпки. Но когда она поворачивает голову, язык мой прилипает к гортани. Я заставляю себя, но не могу высказать. Я читаю в глазах ее, как в книге. Я вижу там так много скрытой хитрости и расчета, что машинально осознаю свое безумие. Не скажет же. Вывернется, соврет что-нибудь, или просто высмеет. А я больше всего боюсь быть смешным.

Я не могу промолвить ни слова. Прикладываю руку к козырьку и — вот дурак — стараюсь еще льстиво улыбнуться. Поворачиваюсь и ухожу. Спотыкаюсь и чуть не падаю. Она смеется. Я доставил ей возможность посмеяться... Беру свой ящик и слышу, как она папеваая остается в комнате.

Как на каторгу иду я вслед за отцом. Раза три он оглядывается. Последний раз, на углу парка, ждет пока я подойду.

— Что с тобой? Не болен-ли ты? Что это ты сегодня еле идешь?..

Я слышу неподдельную заботу в его голосе. Не болен-ли я, и смогу-ли я подать ему столько жести, сколько ему нужно? Работа-то ведь может у нас запоздать чуть-ли не на день. А мы уже договорились с другим. На башенке, что на здании банка, облупилась штукатурка. Я вижу отец, проходя мимо, уже посматривает наверх и рассчитывает, сколько там можно будет заработать. Может быть и то, сколько завтра, на этот счет, можно будет пропить... Я не отвечаю ни слова, прихожу мимо него и заворачиваю в ворота «России».

Лестница, которую мы оставили вчера на дворе прислоненной к стене исчезла. Отец, бранясь, ищет дворника. Тот еще спит — сон-

ный и злой выходит он на двор. Еще рано. Туманным светом наполнен этот колодезь—двор. Мы все трое, смотря друг на друга злобыми глазами и перебраниваясь, вытаскиваем брошенную за дровяной сарай и курятник, лестницу и прислоняем ее к стене. Пробравшись по коридорной лестнице на чердак я тяну за веревку верхний конец вверх

Отец с дворником поднимают и устанавливают. Это не мое дело, но я не сержусь тоже и браню их обоих, не обращая внимания на то, слышат они или нет. Я полон чуждой мне злобной досады — как двор этот смесью мелкой мглы и серого рассвета.

Слезая вниз, я останавливаюсь у конца лестницы, где узкий, вонючий коридор тянется вдоль верхнего этажа. Пожилая женщина с ведром и тряпкой в руках моет пол. Мужчина, гладко выбритый и лысый в обтрепанных брюках, сидя на ступеньке лестницы, чистит какие-то сапоги. Отковыривая лучинкой прилипшую к ранту подметки грязь, плюет и сердито чистит щеткой. Я смотрю на него. Так есть оказывается работа и по хуже моей. Он вероятно понимает презренные выражающееся во взгляде моем. Хорохорится как нетух, когда его дразнят.

— Чего этот тут шляется?

Поломойка сердито вторит ему.

— Пола топчет.

Мы смотрим друг на друга как звери готовые укусить. Мне нравилось бы броситься на них, но я сознаю, что я слаб. Мне хочется выругать их, но злоба так велика, что я не нахожу достаточно гадких слов. Я полон вражды и злобы до кончиков волос.

Едва понимаю сам, что делаю. Делаю три шага по вымытому полу и сую свою грязную ногу чистильщику.

— Почисти, раб, для того ты и есть!

Затем я и сам не замечая, как сбегая по лестнице и вылетаю за дверь. Ужасные ругательства, как комья грязи летят на меня сверху. Я влезаю по лестнице на крышу и громко плюю вниз. Через голы тех... Я выше их... Тогда глубокий стыд преодолевает мой гнев. Я не зол от природы и бранился иногда лишь с отцом да с матерью. Почему мне нужно было так с теми там? Разве не все мы рабы той же грязной работы? Но я же знаю. Я — не я, а то, что накапливается во мне, горит и растет с каждым мгновением, становясь все больше, все ужаснее. Как это кончится? Я не вижу ни конца, ни исхода.

Я связываю грязные куски жести и тащу наверх. Выбиваю и по-

даю отцу. Он стучит, как всегда. Но сидя наверху и раскуривая трубку, он наблюдает меня. И не стучит уже так, когда я минутами забываюсь. Он боится, чтобы я не заболел, как тогда, когда мы чинили в пожарном депо водосточные трубы и я простудился на ветру. Он выгодно стоворился починить башенку на здании банка, и без меня ему не обойтись. У него кружится голова, когда он смотрит вниз, хотя он это и скрывает от меня. Но я знаю его больше, чем он думает. Он дрожит за заработок. Только поэтому он и заботится о моем здоровье.

Но для меня это выгодно и я пользуюсь этим.

За обедом я намеренно предлагаю ему свой хлеб. Но когда он, испугавшись отказывается, позволяю ему одному выпить всю бутылку. И тогда он не беспокоит меня, когда я погружаюсь в свои размышления и наблюдения.

К вечеру я совсем забываю о работе. Я копаюсь в куче обгорелых досок и жести и не обращаю ни малейшего внимания на то, что чистильщик сапог смотрит в окно и, ядовито насмехаясь, рассказывает кому-то что-то про меня. Руки мои перебирают грязный мусор, а глаза следят за толпой на улице. Погода стоит теплая, туманная и тихая. Тротуары битком набиты народом. Много там и мужчин с приподнятыми плечами и в круглых шляпах. Иногда мелькают в толпе и черные вязанные платки и зеленоватые женские пальто... Я ничего не могу понять, только еще больше погружаюсь в свое беспокойство и неизвестность. Взобравшись на крышу я хочу подать отцу кусок жести. Прихожу в себя только тогда, когда он сует мне его обратно и что-то сердито кричит. Что я делаю? Выбитые куски жести лежат у меня в куче, а я подаю ему только-что вытасненный, согнутый, с обломанными краями, дырявый и негодный кусок. Я понимаю, что так продолжаться не может. Одно из двух: или я должен работать как следует, или уходить... Я беру себя в руки, и некоторое время работаю серьезно.

И когда затем я поднимаю глаза от работы, руки мои вдруг немеют, а молот прилипает к жести. Вижу-ли я действительно, или это лишь отражение вчерашнего видения в моем мозгу, или же просто плод фантазии? Приподнятые плечи, круглая шляпа и черный платок поверх зеленого пальто... Неужели же я вижу провидения?.. Я наклоняюсь над краем крыши. Нет, конечно теперь уже больше нет. Я уже видел как они вышли из огороженного пространства около го-стиницы и замешались в толпу. Одни в одну, другой в другую сто-

ропу... Неужели я намеренно не смотрел, чтобы мне не увидеть того, в чем я все время сомневался, что меня мучило всю ночь. Но кто же я? Чего я ищу и к чему я стремлюсь?

У меня зарождается предчувствие, что я обманываю самого себя. Что я намеренно пробую замаскировать и преобразить то, что для меня уже ясно. Почему я боюсь этой ясности? Боюсь ли я ее или самого себя? Но в таком случае это ужаснее, чем я воображал. У какой-то границы, у каких-то дверей я удержал свою навязчивую мысль, потому что у меня кружится голова, мне страшно следовать за ней...

И вот я снова размышляю в том же направлении, как до сих пор. Я только ежеминутно прерываю их и громко говорю себе: дурак! А в другой раз: обманщик!

Самое трусливое и подлое, это то, что ты хочешь оклеветать самого себя. Как же этот может быть тем же, вчерашним? Когда вчера они оба завернули за угол, а сегодня расстались и ушли каждый в свою сторону?

В этом я больше не сомневаюсь, что с самого первого момента для меня было ясно. Вчера, и ночью, и сегодня я лишь искал каких-нибудь доказательств, что этого нет, что я ошибся и напрасно ее виню. Как беден и несчастен я в своей беспомощности. Но что мне делать? Против силы есть воля и сила. Но как побороть слабость, которая как сон охватила мо мужество, которая подобно плесени осела в крови моей... Я не могу. Правда — как огонь. Мне нужно закрыть глаза руками или стать слепым... Мне кажется, что отец собирается. Но я не обращаю на это большого внимания. Инстинктивно собираю свои инструменты и иду домой. Бреду по середине улицы, но не чувствую ни грязи, ни сырости. Я иду быстро. Мне кажется, что вчера вечером я что-то забыл и сегодня вечером нужно это сделать. Кто-то идет за мной. Я слышу, старается догнать меня. Но я не могу допустить. Никого не могу я допустить близко к тому, что мне одному известно. Бросаю взгляд на освещенную витрину и хорошо вижу зеленое пальто там же, где оно было всю осень. Затем перехожу на середину улицы, чтобы не видеть самому и не быть видимым.

У нас на дворе сегодня нет никого. Я закрываю за собой дверь. Эмма проходит мимо меня и нечаянно или намеренно касается моего плеча.

Я чувствую сырость улицы и тяжело вздыхаю.

Я стою и смотрю, пока она зажигает лампу и поворачивается, чтобы снять пальто. Тогда я иду и сажусь на край кровати.

Время идет, но я не замечаю его. Не замечаю и того, что происходит вокруг. Нет, все же я вижу и слышу, только внешние впечатления скользят по поверхности моего сознания, я не ловлю их и не суммирую, мне нет до них никакого дела. Так видел я скользят в вихре сухие листья по блестящей ледяной поверхности...

Мать зовет меня мыться. Я знаю, что сегодня суббота. Окунаю руки в теплую воду, мочу лицо и волосы. Надеваю чистое белье и снова после шести грязных дней ложусь на белую простыню. Но ничего приятного не ощущаю. Я знаю, что мне холодно, но и не думаю одеться одеялом.

Ночь протекает как черная, тяжелая река...

Кто поставил меня на углу этой далекой улицы? Уж не по привычке ли я очутился здесь. Может быть я захотел насладиться воскресным отдыхом и порадоваться на неожиданно ясную погоду? Но почему же тогда я, как вор перед воровством укрываюсь в толпе, без толку останавливаюсь то у одного, то у другого окна и смотрю на сахар и куски мыла как на невиданные чудеса?

Я смотрю в окна, но перекрестки улиц ни на минуту не исчезают из глаз моих. Я замерз. Осеннее солнце освещает противоположную сторону улицы, но оттуда я не могу обозреть наблюдаемого мною пункта. Я должен оставаться здесь, пока дождусь. Уже раньше так случилось. Когда то, что я ожидал происходило, то оказывалось, что это не то, чего я ожидал. Когда зеленое пальто и черный византийский платок показывается на перекрестке, я совершенно не смотрю в ту сторону. Медленно иду я, будто все еще чего-то ожидая. Мне даже приходится прибавить шагу, чтобы не потерять из вида.

Она идет шагах в двадцати передо мной... Я слеую за ней, не спуская глаз. Мне кажется, что я вдруг знаю все, что мне совершенно не нужно следить за ней и наблюдать, что здесь произойдет. Я совершенно замерз. Иногда у меня начинают стучать зубы. Ноги тяжелы, будто обмерзли льдом. Но я все же иду — вероятно по той же причине, что и камень, который раз покатившись, катится под гору. И, идя, я все время думаю, что это она. Мне кажется лишь это и больше ничего. Ну наконец то нет больше места сомнениям и самообману. Часть пути моего пройдена. Я вижу себя в незнакомом месте и не знаю, зачем мне идти еще дальше? Куда же я пойду и зачем? Лучше бы отдохнуть? здесь где-нибудь. Там на той стороне, на солнышке...

Но вот и она переходит на ту сторону. Над черным платком мель-

кает золотистое сияние. Я знаю это от ее светлых волос, которые блестят сквозь вязанный платок... Зеленое пальто загорелось ярче. Это солнечные лучи, которые мелкими зайчиками прыгают по ней. И солнышку мила она...

И вот все будто темнеет. И во мне самом темнеет. Я вижу рядом с ней приподнятые плечи и круглую шляпу. Почему немеют мои руки и так трудно дышать? Я же знал это. С первого момента, когда увидел ее на перекрестке.

Они довольно далеко впереди меня. Вот они поворачивают в огороженное место между обгорелыми досками и кучами кусков жести. Я останавливаюсь и смотрю в том направлении, куда им нужно было идти и где их больше нет. Один другой останавливается рядом и смотрит туда же. Да, смотрите. Там есть на что посмотреть. Вся улица должна остановиться — вес: город должен задержать дыхание и затем вскрикнуть... если такие дела могут происходить среди бела дня.

Я задерживаю громкий стон и оглядываюсь. Что вы смотрите на меня? Глушцы! Разве я так смешон?

Разве теперь уместно смеяться?

Кто-то дружески хлопает меня по плечу.

Молодой человек, не надо дремать сред бела дня да еще по середине улицы.

Молодой человек... я сталкиваю пухлую руку с своего плеча. Поворачиваюсь и иду. Но затем чувствую, что руки мои сжимаются в кулаки и горячая волна злости разливается по всем мускулам. Я резко поворачиваюсь и гонюсь за ними. Но через десять шагов поворачиваюсь вновь и иду домой.

Дома только Руди. Он, как обычно, сидит около стола и швейной машины, лица почтовые карточки и разноцветные тряпки, которые можно было бы присвоить. Со всей своей злобой я наношу ему удар, так что он приходит в себя лишь на полу.

От удивления и страха он забывает даже закричать. Смотрит на меня большими идиотскими глазами и затем ползком отправляется в своей угол.

В ее столе нет ящика. Но я знаю, где лежит ключ комода. От меня она ничего не скрывает. Она уверена, что я не полезу туда. За дурака она меня все время считала.

Я вытаскиваю ящик, отбрасываю тряпки и жадно роюсь в ее многих письмах и бумажках. Но там только не имеющие никакого значения поздравительные карточки и записки ее забавчиков с ка-

кими-то странными выражениями, относящиеся к ее работе. И затем там есть еще листки из блокнота...

Что это за листки?

— Приходи сегодня часов в шесть... Приходи сегодня часа в четыре... Почему ты вчера не пришел в назначенное место?.. Я читаю и читаю, пока начинает рябить в глазах — устают руки. Листки бумаги прыгают как в бесстыдном танце. Буквы свиваются и изгибаются, пока вся комната не наполняется развевающимися черными нитями.

Пришла мать. Рудис начинает плакать со слезами и, шепелявя, рассказывает. Мать ругает меня и ходит по комнате. Я знаю: отец опять в кобаке, а она не может найти, где. Затем она бьет Руди, и продолжительное время обе комнаты полны знакомого, неприятного шума. Я слышу, все мне безразлично.

Я закрыл комод, но листки забыл наверху, а ключ в руках. Так я и сижу, когда заходит Эмма и становится рядом со мной.

Миг мы смотрим друг на друга, как двое, которые сразу опомнились в одном и том же несчастье. Она не бранится. Она не волнуется за то что я так бесстыдно ворочался в ее бумагах. Не спрашивает, какое мне дело и что мне от нее нужно. Мне кажется, что только теперь она и подумала о том ужасном пути, по которому она шла — разве я знаю как долго... Вероятно во мне есть что-то. Я поворачиваю голову и бросаю взгляд на маленькое зеркало на комод. Но оттуда лишь серая мгла плывет мне навстречу. А затем понемногу из нее начинает выплывать некрасивое лицо, бледное как у мертвеца. Я вздрагиваю и отворачиваюсь. Ну, теперь и я понимаю, чем она так поражена. Как в привидении она увидела во мне собственную совесть. Собственное беспокойство, тайные предчувствия и напрасно скрываемый страх за будущее. Все те муки, которые сопровождали ее на болюгистом пути.

Мне на своем надо на миг остановиться. Так далеко и так тяжело я шел. Та усталость, которую я впервые почувствовал на улице, с удвоенной силой охватывает меня, мою голову, мышцы и нервы. Я не хотел бы никуда более идти. Я боюсь того, что еще впереди. Я мог бы так сидеть до конца.

Мои чувства оживают. Я чувствую, как краска стыда заливает мое лицо. Кажется, что даже руки мои покраснели. Я мог бы заплакать, если бы были слезы, если бы жизнь и работа раньше времени не утомили меня.

Я глажу свешивающуюся с комода руку. Вижу, что она вздрагивает, будто острыми когтями я царапнул ее. Но я хотел лишь... Что хотел — разве я знаю?

Мать ушла и взяла с собой Руди. Чтобы улице, всему миру показать, как она несчастна и что ей приходится выносить. А если бы и мне сделать то-же... Стать на улице и рассказывать всем о своем несчастье...

Эмма наклоняется ко мне. Я чувствую, что она плачет. Ее зеленое пальтишко и вязанный платок отдают сыростью. Туфли в грязи. Я смотрю на них и вижу, что у одной выскочила кнопка и повисла на шнурке. Это та самая, которую я однажды уже поправлял. Как поправить то, что вырывается силой...

Эмма плачет и рассказывает. Мне не нужно ее рассказа и я не хочу, но смертельная усталость мешает мне встать и уйти. Оттолкнуть ее ту, которая наклоняется ко мне, как бы нища во мне опоры в глубоких сраданиях своих. Разве я из синего креста или пророк армии спасения? Что могу сделать я, если он такой развратник, деспот, нахал и безжалостный... Ни одного заработка нет, к которому не прилипла бы грязь и который не имел бы своеобразной трудности... Но почему мне надо было гладить эту руку... Я тру ладонь свою о куртку, но не могу отчистить.

Это не отвращение, которое я чувствую к ней. Что-то противное около ней, в чем она может быть так же мало виновата, как и я. Я как бы не замечаю ее. Я наблюдаю то другое, дальнейшее. Поэтому я не бегу от нее и не отталкиваю ее.

Поэтому я стою у постели, когда она, раздевшись упала на нее и между рыданиями говорит. Надоед он ей и противен. Она порвет с ним. Плунет в лицо и даст пощечину. Пусть он ищет другую. Пусть ходит по публичным домам — там такие есть. Наклонившись к ней я слушаю, будто слышу впервые. И сквозь слова ее я прислушиваюсь к тому новому миру, который постепенно открывается передо мной. Я приближаюсь к своей ужасной цели, которой еще не вижу и не знаю. Но в тот момент я чувствую как бы облегчение ибо тяжесть пути и незнания свалились с моих плеч. Я мягок и бесхарактерен. И даже минутное облегчение приятно мне. Она как бы чувствует это и сама успокаивается. В ее глазах мелькает как бы улыбка сквозь слезы. Она говорит и говорит — поток слов захватывает меня и я становлюсь разговорчивее... на меня нападает странное желание во всем соглашаться с ней и говорить только так, как она желает. Я и сам чувств-

вую, что в этом кроется маленькая хитрость, чтобы не дать ей почувствовать того, что во мне.

— Я плюну ему в лицо, — говорит она, но уже без злобы. Кулаки все же сжимает и смотрит на меня. Я подтверждаю.

— И дать пощечину.

— И уйду, и больше никогда! Больше месяца он мучит меня... Он худший из всех. Ты знаешь, до него у меня был этот там — с того конца.

— Да — этот сапожник.

— А перед тем еще один... Но про того и говорить не хочу. Что ты спрашиваешь! Я не хочу об этом говорить. По ее губам я вижу, что она готова опять заплакать, и спешу успокоить.

— Нет, нет, не будем об этом говорить.

Она снова быстро успокаивается. Я думаю, мне хочется знать, сожалеет ли она о том, что вообще начала такую жизнь или же последние неприятности лишь огорчили ее. Но это только простое любопытство.

Так, или этак, это же ничего не меняет.

Совершенно ничего.

— Ты мой друг, да?

Она притягивает меня за руку ближе. Я вижу, как ее влажные, ласковые глаза кокетливо прижмуриваются.

— Да, да, — подтверждаю я и пробую противиться.

— Так отплати же ты ему за это. Ты же силен, разве нет? Ты привык к тяжелой работе, и рука твоя должно быть тверда. Что ты за мужчина, если у тебя нет силы. Мы выдумаем как отомстить ему. Я сначала не скажу ему ничего, чтобы у него не явилось подозрений. Ты сделаешь это, да?

— Да, да, — подтверждаю я снова, ибо мне безразлично. Она притягивает меня еще ближе и рассказывает опять, как он безжалостен, и как он мучит ее.

Я не понимаю всего, потому что молод. И потому, что всегда на тяжелой работе, со своими мыслями и у меня не было времени думать про отношения мужчины и женщины. Но я чувствую, как грязный поток захватывает меня. Воючая слезь покрывает мою голову и проникает в мозг. Удушливые сернистые пары захватывают дыхание. Сердце же пусто. Горькое отвращение вдруг проникает в эту пустоту. Там исчезает мое ребячество и невинность. Но я еще не понимаю во всей полноте этой потери.

Разве в эти дни я только всего и потерял...

Я смотрю на этот шепчущий рот, который всегда казался мне таким прекрасным. И теперь такие грязные слова слетают с этих губ, которые до сих пор казались мне такими неприкосновенно чудными... Хорошо хорошо.

Она наклоняет мою голову еще ниже. Это, наверное, рука ее, которая, как теплая, влажная змея, охватывает мою шею. Я не знаю, но мне кажется, что она хочет целовать меня. Так вот как она в глупости своей понимает мое тихое сочувствие, мои влажные глаза и легкую дрожь во всех членах...

Я отталкиваю ее. Я стряхиваю ее, как противного червя. И с каждым шагом, с которым я отдалился от нее, растет мое отвращение и злоба. Она отняла у меня все, все. Насмехалась надо мной, над моей будущностью, над моими намерениями. Я разорен — как птица стою я у своего опрокинутого гнезда.

Тяжелый молот отца у меня в руках. Я поднимаю его как бы обдумывая и осматривая, как бы рассчитывая. И при этом я слышу, что Эмма поднялась, приводит в порядок свою одежду и напевает свою любимую мелодию без слов. Уже успокоилась... Но кто-то идет. Я бросаю молоток и ложусь в постель.

Пусть заходит — мне то что. Пусть она напевает свою мелодию. Теперь мне не о чем догадываться. Я знаю. Я не хотел знать, но мне надо было знать. Там я ничего не могу сделать.

Это наверное, сапожник с того конца... Где я его видел? Не тот ли это — метильщик... У него есть нож, — острый — где проведешь, там остается красная черта...

У меня же только деревянный молот... Да что мне... Какое мне дело!

Они тихо разговаривают там — за стеной. Мне кажется они даже смеются. Разве мы тоже все время не шутим и не смеялись там? Про себя, свою будущность, свои великие намерения...

Я ложусь лицом вниз и охватываю голову руками. Мне кажется, что искры прыгают у меня между пальцами. И затем весь погружаюсь в горячий поток. Поднимаюсь и снова тону в красны волнах. Я — легкая щепка в когтях слепой силы. Я забыл и потерял путь свой.

Когда отец под утро приходит домой, я не сплю. Слышу, как он пробирается ощупью в темноте, пошатываясь и ругаясь, ищет свою постель и не раздеваясь падает на нее. Кровать не перестала еще

скрипеть, как он уж хрипит и что-то бормочет во сне. Мать поднимается со стоном и подходит ко мне. Как бы и я не проспал. Недельный заработок опять пропал. Сегодня мне одному придется работать.

Я встаю. Спал я или не спал? Голова у меня ясная и пустая, как посуда, из которой вылита последняя капля.

От всего пережитого вчера и ночью у меня одно лишь неясное воспоминание. Но мне кажется, что я снова на пути. Мне надо идти дальше. Что-то гонит меня, более сильное, чем самое твердое намерение и упорная воля.

Мать любзна со мной и услужлива. Я знаю эту любезность, но не любезен с ней я быть не могу. Мне же надо отправляться в дальний путь и когда-то я еще ее увижу?..

Зачем мне нужно видеть ее? Много-ли любви я испытал здесь? Не я суверен, как и все путешественники. Я не хочу, чтобы меня поминали злом.

Да и Эмма пусть не поминает злом. Ящик с инструментами у меня за спиной, я захожу и к ней. Она сидит у своей машины, невыспавшаяся и недовольная. Я же не знаю, когда сапожник ушел отсюда. Видно забыла все, что вчера говорила. Может быть не хочет вспоминать. Что я знаю. Женщину я знаю менее, чем какое либо животное чужих краев. Ее сердитый взгляд не пугает меня. Я хочу, чтобы и она не поминала меня лихом.

— Ты дурак, — сердито говорит она и с отвращением отворачивается от меня. — И бесстыден к тому же. Что ты приходишь сюда и разнюхиваешь. Разве честные люди так делают?

— Извини, — говорю я. — Это случилось так — нечаянно. Я искал — какую-то ленточку... Видишь, у моих корманных часов оторвалась ленточка...

Она немного успокаивается.

— Но так и так, чтобы это было в последний раз. Ты слышишь: я не хочу, чтобы такие мальчишки ворочались здесь. Что такие мальчишки понимают?

Мне хотелось бы сказать ей что-нибудь хорошее.

— Я мог бы тебе принести катушку ниток. Может быть у тебя опять не хватает пуговиц для рубашек...

Тебе не нужно было бы самой идти.

Мальчишка — это худшее, что в этот момент может придумать.

Как хорошо, что оба мы притворяемся будто то, вчерашнее совершенно забыли. Затем мне на ум приходит одна хитрость.

— Я бы не тревожил тебя. Но сегодня мне надо лезть на башню, что на здании банка. Это опасно. Я могу упасть и разбиться. Поэтому я не хочу чтобы меня поминали лихом.

— Авось не разобьешься, — безразлично отвечает она.

— Иди, и оставь меня в покое.

Легким шагом иду я по улице. Голова у меня пуста и легка. Вероятно я хорошо выспался. Я почти совсем не замечаю тяжести ящика.

Хорошо, что моя хитрость удалась. Я убедился, что она не знает где я работал и не интересуется. Обязательно, она и сегодня также пойдет.

Так понемногу мысли мои принимают обычное хотя и новое направление. Я снова на пути, хотя уже и дальше. Мне надо зайти во двор банка. Я ищу человека, который проводил бы меня на башенку, где отстала жестяная обшивка. Это, наверное, жена дворника, которая ведет меня на чердак. Через люк мы поднимаемся на башню. Она показывает мне полукруглое окошечко. Я вынимаю его, перевешиваю, осматриваю и вкладываю его обратно. Там, где теперь, мы скоро окончим. Я хотел видеть, как тут можно добраться и что брать с собой. При этом я покачнулся и прислонился к стене.

— Что с вами? — сочувственно спрашивает женщина. — Вы не совсем здоровы?

— Нет, но временами у меня кружится голова. Видите ли, я жестианник только лишь потому, что этого хочет мой отец. Я лучше был бы сапожником.

— Это было бы во всяком случае спокойнее да и менее рискованно, — соглашается она. — Хорошо, что еще ящик вы оставили внизу. Вам трудно было бы спускаться.

Мы вылезаем, закрываем люк. Она идет впереди, но затем поджидает меня.

— Теперь вы знаете, что вам нужно брать с собой?

— Да, теперь я знаю.

Внизу она снова говорит.

— Я думаю, что через то окно вам придется лезть наружу. Ну, а если у вас опять закружится голова?

— Это еще ничего, — отвечаю я, взвешивая каждое слово. Но случается, что я отпускаю руки...

Она вздрагивает и замуривает глаза.

— Это опасное ремесло. Я всю ночь не могу спать, когда моему мужу на следующий день надо лезть на крышу счищать снег... Хотите-ли вы кружку кофе? Вы не совсем здоровы.

Кофе я не пью. Иду в свою гостинницу и ищу лестницу. Вижу, что она там же за сараем. Но я все же отыскиваю дворника и прошу его помочь мне поставить лестницу. Я чувствую себя неважно. А тут еще такая плохая погода. А когда я перемерз, у меня всегда кружится голова.

Но дворник слушает больше, как ругается на кухне прислуга. Что мне сегодня одному делать? Но затем спохватываюсь, что я это хорошо знаю. В ту ли ночь или когда я все так хорошо обдумал?

Я смотрю наверху, со стороны двора, и кричу дворнику, который идет к навесу, где сердито кричит индюк.

Отца сегодня не будет. Я только положу здесь свой ящик под крышу. Сегодня опять будет дождь... И я только с той стороны буду поднимать жест наверх. Там уже немного не знаю хватит ли на крышу. До вечера я надеюсь кончить. И говоря, я снова обдумываю каждое слово.

Я складываю жест, связываю и по большой лестнице тащу наверх. Можно было брать меньше и до края крыши нести на спине. Но это не соответствует моим планам. С самого низу тяжелую связку я тащу за собой по лестнице, сам поднимаюсь вверх задом. И когда прохожие останавливаются и смотрят, что я там делаю, я нарочно показываю, как мне трудно, и что лишь через силу удерживаю связку там, откуда она должна попасть с лестницы прямо на край крыши. Минутами останавливаюсь и тяжело дышу, одной рукой держа веревку, а другой отирая лоб. Я не совсем здоров. У меня кружится голова и легко могу отпустить связку...

И один раз я это и делаю. Я слышу, как внизу открывается дверь и швейцар вытряхивает пыль из какой то одежды. Я привык здесь замечать и объяснять каждый шум.

Тогда я отпускаю веревку. Сам я, как бы влекомый падающей тяжестью отклоняюсь далеко от крыши и успеваю ухватиться за рейку и удержаться только потому, что я кровельщик и так много лазил по крышам... Слышу как моя связка с грохотом падает на улицу. Конечно испуганного восклицания швейцара я не слышу, как и стука захлопнувшейся двери. Но когда я с трудом слезаю вниз, швейцар

снова стоит на крыльце. Раскрасневшийся, сердитый, грозя кулаком и всячески ругает меня и грозит полицией.

Я признаю себя виновным. Но что могу я делать, когда не чувствую себя вполне здоровым и временами у меня кружится голова. Дома спать? Нет, я не могу. До среды мы должны здесь закончить. Отца сегодня нет. Я должен втащить наверх и разбить всю жесь. Иначе за завтра и послезавтра мы не сможем закончить.

Затем я беру молот и некоторое время действительно работаю, так что звучит весь дом. Но долго оставаться здесь у меня нет времени. Мне нужно быть внизу, на лестнице, со связкой... И глаза мои вновь внизу, на улице. Я покачиваюсь здесь наверху, как ястреб в ожидании добычи. У меня ястребинный инстинкт. Я чувствую приближение. Я будто вику за углом.

Руки мои крепко держат веревку. Мои мышцы по привычке напряжены до крайности. Сухожилия в суставах готовы лопнуть. И сквозь все это я замечаю странную нервную дрожь. Мелкие и колющие будто муравьи ползают у меня по всему существу моему. Лоб и спина все в поту, а зубы стучат.

Однако я ошибся не идет еще. Снова я внизу и готовлю новую связку. Моросит дождь. Он такой мелкий и частый, что на расстоянии десяти шагов все видно лишь как сквозь серую марлю. Когда я тащу за собой связку, добираюсь до края крыши, я замечаю... Нет, может быть мне это лишь кажется... Мне казалось, что я увидел зеленое пальто мелькнувшее в толпе на противоположной стороне улицы. Я чувствую, что зрачки мои расширяются и руки не чувствуют более как режет обмотанная вокруг них веревка. Мне кажется, я тотчас упаду со всей своей ношей... Но она уже исчезла во мгле, где сливаются все краски в одно неопределенное серое...

Я втаскиваю свою ношу, схватываю молоток и бью без толка и цели. Руки немеют — я сжимаю рукоятку молотка, чтобы они стали бесчувственными, чтобы грохотом заглушить биение собственного сердца, которое глухо отдается в ушах. Но затем я бросаю свой инструмент и бросаюсь вниз. Накладываю — но что... Веревку я забыл наверху... Прыжками, как за добычей, лечу я обратно наверх. Не придерживаясь руками и не балансируя, сбегая вниз. Я готовлю связку, которую в другое время и с места бы не сдвинул.

Когда тащу наверх, ступеньки гнутся под моими ногами. Веревка глубоко врезается в руки. Синевато-красные кровоподтеки оста-

ются на них. И когда я напрягаю все свои мышцы, под грудью чувствую вдруг резкую боль...

Но что мне за дело до этого. Я чувствую, но не думаю об этом. Как искры в мозгу потрескивают нити оборванных предчувствий.

Она одна... Рано или поздно пришла... Но теперь еще должен прийти тот с приподнятыми плечами и круглой шляпой... Как безумный дергаю я свою ношу. Знаю, что ни втащу. Зацепится за край крыши и сорвет меня вниз... Но я не могу противиться тому что влечет меня. Все что днями я думал, а ночами бредил, разлилось теперь по моим мышцам, проникло в кровь, захватило мою волю — несет меня как в красном потоке...

Моя тяжелая ноша соскользнула с лестницы и повисла над краем крыши. Я чувствую, что она понемногу выпрямляет меня, что и сам ягибаюсь, что туфли мои медленно скользят по гладкой рейке. Но я должен еще держаться. Я вижу как внизу сквозь туман выплывает отвратительная фигура с приподнятыми плечами и круглой шляпой и медленно направляется по огороженному месту к дверям гостиницы. Так медленно, будто предчувствуя собственную судьбу. Я затаиваю дыхание, хоть и чуть не задыхаюсь. Мне кажется, что этот внизу там может услышать мои тяжелые вздохи. Остановиться и посмотреть вверх... Но он не останавливается и не смотрит. Подняв воротник пальто, нагнув голову он бросается по узкому проходу — скорее исчезнуть за бестыдными дверями. Пустил-ли я нарочно, или она у меня вырвалась — не знаю. Я слышу, как что-то с шумом и грохотом падает. Но затем я не слышу более ничего — кроме шума в ушах. Не вижу ничего — у меня рябит в глазах. Инстинктивно хватаюсь я руками. Замечаю, как одна хватается за что-то тонкое и острое, другая же скользит по чему то круглому и скользкому. Я знаю, что падаю, но миг слишком короток, что успеть уяснить положение или почувствовать страх. Я тяжело ударяюсь обо что-то, но мне не больно. Тишина и покой вокруг меня и во мне.

Прихожу в себя лишь тогда, когда меня начинают трясти и распрашивать. Чужие люди около меня и полицейский надзиратель. Прислуга гостиницы и сам хозяин бегают туда-сюда, всем и каждому что-то объясняет, показывает руками и злобно бранятся. Я замечаю что на меня злятся они. Наверное, — я причинил им большие неприятности. Но я еще не в себе и мне всеравно. Я смотрю туда, где кто-то кладут на извозчика и увозят. Один поддерживает, другой, сидя, кончиками пальцев держит круглую, сломанную шляпку.

Могу-ли я идти? Да, если вначале меня немного поддержат. Меня уводят куда-то. Целая толпа народа провожает нас. Когда взгляд мой немного проясняется и мозг начинает работать, я вижу и дворника из гостиницы, и швейцара и ту женщину из здания банка. Слышу, что падая я зацепился за водосточную трубу и лесницу и это наполовину уменьшило скорость падения. И счастливо упал на остатки выброшенного матраца. Поэтому я и могу идти и понемногу прихожу в себя. Мои спутники знают еще больше. Я слышу, что я простудился, что с утра чувствовал себя нездоровым и что у меня головокружение. Я слышу и мне кажется, что слышу это впервые, будто все это мельчайших подробностей не придуманно мною же самим. Откуда у меня так много хитрости?

Приведа, люди в форме допрашивают меня. Но я даю лишь отрывистые, неясные ответы. Что я знаю? Сам лишь благодаря счастливому случаю избежал от смерти. Зато больше знают все те, с которыми я сегодня утром встречался и говорил.

Ну, иду один домой. Мне ни капельки не жаль того, кого увезли на извозчике и кого я не знаю. Я не интересуюсь тем, убит ли он, или только ранен. Мельница мыслей моих вертится только вокруг меня самого. Меня самого молот, и я не знаю, когда это кончится.

Хотел и я этого? Его, или ту, в том зеленом пальто думал я?.. Пробую начать думать о вчерашнем и позавчерашнем, но напрасно. Нить рвется и напрасно я стараюсь связать ее.

Затем я замечаю, что Эмма подходит ко мне. Знает-ли она? — пробую угадать по ее походке и тяжелому дыханию, которое я слышу уже на расстоянии. Но когда она берет меня под руку и поддерживает, я понимаю, что знает.

Была там посмотрела, но сообразила и не показала.

— Бедняжка, как ты устал, — говорит, — она.

Так меня жалеет она, а не того. Так значит правду говорила она вчера. Но знает-ли она и то, что это был не просто несчастный случай, но с расчетом сделанное дело? С расчетом и намерением? Неужели это случайность так, как было задумано?

Моя усталость слишком велика, чтобы я мог уяснить себе хотя бы один лишь этот вопрос. Действительно я чувствую себя таким усталым и слабым потому, что она говорит это и поддерживает меня. Я позволяю. Так хорошо, когда не надо думать, следить за дорогой и одному нести всю тяжесть.

Я лежу больной странной болезнью усталости и апатии. Мне болит лишь одно, что снова надо вставать, идти на работу и думать дальше о недодуманном и незаконченном. Врач констатирует что-то сложное. Простуда, переутомление, сотрясение головного и спинного мозга. Это очень хорошо и отклоняет от меня всякое подозрение.

Этот врач — умный человек. Я начну еще уважать медицину.

Того с этими приподнятыми плечами и круглой шляпой нет более в живых. Наверное Эмма шепнула мне об этом. Она так часто сидит около моей кровати и шепчет мне на ухо. Так как будто бы другие ничего ни знать не должны. Будто мы двое лишь должны знать и скрывать это.

Слишком часто она сюда заходит и подолгу сидит. Вудит меня от моего полусна, когда так легко и хорошо. И наполняет легкую пустоту мою своими ласковым шопотом. Не позволяет мне отдохнуть и уяснить себе все. Чего я достиг и что потерял?... Разве это то, к чему я стремился, или же я потерял все и самого себя?... Стою-ли я еще на пути своем, или заблудился, лежу в пустыне и более не встану...

Будто я ежеминутно спрашиваю, почему она все время говорит со мной. Только о себе, о себе одной. Будто ничего у нее кроме этого и нет на свете. К тому, что мне уже известно и о чем я слышал, она добавляет еще новые подробности. Как будто по грязному лабиринту она водит меня по сотне тропинок своей жизни, полной бедности и разврата, отталкивающей и одновременно привлекающей. Женская застенчивость исчезла и упала, как изношенная одежда. Несчастливым героизмом своим я стал для нее непотятно привлекательным и интересным.

Я замечаю, ей кажется, что я знаю еще много. Что в памяти и во всем моем существе кроется что-то неразгаданное и увлекательное. Мне кажется она ухаживает за мной, как кот за добычей. Иногда меня охватывает отвращение, слушая, что она рассказывает мне. Но иногда и все чаще я полагаюсь на нее и позволяю мысль свою увлечь в полный дурманящего шелеста незнакомый мне мир.

Все чаще в шопоте ее звучат хитро скрытые, еле различимые вопросы. Я понимаю ее намерение. Она хочет вырвать у меня тайну мою. С намерением ли услужить ей сделал я это, или же это был несчастный случай? Конечно, не поверила бы, если бы я утверждал последнее. Но ей нужно слышать от меня самого. Как и у всех малоразвитых, развратных женщин у нее слишком живая и испорченная

фантазия. Ей нравятся роли героинь. Таковы все любовницы проходимцев, воров и убийц.

Мне так хорошо, когда никого из моих нет в комнате, а за стеной жужжит ее машина. Как в теплой воде купаюсь я в своих легком ужасом окрашенных воспоминаниях и в чувстве тишины и тепла. Довольно мерз я, работал и думал... Но затем меня волнует наступившая вдруг тишина. Я слышу ее шаги. Я закрываю глаза, напяливаю на себя одеяло и притворяюсь спящим.

Но она видит меня насквозь. Мне нет спасения от нее и я нигде не могу скрыться. Она смеется, склоняясь надо мной, дует на меня, гладит мое одеяло своими мягкими руками... Как змея обвивает она все мое существо и пробует заглянуть в мое сердце.

Я открываю глаза и пробую улыбнуться. Но внутренне я слежу за каждым ее движением, за каждой чертой лица. Я знаю, что должен остерегаться ее. Не проговорился ли я в бреду? Не дал ли я сам ей лпты в руки? Но тогда я вдвойне должен быть хитер с ней.

— Ты такой сильный, — восторженно говорит она и ощупывает мои слабые мышцы. — Я не знала, что ты там работаешь и один тащишь наверх такие связки.

— А я не знал, что ты ходишь с ним туда. Кто он был? — Но она не рассказывает более в десятый раз. Минуту она обдумывает.

— Помнишь, что я тебе рассказывала в то воскресенье, когда ты видел нас на улице? Как я просила, чтобы ты освободил меня от него. Ты же помнишь?

— Ты рассказывала? Нет, я об этом совершенно забыл.

— Но как же случилось, что ты ношу свою должен был бросить именно в тот момент, когда он входил туда?

— Должно быть это было веление судьбы. И ты же ведь знаешь, что я и сам упал. Могло бы и так случиться, что не он, а я.

— Вот каков ты. Я все тебе рассказала, а ты мне ничего не хочешь. Ты нехороший. Ты меня не любишь. Никогда больше я не приду к тебе.

Она уходит. Но и одна я не знаю покоя. Моя тайна, как туман ползет из всех углов, ступается в черную тучу и угрожающе повисает над моей головой.

В субботу вечером мне приносят повестку в понедельник явиться к судебному следователю по делу о несчастном случае у гостиницы «Россия». Несчастного случая — так там и написано. Если бы у

них были какие-нибудь подозрения, тогда там стояло бы: по делу об убийстве или еще как-нибудь. Я мало понимаю в таких делах. Пробую успокоить себя и уверить, что ничего нет и не может быть. Но покоя нет. Всю ночь я мучусь в бреду и потеею, предчувствуя что-то плохое. Мои мысли, как птица в западне мечутся во все стороны, но выхода не могут найти.

В воскресенье перед обедом Эмма снова сидит рядом, на краю кровати. Она надела новую кофточку и глубоким вырезом и серьги. Руки до локтей голы и при сгибании там появляются маленькие пухленькие складочки. Она надушилась. Когда я закрываю глаза, мне кажется, что я лежу в цветнике, положив голову в резеду. Сквозь призмуренные веки я замечаю красноту ее кофточки. Но мне кажется, что это красный шелковый мак, который парит надо мной, обливая меня своей краснотой. Уж не кровь ли это, которая течет у меня по лицу...

Я вздрагиваю испуганный самим собой. Но это ее голая рука, которую она положила на подушку рядом с моей головой. Она смеется, наклонившись ко мне и заглядывая мне в глаза. Я не могу уклониться от этого хитро-привлекательного взгляда. Доставляя боль и сладко дурмана они беспокоят меня. Я не в силах выдержать. Мне надо бежать от них и от самого себя.

Тотчас же после обеда я поднимаюсь и, шатаюсь, одеваюсь. В комнате никого нет. Мать с Руди пошли опять разыскивать отца. Эмма — мне кажется, на другом конце у сапожника. Я поспешно одеваюсь и замечаю, что в теле немного поправился. Я могу уже устоять на ногах, потихоньку могу идти. Мне надо бежать от нее и от самого себя.

Теперь у меня на уме нет более того потайного местечка, куда я так часто являлся, готовясь к своему предстоящему делу. Я не могу пересилить свое беспокойство и бежать от своего несчастья. Я как щепка упавшая в омут.

Я впервые в небольшом кабачке на углу, довольно далеко от нашей квартиры. Я ребенок пьяницы, с малолетства яд этот течет в моей крови. От рождения уже во мне зреет тайное стремление, вся жизнь моя была одной оживленной борьбой с враждебными инстинктами. Я воображал, что закалил волю свою, как негнущуюся сталь. Но это был лишь самообман.

В темном уголку я сижу один и пью противную, одуряющую жидкость. И чувствую бесконечное успокоение, когда приятный туман

охватывает мозг и гасит пылающие мысли. Я уже не щепка в омуте. Я сам кажусь себе сильнее, а несчастье мое меньше. Завтрашний день уж не пугает меня. Я же умен, ловок и сам распоряжаюсь своей судьбой. Ничего мне не надо бояться... я могу все... И когда я уже так далеко со своими мыслями, приходит Эмма. Белыми локтями своих голых рук она отодвигает все в сторону и садится сама. Ароматом резеды и краснотой мака она окружает мой мозг.

Бодрым и веселым я возвращаюсь домой. Ноги мои легко идут в по тротуару, будто все дни ходили здесь. Вызывающе смотрю я на лица встречаемых и с презрением на проходящих мимо. Все они кажутся мне такими маленькими и ничтожными по сравнению со мной, который так опытен и может все...

Чего бы я не мог? Мир, как лужа передо мной. Легко я перепрыгиваю. И если бы мне понравилось ступить, в нее, обувь моя осталась бы сухой. У меня такое хорошее настроение, что я мог бы остановить каждого из прохожих и вступить с ним в длинный разговор. Мне было бы что порассказать о своих переживаниях и планах. Все пережитое мной кажется мне необыкновенно важным, ловко выполненным и каждому известным. Все предстоящее легко разрешимым.

Я бросаю шапку на стол — точно так, как отец делает, возвращаясь из кабака. Приглаживаю свои длинные волосы и вхожу к Эмме.

Она еще более принарядилась. В волосах ее горит темно-красная лента. К кофточке около самого выреза приколота белая астра. Она как раз кладет на стол маленькое зеркальце и смеющимися глазами смотрит на меня.

Я сажусь верхом на стул, смело и близко заглядываю в эти глаза. Я мужчина, молодой и сильный. Мне нечего стесняться. Я на момент лишь прихожу в себя, когда ее руки в моих и ее волосы мягко касаются моих висков. Что я делаю? Куда влечет меня этот двойной дурман?

Но это лишь минутная вспышка. Я — щепка в омуте и не могу ничего. Я знаю, снова она будет спрашивать про мою тайну, которая так раздражает ее. Ей нравятся роли романтических героинь и я могу ей дать это. Я знаю, теперь я расскажу все. Не только то, что было и произошло, но и все, что я пережил в себе, продумал и решил.

Хвастаясь и приукрашивая я открою ей все двери к тайнам моим. Пусть ходит она по моим комнатам, постукивая каблучками во всех углах, пусть своими белыми, распутными руками роется во всем, что

так долго я скрывал. Я же — герой ее... Я щепка в омуте... Как в ароматно-красных волнах тону я в ее объятиях...

В понедельник утром я рано просыпаюсь. Просыпаюсь с тихим стоном, который все время давит грудь мою и не дает свободно дышать.

Разве я еще болен? Прикладываю руку к голове. Она холодна и липка. Дрожь отвращения пробегает по телу. Мои руки кажутся грязными и противными. Весь с головы до ног я противен себе. Я чувствую тело свое как грязную тряпку, к которой противно прикоснуться.

Встаю и выбегаю вон.

Но куда мне бежать от себя? Куда я от своего вчера... куда от позавчера и всех других дней могу я убежать?

Погода ясная и свежая. Мелкие лужи замерзли. Тонкий лед хрустя, ломается у меня под ногами. Сворчившиеся, недовольные люди идут мне на встречу и мимо. Я чувствую физическую боль, когда ко мне нечаянно прикасаются.

Мне нужно бы выйти за город. Идти по замерзшей грязной дороге и покрытому инеем лесу, где нет ни одного человека, но разве найду я там покой? Могу ли я уйти от себя?

Я — убийца и развратник — и путь свой потерял я.

Медленно как осужденный тащусь я к судебному следователю. Еще рано и кривые коридоры только понемногу наполняются людьми. Я сижу на грязи гладко отполированной скамьи, забившись в уголок и стараюсь, чтобы никто не прикоснулся ко мне. Может быть, чтобы и самому ни к кому не прикоснуться. Вчерашнее хвастовство и смелость исчезли, как пузырь на дождевой воде. Я чувствую себя маленьким, слабым и бесконечно презренным. Презрение я замечаю в каждом кто проходит мимо меня. Презрение в каждом взгляде, который бросают на меня чужие мне люди.

Я же — убийца и развратник.

Я знаю, я не выдержу сурового взгляда и резкого слова, мои нервы горят уже от одного дыхания чужих людей. Ласка или просто доброе слово может меня сломить. Мое сердце набухло от сдерживаемых слез. Я жалок как калека и отталкивающий как бродячая собака.

Хорошо еще, что сторожа безразлично стоят на своих местах или же, собравшись, угощают друг друга папиросами и смеются. Я смотрю на своих соседей. Разве сегодня можно еще смеяться? Так значит на свете есть еще люди способные смеяться?

Только как в тумане вспоминаю, зачем я здесь и что меня ожидает. Но я избегаю этого. Я знаю, что пропал так или этак.

У меня такое чувство, что лишь на момент вынырнул. Сейчас же... сейчас волны снова столкнутся над моей головой. Только одного еще хочу я: хоть бы скорее!

Но и ждать мне не трудно. Я едва лишь замечаю, как летит время. Люди приходят и уходят через те двери, через которые надо будет идти и мне. Я так устал и хочу покоя от всего — и от собственной усталости.

Но вот наступает и моя очередь. Я сижу в этой страшной комнате и чувствую себя удивленным. Ничего особенного нет и в этом страшном человеке, который будет еще мудро допрашивать меня, тайно радуясь моими муками, а затем громовым голосом объявит приговор. Приговор пугает меньше. Я только не знаю, как я выдержу суровый окрик. Я не могу... я не хочу, чтобы он радовался мукам моим и кричал. Лучше уж сам скажу в кратких словах.

Я шевелюсь на своем стуле и хочу начать. Но он, мой мучитель, отвернувшись пьет чай, прикусывая бутерброт. Смотрю широко открытыми глазами, как пожелтевшие зубы неспеша кусают хлеб и усы с проседью погружаются в чай. На нем поношенный, покрытый перхотью костюм. Ничего страшного, угрожающего, безжалостного нет в этом моем мучителе. Я вижу усталого от работы человека, для которого я так безразличен, как и каждый, сидевший тут предо мной. И когда, наконец, он оборачивается и безразлично смотрит на меня, я вижу, я вижу, что к усам его прилип кусочек масла и странно покачивается, когда он говорит. И это решает мою судьбу.

Я смотрю на этот кусочек масла и чувствую, что во мне происходит какая-то перемена. Все то правдивое, что было во мне и произошло наружу, отходит в сторону и глубже, и мое сознание и волю обнимает и наполняет опять та же ложь как и в тот несчастный день. И когда он спрашивает спокойным, любезным, тоном, я начинаю свой длинный ложный рассказ про простуду и головокружение. Он вскоре прерывает меня. Оказывается, что у него уже есть показания дворника, швейцара и женщины из банка. И от моего врача у него есть какая-то бумага. Все говорит в мою пользу. Мы скоро окончиваем. Мне подписаться и затем я могу уходить.

Идти.... Но разве только поэтому я уже больше не убийца и не развратник, что подписал эту бумагу? Куда же я пойду такой? Я стою

там же, за дверями и думаю, что мне надо вернуться и начинать все сначала.

Я же так не хотел. Как это могло случиться?

Сторож касается меня.

— Вы окончили?

Я не знаю, что ему ответить. Да мне ответить или нет?

— Вас отпустили?

— Да. Отпустили.

— Тогда вы можете идти. Прошу, здесь выход.

Но я снова подхожу к дверям.

— Не туда. Что с вами? Что вы ни в себе что-ли?

Твердой рукой он подводит меня к дверям и открывает.

Куда же я пойду такой? Куда мне деваться?

Захожу в парк и сажусь на скамью. Шаги прохожих тонут в некое тут же, у ног моих. Воробьи прыгают вокруг и беззаботно чирикают. Согретый солнцем иней с веток клена падает мне на руки. Я вижу, но не думаю об этом. Внутри все перемешалось во мне. Я разорван на тысячи кусков и ни у одного не могу удержаться.

Затем я иду и хожу по улицам. По прямым и знакомым, затем по узким переулкам пригорода. На момент рельсы железной дороги мелькают у меня перед глазами. Предо мной тропинка по которой, шумя идут ученики.

Маленькие домики с огромными пустыми лоханями для капусты. Лошадь проходит мимо, пощипывая замерзшую траву. Белый столб дыма медленно поднимается над темной дугой леса. Где-то раздается крик без далекого лишнего эхо... Мое зрение и слух касается всего, но скользят мимо. Как вся эта тишь осеннего дня не согласуется с тем вихрем, который в голове моей...

Зачем я иду в этот лес, пугая тех, кто собирает здесь хворост и шишки?... И почему... да, почему мне и на ум не приходит искать ответа и освобождения у других, близких, милых людей и товарищей, с которыми связаны мои будущие намерения и великая задача?

Я сам еле чувствую, как дотащился домой. Замерзший, усталый и измученный сажусь на свою кровать.

В комнате темно. Во всех углах слышится тяжелое дыхание спящих. Но сон покинул меня. Кажется, что никогда уже я не смогу спать. Как могу я спать с мыслью, которая теперь образуется в голове моей из хаоса мыслей и чувств последних дней. Как добела на-

каленная цепь с остро загнутыми звеньями тянется через мой мозг. А за ней нет ничего более. Совершенно ничего...

Только безграничная ужасная пустота, где слышно отчаянное хлопанье птичьих крыльев. Что же осталось от *моей* гордости и великих планов? Что из моего отвращения и ненависти к половой низости и животными страстями? И от *моей* героической любви, в дыхании которой исчезли тяжесть *моей* героической работы и смрадный чад ее окружающий?

Эти несчастные дни сломили и уничтожили меня. Я, который думал освободиться от хилости семьи своей, пал ниже, чем мой пьяница-отец, которого я не считал даже достойным своего презрения. А свою любовь, свое величайшее сокровище я бросил, как бросают сносившуюся обувь. Свою нравственность я выбросил на улицу. Тело мое распутная женщина затоптала своими грязными ногами и душа моя бродит как птица, у которой разорено гнездо.

И к тому же я еще убийца. И эта женщина знает тайну мою и всю жизнь будет держать меня в своих руках. Со вчерашнего дня она противна мне, как смерть. Но я раб ее и она может делать со мной, что ей вздумается. И почему это так? Ах, и это я знаю — я знаю теперь все, и ужасно знать все. У меня не было сил жить и работать в сознании своей великой задачи. Мои дальние пути остались лишь сновидениями, а наяву лишь путями фантазии. Теперь я вижу себя точно таким, как те, кто ходит здесь с ножом в кармане и не признает ничего другого, как только хотение несчастной жизни своей и влечение распутного тела своего. Еще хуже. У них есть смелость и сила и свой злой героизм. А я слаб и труслив. Мои сокровенные инстинкты увлекают меня помимо *моей* воли и убеждения. Я иду как в тумане, низко вру и обманываю, боюсь и стыжусь этого, — того что я сделал. Какова же картина предо мной? Это был какой-то прежде временно родившийся ребенок, противный выродок с недоразвитыми и несоразмерными членами. Уж не я ли это?

Я не сознаю более, кто я. Я потерял себя — и как же мне после этого жить? Зачем? Я знаю, что я-то, что врождено во мне и воспитано. Я — такое же животное, как те, что вокруг меня. И ничего я не могу сделать с этим. Эти дни навеки пришивали меня к горю и отвращению. Но как же мне жить здесь, когда я видел лучшее? Когда эти дальние пути, которые я вижу во сне и о которых наяву фантазирую. Когда мечта будущего моего реет надо мной как краснейший мак над вонючими, разлагающимися веществами?

Как же я могу жить?

— Вставай будит меня отец, грубо дергая за руку.

Я, наверное, только заснул недавно. Мне хочется спать. Но все же я встаю. Как могу я не повиноваться? Сил нет у меня. Голова действительно кружится, а ноги подкашиваются. Наверное вчера, бродя, я сильно перемерз. Но я держусь и не показываю вида. Как смею я показать?

— Что ворочаешься! Иди, пей! — кричит сердито мать и толкает кружку кофе в мою сторону.

Я сажусь, стараюсь не показать своей слабости. Но удержать крепко кружки кофе мне все же не удается. Она стучит о мои зубы.

С тем, что натворил я в последние дни и пережил, последнее уважение я потерял в их глазах. Я стал равен им, а этого подобные люди не переносят. Такого они стараются сделать ниже себя. Положить сахару мне забыли. Кусок белого хлеба у меня вдвое меньше, чем у отца. Что мне сказать?

Машинально я ем и пью и не чувствую никакого вкуса. Я стараюсь лишь делать все тихо и незаметно. Эмма намеренно не идет. Из того, как она одевается и кашляет я понимаю, что у нее ко мне такое же чувство, как у отца и матери. Хорошо еще, что она не идет. Мне надо было бы встать и низко поклониться ей. Я же — слуга и раб. Только по милости ее еще здесь.

— Чего ждешь, иди! — злобно кричит на меня отец. И он прав. Разве я больше недели не пролежал и не доставил им кроме того волнения и беспокойства?

— Ах, ты! — Мать еле сдерживается, чтобы не дать мне пощечины, когда я, поднимаясь, наталкиваюсь на стол, а затем, откачнувшись задеваю кровать Руди. Тот просыпается и смотрит на меня. Я отхожу в сторону, мне кажется, он готов плюнуть мне в лицо.

До сих пор я шел, как мне правилось — первым или последним. Теперь я должен идти впереди. И когда я замедляю шаг или останавливаюсь, чтобы поправить сползающий ящик с инструментами, его ноги касаются моих каблучков и я бегу вперед. Иду, пошатываясь, с желтыми кругами перед глазами и через силу стараюсь удержать на плече тяжелый ящик. Лоб у меня мокрый. Пот катится по лицу и падает с волос. И когда я сталкиваюсь со встречными или наталкиваюсь на фанерный столб, каждый раз слышу за собой сердитое ворчанье отца. Я чувствую, что только полная народу улица удерживает

его проучить меня и подогнать. Он гонит меня и я иду. Разве я не согрешивший раб, который должен быть доволен тем, что с ним делают.

По старой привычке, я механически поворачиваю в привычном направлении к гостинице. Но отец кричит на меня и мы, заходим во двор банка.

Дворничиха узнает меня, встречает любезно и сочувственно. Без сомнения, подробно знает, что случилось со мной за эти дни. Может быть здесь не так много сочувствия как любопытства узнать от меня самого, как именно это произошло. Но у меня нет времени, Мне надо работать.

Всюду мне надо идти вперед. Ни на один миг не оставляет меня чувство, что меня погоняют и за мной следят. Отец за мной тяжело дышит. Я понимаю, он хочет, чтобы я заметил как ему трудно из-за меня и каким бременем и несчастьем я для него являюсь.

Мы поднимаемся на башенку. Круглое окошко вынута и поставлено в сторону. Узкое помещение завалено старой и новой жестью и другими принадлежностями.

Видно, отец тут уже один работал.

— Ну, готовься! кричит он на меня и сам начинает рыться в разбросанной жести.

Я смотрю в окно, за которым, через улицу видны фантастически изогнутые крыши домов, стены и трубы. Как же я вылезу вон на узкую подвешенную на веревках планку, когда я простужен, болен и у меня кружится голова. Но разве я смею выбирать? Я подхожу ближе. Синее, еще полное прозрачности скрытого солнца небесное пространство дышит мне в лицо. Прямо напротив в этой прозрачности плавает бледный, идущий на убыль, еле заметный месяц. Я закрываю глаза и плечом лицу стену, к которой прислониться.

Тогда тяжелая рука пьяницы-отца ударяет меня по лицу.

— Мерзавец! — ругает он меня. — Спать я есть, это ты умеешь. Да всякие мерзости творить. А я должен работать на вас... Мариш вон!

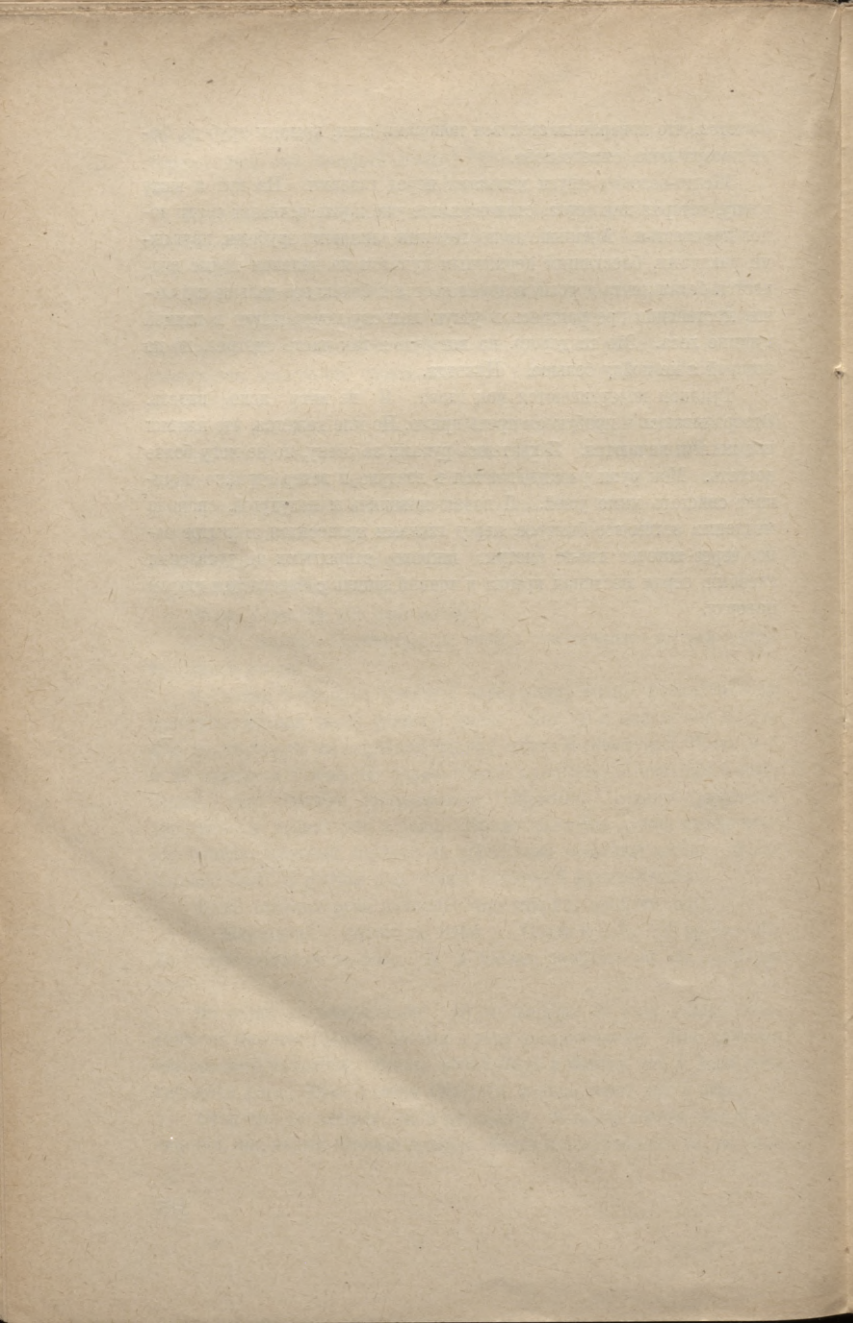
Но я уже на подоконнике. Будто впервые за этим делом, ухватившись неловко руками, ногами и лицу узкую планку. Мне кажется она немного качается. Но это может быть и потому, что у меня подгибаются ноги. Руки у меня трясутся, а лицо горит как в огне.

Отец что-то говорит, но я не слышу. Я полон своего горя и несчастья, как нарыв готовый лопнуть. Когда я поворачиваю голову, мне

кажется, что поварачивается вся панорама стен, крыш и труб на фоне прозрачного, синего неба.

Желто-зеленые круги мелькают перед глазами. На миг я вижу улицу, которая как черта, становясь все уже и уже исчезает среди домов предместья. А дальше за последними длинными трубами, круглыми ракетами, блестящим церковным куполом на далеком холме виднеется белая лента дороги, которая вьется и бежит все дальше и дальше, постепенно превращаясь в узкую полосу исчезающую в темной гущине леса. Это та дорога, на которую я так часто смотрел, но по которой я не пойду больше. Никогда.

Туманом подергиваются мои глаза. Я не могу ясно видеть. Отворачиваюсь и пробую смотреть прямо. Но мне кажется, что планки под ногами качаются. Я хватаюсь руками за стену, но не могу более достать. Мои руки раскидываются в воздухе и ветер странно начинает свистать мимо ушей. Я падаю навзничь и полудугой, сначала медленно, затем все быстрее, перед глазами проносится открытое окно, через которое кто-то смотрит широко открытыми от удивления глазами, серая жестяная крыша и тонкий шпиль с блестящим шаром наверху.



Боженькины люди.

Прекрасна Курземская равнина в призрачном лунном сиянии. Тонко, тонко выбирает сумеречный воздух и мягкие очертания окружающих меня предметов дрожат и выбрируют вместе с ним. Звездное небо так бесконечно и необъятно глубоко, как сама вечность и в купол его только в одном месте по направлению к югу, вдаются как крыша черной постройки верхушки группы растущих на кладбище сосен. За исключением этой черной кладбищенской кровли, ничего нет и только вокруг, насколько хватает глаз, тянется белая линия, как кольцо с небольшими выемками вдоль нижнего края своего. Эта линия как бы успокаивает человека, говоря о том, что и еще где-то блещит солнце. Выемки же вдоль нижнего края кольца — крестьянские хутора, в которых временами тявкают собаки.

Я стою на небольшом холме и на миг забываю, куда иду; или вернее говоря, думаю, что уже пришел туда, и однако все же не у цели.

Курземская равнина кажется лежащей под ногами путника. Только кладбищенские сосны на юге поднимаются выше головы моей. Но направо от большой дороги я замечаю кирпичный завод и вижу, что он напоминает лицо великана: сам он утопает в зеленоватом мху, лишь видно носатое лицо его и из носа поднимается вверх облачко дыма. И на ум мне приходит момент, когда проснется великан этот, страхнет с огромной фигуры своей зеленоватый мох и семимильными шагами пройдет по Курземской равнине. Что будет тогда?

I.

На кирпичном заводе жили восемь «братьев», одна женщина и один человек.

Отец Дулма так запутался в сетях своих учений и убеждений, что был уже не в силах выпутаться. Он даже не в силах был более понять ложность этих учений и убеждений. Давно уже жил он на кирпичном заводе, следя за порядком и копя денежки для своего прихода. Но еще раньше отказался он от человечества, греховных мирских удовольствий, изувечив себя и тем самым потеряв каждую возможность снова впасть во власть греховных наслаждений. Вся жиз-

ненная сила его и весь ум направлены были теперь лишь на одно: сделать ясным и доступным свое учение и укреплять великую веру свою. У него нашлись последователи, которые, будучи увлечены речами его, изувечили себя, став его учениками и прихожанами. Далеко по миру распространилась слава об отце Дулме, а позаботились об этом наиболее горячие приверженцы его: брат Яков, брат Том и торговец Индрик Петр, который первым начал петь священные песнопения на сходках «братьев», оказался первой жертвой мирских судей. Но и теперь еще каждый день по утрам и по вечерам маленькая община продолжает петь песнопения его.

Кому удавалось видеть хотя бы одного из «одержимых братьев» живущих на кирпичном заводе, тот как бы видел их всех в лице этого одного, — так одинаковы были лица их. Целый день мужчины эти работали над кирпичами, обмениваясь между собой лишь самыми необходимыми словами. По вечерам же, когда, молясь Боженьке, живые глазки «братюшки» горели умилением, они также однообразно шептали слова молитвы, как однообразно пропускали днем кирпичи через руки свои. Старая Гриета родилась и выросла на заводе. Со времени появления отца Дулмы, она, увлеченная проповедями его, осталась на заводе в качестве хозяйки и ожидала райского блаженства на том свете, что обещала ей строгая вера ее.

Двенадцатилетним мальчиком от постели умирающей матери приведен был на завод Давнис. Напрасно отец Дулма старался уговорить умирающую женщину, чтобы она позволила искалечить мальчика. Он должен был дать клятву, что не будет принуждать его к этому и покорился личному решению его.

— Боженька, Боженька, жаловался отец Дулма: Какое странное существо женщина эта! Целый день насаждаешь ты в ней убеждение и веру, к вечеру она слабеет, соглашается, верит, покоряется...

А на следующее утро снова пробуждается в ней мирское непотребство. Боженька, Боженька!

Но не мог отец Дулма нарушить клятвы данной им.

Давнис был хорошим, но непостоянным мальчиком. Учение отца Дулмы, каким бы мрачным и противобестественным оно не было, быстро превратилось в самое твердое убеждение мальчика. Его скорее можно было уверить в том, что нет солнца, нежели в неправильности хотя бы одного тезиса этого учения. Но этого никто и не пробовал делать, ибо за исключением отца Дулмы и старой Гриеты никто не заботился о его развитии.

Не ослабевала вера его, не зарождались сомнения и в воскресные вечера, когда Юрка Лага, сидя на камне, играл на скринке, а сам он с Мирдзой Зидите подпевал ему, танцевал, или сидел на большом, сером камне — нет, он лишь лишь забывал об этом.

День двадцатилетия Давниса пал на воскресенье. Солнышко заглянуло через маленькое не совсем чистое окошечко прямо в глаза ему, когда он проснулся.

Сбоку на краю кровати сидел отец Дулма. Он наклонился и, целуя, поздравил его со днем рождения.

— Ну, теперь ты взрослый человек, — радостно сказал он, поглаживая своей мугкой рукой голову Давниса. И так легко, легко стало на сердце у Давниса от этого голоса полного любви и от этой ласки благословляющей руки. Он прижмурил глаза и нежился под лучами солнца, которые как бесчисленные разноцветные нити проникали сквозь ресницы в глаза его. А в ушах, как серебристое журчанье ручейка, звучал полный любви голос старца. Чувство невыразимого блаженства охватило Давниса. Он не слышал содержания речи старца, но чувствовал его.

— Так должно быть на сердце в царствии небесном, когда Боженька навещает любимых чад своих...

Словами Давнис не выразил этого, но он знал это, знал он и то, что в этот момент Боженька посетил и его.

Как бы в подтверждение мыслей Давниса, отец Дулма говорил повышенным тоном и тайные, восторженные мысли Давниса облекались во все более живые и сильные выражения.

— Он здесь. Эти солнечные лучи, проникающие через окно в комнату, — Он; это сияние в глазах твоих — отблеск Его. И эти невыразимые чувства, которые наполняют сердце и душу, говорят нам, что он любит нас, что мы эти счастливы и достойные, которых удостоил посетить Он. Как роса падает на траву, так и Он опускается с утренними лучами на головы людей своих, и дает почувствовать нам неизречимую близость свою, дает испытать райское блаженство! Он любит тех, кто покоряется Ему и отдает себя в руки Его. Кто пожертвует для Него тленные и греховные чувства и страсти свои, тому пошлет он награду такую великую, каков Он сам и такую высокую, что ум человеческий безсилен даже представить ее себе... — Скоро, скоро наступит день Господень, когда падет все тленное, все человеческое; исчезнут в преисподней все радости и наслаждения мир-

ские и будет там плач и скрежет зубов. И проклянут люди час рождения своего и проклянут погрязших в страстях матерей своих. Адский дым и красные языки пламени окружают грешников и сквозь вечные стоны их жутко прозвучит смех сатаны! Но чад своих, которые пожертвовали для него непотребными страстями человеческими и греховными радостями, их поведет он в вечно зеленеющий сад, где никогда не заходит солнце. Они не будут иметь понятия о том, что такое боль, беспокойство и страсти и горе не коснется их, ибо они будут во Госноде, как и Сам Он совершенен в величии своем. Это будет новая страна неопишемого блаженства, где весь мир будет любящими братьями и сестрами, где не отведет человек очей своих от стыда другого, ибо не будет стыда, не будет сословий, но все будет единой общиной, как един и Боженька, и будет она вечной, как вечен Он. И благославит Боженька вестников своих, проповедующих имя Его и петину. И будет одеяние их как золото и очи их как драгоценные камни. И падут на колени свои братья и словами святой райской песни возблагодарят тех, кто привел их к источнику вечного блаженства и необьятного, вечного покоя. И явится тогда Царь царей в неизреченной славе своей верующим своим и падет каждый верующий полный неизреченного счастья на лице своем; а Он поднимет руку свою и благословит учителей общины и вестников своих!

Давнис не мог оторвать взгляда от мечущих молнии очей отца Дулмы, который, казалось, видел перед собой что-то великое, захватывающее.

Только когда старец взглянул на него, он как бы ожил, выскочил из постели и с сияющими глазами воскликнул:

— Пусти меня, отче, я пойду и буду проповедывать всем и верну их на путь истины! Как глухи те люди, которые теряют душу свою ради одного дня радости! Я пойду и возвращу их всех, всех, под стопы Боженьки!... Пусти меня! Он быстро обнял старца. Но тот медленно посадил его рядом с собой на край кровати и, минуту помолчав, тихо сказал:

— Зачем так страстно? Ты сам еще закован в узы страстей, не сешь на себе тяжелое бремя их...

— Тебе нравится Мирдаа Зилите?

Этот вопрос он задал так неожиданно и таким странным голосом, что Давнис растерялся и не мог ответить, ибо он и сам никогда не думал об этом.

— Теперь, -- вновь заговорил старец, теперь ты человек взрослый.

Я знаю, что до сих пор ты еще невинен и хочу, чтобы и впредь ты не впал в грех, в грех самый глубокий, который связывает мужчину и женщину. И эт пред очами Боженьки более великого греха, более отвратительного непотребства, чем подобная связь.

Давнису стало жарко. Он не понимал, как старец, который так хорошо знал его, мог допустить о нем подобные мысли.

— Убей меня, если я согрешу!

Отец Дулма снова немного помолчал и затем живо, будто и не было предыдущего разговора, заговорил:

— Ну да, — теперь ты человек взрослый. Ты, сынок, пойдешь моей дорогой. Но сначала ты должен сбросить с себя бремя непотребных страстей, должен порвать последнюю связь со злым, греховным миром, должен стать совершенно святым тогда ты будешь наследником моим, настоятелем и учителем боженькиной общины. Теперь, как от взрослого человека, я требую от тебя, чтобы ты вынес окончательное о себе решение.

Теперь уже пора вполне присоединиться к общине, с которой вместе так долго жил ты.

— Разве ты хочешь уже сегодня?

— Чем скорее, тем лучше — стать боженькиным человеком. А по смерти моей я оставляю тебе и кирпичный завод. Но Давнису было страшно, он боялся тайнственных болей. Исчезло светлое умиленье, исчезли святые чувства, остались лишь странные, темные предчувствия о сером, сиюминутном будущем. Он встал, подошел к оконцу и приложил лоб к стеклу. Он был бледен и смотрел не на двор, но вниз на полусгнившую внизу оконную раму. Он стыдился боязни своей. Сердился на себя за бессилие свое; и все же он не мог произнести решительного слова. А старец ожидал и Давнис слышал за собой дыхание его. Странная непонятная боязнь от этого старикашки угнетала его сердце и он ждал, что еще тот скажет ему и был так взволнован как будто бы следующие слова старца могли для него явиться смертным приговором. Но старец молчал. Через несколько минут он тяжело вздохнул и тихо вышел из комнаты.

Давнис облегченно вздохнул и поднял голову. Там пасся скот Зилишей. А дальше, взобравшись на старый, серый камень, Юрко дурчался и смешил Мирдзу, которая по воскресеньям заменяла пастуха Мику. Когда скот расходился можно было видеть и саму Мирдзу, которая, скрестив на груди руки, весело смеялась, как обычно это

делают маленькие девочки. Черный с белыми кончиками хвоста так ласкался к ней и бегал вокруг.

Давниса так и тянуло на двор к другу и подруге. Как там было светло и радостно!

Но старец пугал его тяжким грехом. До сих пор Давнису и в голову не приходило подумать о каком-либо грехе, который мог бы таиться в его отношениях к Мирдзе. Они были сердечными друзьями, такими же друзьями, как с Юркой. Правда, Юрко иногда говаривал двусмысленности, то он не обращал на это внимания. Но теперь, когда и старец упомянул о возможности такого греха, мысли об этом более не покидали его.

То, что он считал до сих пор какой-то бесстыдной сказкой, выдуманной ради смеха льянцами, оказалось отчасти правдой, ибо сам старец говорил об этом.

Он продолжал смотреть в окно и невольно вспоминал самые разнообразнейшие рассказы слышанные им от пьяниц об этих отношениях между мужчинами и женщинами. Он постоянно старался не слушать, с отвращением отворачивается, почему и друзья называли его святым. Но теперь все слышанное представлялось в его фантазии как какое-то неопределенные, но странно раздражающие картины. Странная дрожь время от времени пробегала по телу его, непривычно билось сердце и шумело в ушах.

Вытянув шею, прижался он лицом к стеклу и пылающим взором смотрел на Мирдзу, как она, схватив Юрку, старалась повалить его на землю.

С силой захлопнулись двери комнаты. Давнис вздрогнул, повернулся и начал смотреть через другое окно на двор завода.

Там шел отец Дулма. Он был или очень рассержен, или же опечален, ибо также сурово захлопнул он двери и тогда, когда узнал об осуждении пророка Петра.

И Давнис чувствовал себя виноватым. Он посмотрел на себя, не одетого, и отвращение охватило его.

— Подлец, о чех я думаю; — шептал он, — непотребный...

Ах, Боженька, Боженька, зачем ты это допускаешь! И почему Мирдза не мальчик? Тогда мы оба стали бы учителями и не было бы никакого греха между нами...

Он оделся в праздничное платье и вышел умыться в переднюю, которая одновременно была и кухней. Там у стены, облокотившись на плиту, сидела старая Гриета и ощипывала курицу, перерезанная до половины шея которой, облила черными сгустками крови.

Когда Давнис вошел она положила курицу на край плиты и пошла к нему навстречу.

— Сегодня у тебя ведь праздник, — ласково проговорила она и поцеловала его в щеки и в губы; — ну, теперь ты уже взрослый человек. Да благославит и просветит тебя Боженька!

Давнис покраснел и не знал, что ответить. Он налил из ведра в ванночку воды и начал умываться. Когда он умылся, Гриета подала ему полотенце.

— Ты же сенгодня юбиляр и я тебя как господина... Но почему же ты батюшке-то так долго не покоряешься? Он так тебя любит: обещал и завод тебе оставить, Давнис молчал и вытирался, старая Гриета села и начала очищать курицу.

— А правда, что Юрка всяким глупостям научил тебя? — спросила она вдруг, выпрямляясь, так что даже ударилась затылком об стену. — Уж не согрешил-ли ты с Мирдзой?

— Как согрешил? ответил Давнис на вопрос вопросом же и сам не понимал, спрашивал-ли он из-за непонимания или же только для того, чтобы посмеяться над Гриетой. В нем просыпалась злоба на старую Гриету и на весь мир.

Старуха тоже на миг растерялась, но затем лицо ее стало еще морщинистее.

— Ну... так... Я говорю тебе, что сойтись легко, и мечтать приятно, но когда после...

— Разве тоже когда-нибудь грешила? неожиданно для самого себя спросил Давнис. Его так поразила мысль, что и старая Гриета может быть делала когда-нибудь то, что по его мнению могли делать лишь пьяные мужчины, что он выпрямился и уставился на нее неподвижным взглядом.

Но она ответила не сразу.

— Да, тогда, когда еще была молода, как теперь Мирдза. И это было моим несчастьем. Если бы я не знала, то и тебя не могла бы предупредить.

— Расскажи ка мне, бабушка...

Старая Гриета тяжело вздохнула и затем решительно покачала головой.

— Знать это грешно, сынок. Боженька не хочет, чтобы мы порочили уста свои такими словами. Как молода и глупа была я тогда! — Ни одному человеку не желаю я этого. Надейся ты лучше на Боженьку, покорись батюшке и Боженька охранит тебя от искушения. Теперь ты сам человек уже взрослый и можешь присоединиться к об-

щине и станешь учителем, да и завод будет твоим. Да и денег старец тоже накопил порядочно. Ты будешь счастлив и каждый тебе позавидует.

Давнис вернулся в большую комнату, упал на колени и долго, долго читал молитвы. Но думал он совершенно о другом. И старой Грете был знаком грех этот и отцу Дулме... все, все насладились им.. И Мирдза также? Может быть этот Юрка...

У него замерло сердце при мысли о Мирдзе.

— Я убил бы его, если бы знал, что он совратил ее, — шептал он.

— Доброе утро, приветствовал его кто-то, открывая дверь.

— Отец Дулма дома?

Давнис встал и пошел навстречу вошедшему. Это был молодой Зилитис, хозяин Мирдзы. Он сказал, что пришел занять у отца Дулмы рубликор двадцать денег, надо свадьбу справлять, а на водку то и не хватило.

— Ты ведь тоже придешь? — сказал он, беря Давниса за руку. Я уже недели две тому назад сказал отцу Дулме, чтобы он и тебе передал мое приглашение.

— Да, он мне уже говорил.

— Ну, так приходи же. Батюшка-то на заводе? Хорошо, хорошо! Ну так приходи!

Зилитис вышел на двор и Давнис последовал за ним. Старой Грете в кухне уже не было, она наверное ушла в хлев.

Никогда еще Давнис не вставал так поздно, как сегодня и теперь глаза его невольно жмурились, будто стыдясь яркого майского солнца.

Заводский двор представлял собой довольно большой квадрат. С севера его ограничивал большой дом с подгнившим от времени срубом; вдоль восточной стороны стоял второй — старый сарай, вдоль одного конца которого пролегал дорога на большак, а вдоль второго — на глиноломни, которые были разбросаны на всем протяжении кругом завода. На четвертой, южной стороне двора стояли две клетки, одна маленькая, а другая большая, обе под одной крышей. Сам двор местами был завален кирпичом.

По самой середине его поднималась высокая черепичная крыша гончарной печи, которая была выше всех прочих построек, хотя сама печь была врыта в землю.

Через открытые дверцы у самого отверстия печи можно было ви-

деть отца Дулму и всех семь, приобретенных близину потерей мужской силы, «братьев».

Залитис направился прямо туда. Давнис последовал за ним.

Тут со стороны пастбища Зилишей донесся громкий смех и лай такса. Давнис повернулся в ту сторону, но сарай мешал ему видеть виновника шума. Он подался немного влево и увидел Мирдзу, которая быстро убегала от преследующего ее Юрки. Увидев Давниса она изменила направление и направилась к заводу.

— Давнис, Давнис! — смеясь, крикнула она.

— Угу! — весело отозвался Давнис и кинулся ей навстречу. Мало конца сарая, затем в яму, выбрался из нее, еще несколько шагов — и он схватил млеющую от смеха и быстрого бега Мирдзу.

Подбежавший Юрка остановился и долго, долго все трое смеялись они беззаботно и весело как дети и все это время руки Мирдзы не выпускали шеи Давниса.

Все мрачные впечатления как-то вдруг оставили Давниса. Ни малейшая тень не затмевала его веселости. Он заглянул в глаза другу и еще крепче прижал к себе Мирдзу.

— Она украла у меня конифоль, переводя дух, жаловался Юрка. — Как же мне теперь играть на свадьбе у молодого хозяина?

— Врешь! крикнула Мирдза, высвобождаясь из объятий Давниса — он хотел отнять у меня платочек, который ты мне подарил.

Покраснев, она завязывала платочек, накинув его на шею Давнису, но Давнис видел, что врала-то на этот раз Мирдза. Однако он отстаивал ее.

— Ну как она у тебя, такого великана, могла украсть конифоль, да к тому же еще и днем?

— Не рассказывай, не рассказывай! отмахивалась от него Мирдза. Но, видя, что Юрка и не думает слушать, обратилась снова к Давнису.

— Совет, он опять совет! Ей Богу совет!

— Я же не поверю ему, — успокаивал ее Давнис.

— А ты не божись, — грех это делать.

— Не говори, не говори! упрасивала Юрку Мирдза.

Но Юрка рассказывал.

— Я лег на землю и говорю, пусть ищет сама, если не верит, что конифоли у меня нет...

— Как нет? перебил его Давнис.

— Ну, конифоли нет. Она хочет играть на моей скринке, но без

конифоли же нельзя. Ну, я и говорю, что у меня нет с собой. Но она не верит — есть дескать. Ну, бери, говорю, если хочешь, душу, — конифоли нет. Пусть разрешу ей обыскать меня. Я лег навзничь, раскинул руки, говорю пусть обыскивает. А конифоль то я засунул в карман брюк. Вот она ищет и там и тут и наконец...

Мирдза дальше не слушала. Почти рыдая побежала она к стаду, всячески бранясь на коров. Таке с лаем перебежал от одной коровы к другой, сгоняя их вместе.

— Зачем ты так, упрекнул Давнис Юрку: — что за удовольствие сердить девушку? Она плачет.

— Слезы можно отереть, а девушке поплакать надо, — это здорово.

Он поднялся и оба с Давнисом направились к старому серому камню, на котором лежала завернутая в тряпки скрипка Юрки.

— Хорошая девушка, — проговорил вдруг Юрка.

— Мне она очень нравится.

— Только не дается она мне, — тебя она любит.

— Как тебе не стыдно, Юрка, — это же большой грех.

— Ты глуп как сапог! Если бы я да был на твоем месте!

У девушки глаза вылезают из орбит, следя за тобой все утро, сама на шею бешается... А этот стоит как пьяный и, как говорится, ни что делает, ни ее отпускает! Ну, как ей не плакать? — Он греха боится! Дурак! Живи, пока жив и умирай тогда, когда смерть придет. Но чтобы молодому идти на тот свет, этого я не понимаю!

— Не богохульствуй, Юрка. Если бы хоть раз подумал ты, что такое вечность, то ты забыл бы пустячное земное счастье и тотчас же стал бы боженькиным человеком.

Юрка махнул рукой.

— Э, что там со святошей разговаривать! Позовем лучше Мирдзу, — с ней мы умнее. А если ты не поумнеешь, то, ей Богу, — хоть я и друг тебе, — но я ее у тебя отниму! Авось начнет она и меня любить, — я научу. Разговаривая, он развернул пиджак, под которым был жилет, развернул жилет, под которым был платочек и развернул платочек, в котором была скрипка. Затем и взобрался на камень и запел полным голосом, проводя по струнам скрипки большим пальцем правой руки.

— Проснись, Мирдзинь, солнце встало, трам, трам, трам,
Лицо водицей оплесни, трам, трам, трам,

У Лаймы времени ведь мало, трам, трам, трам,

Чтоб тебе косы заплести, трам, трам, трам,
Солнце хочет посветить, трам, трам, трам,
Стан твой, бабочки, прикрыть, трам, трам, трам,
Парень хочет миловать, трам, трам, трам,
В губки, в глазки целовать, трам, трам, трам.

Затем он слез с камня, стал перед Давнисом, расставил ноги, со-
строил святое лицо и проговорил:

— Ну, теперь по твоему вкусу, — свою собственную мелодию.

И Юрка заиграл собственную импровизацию. Там было всего лишь
четыре, пять тонов, но он так сердечно тянул их, так тоскливо звуча-
ли струны, что каждый раз под конец ему и самому нехорошо как-то
становилось.

Заползла тоска и в сердце Давниса. Он чувствовал себя также
покинутым и счастливым... Он сидел, не шевелясь, подняв ноги на
камень, обняв колени руками и опершись на них подбородком.

У ног его шевельнулась тень. Он поднял голову и увидел ря-
дом Мирдзу.

Ты сегодня тоже пойдешь на свадьбу? еле слышно шепнула она,
протягивая шею в сторону Давниса.

Давнис опустил ноги вниз и заглянул в глаза девушке.

— Увидим.

Но на губах его горел совершенно другой вопрос. Долго, долго
смотрел он на девушку и хотел спросить, неужели и она такая же, как и
другие страстные люди, может быть она уже отдала невинность свою
Юрке?

Но он не решался. И задал совершенно неуместный вопрос:

— Что же ты дашь мне?

— Дай мне, получишь и от меня. Она хитро посмотрела на не-
го и положила ему руку на плечо.

А Юрка, отодвинувшись в сторону, играл, играл жалобно сотря-
сая струны.

Со стороны большой дороги послышался стук колес и какая-то
повозка завернула в Зилиши.

Мирдза вскочила на ноги и, защищая рукой глаза от солнца,
смотрела на дорогу.

— Ей Богу, уже гости! — воскликнула она и вскочила на камень.

— А Мика еще не идет! — Уедут в церковь, а я то и не попаду!
Ах, Боже мой, Боже мой! Все еще не идет!

Она, волнуясь, то вспрыгивала на камень, то спрыгивала с него,

смотря все время не идет ли пастушок. И все же такс увидел своего друга скорее, нежели она. С лаем кинулся он в ближайшую яму и тотчас же из нее показался маленький человечек, босиком, в огромном, не по его росту, пиджаке. Задыхаясь от быстрого бега, он кричал:

— Мирдза, хозяин приказал тотчас же идти домой! И Юрке тоже!

Юрка утерся рукавом и начал завертывать скрипку.

— А Бренцис с гармоникой уже явился? спросил он.

— Да — вот с какой! показал мальчик, разводя руки в стороны.

— Один кусок уже сыграл. Данцис Ян тоже будет с кларнетом, но пока что его еще нет.

Затем маленький человечек подошел к Давнису.

— Какие у тебя красивые новые сапоги; — а мне на пастбище и то только в мороз дают поршни, а иногда ведь и роса бывает холодной.

— Ну, Юри, скорее, — торопила Мирдза музыканта и помогла ему завернуть скрипку. Она покраснелась и была взволнована, буд-то у самой у ней была свадьба. Но Юрис уциннул ее за грудь.

Давнис смотрел им вслед, как они спешили в Зилиши. Но Юрка вдруг повернул обратно и подбежал к Давнису.

— Дружок, одолжи мне рублик! — как же мне на свадьбу показаться без полштофа — стыдно.

Давнис вынул из портмоне бумажный рубль и отдал Юрке.

— Но, Юрка, — ты — ты — Мирдзу то не испортъ. — Жаль мне ее.

— Что ты понимаешь в этом деле!.. Все хорошо, что человек употребляет!.. Но-по мне, если ты такой уж святоша... И я так люблю тебя — и ее тоже... Он повернулся и побегал за Мирдзой, которая и не думала ожидать его.

Давнис направился на завод, но сердце его было неспокойно за Мирдзу. Почему не мог он взять ее к себе как сестру и спокойно жить с ней, игнорируя связи, существующие между мужчиной и женщиной? И в сердце его пробуждалась решимость. Он скинет нечистое бремя страстей, станет «братом», учителем и владельцем завода, приведет к себе Мирдзу и будут жить они как боженькины люди, без греха, без муk, без страстей в вечном спокойствии,

— Тогда все будет в порядке, все будет хорошо...

Из Зилишей выехал целый поезд свадебных гостей, на изукра-

пленных повозках, с шумом, пением, свистом и криками. Все гости сидели парами. На некоторых повозках по четверо. Парни держали девушек на коленях. «Братья» также смотрели, как они проезжали мимо; вышел и отец Дулма, и старая Гриета. Давнис стоял у сарая, облокотившись на столб.

— Чисто, что скот во время случки, — сердито ворчала старая Грета, все парами, да парами! Господи Боже, вот гнилье то греховное! А эти тоже свернулись на коленях, что кошки!

— Да, на коленях, — хором ответили все семеро «братьев». Но Давнис ничего не говорил и ничего не думал. У него так странно было на сердце, в ушах шумело и руки невольно прижались к груди.

— Несчастные, проклятые, — торжественно произнес старец.

— Несчастные, проклятые...

После обеда отец Дулма оделся в черное и спросил у Давниса, пойдет ли он тоже.

— Нет, твердо ответил Давнис.

— Это хорошо, сынок, — я то ведь тоже иду чести ради — соседи ведь — не хочется раздора. И — может быть можно будет кого-нибудь спасти.

Старец ушел, а Давнис остался.

Вечером, по заходе солнца, Давнис отправился к себе на сеновал, что был на маленькой клети. Каждое лето он спал там.

— Непременно завтра же надо сюда перебраться жить. Погода теплая, все зеленеет. Непременно.

Он сел на пороге и спустил ноги на ступеньку лестницы. Далеко можно было видеть отсюда, и чем дальше, тем гуще казалось население Курземская равнина. Местами лучи эти казались зеленовато-золотистыми. Местами будто яркие букеты возвышались отдельных деревьев. Над крышей пронесся аист и, плавая в воздухе, направился к золотившемуся западу.

Это любимая птица Боженки. Как бел и чист он! Если бы и человек был так чист, то и он летал бы.

Давнис сложил руки и вытянул их по направлению улетевающей птицы...

Со стороны Зилишей доносились крики, шум и песни. Там молодой хозяин справлял свадьбу.

Давнис приподнялся и, держась левой рукой за косяк, высунулся далеко наружу.

Так он лучше мог видеть Зилитес. Все там было украшено ветвями, на крыше развевался пестрый флаг, по двору расхаживали мужчины, а между ними, как белые мотыльки, мелькали девушки.

Там развратные мирские люди празднуют высший праздник непотребства и грубейшая страсть человеческая является там виновницей торжества.

Долго Давнис смотрел туда и думал о Мирдзе. Что она теперь делает там? Может быть она танцует с кем-нибудь, а тот пробует задобрить ее и уговорить, чтобы она покорилась голосу страсти.

— Почему Мирдза не мальчик? да, почему? Как это было бы хорошо, — жить вместе и никогда не разлучаться.

Грудь его наполняется незнакомой, но странно-приятной болью. И именно в этот момент он чувствует себя особенно близким к Боженьке.

Рука онемела и он снова сел на порог. Но образ Мирдзы не оставлял его.

А из Зилишей доносилось сюда ликование и женские крики.

— И она может подпасть под власть страстей и стать развратной. Надо идти — идти — идти.

И он пошел в Зилиши, твердо решившись защищать Мирдзу

Медленно, как шаги Давниса, разливались нежные вечерние сумерки по Курземской равнине. Вороны стаями слетались на вечернюю молитву и часть большой дороги была почти совершенно покрыта ими.

А может быть и они справляют свадьбу.

Давнис оглянулся назад. Край неба был красен как кровь. Он вспомнил, что рассказывал ему про вечернюю зорю отец Дулма.

— Вечером, когда заходит солнышко, нечистый идет к Боженьке держать ответ за дневные грехи и обвиняет людей. И долго, долго рассказывает он; ибо не так скоро можно рассказать о людских преступлениях. И сердится Боженька на мерзость творений своих и, рыдая, умоляют Боженьку смилостивиться над людьми и помиловать их, а хор ангелов поет нежную, нежную песнь. Тогда медленно начинает проходить гнев Господень, губы его милостиво улыбаются, угасает краска гнева на лице его, голова опускается на грудь и он, простив мир, засыпает. А архангелы девяносто девять раз ударяют нечистого и сталкивают его с небес... Поэтому каждый боженькин человек, при появлении вечерней зори сердечной молитвой спешит утолить гнев Господень.

— Боженька, помилуй ее и прости ей.

Недалеко от Зилишей он встретился с Юркой. Тот с удивлением глядел на Давниса.

Куда ты! блаженный, тоже на свадьбу?

— Что же тут удивительного?

— Что ты будешь там делать? Но — хорошо. Я сегодня зол на тебя и на весь мир.

— Ну? — на меня?

Юрка положил руки на плечи его и заглянул в глаза. — Странно блестели глаза Юрки и печаль была в них.

Давнису также стало печально.

— За что? — еще раз спросил он друга.

Юрка обнял Давниса и прижался к нему так крепко, как утром Мирдза.

— Дружице, не знаю я, доживу-ли до завтра. Все издеваются надо мной, когда я говорю, что со скрипкой можно стать баринком. И Мирдза — смеется... Дружице, а тебе также жаль меня? Как я люблю тебя! Одолжи мне рублик!

Давнис хотел спросить, хотел что-то сказать, но так странно было у него на душе и не хотелось, чтобы друг подумал, что жаль ему этого рубля. Он поспешно вынул деньги и отдал их Юрке.

— Так продает Юрка первенство свое, — горько сказал музыкант, повертываясь спиной к западу, и держа бумажку так, что зорь освещала ее.

В Зилитах сидел за ужином. В комнате в один ряд были составлены столы и покрыты белыми скатертями. На столах стояли блюда, а между ними стояли бутылки с водкой и баклажки с пивом.

За столом сидели гости, мужчины попеременно с женщинами. Женщины угощали мужчин закусками, мужчины же их водкой, а молодые пощипывали соседок своих то в ручку, то в ножку, то в щечку. Давнис, остановившись в дверях, долго, оставаясь незамеченным смотрел на торжество. Так вот какова свадьба эта!

Те же самые веселые лица парней, какими видел он их в кабаке. Со многими и он выпивал вместе. И ему казалось, что вот вот Дулбур Густе, или Сикстиньш начнут петь какую-нибудь неприличную песню или рассказывать, что у того-то и у того-то вышло с той-то и той-то.

Мирдза первой заметила его. Она быстро подошла и подала ру-

ку, покраснев до корней волос. Она подвела Давниса к столу, угостила водкой, заставила попробовать мяса и пива...

Давнис совсем смутился. Весь вечер он не видел ни одного человека, как только Мирдзу да в самом конце старца, когда тот, подойдя, сказал:

— Держись крепко, сынок, чтобы лукавый не ввел тебя во искушение.

Давнис вспомнил, зачем он пришел сюда и, опустив голову, вышел вон.

Чем мог он помочь Мирдзе, от кого защитить?

У дверей его догнал Сикстиньш и резко сказал:

— Блаженный, ты что же, хочешь отнять у меня Мирдзу... Тогда я тебе зубы разобью!

— Ты глуп, — коротко ответил Давнис. Он не понимал, как разумный человек мог допустить в нем такие мысли.

Соблазнить Мирдзу!

Он прошел через сад, обошел вокруг дома и присел на скамью под окном чулана.

— Давнис, это ты? — спросила вдруг Мирдза.

Давнис вздрогнул и поднял голову.

— Ты меня искала?

Мирдза действительно его искала, но ей стыдно было признаться.

— Нет, нерешительно проговорила она, — я... я шла подсмотреть, как молодой хозяин хозяйку молодую спать будет укладывать.

Им никто не говорил еще, что подсматривать неприлично.

Оба они прильнули к окну. Головы их были рядом и дыхание Мирдзы щекотало только что пробивающиеся усики Давниса.

Когда молодые остались одни и муж начал снимать с жены подвечное платье, Давнис не мог удержаться, чтобы не обнять Мирдзу за талию. Но когда молодой муж, взяв жену на руки, положил ее на белоснежную постель, Давнис и Мирдза, будто под влиянием какой-то таинственной силы, оба одновременно отвернулись от окна. Молча шли они через сад по направлению к клетке, где спали Мирдза и пастушок Мика. Обоих их угнетали странные, подобные стыду, чувства и каждый из них боялся, чтобы другой не отгадал думы его; и все же они все крепче и крепче прижимались друг к другу. Из клетки выбежало с полдюжины девочек в белых кофточках, они окружили Давниса и Мирдзу, схватившись за руки, образовали круг и, идя, пели:

— Парень меня приглашал:
Иди, девушка, играть.
— Зови невестою, — вот губки,
И буду ею для тебя.

Одна, другая шаловливая ручонка хватала Давниса за кафтан, а то и слегка щипала его. Давнис смеялся и стал веселее.

— Иди, суженая, дай губки твои,
Будешь ты хозяйкою моей...

Держа Мирду за талию он кружится как ветер и при каждом повороте целовал ее, пока совершенно ошалел и начал шататься.

Девочки, весело смеясь, открыли им двери клетки и убежали.

Первое, что, проснувшись на следующее утро, услышал Давнис, была утренняя молитва братьев, которая вместе с первыми лучами рассвета сквозь дверные щели проникала в клеть.

Бегом направился он через поле на завод и случайно наткнулся по дороге на Юрку. Он лежал на животе у края канавы на траве — и весь дрожал. А рядом лежала его скрипка, завернутая более заботливо, нежели матери заворачивают детей своих.

Тихо присел Давнис рядом с другом своим, опустив ноги в канаву. Юрка не спал. Он повернул голову и смотрел на Давниса. Давнис видел, что Юрка плачет. И смотря в глаза друга, и у него по лицу потекли слезы.

Давно уже Давнис не плакал, ибо давно не было у него ни беды, ни горя.

Слезы облегчают сердце и кажется, что омытые слезами мир и человек становятся чище.

— Чего же ты то, блаженный, плачешь? — спросил вдруг Юрка; — ты же был у Мирдзы.

Давнис наклонился и обхватил руками голову друга. Как она хороша! Как она мила!

Юрка освободился от него, сел рядом и некоторое время молчал.

Если бы у Давниса было более острое зрение, он увидел бы как бледен был Юрка и как угнетен.

— Давнис, быстро поворачивая голову, произнес он, — дружок, не можешь ли ты одолжить мне рублик? Я никогда более не попрошу у тебя. — Когда приду вторично, тогда отдам.

— Где же ты возьмешь? — пренебрежительно спросил Давнис, шаря по карману. Мысли его были с новым счастьем его.

— Моя скрипка сделает меня богатым и знаменитым! Я поеду в Ригу Петербург... Давнис! Ты сам плакал иногда, когда скрипка моя хватала за сердце, а я, я и полчаса не могу играть своей мелодии, как из глаз моих уже льются слезы.

И я пойду в Ригу и буду играть, и рижские господа, услышав игру мою, окружают меня и будут дивиться, а рижские девушки будут плакать... Тогда поведут меня в замок, дадут новое платье и камашки на ноги...

И я куплю себе новую скрипку, такую рублей за сто; ну и звук же будет у нее!.. — Я буду играть так, как еще никогда, и никто из слушателей не сможет удержать слез. А затем я поеду в Петербург и меня поведут играть к самому царю.. И сам царь подаст мне руку и будет благодарить за игру, даст мне денег и прекрасного коня... И я прискачу как на крыльях ветра опять в Курземе и все тогда будут оказывать почести мне и скажут: а правду говорил он, что скрипка может сделать человека богатым и славным. И Мирдза снова увидит меня и...

Он весь вдруг задрожал и рублевая бумажка смялась в руке его.

— Эх, что за глупости! Она ведь твоя. Прощай, Давнис, я никогда более не буду утруждать тебя. Люби Мирдзу! Он быстро поцеловал Давниса, схватил скрипку и бегом направился в сторону большой дороги.

Несчастный курземник! Он никогда еще не слышал настоящей игры. Напрасно будет искать он уголка на свете Божиим, где бы повлиял его! Он не знает, что простые звуки его могут приводить в восхищение только его простую, но чуткую душу, что на избалованный слух они не оставят никакого впечатления и проскользнут мимо, как проходит девушка мимо куста жемчужника, не обращая внимания на красоту его, если рядом с ним цветут розы.

Давнис был счастливейшим человеком в Курземе. Все казалось ему светлым, чистым и веселым. Целый день он работал как простой рабочий, от быстроты работы которого зависит благосостояние его и его семьи, при чем не чувствовал ни малейшей тяжести. Он совершенно не замечал окружающего его гнетущего однообразия. Он лишь формовал кирпичи, вынимал их из формы да поглядывал в сторону Зилишей.

— Что она сейчас делает? Но какова она! Что за девушка! Только когда заходил старец, он, ссылаясь на какую-нибудь причину обыч-

но уходил из сарая. Проповеди старца, которые казались ему раньше такими милыми и увлекательными, он слушал теперь только для того, чтобы не выдать своего счастья — грешного человеческого счастья.

Но по вечерам, когда все отправлялись спать и полные неги сумерки опускались на Курземскую равнину, Давнис открывал дверцы клетки; держась левой рукой за косяк, он высовывался наружу и прикладывал ладонь правой руки к уху, как бы боясь пропустить и не слышать зова любимой девушки.

У них был свой своеобразный язык. Иногда Мирдза вызывала его песенкой, иногда раздовался удар подошника о плетень, иногда, зовя свиней, она произносила звуки в такт и тем самым умела выражать свое ожидание. Тогда, как тень, мелькал Давнис на поле и только один — пастушок Мика был свидетелем их любви.

Как быстро мчится ненящаяся Даугава по порогам Приедулай, так же быстро летели дни и недели счастья Давниса. Оно не утомляло его. Страсть его, казалось, росла с каждым днем; чувства его становились все пламеннее и сильнее, а ожидания вечера все лихорадочнее. Его ответы людям на заводе, старой Грнете, даже и самому старцу стали коротки, нервны и отрывисты. Весь он, каждый нерв его, каждая клеточка, каждая мысль стремилась только к Мирдзе, к ней одной... Он стал бледен, глаза его странно и неестественно блестели; руки формующие кирпичи иногда дрожали, а иногда и ящик падал на землю. Но он не обращал внимания. Он думал лишь о Мирдзе, о ней одной. Ей носил он подарки и вино, ей жертвовал он и своим здоровьем.

Одновременно со страстью Давниса росла и ее страсть. Личико ее стало прекраснее, милее, объятия жарче. И пока здоровье Давниса грозило разрушиться в этом жаре, она становилась полнее, женственнее, нежнее и стройнее.

Страсть Давниса была подобна струне, которую скрипач все продолжает натягивать и звук ее становится все выше и чище — пока наконец струна рвется.

Наступило первое сентябрьское воскресное утро. Давнис тихо, чтобы не потревожить только что уснувшей Мирдзы, встал с постели, оделся, надел картуз, взял в левую руку стоявшие под кроватью сапоги и на цыпочках прошел к двери. Осторожно отворив их, он еще раз оглянулся.

В клетке был полумрак. Нельзя было различить формы пред-

метов. Все сливалось в одну бесконечную массу, лишь кровать Мирдзы была еще заметна. На белой подушке серым шелком были разлиты ее волосы, скрывавшие личико; только подбородок да кончик носа белыми пятнами бросались в глаза. Где кончалась шея и начиналась белой сорочкой покрытая грудь, нельзя было различить, — так белы были ее плечи. На шерстяном одеяле свежей белизной выделялись руки девушки, свободно лежавшие на животе. В хлеву запел петух. Давнис вздрогнул и почувствовал, что холодно.

— Нужно-бы одеть, подумал он, оглядываясь назад. Но затем у него мелькнула мысль, что так и так уже скоро надо будет вставать и приниматься за чужое дело.

— Э, осенние заморозки не вредят девичьей груди.

Роса была холодная. У Давниса очень мерзли ноги, но все же он не обулся, боясь быть замеченным и босиком пошел вдоль канавы на завод.

Там, где в последний раз он сидел с Юркой, присел он и теперь, чтобы обуться.

Он вспомнил своего друга и все, что говорил тот. Вспомнил, как придет он на белом коне к Мирдзе.

Давнис векочил на ноги.

— Глухой мечтатель!— Да разве он любил бы Мирдзу так, как я?

И Давнис смотрел в сторону клетки, желая, чтобы был уже вечер.

Он шагал по нескошенному овсяному полю, идя по узенькой меже, и пропускал между пальцами желтые, полные росы овсяные метелки.

У самой глиноломни он заметил старую Гриету. Она собирала разные травы. Давнис прибавил шагу, боясь быть замеченным, но Грета выпрямилась и взоры их встретились.

— Давнис!

Давнис хотя и слышал зов, но все же залез в овес и в следующий момент прыгнул в глиняную яму.

Может быть она подумает, что ошиблась.

Быстро прокрался он мимо нового сарая, где из-за рядов необожженного кирпича слышался разговор старца с одним из братьев. — Взобравшись к себе наверх, он закрыл дверь, заложил ее щеколдой и разделся.

Раздевшись, он лег, в постель и накрылся до половины, так, как сегодня утром Мирдза.

Он представил ее себе и погладил себя по груди.

В груди пробуждалась раздражающая сила и не давала покоя Давнису. Он встал в постели стоя и сбросил с себя белье.

Чувствовал-ли ты, человек, как щекоча, приятно вибрируют в груди какие-то струны от шеи до сердца и дальше? В ушах шумит.

Давнис выскочил из постели, положил руки на бедра, повернулся на пятках кругом, посмотрел на себя и, расставив ноги, медленно раскачивался из стороны в сторону.

— Я мужчина! — ликовал он. Ах, если бы Мирдза увидела меня теперь!..

В неукротимом стремлении, машинально подошел он к дверцам, открыл их, стал на пороге и высунулся наружи, придерживаясь одной рукой за щеколodu, а другой за косяк дверей.

Солнце уже взошло над Зилишами и лучи его золотили фигуру Давниса.

Там за овсяным полем, шагах в полутораста от клетки Мирдза гнала скот на пастбище. Когда она проходила мимо нового сарая, Давнис увидел ее. Он вытянул шею и высунулся из дверей еще больше наружу. Он был прекрасен в золоте солнечных лучей, каждый нерв его дрожал, каждая жилка билась силой, стремлением и желанием.

— Мирдза! — хотел крикнуть он; но лишь дикий, полный бешенства и силы звук вырвался из его лихородочно дышащей груди.

— Ах...

Девушка взглянула, и, смутившись, быстро отвернулась, но затем — снова взглянула на красавца-парня и погрозила ему пальчиком.

Глубокий хрипящий вздох обеспокоил Давниса. Он глянул вниз и увидел молодую хозяйку, как соляной столб, недвижимо стоящую рядом со старой Гриетой и неподвижным взором смотрящую на него.

Он быстро захлопнул дверь и заложил ее щеколодой.

Старая Гриета шепнула отцу Дулме о том, что видела сегодня утром.

Старец разгневался, но тотчас же овладел собой. Некоторое время он молчал и смотрел куда-то вдаль. Аист пролетел над заводом, со свистом разрезая крыльями воздух и отец Дулма посмотрел ему вслед.

— Нечистый дух бродит вокруг жилища моего. Но я буду победителем и уничтожу его.

Неспеша прошел он через двор, поднялся по лесенке и прильнул глазам к дверной щели. Там стоял Давнис, совершенно голый расставив ноги, заложив руки за голову и, полукрыв рот, весь дрожал мелкой дрожью. Нога отца Дулмы дрогнула и скрипнула ступенька лестницы. Давнис перепугался и глаза его встретились с глазами старца; он отклонился влево и старец не мог сквозь щель более видеть его, но слышал тяжелое падение.

— Давнис, — позвал он: Давнис! Что с тобой?

Но ответа не было.

Старец позвал старого Силиня. Тот принес лом и общими усилиями они открыли дверь.

Давнис бился в судорогах. Колени его были у самого подбородка, живот глубоко втиснут внутрь, руки неестественно притянуты к плечам, глаза широко открыты, а зрачки скошены к носу.

— Падучая, — безразлично произнес Силиня, остановившись у дверей.

— Позови скорее Гриету! Гриету позови! — кричал, как никогда еще, отец Дулма, опускаясь около Давниса на колени, и стараясь разогнуть его руки.

Гриета бормоча какие-то слова, начала растирать грудь своего любимца, обливая его слезами. Старец же растирал ему подошвы.

А семеро боженкиных людей стояли вокруг, как певчие около трупа, и как немые смотрели своими ничего не выражающими глазами на то, как двое людей старались помочь третьему.

Когда члены Давниса снова приобрели свою гибкость и глаза закрылись, его осторожно снесли в комнату и положили в постель.

Старец опустился на колени у постели Давниса и погрузился в молитву:

— Боженька, не дай ему умереть для вечных мук, не освободившись от нечистого бремени страстей! Прости руки свои над заблудшей овцой и помилуй ее ради молитвы раба твоего, который пожертвовал для тебя собою!...

Двое суток не приходил Давнис в сознание, а с постели встал только через два месяца.

Отец Дулма и старая Гриета с величайшей заботливостью ухаживали за ним. Две с половиной недели жизнь его висела на волоске и он так ослабел, что даже не мог повернуться с бока на бок. По вечерам до полночи он бредил. Вначале он бредил Мирдзой, а позднее приведениями и чертами с рогами и хвостами. Гриета и ста-

рец, сменяя друг друга, дежурили у постели больного. С величайшей заботливостью и вниманием старались они исполнять каждое его желание. И когда Давнис начал уже поправляться, отец Дулма сказал:

— Ну, слава Богу, теперь опять все будет хорошо.

Давнис взял его руку своей слабой, бледной, почти прозрачной рукой и поцеловал ее.

Теперь и он верит, что опять все будет хорошо.

В конце октября выпал первый снег.

Давнис сидел у окна в глубоком кресле обложенный подушками. Ему нравилось смотреть на покрытую снегом землю. — Все так бело, так бело и чисто. Так и тянет душу куда-то вверх далеко, далеко, где небо сливается с белой землей. Все такое далекое, чуждое, но милое и торжественное.

Давнису казалось, что в этом великолепном сиянии реет дух Господень, распространяя всюду свет, чистоту и покой.

Как низменны, незначительны и достойны презрения все животные стремления человека и вся борьба его! — С отвращением вспоминал Давнис до какого непотребства дошел он летом. Еще и до сих пор эти воспоминавания тяжелым камнем лежали у него на сердце.

До сих пор он ни одним словом не обмолвился с благодетелем своим о своих отношениях к Мирдзе. Но они и не спрашивали его. Давнис сомневался; — может быть они ничего и не знали об этом. В таком случае, лучше ничего и не говорить. Но если они знали?...

Он откинул простынь, в которую так заботливо завернула его Грета и осмотрел себя теперь. — Руки и ноги тонкие, исхудалые, синевато-бледные, почти прозрачные и бессильные. Но на сердце так хорошо и приятно. Он пробовал ходить. Подошел ко второму окну, вынул сахарной воды и заглянул на двор.

И там все бело, бело и чисто, будто только что сотворено. И этот прекрасный завод старец обещал ему, Эти ряды кирпича будут принадлежать ему, и оба сарая, и клеть, и хлев, и куры, и печь эта, крыша которой была выше всех окружающих построек.

— Как хорошо все это сотворил Боженька: люди обжигают кирпичи, а дым помогает воронам спастись от холода.

А это ясное, чистое небо!

Случалось ли тебе, человек, пролежать полтора месяца в постели, а затем выздоравливая, стоять у окна? — Сердце обнимают сказоч-

но сладкие чувства. Так и хочется раствориться и белой дымкой тумана исчезнуть в пространстве.

По двору шел отец Дулма. И он был таким же белым и чистым, как и день этот. Белая фуражка, белые волосы, светлый, ясный взор и на плечах белый полубубок. Он заметил Давниса у окна и, мило кивнув головой, прибавил шагу.

— Гриета, Гриета, — услышал он ликующий голос его в передней, — он уже ходит! — Я видел его у окна!

— Сними же полубубок, — слышался голос Гриеты, — не принес бы опять с собой холода.

— Теперь нечего бояться, он уже здоров!

Однако Давнис слышал, как он снял полубубок. Его охватило невыразимое волнение и будто страх, в ожидании этого старика, который так крепко любил его. Что было бы, если бы он узнал про Мирдзу?

Расскажу ему все, — решил про себя Давнис. Боженька добр и милосерден... а старец так любит меня. Он облокотился на кровать и с бьющимся сердцем ожидал появления старца.

Отец Дулма вошел, сияя от радости и, обняв его, поцеловал. Его примеру последовала Гриета, и Давнис, как бы в ответ, положил слабые руки свои на плечи их, не столько для того, чтобы обнять, сколько для того, чтобы облокотиться на них.

Простынь соскочила с плеч его на пол, но Давнису она показалась такой не стоящей внимания, лишней, что он даже не обратил на это внимания и не почувствовал ни малейшего стыда. Он чувствовал себя в этот момент таким чистым и, спокойным, как будто бы составлял с этими старыми людьми едно целое.

— Как мы беспокоились за тебя, — сказал старец, усаживая Давниса на кровать.

— Много не надо было, чтобы умереть, — сказала Гриета, пригравая плечи Давниса. — Слава Боженьке! Как легко теперь на сердце!

Затем она вышла, ибо у нее было много работы на заводе.

В комнате было светло и уютно.

Помолчав, отец Дулма начал:

— Да, Гриета права, не много надо было, чтобы ты умер. И умер не только физически, но, что много ужаснее, погиб бы и духовно. Как тяжело мне было видеть тебя летом жадно пьющим из чашки непотребных наслаждений!

— Ты знал?! Батюшка, сможет-ли Боженька когда-нибудь простить мне грех мой? Батюшка...

Давнис обнял отца Дулму, прижался головой к плечу его и весь сотрясаясь от рыданий.

— Нет греха, которого человек не мог бы искупить. В тот момент, когда ради Боженьки, освобождаемся от бремени непотребных страстей своих, все прощается ему и он снова становится чистым.

А тебя уже любит Боженька, любил ради горячих моленн моих. Кого Он любит, того и наказует, позволяя нечистому вводить его во искушения. Так и тебя нечистый загнал в грязное болото. Но я каждый день молился за тебя и Боженька видал моим молениям. Теперь ты знаешь мирское непотребство, знаешь злобную силу страстей; теперь ты будешь истинным пастырем для стада своего. Хотя нечистый и хотел погубить тебя, но Боженька и я, все же спасем тебя. Давнис очень устал от долгого сидения и лег в постель. Старец прикрыл его пестрым одеялом.

— Веселись в сердце своем, сын мой, — сказал он, садясь рядом.

— Боженька ведь любит тебя, да и еще как любит! Только берегись впредь и все будет хорошо. Ты будешь наследником моим и учителем и Боженька не откажет тебе в благословении своем, которое и я дам тебе.

Он встал наклонился над Давнисом, положил руку на голову его и мягко заговорил:

— Но сатана не спит. Вместе со здоровьем вернутся силы и жажда непотребных наслаждений, а пасть вторично, было бы ужасно. — Теперь же ты разрешишь?

— Да, — слабо ответил Давнис и отец Дулма поцеловал его в лоб.

Затем радостный покинул он комнату, чтобы сообщить другим о спасении заблудшей овцы.

Первой к Давнису зашла Гриета. Морщинистое лицо ее сияло от радости. Она поцеловала Давниса.

— Ну все твое! — Мальчик мой, учитель мой! Завод, благословение Боженьки и три тысячи деньгами!

После обеда на заводе не работали, ибо был праздник: возвращение молодого брата с греховного пути и присоединение его к общине.

Отец Дулма был весел и успокаивал Давниса.

Но Давнис не нуждался в успокоении. Он увлекся святым делом и с нетерпением, со счастливым нетерпением ожидал своего освобождения от человеческого.

Однакож, когда рука отца Дулмы обнажила его и коснулась тела, он вздрогнул и будто что-то шепнуло в сердце его, что то, что в следующую минуту отнимут у него, вечность никогда не возвратит ему обратно и не оплатит.

— Мне страшно, — чуть слышно прошептал он.

— Вот для смелости, — сказал старец и подал ему левой рукой стакан вина, в которое было влито лекарство Гриеты, а правой приподнял голову Давниса.

Давнис выпил два стакана. Он почувствовал себя смелее и приятная теплота разлилась по всему телу. Сердце забилось сильнее и в голове зашумело. Он не слышал, что сказал отец Дулма, не слышал, что пели братья. Напиток еще раз разбудил юношу. Он вспомнил Мирдзу. — Ему показалось, что он слышит шаги ее.

— Мирдза, думал он, Мирдза...

Боль охватила его, она пронизала все тело его, а затем все расплылось, как в тумане.

Он был присоединен к общине.

Пока Давнис выздоравливал, на дворе стояла зима. Все замерзло и оцепенело.

И в таком же оцепенении лежал и Давнис, без мыслей, безразлично глядя в потолок. Ни малейшего желания поскорее выздороветь или посмотреть, что делается на дворе не было в душе его. Он знал, что ему нечего больше бояться греха искушения, что Боженька любит его, что он является наследником старца, а впредь и настоятелем общины, что он заслужил почетного места на небесах, и на земле полного покоя. Так и лежал он в совершенном покое.

Издали долетал до слуха его шум со двора. Тогда приходило ему на ум, что все это делается для него.

Он лежал, лежал и лежал, разрешая старой Гриете ухаживать за собой и не слезал с кровати даже и тогда, когда почувствовал себя совершенно здоровым.

Так хорошо лежать, лежать без движения и без мыслей.

Когда прошли четыре недели, сам отец Дулма пригласил его оставить постель, чтобы принимать участие в молитве и упражнять онемевшие от лежания члены. И когда Давнис впервые вышел на двор,

отец Дулма показал ему все, что было сделано за время его болезни, что было заготовлено на следующий год, кто и сколько кирпичи взял в долг.

Когда отец Дулма передал все Давнису, то обращаясь к нему, сказал: — Ну, теперь я могу умереть, — лег в постель и через два дня умер.

Перед смертью он благословил Давниса и приказал братьям повиноваться ему. В последний момент он взял Давниса за руку и проговорил:

— Живи для Боженьки, Давнис. Распространяй учение наше, мир и счастье наше, чего не успел сделать я, сделай ты. Поучай людей, что Боженька во всем, что единственно в покое кроется счастье как в этом мире, так и в загробном. Чем больше будет боженькина община, тем громче будет звучать пение братьев, — тем более великими и святыми будем мы в царствии небесном. Я благословил и буду благословлять тебя, и Боженька благословит тебя и труд твой, а я с благоволением буду взирать на тебя, ибо спасение каждого грешника празднуется на небесах.

Он утомился и смолк. А Давнис твердо и сухо произнес:

— Я распространю по миру имя твое и повергну землю к стопам твоим.

Некоторое время отец Дулма лежал спокойно с закрытыми глазами — затем — отдохнув, заговорил вновь.

— Человеческие страсти, это — проклятие и да будет проклят тот, чей сын несет на себе бремя страстей. Лучше умереть... Когда последнее проклятие — когда последний знак страстей — будет уничтожен.. — Давнис.. я.. приду — Будут цвести яблони.. Все Бог.

Он тяжело вдохнул, рука его в руке Давниса дрогнула и отец Дулма никогда более уже не говорил.

В слезах Гриета упала перед усопшим. Но Давнис выпрямился, посмотрел на нее, взял за плечи и оттащил прочь.

— Так страстно горевать — грех, — горько сказал он, совершенно не думая о том, что говорит. — Ему теперь хорошо.

— Закрой глаза, закрой глаза—шептал старый Силинш, проталкиваясь к постели.

Теперь только Давнис заметил, что левый глаз мертвеца закрыт, а правый прикрыт лишь на половину. Он спокойно пальцами закрыл его.

Давнису было всего лишь двадцать лет, когда он стал собственником завода и настоятелем общины, но лицо его было сурово, взгляд остр и мрачен и вообще он выглядел лет на десять старше. Он был очень строг по отношению к братьям, которые все же чтили его, ибо старец благословил его и назначил наместником своим.

Каждую страсть Давнис считал грехом. Но никогда не подумал он о том, что честолюбие тоже является страстью, а он был честолюбив. Со своими он говорил очень мало, требуя от них труда и самоотречения, и по воскресным дням давал им целовать свою руку. Даже старой Грнете, которая выростила его и любила.

Он был неограниченным повелителем на заводе и никому из старых, полуживых людей не приходило в голову когда-нибудь не поверить словам Давниса или сомневаться в истине их.

Благословение старца повсюду сопровождало Давниса. Когда весной зилишская прислуга-сиротка Мирдза — родила ему мальчика он, получив это известие, глубоко воткнул свою железную палку в полузамерзшую еще глину. В ушах его прозвучали слова отца Дулмы: — Проклят тот, чей сын носит на себе бремя страстей!

Он упал на колени и просил — просил прощения и совета, и молитва укрепила веру его и принесла ему совет. Он пошел в Зилиши и пригласил Мирдзу идти к нему жить и искупить грех молодости, посвятив себя и сына своего Боженьке, за что обещал ей прощение, царствие небесное и покой на земле, покой полный и непоколебимый.

Было ли это результатом его красноречия, или это был голод, или заманчивость обещаний, а может быть и старая любовь к Давнису и желание видеть сына свободным от забот о куске насущного хлеба или неосознание своей женской вечно творческой силы; — но Мирдза последовал за Давнисом на завод, крепко держа в руках своего маленького сына, которого она тысячи раз духовным взором своим видела стройным юношей, заботящимся о своей матери, но которому в действительности суждено было стать жертвой сектантов.

2.

Прошли долгие двенадцать лет. За эти двенадцать лет на кирпичном заводе, казалось, погасло каждое стремление, каждое желание, прервалось стремление к совершенству; а где оно исчезло, там долина мертвых... и что можно рассказать о ней?

На тринадцатый год ранней весной на завод впервые явился каменик Дарбиньш. Старой Грнеты уже не было. Ее заменила Мирд-

за. Она привлекала на себя не больше внимания, чем прочие братья. Она была бледна, безразлична и казалось, что никогда уже дух и чувства ее не проснутся. Все ее стремление было угодить своему господину и учителю и на каждом шагу не забывать боженькиных законов. Но тогда, на тринадцатом году, в ней начала просыпаться женщина.

С утра подмерзло и снег хрустел под ногами путника. Путником был молодой человек, довольно бедно одетый. Но в походке его было что-то энергичное и самоуверенное. На небольшом возвышении он на минуту остановился. Заводские постройки казались красными в лучах восходящего солнца.

В небольшом фруктовом садике, ею самой разведенном, у старого сарая прохаживалась Мирдза, ощупывая развешенное для просушки белье и раскинутое на траве для беления полотно.

Ощупывая повешенные на веревке детские штанишки, она остановилась и задумчиво смотрела на них, пока шум чьих то шагов не привлек к себе ее внимания.

— Здравствуйте, — приветствовал ее подошедший, останавливаясь на дорожке.

— Спасибо, — ответила Мирдза и почти испуганно смотрела на мужчину, лицо которого покраснело от холода, а глаза смело, как глаза повелителя, смотрели на нее. Таким, точно таким казался ей в будущем мальчик ее — Тунит.

— Хозяин дома? — спросил мужчина, не сводя с нее глаз. — Я Дарбиньш и хотел бы поработать на заводе ради пользы хозяина, собственного куска хлеба и денег.

— Дома.

— Что у вас все тут такие бледные? — спросил вдруг Дарбиньш и еще пронзительнее посмотрел на Мирдзу.

Мирдза нехотя вздрогнула, опасливо и почти туно взглянула на Дарбиня, повернулась к белью и ничего не ответила.

— Ну, станет веселее. А Давнис еще спит? Я слышал про него разные вещи. Говорят, богач он.

— Ну, богач. Иди туда в сарай.

Она показала рукой на новый сарай.

Тоненькой железной палочкой Давнис считал кирпичи. Он выглядел много старше своих лет. В длинных до плеч волосах его были заметны серебристые нити. Лицо его было гладко выбрито для прида-

ния большей серьезности. Глаза его смотрели сурово, пронзительно и неестественно торжественно.

Долго смотрел он на Дарбина, не отвечая на его приветствие, будто желал взглянуть в душу его. Его лицо стало еще серьезнее, а взор еще мрачнее.

— Ты чтож за кирпичом явился?

— Нет, я хочу кирпичи делать.

— А ты умеешь?

— Бывал я и на крупных заводах, видывал сотни у одной печи, работал при кладке двухсотфутового дымохода. Видывал, как кошельки хозяев от такой трубы в течение одного года разбухали чуть ли не втрое. — Я тебе говорю, — деньги, что с неба валятся!

— Почему же ты не остался там?

— Я был только учеником. Но быть лишь орудием другого... я и сказать то, выразить не в силах! Я теперь не могу, когда я сам прекрасно понимаю, а тут тебе какой-то мастерничко раз, да другой раз... И деньги то падают в его карман! Нет, я хочу работать самостоятельно, сам показать, что умею, и хочу сам быть господином и копить деньги для себя.

— От меня?!

— От всех. Глины здесь довольно. А когда будет такой дымоход, то ты увидишь, как дешево обойдется обжигание, а продавать ты сможешь по той же цене. Денег у тебя для этого довольно и почему не хотеть бы тебе иметь еще больше?

Долго рассказывал он Давнису об этих дымоходах, доказывая, какой огромный доход он от этого получит. И медленно, медленно недоверие Давниса исчезло. При каждом упоминании о деньгах глаза его все более и более оживлялись и он становился человечнее.

Давнис пригласил его в дом.

Давно уже не жил он вместе с братьями в полустгнившем старом доме. На другое лето по смерти старца он выстроил себе новый дом, с большими светлыми окнами и медными дверными ручками. Сюда братья не заходили уже без зова. На каждом шагу он напоминал им, что он учитель и настоятель общины. За исключением распоряжений и молитвы он никогда не разговаривал с ними. И братья боялись его, боялись как наместника Боженьки и как своего хлебодавца. Покорно работали они от темна до темна и ожидали, когда царствие Боженьки распространится по всему миру, когда будет уничтожен последний нечестивец и отец Дулма, сидя на золотом троне в золотом одеянии и золотой шапке снова будет беседовать с ними.

По дороге домой они встретили троих братьев. Проходя мимо, они сняли шапки и поцеловали руку Давниса, а тот поднятием рук благословил их.

При этом он чувствовал странную гордость перед Дарбином и исподлобья смотрел на него.

Но тот не обращал на него никакого внимания, рассматривая пещь, затем он вытащил из кармана папиросы и закурил.

Давнис никогда сам не курил и считал это грехом. Ему казалось, что нужно было бы указать на это и Дарбину, но тот курил так смело и так самоуверенно, что как будто бы иначе и не могло быть и Давнис почувствовал себя пристыженным.

В передней Мирдза топила плиту, а Тунит, наклонившись над деревянной печкой, умывался у окна. Это был высокий, худой мальчик с тонкой, но с совершенно бледной кожей, без рубашки, в бархатных штанишках и желтых туфельках. Появление обоих мужчин испугало мать с сыном. Давнис видел, что мальчик сделал было шаг в его сторону, намереваясь поцеловать ему руку, но затем опять отступил обратно, схватил полотенце и прикрыл голые узкие плечи.

— Ну, ты что же забыл, что нужно утром делать! — крикнул Давнис, направляясь к мальчику. — Негодный мальчишка!

Ну, — подходи под благословение!

Но мальчик, боязливо поглядывая на Дарбина, и краснея от стыда, рванулся обратно, наматывая полотенце на мокрую шею. Он как бы ища защиты, подбежал к Мирдзе, но рука ее не протянулась, чтобы защитить его.

— Идите же, — раздался вдруг смелый голос Дарбина. — У меня мало времени... а ему сегодня страшно.

— Злой мальчишка, проворчал Давнис. Он всегда такой упрямый. Тяжело вздыхая, он открыл дверь ведущую в комнату и переступил порог. Он зол был на этого незнакомого молодого человека, ему хотелось даже выгнать его, пусть бы шел туда, откуда явился этот умный мастеринка, который у него ищет работы и при этом так смело ведет себя. Но он подумал о заводе с новым дымоходом, а Дарбинь мог ему дать его.

Поэтому он любезно разговаривал с молодым человеком, и дал ему комнатку на верхнем этаже вместе с кроватью.

С наступлением весны на заводе началась лихорадочная деятельность и новый дымоход рос буквально на глазах у всех. Целыми

днями Давнис не знал покоя. Он переходил с места на место. Там ему нужно было отсчитать кирпичи, тут принять воз извести для нового дымохода, тут выслать деньги, а там получить их, да и следить надо было за тем, чтобы не ленлись поденные рабочие...

Совершенно разбитый присаживался он иногда на красивую зеленую скамейку перед новым домом и смотрел на непрерывную работу на заводском дворе.

Это же все было только для него.

— Как добр Боженька! Как заботится он о том, кто не пожелает пожертвовать для него своими страстями, кто не пожалел для него родного ребенка и жены; — кто ежедневно читает молитвы свои и учит других тому же.

Из нового сарая вышел Тунит и шел по двору, направляясь в старый сарай.

Давнис проводит его глазами, тяжело и неприятно стало у него на сердце.

Разве таким пужно было быть его сыну, его наследнику и будущему настоятелю? Он вспомнил свою молодость, свои радости и горе, свои проказы и не мог припомнить ни одного раза, когда он намеренно причинил бы другому страдание. Но Тунит делал это. Намеренно при каждом удобном случае он раздражал отца и огорчал мать, избегал молитвы и отцовских наставлений. Упрямством платил он за бархатные штанишки и туфельки.

Из-за кирпичей вышел Дарбиньш и мягко позвал:

— Тунит, Тунит!

Но мальчик повернул голову, заметил Давниса и бегом бросился обратно к новому сараю.

Дарбиньш подошел к Давнису и сел рядом с ним.

— Пугливый мальчик, — сказал он, закуривая папиросу. — Вы наверное воспитываете его слишком одиноким.

Давнис мрачно взглянул на цветущее лицо Дарбиня и ему показалось, что он видит в нем насмешку над собой.

— То чего ты не можешь понять, о том лучше и не говори. Если бы ты мог понять хоть долю истины, тогда ты знал бы, что одиночества не существует, ибо повсюду нас сопровождает Боженька и всюду Он видит нас. Но Он испытывает человека. Он испытывал меня, теперь испытует Тунита и только вероотступников Он предает в руки сатаны. Но Тунита я вырву из зубов нечистого и ты еще услышишь его проповедующего слово Божие перед общиной...

На лице Дарбиня снова мелькнула насмешка.

— Ты не научишь меня, а я тебя. Но одно я знаю:

Лучше синица в руках, нежели глухарь на дереве... Вери что можешь и не думай о загробном мире. Но смотри как подымается дымоход! Как спешат люди! И вскоре высоко над равниной поднимется эта сигара и ароматный дымок будет виться над ней. А мимо будут проходить курземские и говорить: — Смотри, это дело рук Дарбиня.

Мирдза стояла в комнате Дарбиня и смотрелась в зеркальце.

Действительно она выглядела старой, бледной и усталой.

— Но в волосах еще нет седины!

Она сказала это вслух и так весело, как будто бы это было неисчерпаемым источником счастья, что в волосах еще нет седины. Она наклонила голову и провела пальцами по волосам, как бы желая убедиться, что у нее нет и в действительности еще ни одного седого волоса. И не было.

— Молода...

Она улыбнулась самой себе.

— Молода — молода...

Весело забилось сердце и кровь ударила в голову и она увидела как зарумянились ее щеки.

— Прекрасно...

Она гладила руками грудь и улыбалась, улыбалась от сознания, что она еще молода и прекрасна. Она подумала о Дарбине. Имеет-ли он обыкновение так же стоять перед зеркалом и рассматривать свое свежее лицо? — В груди ее вспыхнуло желание, непонятная жажда, видеть лицо Дарбиня, хоть бы только в зеркале!

Внизу скрипнула дверь и кто-то поднимался вверх по лестнице.

Мирдзе знакомы были эти шаги, — это был Дарбиньш. Испугавшись, она начала приводить комнату в порядок, а зеркало загородила какой-то книгой, и затем снова приняла книгу, ибо вспомнила, что она сама только что взяла ее со стеного шкафчика и пробовала положить ее на место, но не понимала куда и, когда отворилась дверь, она, покраснев, бросила ее на стол.

Она не бывала еще ни разу с Дарбином воедино.

— Что сказал бы Давнис... мелькнуло у нее в уме и она снова занялась приборкой.

Дарбиньш сел на кровать и смотрел на Мирдзу.

— Как ты можешь одна жить здесь? — вдруг спросил он.

Мирдза не смотрела на него, но знала, что он на нее смотрит. И вдруг ей показалось, что на нее устремлен взор хищника.

— Как ты можешь выдержать здесь, — спросил он снова, — в таком одиночестве?

— В одиночестве?.. нас же много. Если бы ты хоть один раз вечером пришел на молитву, тогда бы ты увидел..

— Это же не люди, — тяжело молвил Дарбиньи и, отвернувшись к окну, стал смотреть на двор, мастерски насвистывая.

Мирдза, смутившись, стояла по середине комнаты. И вдруг ее охватила злорада к этому презрительно насвистывающему человеку.

— Как не люди? чего же у них не хватает?..

Она повернулась и вышла из комнаты.

Выйдя на двор, она увидела Давниса, перекидывающего кирпич. По двору из одного сарая в другой бежал Тунит, держа в руках замученного воробышка.

Давнис заметил мальчика.

— Тунит, Тунит! — позвал он.

Мальчик остановился и бросил замученную птицу на землю. Подошла Мирдза, подняла ее и начала на нее дышать.

— Пойди сюда, Тунит, — позвал мальчика Давнис.

Но мальчик, смотря изподлобья, вытирал свои грязные пальцы о бархатные штанишки и не шел.

— Мирдза — строго сказал Давнис, — приведи его.

Мирдза пошевелилась, посмотрела на Давниса, встретила его пожелительный взгляд, как то вдруг осела и выпустила из рук птицу.

— Иди, Тунит, — сказала она, беря сына за руку, — когда па-
Мальчик, злобно крича, пробовал было вырваться из рук матери

Мальчик, злобно крича, пробовал было вырваться из рук матери и вырвался бы, но подошел Давнис, взял его за другую руку и подвел к куче кирпичей, посадил.

— Тунит, — поучительно начал он, — ты уже большой мальчик. Тебе надо становиться умнее. Ты же мой наследник... За это учишься работать. Да, — учишься! Если бы ты знал, какие я в твои годы красивые кирпичи делал, — весело было посмотреть. Что ты, как баловень, носишься кругом без дела?

Ты видишь как работают мальчишки-ученики... Тебе, сынок, не годится так болтаться...

— Пусти, — краснея, перебил мальчик, стараясь вырваться от отца и смотря на леса возведенные вокруг нового дымохода, на ко-

торых стояли двое мальчишек и смеялись. Тунит знал, что они смеются над ним.

— Подожди, — холодно продолжал Давнис. — Да, тебе, не годится так вести себя, ибо ты мой сын и... должен стать настоящим, когда умру я... ты должен будешь заместить меня.

— Когда?

Давнис мрачно смотрел на ребенка. Он готов был Бог знает что сделать с ним. Он чувствовал, что ему становится жарко, что рука его все крепче сжимает руку ребенка... Тот еще больше сморщил свое худое личико и попробовал вырваться, но напрасно. И вдруг он поднял голову и с невыразимым упрямством и злобой стал смотреть на отца.

— Работай! — дрожа воскликнул Давнис и со всей силы сжал ручонку, так что та посинела; ибо он чувствовал, что наступила решительная минута, — или он будет для ребенка повелителем или — ничем.

— Папа,пусти... терпя ужасную боль, молил ребенок, и отвернулся, чтобы скрыть слезы.

— Работай!

— Зачем?

— Работай! — еще раз повторил Давнис.

— Я не хочу!

И вдруг у Давниса появилось желание побить этого мальчишку. Он ударил. Но в этот момент ребенок вырвался и побежал мимо кирпичей.

Давнис покачнулся и упал как бревно навзничь на землю. Тело его стянуло судорога, глаза широко открылись и скопились. Начался припадок падучей.

Испуганная Мирдза подбежала и старалась разогнуть сведенные судорогой члены.

Из-за нового сарая показался мужчина. Он был бледен, бородака его была не расчесана и на вид ему было лет тридцать. Подмышкой у него был длинный, грязный сверток, пиджак сильно поношен, брюки коротки и все в грязи так же, как и дырявые ботинки. На голове его была шляпа со свесившимися полями. Он остановился в двух шагах от Мирдзы и Давниса и следил за его движениями.

— Неужели ты еще любишь его?

Мирдза оглянулась и вскочив, она узнала Юрку и потянулась к нему, чтобы приветствовать его, но когда и он двинулся в ее сторону, она опомнилась и быстро наклонилась над Давнисом.

Юрка сделал шаг вперед, чтобы удержать равновесие.

— Я думал, — сказал он, смотря на золотистые волосы Мирдзы, — я думал, говорю, довольно она настрадалась за эти долгие годы, пока я искал и нашел то прекраснейшее, чем может обладать человек. И я пришел спасти тебя от жизни, в которой нет чувств, нет счастья или — если это невозможно... или — сыграть тебе одну мелодию... Ай, какую мелодию! Как дрогнет твое сердце, а глаза твои потонут в слезах... А мечты кроваво-красным пламенем вспыхнут в груди... ай, какие мечты!...

Ты знакома с мечтами.

— Помоги лучше.

— Ты все еще любишь его? Ты еще веришь ему? Ты еще служишь ему? — тоскливо спрашивал Юрка, осторожно кладя сверток на кирпичи и опускаясь на колени рядом с Мирдзой. — Растирать надо, если ты... его.. еще любишь. Иначе...

— Дурным ты, Юрка, был, дурным и остался.

— Растирай... так так... вот и хорошо.. Уже мягче. Подошли двое братьев и оба переглянулись, будто говоря один другому: «точно, как тогда».

Мышцы Давниса от трения расслабли и глаза закрылись как во сне. Четверо подняли его и, принесли в комнату, уложили в постель.

Мирдза сидела у постели Давниса, а Юрка, облокотившись локтями на подоконник, смотрел на двор.

Вдруг он обернулся, взял со стула свой сверток, развернул старый пиджак, затем шелковый платочек, и, вынув скрипку, положил на подоконник, а платок сунул в карман.

— Мирдза, — сказал он, подвигивая смычок; — Мирдза, в далеких краях побывал я, много чего повидал и... унаследовал неосуществимые мечты... Ты знакома с мечтами? — Мечты о ее любви... Нет? Мирдза! — Взвисься жаворонком... звуком скрипки... и прозвучав в пространстве, растаять в жару солнца далеко, далеко... Стать одним чувством, единым счастьем...

Нет! Что такое счастье? Много видел я такого человеческого счастья, но... нет, — стать одной великой мечтой... во всем..

Он схватил скрипку. При первых же звуках Мирдза повернула к Юрке голову и следила за его лихорадочными движениями.

Быстро настроил он скрипку, вскинул к плечу, прижал подбородком, перегнулся весь — вот-вот переломится, — вытянул шею, наклонил голову над скрипкой... Он был похож на летящего ангела,, или сатану, — или на сумасшедшего.

Луч послеполуденного солнца, подобно золотому мечу резнул пространство, проникнув в комнату, натолкнулся на высоко вздымающуюся грудь взволнованной Мирдзы.

Дрожа, вырвался из скрипки высокий и чистый эвук. Давнис зашевелился и застонал. Испугавшись, Мирдза наклонилась над ним и смотрела на него не отрываясь.

— Что было бы, если бы он пришел в себя? Что сказал бы он?

И со страхом она следила за волнами звуков. Чем выше становились звуки, тем больше возрастал ее страх.

Но Давнис не проснулся и когда скрипка смолкала, Мирдза с облегчением вздохнула.

— Ну? — спросил Юрка.

— Раньше около камня казалось — казалось — будто была веселее.

Юрка ответил не сразу. Казалось, мысли его были далеко. Затем вдруг:

— Мирдза, неужели ты все еще рабыня со связанной жизнью и связанными мыслями? Неужели же муж все еще повелевает тобой? Неужели он способен скрывать от тебя силу твою? — творческую, живоносную, неизсякаемую силу! Он был способен на это?! — Тогда тогда я называю его мерзавцем, бесчестным, лжецом, этого... единственного друга детства!... Тогда — тогда — долой, долой его!

Мирдза заступила ему дорогу к кровати. Он, этот Юрка, казался ей странным, смешным.

— Дураком ты, Юрка, был, дураком и остался.

Юрка отступил два шага назад и упал на стул, на котором незадолго перед тем лежала скрипка и медленно вытирал свое запотевшее лицо. Глаза его смотрели на Мирдзу с такой тоской, что ей стало жаль его.

— Если бы он мог остаться здесь, — думала она. — По крайней мере не голодал бы.

— Мирдза, — снова начал Юрка, успокоившись, — мне жаль тебя. Ты неспособна уйти прочь, прочь, прочь... как я, — неспособна стремиться к недоступному, неспособна понять голоса скрипки... Не знаешь ты вечно неизвестного, вечно недостижимого идеала. И я ушел отсюда как слепой щенок, но теперь я вижу все... как мальчишка, взобравшись на ель видит далеко, далеко, только его никто не видит. — Да, никто, никто, никто... Нет-ли у тебя — чего-нибудь покушать?

— Да! — оживилась Мирдза, — сейчас, сейчас...

Она не была скупа.

Она вышла в кухню и Юрка следовал за ней, ударяя смычком по брякам.

В дверях он остановился, прислонился к косяку и постукивал смычком по струнам.

Когда они входили в кухню, от окна, что-то пережевывая отошел Тунит.

Мирдза поймала его за руку.

— Подожди, будешь кушать вместе с гостем.

Гордо и самоуверенно взглянула она на Юрку, будто говоря: «Смотри, это мой сын!

Но Тунит поспешил проглотить кусок.

— Пусти!

— Ну, подожди же, — я дам сыру.

Мальчик, казалось, смутился, посмотрел на пол, затем на Юрку и вырвался из рук Мирдзы.

— Не нужно, не нужно, — злобно пропирчал он и выбежал вон.

— Божье наказание за грехи мои, — оправдывалась Мирдза. Юрка смотрел на двери, через которые выбежал мальчик; не переставая постукивать смычком по струнам, он безразличным голосом спросил:

— Он также цветок Боженьки?

— Да.

— Несчастный мальчик. Даже воспоминания не суждены ему, что же еще говорить о надеждах! — Скажите, что дали вы за то, что похитили у него? Что? — Мрачное учение вместо юношеских песен! И ты думаешь, что на том свете очень нуждаются в бесчувственных людях? — Живи, пока жив и живи для земли, а не для небес; — живи для себя! Эх, что мы можем Боженьке дать, когда у нас нет о Нем никакого понятия! Давай людям, бери для себя... только Богу, Бога ради, нет! Я был...

— Что это за господин? — спускаясь сверху, воскликнул Дарбинь; — музыкант! Ну, брат, играть хорошо, но, если хочешь покушать, надо таскать кирпич. Смычком хлеба не заработаешь.

— Печник, не трогай скрипки своими грязными руками, ибо ты червь... Я тоже шел раз за деньгами, за славой, за вороним конем, но тогда я был еще таким, каков ты теперь...

— Мой дымоход прохожие будут показывать друг другу и гово-

речь: это дело рук Дарбиня. А ты... Так же как и мелодии твои прозвучат в воздухе, мелькнут как белая черта...

— Которую ты копишь!

— Как ты явился сюда? Денег у тебя нет, сил у тебя нет. Ты думаешь потрясать пустой воздух около ушей... Нет, труд и труд, это единственное, что было и что будет.

Мирдза, не понимая, смотрела на обоих мужчин. Юрка, бледный, худой, опустив голову, смотрел на свои ботинки. Дарбиньш, с гордо поднятой головой, румяный, полный сил и здоровья.

— Как он красив, — думала Мирдза и странная, приятная дрожь пробежала по спине ее, когда Дарбиньш перевел на нее свой взгляд.

Но Юрка стоял такой бледный, хотя и прекраснее. — Для девушек... молоденьких... молоденьких, — пришло Мирдзе на ум и он невольно усмехнулась, подходя к шкафчику с провизией.

Мирдза сидела у кровати Давниса и думала про Дарбиня, когда тихо, на цыпочках последний зашел в комнату.

— Ну?

— Спит.

Дарбиньш положил руку на плечо Мирдзы и, слегка облокотившись, наклонился над Давнисом.

Мирдза никогда еще не была так близка с Дарбином и теперь что-то, как давно, давно не ощущавшееся дуновение взволновало грудь ее.

Дарбиньш, не меняя позы, повернул голову и смотрел в глаза Мирдзы, положив вторую руку на ее колено. Он опирался довольно тяжело, но этой тяжести не чувствовала Мирдза.

— А у меня работа. Могут быть потери. Времени нет. Приходи рано утром в твой садик. Работа.

Он ушел. А Мирдза долго сидела неподвижно и прислушивалась к равномерному дыханию Давниса. Затем вдруг она опустила на колени и машинально прочитала какую-то молитву.

Опять, так же, как вчера, золотой солнечный луч, прокравшись в комнату, упал на плечо и на подбородок Мирдзы.

Нельзя было привязать мысли к словам молитвы. И наконец она сама спохватилась, что губы ее шепчут не молитву, а строфу песенки, которую Юрка, уходя, спел ей:

Уж утрення звездочка мерцает!

Вставай, поднимайся,

Да сил набирайся
И Мирдза тебя приласкает.

Юрка назвал ее сильной и она чувствовала, что это правда. Она встала и, самоуверенно смеясь, подошла к окну.

Давнис проснулся на другой день утром, когда солнышко стояло уже довольно высоко.

В теле чувствовалась какая-то странная тяжесть, руки будто без сил и хотелось спать.

— Неужели старость? Боженька, Боженька! Теперь, когда на шее так много рабочих, так много дела, когда каждый час можно сделать на рубль больше работы или на рубль меньше, — теперь спать!

Он быстро пошевелился, и все же это не было быстро. Только руки одни и поднялись и, как кусок мяса, он перевалился больше на бок.

Он заложил руки за голову и некоторое время не двигался. Со двора доносился шум работ, падение кирпичей, стук молотков, смех рабочих и брань мастеров. Он прислушивался к характерному шуму завода, но ничего не слышал.

Наверное спят. — Спит хозяин, спят и рабочие. От таких стариков всего можно ожидать...

Мимо окна прошла Мирдза вместе с Дарбином.

Он еле-еле заметил их, но все же узнал.

Он начал вставать, удивляясь, как тяжелы сегодня все члены. И только надевая пиджак, вспомнил, что вчера вечером он сам-то и не ложился.

Из кухни слышалось будто пение. Давнис открыл дверь и услышал последние слова песенки:

«...И Мирдза тебя приласкает».

— Кой черт сюда забрался.... Мне трудно пошевелиться, а она — поет. — Безчестный народ!

Он прошелся по комнате и отворил кухонную дверь. Мирдза быстро отвернулась от окна, в которое она смотрела и начала чистить какое-то ведро.

— Что это ты тут такие чертовские мелодии разводишь, — сурово сказал Давнис, — разве ты ни одной молитвы больше не помнишь?

— Я, я... У тебя вчера были судороги....

— Ах, так потому то тебе и весело!? Ах черт...

Мирдза вдруг выпрямилась и взглянула на Давниса.

— Я пою потому, что у меня есть еще голос, — упрямо ответила она и снова начала чистить ведро.

— Молода, — прошипел выходя Давнис, — молода!..

Боженька, почему ты не научил меня, как можно уничтожить эту юность? Неужели под старость мне придется в собственном доме видеть отступников? Убить, убить лучше...

Рабочие завтракали, сидя на кирпичках. А на лесах, на самом верху стоял Дарбиньш, гордо засунув в карманы руки, и насвистывал какую-то веселую мелодию.

В сердце Давниса закралось подозрение и злоба, как дыма давила грудь и ела глаза. Ах, если бы можно было его столкнуть оттуда, чтобы вдребезги разлетелась на кирпичках голова его...

Этого ужасного чувства он даже мысленно не решился высказать. Он стиснул зубы и думал:

— Не вложи я такой уймы денег в этот дымоход, я прогнал бы его, как собаку... со всей его шайкой... как собаку... как собаку!

Подозрения не оставляли более Давниса. Куда бы он ни шел и что бы он ни делал, подозрения всюду следовали за ним и шептали про отступницу, про чорта, про страсть, про молодость и... про собственное бессилие.

Горечью звучала воскресная проповедь его и огненным мечом обещал судить отступников. Он чувствовал, что ему предстоит борьба с огромной силой и поражение было бы концом всего, всего: и чести и славы, которые в такой чистоте унаследовал он от отца Дулмы.

Мрачно, прищутив глаза, смотрел он на Мирдзу и видел, что она не слушала его, что за прошлую неделю она снова порозовела и поинтереснела... А Тунит рядом с ней казался таким бледным, худым и так злобно и упрямо на него смотрел, избегая однако встретиться со взглядом отца.

Во время этих проповедей он чувствовал себя еще господином и заставлял братьев подолгу стоять перед ним на коленях.

А в рабочие дни он ходил из одного угла в другой, торопил рабочих, скупился деньгами и даже едой, всюду видел воровство и обман... По вечерам он долго не засыпал, подходил к дверям комнаты Мирдзы и, затаил дыхание, прислушивался спокойно-ли дыхание ее.

— Она любит меня, она любит меня, — бормотал он, лежа без сна и ему даже в голову не приходило, что у него нет никаких прав на женщину и что она также ничем не обязана ему.

Умер старый Силин:ш, старший из семи братьев, умер Пява, младший из них, умер и Сакс от тяжелой работы и чрезмерного поста.

За два месяца Давнис постарел на десять лет. Густая растительность под подбородком и бакены его поседел, брови еще более нависли над глазами, жирные щеки его обвисли, как груди у старой женщины.

Мирдза же наоборот помолодела за это лето. Она оживилась и распустилась как растение от дождя после долгой засухи.

Давнис видел это и подозрения не оставляли его ни днем, ни ночью.

Лунный свет однажды разбудил его вскоре после того, как он заснул.

Может быть это скрип двери разбудил его, но лунный свет бил прямо в глаза.

Дрожая накинул он пиджак, сунул ноги в мягкие туфли и подкрался к дверям, за которыми спала Мирдза и Тунит. Он чувствовал, что двое там шепчутся...

Рывком распахнул он дверь.

Постель Мирдзы была открыта, смята и — пуста.

На столе горела лампа, подарок Дарбиня.

Тунит сидел на своей кровати нагой, спустив тонкие ноги через край и, свесив голову на грудь, горько плакал.

— Где Мирдза? — злобно спросил Давнис.

Тунит вздрогнул, схватил одеяло, желая прикрыться, но затем упрямо откинул голову назад.

Со стороны сада доносился полный ликования голос.

Уж утренняя звездочка мерцает!

Вставай, поднимайся,

Да сил набирайся

И Мирдза тебя приласкает!

Давнис вышел на двор и сел на скамью перед домом; но затем вспомнил, что она сделана Дарбином, встал и, как тень, заскользил по двору, направляясь в сторону сада.

Слабый свет убывающей луны мешался с бледным рассветом.

Давнис внимательно всматривался в серые сумерки сада.

Ему невыразимо хотелось захватить их обоих.

— Тогда... он заскрежетал зубами и думал о чем то неопределенном, безформенном, бездейственном, но ужасном.

Из сада донесся еще раз, хотя и более тихий, но полный ликования голос.

— Уж утренняя звездочка мерцает!

Вставай, поднимайся,

Да сил набирайся

-И Мирдза тебя приласкает.

Давнис вышел из-за кирпичей.

— Мирдза!

— Ну? — отозвалась Мирдза, выходя из сада.

— А Дарбиньш тоже здесь?

— Нет.

— Благодарю Бога, что нет. Иначе я убил бы вас обоих. Голос его дрожал.

Но Мирдза не дрожала. Она спокойно остановилась в двух шагах от Довниса.

— Ты же дурак, — сухо сказала она. — За что же ты нас убил бы?

— Но ты его ждала?

— Да.

Давнис вздрогнул и покачнулся.

— Отступница, — прошептал он, — несчастная! Ты снова предалась страстям!

— Да, я любила его. Он пробудил во мне счастье...

Я снова жизнерадостна, сильна и молода...

— Молчи!

— И я хочу наслаждаться и жить! Когда он обнимает меня, я чувствую, как я молода и сильна...

— Молчи — повторил Давнис.

— Молода! — Ты помнишь... такая, как тогда, там летом... когда ты... Да что там! — Тогда я была дурой, — страх был сильнее наслаждения. Теперь...

— И ты с ним? И это правда, с Дарбином?!

Один момент Давнис не мог поверить тому, что давно уже мысленно представлял себе. Мирдза сама ведь созналась и однако он не мог поверить. А Мирдза, подняв голову, взглянула на белую черту у горизонта и, ликуя, воскликнула:

— И у меня будет сын! стройный, сильный сын!..

Злобный дикий звук вырвался из горла Давниса. Он схватил Мирдзу и начал рвать на ней платье, в бешеном желании услышать рыдания ее, вопли и мольбы. Но Мирдза не кричала.

Между кирпичами показался Тунит. Злой, упрямый мальчишка схватил кусок кирпича и бросил им в голову Давниса.

Давнис покачнулся и мягко упал навзнич на землю. Колени его притянуло к груди, руки к плечам, голова скривилась на бок и зрачки глаз перекошились. Казалось, что он закатившимися глазами смотрит на убывающую луну.

Прекрасна Курземская равнина летним утром, когда синее серебро угасающей луны мешается с бледным рассветом. На равнине все так чисто, ни одной пугающей тени, ни одного лесного миража. А кирпичный завод по середине равнины подобен лицу богряшего в землю великана, — лицу с темной бородой и насмешливой сигарой в зубах.

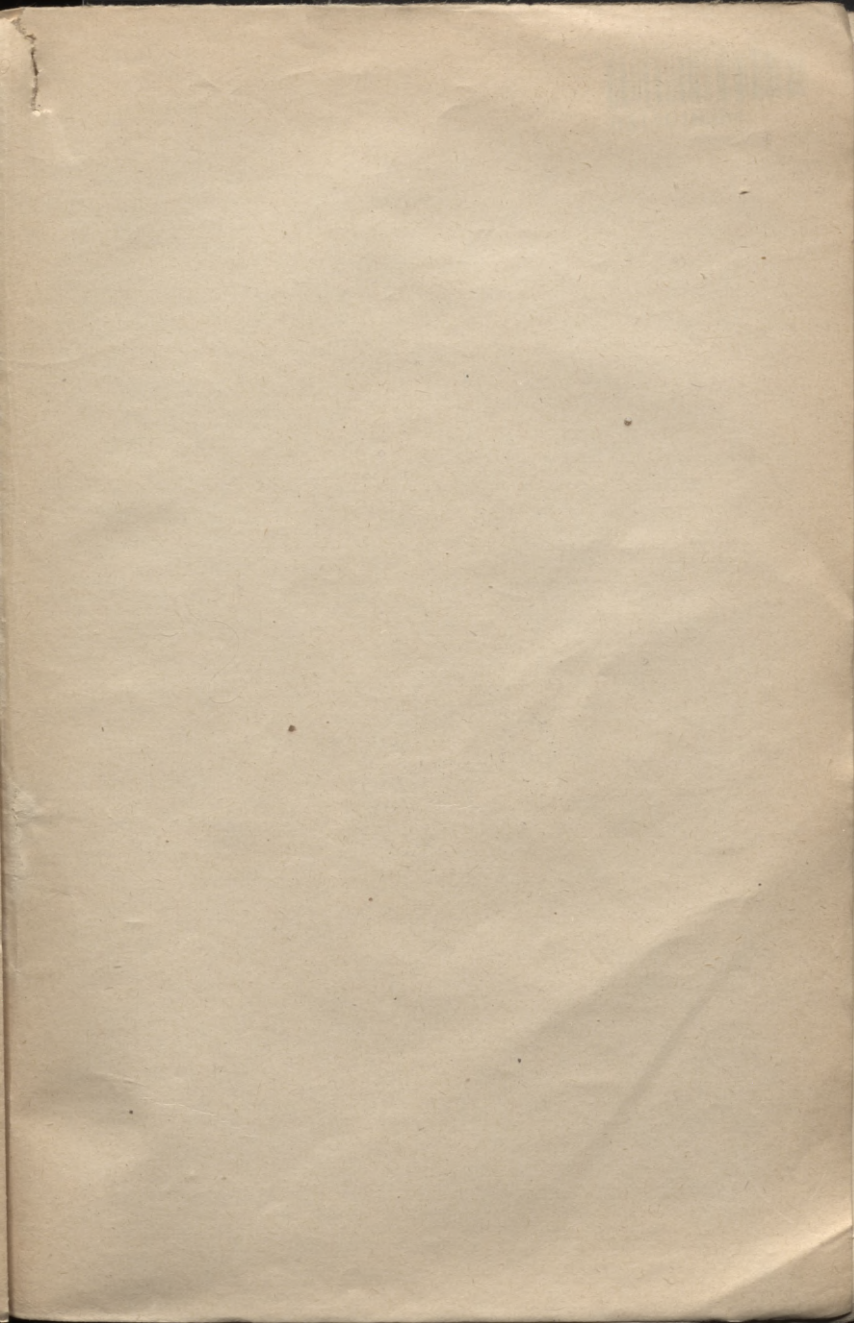
Залаяла собака в одной стороне, отозвалась в другой—залаяла в третьей. Ты, человек, и не знаешь, куда повернуться тебе с дружбой твоей: всюду ожидают тебя.

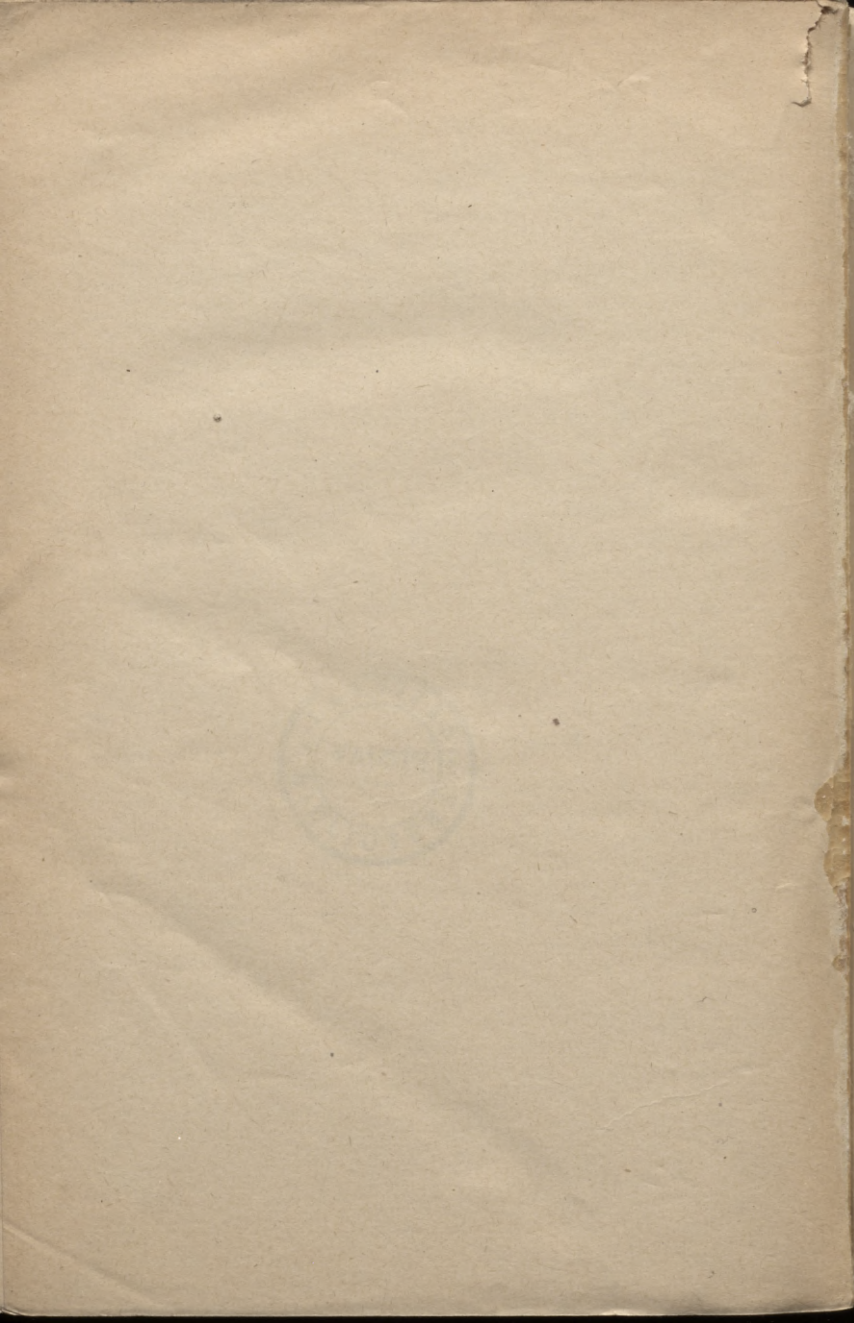


СОДЕРЖАНИЕ СТАТЕЙ:

	Стр.
1. Развитие латышской литературы, доц. К. Карклиньш	V
2. Бр. М. и Р. Каудзиши — „Времена землемеров“	1
а) Кристина и Илзэ	1
б) Молитва Кенца	5
с) Кенц и Павул в тюрьме	9
3. Я. Порукс — „Брусничный венок“	13
4. Р. Блауманис — „В тени смерти“	31
5. А. Саулиетис — „Гром“	51
6. К. Скалбе — „Как я ездил на смотрины к Северянке“	79
7. А. Аустриньш — „Иванов день“	101
8. Я. Яунсудрабиньш — „Офицер лентяев“	105
9. Я. Акуратерс — „Горящий остров“	141
10. В. Эглитис — „Утренняя зоря“	205
11. А. Бригадере — „Маре“	215
12. Э. Вульф — „Лизочка“	255
13. Упитис — „Щепки в омуте“	275
14. К. Штралс — „Боженькины люди“	317







LATVIJAS NACIONĀLĀ BIBLIOTĒKA



0311019384

Ser. 3.

1 - 4. MAI 1940